

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

2000

6

2000

УМЕР СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ЗАЛЫГИН

На восемьдесят седьмом году жизни от нас ушел замечательный русский писатель, выдающийся общественный деятель и — с 1986 по 1998 год — руководитель «Нового мира», означивший на этом посту новую эпоху в истории журнала, — **СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ЗАЛЫГИН** (1913 — 2000).

Сергея Павловича во всех важнейших эпизодах его жизненной и творческой биографии можно отнести к ярчайшему и ныне уже редкостному типу интеллигента-демократа старой закалки, для которого главный движущий мотив — тревога за судьбу родной земли.

Он и воспитание получил такое — в интеллигентной сибирской семье, которую в старину назвали бы «разночинной». В некоторых литературных пристрастиях своих — будучи человеком широчайшего литературного вкуса и открытости новому — он оставался верен именам Глеба Успенского, Короленко, даже менее известных писателей-народников, удивляя окружающих памятливым знанием их сочинений, не меньшим, чем великолепное знание классики двух минувших веков.

Главные взлеты его деятельности, и литературно-художественной, и научно-общественной, совпали с пробуждением демократических тенденций в жизни нашего отечества. А точнее сказать, он сам принадлежал к бродильным ферментам, обеспечивавшим такое пробуждение. Напечатанная в 1964 году в «Новом мире» Твардовского повесть «На Иртыше», впервые в подцензурной печати рассказавшая правду о трагическом сломе крестьянства в годы коллективизации, стала знаковым событием освежающей эпохи 60-х годов. Эта повесть и созданные в два последующих десятилетия романы «Соленая падь», «Комиссия», «После бури», по словам критика Игоря Дедкова, такого же отважного демократа, втягивали общество «в обсуждение центральных вопросов исторического бытия нашего народа». Только этих произведений, с их высоким качеством художественной правды, было бы достаточно, чтобы утверждать: Сергей Залыгин был один из тех немногих, кто формировал *общественное мнение* в стране, где само наличие такого мнения не предполагалось существовавшим тогда режимом.

Точно так же уже в 80-е годы он, ученый-гидролог по образованию и большому этапу работы, ученый-публицист, оказался одним из тех, кто начал перестройку общественного сознания.

В дни его ухода из жизни все газеты и телеканалы вспоминали, что Россия обязана ему, по существу возглавившему на излете советской эпохи гражданско-экологическое движение, спасением своих рек, земель, угодий от гибели, которую несли им гигантомания конъюнктурных проектов «преобразования природы». И воздавали его памяти по достоинству (при этом мало кто знает или помнит, что еще прежде Залыгин был в числе тех, кто спас от планировавшегося затопления сибирские территории и тем самым — нефтяные месторождения). Однако дело было не только в практических результатах этой упорной борьбы: внявшее призывам Залыгина общество тогда впервые почувствовало, что оно может с успехом противопоставить свой взгляд решениям, принимаемым в министерских и цеховских кабинетах. Если угодно, это стало началом массового переворота в умах.

Сергей Павлович Залыгин прошел испытание и славой, и официальными регалиями, и должностными полномочиями без нравственных для

себя потерь. Возглавив в 1986 году «Новый мир», сформировав собственную редакционную «команду» (да и сегодня все члены редколлегии журнала — его выдвиженцы разных лет), он с избытком использовал мандат, предоставленный ему «перестроечными» властями. Он не только открыл страницы журнала произведениям Пастернака, Набокова, Платонова, наконец, далеко еще не «легализованного» тогда Солженицына, но и новой поэзии и прозе, публицистике и критике, для которых уже не существовало запретных тем и мотивов. Однако внешние запреты еще функционировали, и Залыгин их победоносно одолевал — не мытьем, так катаньем. «Свобода выбора» — это не только название последнего романа Залыгина, это ключевая формула его творческого поведения. Для Сергея Павловича свобода выбора существовала всегда, и не было, кажется, сил, которые могли бы ее ограничить. Этот невысокий, вовсе не «видный» человек с тихим голосом говорил то, что считал нужным сказать, и его слышали.

И при новой власти Сергей Павлович оставался верен демократическим заветам социального критицизма, в которых он был воспитан и прожил свою трудную, напряженную и плодотворную жизнь. Его поздняя проза, составляющая яркую и в каком-то смысле «молодую» страницу в творчестве закатных лет, полна горького сатирического веселья и чуткой тревоги за будущее народа и страны. Собственной смерти, уже дававшей знать о своем приближении, он, судя по откровенным разговорам, совсем — и без всякого кокетства — не боялся. Природопоклонник,веряющий мудрости естества, сам уже обретший мудрость, он со стоической уравновешенностью и даже с некоторым спокойным юмором ждал своего часа. Но беды России, но дефекты ее гражданского устройства рождали у него мрачные мысли и даже приступы гнева. Высокие инстанции его награждали и чествовали, а он никому не угождал и ни на кого из облеченных властью лиц по большому счету не рассчитывал. Он до конца дней сохранял свою гражданскую неуживчивость как одну из граней общественного служения.

При всем при том Сергей Павлович был житейски приветлив и обаятелен, чужд всякого высокомерия с подчиненными, открыт для просьб и просто для дружеских бесед на равных. Он был превосходный рассказчик, «новеллист» устного жанра, так и не оставивший воспоминаний, но охотно делившийся ими при разных обстоятельствах. Жаль, что мало кто из нас записывал эти замечательные рассказы-воспоминания, которыми так неожиданно могли заканчиваться наши ежемесячные редколлегии под председательством «главного». Теперь наступает время делиться воспоминаниями о нем самом, об очень большом и очень самобытном человеке...

В своей последней большой работе, статье «Моя демократия», также опубликованной в «Новом мире», Залыгин говорит об «обязанности жить», причем, несмотря на все трудности, жить достойно. Каждый, писал он, кто считает себя человеком, должен обязанность эту исполнять до конца. Сергей Павлович Залыгин ее исполнил.



NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корр. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 1999 и 2000 годах: \$ 14,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 168.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

**Адрес редакции: Россия, 103806, ГСП, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.**

E-mail: nmir@aha.ru



Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

*(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)*

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»

с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 14).

Дата оплаты (заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2000» (том 1). Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на второе полугодие 2000 года — 210 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку на вторую половину 2000 года по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 17 часов. Стоимость льготной подписки — 198 рублей. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 18 часов, в последнюю субботу месяца — с 10 до 13 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (ул. Бахрушина, 28), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Чистый переулок, 6) и в киосках «Мосинформ».

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,

выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 6 (902)

Июнь, 2000 г.

СОДЕРЖАНИЕ

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ — Монахи, роман	7
ИНГА КУЗНЕЦОВА — Послушай птиц, стихи	92
ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ — Летом в деревне, рассказы	96
ЕЛЕНА УШАКОВА — Цветы не плачут, стихи	108
ЯРОСЛАВ МЕЛЬНИК — Книга судеб, рассказ	113
ЕВГЕНИЙ КАРАСЕВ — Человек на обочине, стихи	122

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

К 90-летию со дня рождения А. Т. Твардовского

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Богатырь	129
ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ — Этюды о Твардовском	131

ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

МАРИЭТТА ЧУДАКОВА — Людская мольва и конский топ. На исходе советского времени. Окончание	136
---	-----

ОПЫТЫ

АНДРЕЙ СЕРЕГИН — Предисловие к будущему. Заметки на полях двадцатого века	148
---	-----

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

ИРИНА СУРАТ — Пушкинский юбилей как заклинание истории	176
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ТАТЬЯНА КАСАТКИНА — Литература после конца времен	187
---	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Ольга Славникова. Максим Соколов и его Мнемозина	203
Анна Цитрина. Редкая птица долетит до середины Днепра...	208
Сергей Шаргунов. Синдром Сидиромова	214
Владимир Юзбашев. Вавилонская арка	216
М. Д. Карпачев. Умом Россию понимая	218

Дмитрий Дмитриев. — I. Вольфрам Эггелинг. Политика и культура при Хрущеве и Брежневе. 1953 — 1970 гг. II. М. Р. Зезина. Советская художественная интеллигенция и власть в 1950 — 1960-е годы. III. Н. М. Баранская. Странствие бездомных. Жизнеописание. Семейный архив. Старые альбомы. Письма разных лет. Документы. Воспоминания моих родителей, их друзей. Мои собственные воспоминания	225
---	-----

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПОЛКА КИРИЛЛА КОБРИНА	229
-----------------------	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

Книги (составитель Сергей Костырко)	235
Периодика (составитель Андрей Василевский)	239
Сетевая литература (составитель Сергей Костырко)	251
SUMMARY	256

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3850 экземпляров журнала «Новый мир».

Из общего тиража каждого номера Благотворительный Резервный Фонд выкупает с благотворительными целями 1500 экземпляров журнала «Новый мир» для их последующего бесплатного распространения среди неимущих читателей, а также для провинциальных библиотек.

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ

*

МОНАХИ

Роман

Исмолодой мужчина, с недавних пор обитавший в этой пятиэтажке и собою дополнявший скромную, но не убогую мебель, не мог в одно июньское утро не прислушаться к всполошенным голосам за дверью, не мог не догадаться, кто сейчас пожалует к нему, и приготовил незваным гостям достойную встречу. В квартиру же вломилась общественная комиссия: два бандитской внешности лица мужского пола (соседи по подъезду) и вертлявая накрашенная девица (техник-смотритель жэка), — ворвалась, нарушив установленную Конституцией СССР неприкосновенность жилища. Гражданин, прописанный в оскверненной пришельцами однокомнатной квартире, обладал, однако, философским складом ума, то есть понимал, что наглым вторжением этим скрепляется и цементируется великая историческая общность — советский народ, единая многомиллионная семья, и домочадцы вольны без спросу переходить из одной комнаты в другую, а все возникающие при этом скандалы — мелкая сvara любящих родственников. Поэтому-то и было гражданином проявлено гостеприимство; он виновато, с чуткой улыбкой слушал долгие и гневные речи сожителей по дому, обеспокоенных тем, что не далее как вчера в соседнем подъезде уехавшая на дачу пенсионерка забыла по рассеянности закрыть кран и залила квартиру этажом ниже. Событие сие было ему уже известно, весь вчерашний вечер просидел мужчина у окна, наслаждаясь перебранкой на скамеечках у подъезда, да и вообще занудливый человек этот всегда изучал все угрожавшие жильцам объявления на досках и стенах. Водопад скоропалительных обвинений обрушился теперь на него, ему припомнили многодневные отлучки: трубы ведь — постоянно протекают, а электропроводка имеет обычай загораться; правда, по части оплаты коммунальных услуг никаких претензий комиссия не высказала (да и выдвинуть не могла, поскольку человек всего три месяца назад въехал сюда). Удрученный хозяин квартиры прервал наконец понурое молчание и смиренно поправил председателя комиссии, сделав крохотное уточнение: Бузгалин его фамилия, Бузгалин, а не Булгарин, как изволили сейчас выразиться... Затем Бузгалин (ни в коем случае не Булгарин!) скорбно признал все свои ошибки, промолвив, что учтет высказанные замечания и впредь будет зорко следить за санитарно-техническим состоянием квартиры, времени у него для этого достаточно: здоровье стало пошаливать, сказались условия нелегкого труда в геологических партиях, никаких уже полевых экспедиций, а если и будет отлучаться, то только на дачу, куда и собирается сейчас ехать, а перед дальней дорогой положено, по русскому обычаю, посошок, — так не присоединитесь ли вы ко мне, дорогие друзья... И холо-

Азольский Анатолий Алексеевич родился в 1930 году. Закончил Высшее военно-морское училище. Автор романов «Степан Сергеевич», «Затяжной выстрел», «Кровь», «Лопушок», многих повестей и рассказов. В 1997 году удостоен премии Букер за опубликованный в «Новом мире» роман «Клетка». Живет в Москве.

дильник теоретически подкованного геолога покинула бутылка водки, вслед ей шмякнулась на клеенку жирнобокая селедка, у жэковской девицы зачесались руки, рыбину она лихо разделала, показала женскую прыть, заодно крутанув ладным задочком, тем самым как бы одарив хозяина реабилитированной квартиры беглой улыбкой... А тот несколько разомлел от выпитого и грустно признался: рад, рад он светлому будущему своему, не будет отныне безлюдных песков с шипящими гюрзами под ногами, уйдут в прошлое дожди в предгорьях Сихотэ-Алиня и стужи под Якутском, теперь — Москва, только она, ведь (была показана начитанность в пределах неполной средней школы) — «как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось!»... Комиссия — блаженствовала, сосед сверху вспомнил что-то газетно-победное и не без труда произнес заветное слово «алмазная трубка»; но бывший геолог свое участие в открытии сего месторождения не подтвердил, но как бы в свое оправдание заметил, что даже при скромной должности коллектора заслуги его перед Родиной немалые... Обведя комиссию дурашливо-пьяноватым взглядом, гражданин Бузгалин пустился в самовосхваления, начав рассказывать о шурфах и кернах...

Комиссия, однако, бдительности не теряла: недамская ладошка техника-смотрителя ковшиком подержалась под закрытым краном; та же ручка — уже в дверях, при уходе — сунула Бузгалину брошюрку с интригующим названием «В помощь новоселу», намекая на то, что из крана в мойке вода хоть чуточку, но — просачивается, брошюрка же разъясняла, как гражданам самостоятельно — без сантехника — менять в кран-буксах уплотнительные прокладки... Прочитанное доставило Бузгалину живейшее удовольствие: исторический документ, бесценное свидетельство эпохи, клятва — ценою в шестьдесят две копейки — на верность идеалам социализма, еще одна подпись под извечным общественным договором, коим власть и народ укрепляли друг друга взаимным неисполнением обязанностей; десятки тысяч людей, оказывается, въезжают по ордерам в новехонькие квартиры с протекающими трубами, вот откуда проклятья по адресу бракоделов и восхитительное чувство превосходства над государством, которое так и не научилось делать простенькие водозапорные устройства! Вот где простор для инициативы, истинное торжество разума на грубоватой газетной бумаге! Схема кран-бухсы бестолкова, невнятна, наводит на мысль о том, что ЦРУ обмишуруется, по шпионским каналам получив схему эту, — да и вообще непостижимо, почему вода все-таки сочится из крана в мойке, каким-то образом прорываясь между прокладкой и стенками трубы: загадка, сплошная тайна, рождавшая умопомрачительные объяснения, среди которых была и недавняя высылка из страны атташе новозеландского посольства за «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом»; напрашивалось заодно и ёрническое, а может быть, и еретическое сравнение хитроумных ракет с примитивными фиговинами типа той загогулины, из которой вода льется в мойку.

Василий Петрович Бузгалин допил водку, отметив ею особое событие: сегодня минуло ровно четыре месяца с того страшного дня, как гаишники крючками растащили кузов «Москвича», извлекая из него изувеченное, бездыханное тело гражданки Анны Федоровны Бузгалиной, прямиком из морга отправленной в крематорий, а оттуда — урной — в выемку плоской стены близ тех же печей и труб Даниловского кладбища, минуя, конечно, этот дом, поскольку супругам Бузгалиным ордер на эту квартиру еще не выдали; не везти же по морозцу гроб на дачу для прощания с домиком и землицей... Или была ростепель?

Жара еще, к счастью, не пробралась в подземелья метро, где ехавший на дачу Бузгалин вдруг сел на скамейку посреди роскошного зала, растревоженный мыслями о кладбище. Могильным хладом дохнуло, о сути и происхождении вещей возмечталось, потому что они, тленные и нетлен-

ные, соединяют смертного человека с бессмертием. Жизнь ведь началась родничком, мерцающим напором таинственной водицы, пробившейся невесть откуда, оросившей мох, наполнившей ямку, потекшей по наклонной почве, вобравшей в себя такие же робкие ручейки и ставшей полноводной рекой, которой (домовая книга не соврет!) сорок шесть лет... и что дальше? В океан ли, куда слились уже миллионы рек, бесшумно втечет жизнь ярославца Бузгалина? Или она вдруг очертя полетит вниз, как на Ниагаре, бурлящим потоком, о камни разбиваясь? А то и совсем проще: исчезнет, испаренная, сама собой, впитается пересушенной землей?

В духоту улиц поднимает эскалатор гражданина Бузгалина, другой поток — людской — вносит его, придавленного итогами еще не оконченной жизни, в вагон электрички, где он поглощается простым советским людом, то есть еще одной общественной комиссией, но в расширенном составе. Студентка, завалившая экзамены, с ненавистным учебником перед глазами; в девушке этой высматривается натура дерзкая, горячая, умеющая и заказную слезу вовремя пролить, и разрыдаться непонарошку, — жизнь женская в зачатии, в мутный период взросления, когда еще не окрепшее дерево требует привязи к вбитому в землю прямостоящему колышку, к местечку — хотя бы — на скамье в переполняющемся вагоне, и местечко было, конечно, предложено, однако у студентки оказались замедленные рефлексы, и более сообразительная баба с тремя сумками выдавила чересчур галантного Бузгалина в проход, водрузив себя на скамью, собой пополняя образ СССР, — более ста человек разных возрастов, разно одетых, готовых к социологической процедуре опроса, втиснулись в послеполуденную пятничную электричку, и в центре вагона — нешумное семейство: дед, бабка, жена, муж, двое грызущих мороженое детей, то есть внучки, и дети уже загорелые, дети уже порезвились на солнышке и теперь едут на дачу, не очень охотно, на даче той деду и бабке сидеть бы безвылазно, возраст пенсионный, но оба еще, конечно, работают, попробуй прокорми эту ораву, потому что зятек, кажется, не мастер защищать деньги, домашнее хозяйство на плечах женушки, и по рукам видно, что пальцы ее ударять прицельно по клавишам пишущей машинки не научены, рабочие они, уже раздутые в суставах. Века полтора назад такая вот патриархальная русская семья на подводе перебиралась из Первопрестольной на север, гонимая московским пожаром или просто вытесненная из столицы какими-то невзгодами, — земли-то много, и если ты не помещичий, а вольный, то осваивай пустоши... Две парочки справа, прихватив корзинку со снедью и спальные мешки, ехали уединяться, любиться, и если парнишкам любовь эта будет в новинку, то личики девушек уже пообтрепались годами, с некоторым недоумением посматривали они на мальчишек, которым не терпелось, которые будто случайно касались при рывках поезда бедер и плеч подружек. Дворянство некогда облюбовало подмосковные уголья для любовных утех, понастроило усадеб, молодежь сословием пониже уминала траву в измайловских рощах, ныне же только на пленэре можно разгуляться, отдельные квартиры-то не у всех, что на себе познали в Москве супруги Бузгалины, а любви хочется всем, той любви, которую надо изучать только на собственных ошибках, только они истинно обогащают человека. В возрасте этих мальчишек Бузгалин втрескался до потери сознания в учительницу физкультуры, и через какие великие страдания прошел!.. А что скажет о своих страданиях эта вот мамаша — истинная героиня, четверо детишек, самому старшему лет восемь, этот уже обучен присматривать за младшими, и приглядывает за ними, но уж годовалого карапуза мать ему не доверила, сама управляет, а тот тербит ее юбку, норовит ухватиться ручонками за блузку, которую распирает могучая грудь, готовая вскормить еще столько же. Детей не вагонная сутолока и теснота лепят к матери, а притяжение крови, той, что питала их в утробе; в ушах малышей до сих пор звучит там же усвоенная ими мелодия бытовой речи, что загодя дала

образы люлек, таза, в котором обмывались розоватые и пухлые тела, ложки, ко рту подносимой, кухоньки, букваря, — все, все было услышано, переварено, принято к использованию в недалеком будущем; в ладе родной речи впитались жесты матери, привычки ее, и только русский ребенок может так вот тянуться к матери, дергать ее юбку, прикладывать пятерню к носу, плакать навзрыд, почесываться да лупить глаза на постройки, обычные вдоль железнодорожных путей, — странная, однако, архитектура этих зданий, где живут под стук и свистящий грохот люди, приставленные к стрелкам, шпалам и грузам, день и ночь пропускающие мимо себя кусочки России, неторопливо двигавшейся не по рельсам, а прокладывая никому не ведомую колею в истории, и это движение в слепящую неизвестность, это ощущение рывков, слившихся в невесть кем заданный путь, — это извечно поселено в каждого человека русских равнин, страны, куда угодно летящей, но не к сытости и благополучию. Плохо живет народ, плохо, но никогда уже не восстанет, не сбросит с себя властей. Потому что печенками чует: это их удел, всей России удел жить так вот, от полочки до полочки...

Государственный гимн услышался в перестуках колес, электричка помножилась на сотни и тысячи зеленых вагонов, сновавших по рельсам, многочисленные колеи прорезали леса и пашни, захватив и сельцо, что в трехстах километрах, на Ярославщине, и тропку, по какой когда-то бегал в школу некий настырный мальчонка, и пропахший соснами класс, куда после звонка входил, припадая на покалеченную ногу, учитель, предрекавший взрослому юнцу великую будущность, с чем не согласна была «немка», так и не сумевшая вколотить в шустрого школяра слабые и сильные спряжения глаголов; тем не менее все учителя верили: их ученики (и гомонливый непоседа Вася тоже) станут сеятелями злаков, что произрастут когда-нибудь радующими отчизну всходами, — и сколько ж таких мальчишек и девчонок возвращено неугомонными пастырями сельских школ, а еще ранее — сельских приходов! Миллионы злаков, весной новой жизни втянутых в севооборот нации, и как далеко еще время, когда коса смерти срежет эти миллионы! Великая, нелепая страна, одаряющая планету суматошными поисками справедливости, льющая кровь свою в раздорах, на себя всегда берущая право быть первой и судьбой своей задающая вопрос: да можно ли по тысяче вагонов, даже если в них все двести пятьдесят миллионов населения, судить об истории нации? Разве две едущие на разврат парочки связаны как-то с размещением в Европе ракет средней дальности или с запретами испытаний атомного оружия? А три поколения семейства — на президентские выборы в США повлияют?

Гимн оборвался внезапно гнусавым и кощунственным саксофоном, представился негр, прильнутый к заморскому инструменту, потянулась мелодия, отчего устыдившийся (и чуть напуганный) Бузгалин прошел в тамбур, где дымили вовсю и просто заядлые курильщики, и те безбилетники, для которых он, тамбур, — наблюдательный пункт, место, откуда просматриваются оба вагона, и опытные зайцы стремительно перемещались по всему составу, издали завидев железнодорожные фуражки контролеров. Наверное, в подражание им Бузгалин на остановке перебрался в четвертый от головы вагон, сделав рывок, быстрым шагом пройдя платформу вдоль электрички по одуряющему, почти каракумскому солнцепеку; уже на ходу хорошо рассмотрелся величавый райцентр, набитый конторами, в кои надо отправлять прошения, если что надумаешь делать с домом, расширяя так называемую жилплощадь... Потом деревенька скорбно проковывляла — такая убогая, что сердце тоскою поджалось, чтоб воспрять духом и бодро заколотиться через три минуты, когда поезд влетел в лесной массив с поселком, которому скоро будет полвека, который когда-то назывался дачным кооперативом работников Высшей школы, а ныне, после ухода на вечный отдых первых красных профессоров, превратился в место летнего

обитания детей, внуков, откуда-то объявившихся родственников, о научной деятельности и не помышлявших, зато поразительно хватких и цепких. Лет пять тому назад или раньше поселок газифицировали, не весь, без голубого пламени остались те, кто не очень-то верил в прогресс или не хотел признаваться в нехватке денег. Сейчас лишены спохватились, поднабирали рубликов и начали тяжкие переговоры с газовой конторой, нуловимой и грабительской. Присоединился к этим обездоленным (обезгаженным — незлобно пошутилось как-то) и Бузгалин, всего полгода назад ставший хозяином дачи, так и не газифицированной покойным братом. На завтрашнюю субботу и назначена встреча с газовщиками, собрание обещает быть бурным, присутствие на нем обязательно.

Вагоны будто осели, электричка притормаживала, замерла наконец, двери разъехались, и Бузгалин вышел, замыкая собой дачников, идущих к середине платформы, где была лестница из бетонных плит. Пахнуло лесом, свежим сеном и лежалыми травами. В ста метрах от плит — поворот вправо на просеку, разрезающую поселок, куда и свернули шедшие впереди Бузгалина люди, куда и ему надо бы двинуться, чтоб поскорее попасть на дачу, но он продолжил путь к шоссе, параллельному железной дороге, чтоб зайти в магазинчик, славный свежайшим хлебом, очень дорогой колбасой, овощами и принадлежностью к Минфину; учреждение сие отгрохало невдалеке дачи, где, по слухам, копать в земле не любили, пучка петрушки не вырастили, простой же советской водки гнушались, издевательски покупая коньяк по, страшно подумать, четырнадцать рублей; иногда, правда, выбрасывалась вареная колбаса по два тридцать, ее тут же расхватывали, и магазинчик пустел, за водкой же совхозный и дачный (не минфиновский!) люд ездил в райцентр. Бузгалину здесь отсыпали три килограмма картошки, дали буханку мягкого черного хлеба и банку с огурцами, отвесили палку сырокопченой колбасы, завернули в бумагу сыр и масло, протянули коньяк, который пойдет в ход завтра: водка, еще в Москве купленная для разговора с газовщиками, выпита, а столичный магазин оказался на перерыве, когда Бузгалин из дома устремлялся к электричке.

Рюкзак потяжелел, но был подъямен, продавщица — само загляденье, танк остановит на марше, всю колонну уведет за собой в чащи непролазные: халатик того и гляди лопнет, распираемый мощным телом сельской дивы, зубы редкие, крупные, чистые; плотской любви не телевизором обучена, а вековым инстинктом бабы; короткие полные руки стиснут мужика в благодарности и отпадут в истоме — того мужика, чьи ноги выглядывают из подсобки; в СССР все лучшее, как не так давно отметил Бузгалин, либо под прилавком, либо в загорелке.

Умиление плескалось в душе Бузгалина, когда он вскидывал рюкзак на левое плечо. Пристроив поклажу, он скосил глаза вправо, на совхозный ларек с дешевыми молочными продуктами, у которого толпился народ, озаренный истинно великими целями прокормления себя, увидел он и автобусную остановку неподалеку. И автобус как раз подъехал, развернулся для обратной дороги в райцентр, откуда прибыл с местными людьми, не имевшими денег на дьявольски дорогой минфиновский напиток. Человек семь или восемь сошли у ларька, Бузгалин краем глаза отметил прибытие автобуса (тот чуть запоздал) и, продолжая разнеженно-мечтательно улыбаться, подвскидывая рюкзак, чтоб утрясти в нем так нужные сегодня, завтра и послезавтра продукты, он, — среди сошедших с автобуса русских, одной крови с ним людей, — опознал того, кто уже нацелен на него, кого обязали в ближайшие минуты сего текущего дня убить его, русского же человека Василия Петровича Бузгалина.

Не пытаясь каким-либо наивным приемчиком усложнить человеку эту задачу и без того неимоверной трудности, кляня себя за то, что сегодняшними бреднями о жизни и смерти он накликал на себя старуху с косой, Василий Петрович Бузгалин решил не спасаться трусливым возвра-

том к центральной просеке, всегда людной, не стал отрываться от идущего следом убийцы и перебегать шоссе перед носом ревушего трейлера, а смиренхонько стоял, ожидая длинного безопасного для пешехода просвета в плотном потоке рычащих автомобилей...

На шоссе этом ночью — одинокие «жигуленки» да «Москвичи», к рассвету ближе — молоковозы и бензозаправщики, днем — с утра до вечера — стайки спящих легковушек, подгоняемые неуклюжими автопоездами и теснимые совхозными грузовиками; колесный транспорт тем не менее пешеходов уважает, сбавляет ход, давая им просачиваться сквозь себя. Но не в пятницу после полудня, когда столица освобождает себя от бессовестно чадающих частников, когда жара гонит обезумевших граждан подалее от бензиновой гари и поближе к травке, вдогонку им посылая все тот же оскверняющий легкие нефтяной смрад, через который пробился все-таки Бузгалин и, оставив далеко за спиной магазинчик и неотвязного убийцу, пошел по тропе, петлявшей среди берез и елей, что заслоняли зады дач от пыли и шума шоссе, что спрячут в себе звук выстрела... За это минутное стояние на обочине перебрались в памяти, день за днем, все четыре месяца после гибели жены: отпуск под Тебердой и четырехнедельное московское бытие, десятки и сотни людей, которые все до единого не без грешка, но, однако же, нет среди них того, кому стало невтерпёж убить его именно сегодня, в пятницу 28 июня 1974 года. Машины, легковые и грузовые, автобусы и трейлеры, пролетали мимо него ветром и пылью, давая время на принятие наиболее верного решения и позволяя почти осязаемо ощущать человека, который шел следом за ним, который изучил, оказывается, его за истекший дачно-московский месяц, чем и надо воспользоваться — как и возблагодарить себя за то, что он, Бузгалин, где-то в рое и сумбуре городской жизни предусмотрел все-таки, того не осознавая, появление убийцы очень высокой квалификации, но старомодной выучки. Каждый день (скорее по привычке, правда) он отмечал отсутствие наружного наблюдения за собой, однако же сегодня в полдень, нарасточав общественной комиссии улыбочек, он бутылку и стаканы с отпечатками пальцев возможных самозванцев не стал промывать и посчитал не случайным совпадением то, что комиссия не очень-то засиделась у него, будто рассчитала, какой электричкой поедет он; люди в комиссии получили заодно возможность увидеть содержимое холодильника и убедиться лишний раз: в магазинчик-то на станции Бузгалин пойдет обязательно! И сам он словно предвидел задуманное кем-то покушение, специально прогулялся по вагонам, чтоб ступить на платформу в том месте, где сошедшие с электрички пассажиры разделяются на два потока: кто идет влево, к северной окраине дачного поселка, а кто вправо, к середине платформы, откуда прямая дорога к просеке, шоссе и магазинчику, и этот незамысловатый маневр обнаружил бы следом идущего. И расписание рейсов автобуса давно уже засек в памяти, и в магазинчике подзадержался, чтоб заприметить замыслившего убийство человека, который месяц его выслеживал, так и не обнаружившись, и уже одно это — свидетельство квалификации, сертификат качества, так сказать. Нашел человек и наиболее правильный способ устранения, выбрав для акции эту лесную полосочку, наименее людную в предвечерние часы и очень шумную; пистолет, разумеется, с глушителем, а чтоб пресечь все случайности, прихвачен с собою и короткоствольный автомат, скорее всего — «узи», он-то и был в сумке человека, сумка эта сразу бросилась в глаза, была она тяжеловата — судя по тому, как сходил с автобуса человек, а покинул он его последним, чтоб тут же скрыться за спинами людей; ни лица, ни фигуры в целом Бузгалин не увидел, лишь фрагмент тела — выпрямляемую для земной опоры ногу, сумку у колена, но и того было достаточно: лет эдак сорок восемь — пятьдесят, рост не более ста восьмидесяти сантиметров, то есть примерно пять футов и десять дюймов, а руке, державшей сумку, привычны тяжелые физические нагруз-

ки. Далеко не молод — выдернули, значит, из глубокой консервации испытанного специалиста, исполнителя верного и не засвеченного, который проехал вместе с ним от дома до вокзала, сел в дальний от Бузгалина вагон, вышел в райцентре, превосходно зная расписание автобусов и выставляв путь Бузгалина от станции к даче с заходом в магазин. Кто его начал — покажет манера исполнения этой странной операции, ведь вроде бы существует никем — ни чужими, ни своими — не отмененное джентльменское соглашение: ребята, все можно, а вот этого — нельзя! Ну а если пуля найдет цель, то нелишне напомнить самому себе: жизнь все-таки удалась, дело, не им начатое, на нем не кончится, продолжится многими славными свершениями, и хоть нет жены, нет детей, не бесследно, нет, не бесследно пройден короткий путь, и есть некоторая закономерность в том, что оборвался этот путь на родной все-таки земле, не на чужбине!..

С разрывом в тридцать секунд они пересекли шоссе, и Бузгалин стал осваивать крадущегося сзади человека, вживлять его в себя, чтоб работать с ним. Для начала в памяти растянул как резину ту долю секунды у магазинчика, что показала ему — среди покидавших автобус людей — согнутую в коленном суставе ногу и руку с сумкой. Он утвердил человека на земле, он вместе с ним пошел к шоссе, он обогнал его — и теперь чуял его лопатками, затылком, свободным от рюкзака плечом. Кто-то из приехавших задержался у ларька с творогом и сметаной, остальные, кроме человека с сумкой, пошли к просеке. Не исключено, что некоторые избрали маршрут Бузгалина, однако между ними и человеком образовалась дистанция метров в пятьдесят, человек врезался в поток машин, оказался в лесной полосе, и поток отрезал его от идущих сзади, — рискованно поступил человек, весьма опрометчиво, потому что очутился один на один с жертвою, мысленно вцепился в нее, каждый шаг свой вымеряет и выверяет применительно к тому, кого намеревается убить, и, следовательно, подпадает под не ощущаемую им волю противника. Бузгалин на мгновение приостановился, перекладывая рюкзак на правое плечо, и уже этим сбил преследователя с ритма ходьбы, с рассчитанной последовательности действий. Десять, пятнадцать секунд миновало, а спина шедшего вразвалочку Бузгалина защищалась то осиною, то березою. Выстрел, понятно, не должен услышаться никем, и самый благоприятный момент близился, уже подвывал на подъеме двигатель многотонного грузовика, еще двадцать секунд — и рев его заглушит даже очередь из автомата. Бузгалин подал себя отличной целью, выйдя на открытый поворот тропы, чтоб тут же, когда грузовик появился, отринуть тело в сторону, пригнуться, будто увидев что-то любопытное под ногами. И услышал всхлип березы, в ствол которой смачным шлепком вошла пуля. Выпрямился, сделал два длинных шага влево и вновь оказался за щитом русских березонек, давших ему возможность злобно усмехнуться: ведь наемный человек сейчас — это уж точно — выругался сквозь зубы, ему начинала изменять выдержка, теперь он вложит всю сноровку в следующий выстрел, если, конечно, совладеет со своим дыханием, которое сбил у себя Бузгалин, вызвав у преследователя учащение пульса. Да еще и споткнулся, что, однако, на преследователя не повлияло: поняв, с кем имеет дело, он согнал с себя некоторое пренебрежение к жертве и готовился вложить в выстрел все нажитые и сохраненные годами навыки.

Вложил и — поторопился. Отличный стрелок, прекрасная рука, превосходное оружие, великолепный глаз — а пуля срезала ветку чуть ниже левого уха Бузгалина, который, чтоб не терять контакта со стрелявшим, огорченно присвистнул и огорошенно покачал головой — будто это из его пистолета вылетела невезучая пуля. Продолжая безошибочную игру, он безвольно, обреченно замешкался, недоуменно озираясь, явно напуганный чем-то, — и человек сзади размяк на несколько секунд, не зная, что делать

дальше, а когда спохватился — Бузгалин резво пошел дальше, что было ошибкой: впереди — оголенное пространство, двадцать метров без какого-либо прикрытия. Он, цель, на долгие десять секунд окажется в досягаемости нескольких пуль, очередь выпущенных из автоматического пистолета, и прыгай в сторону, падай, отползай — ты на виду, как заяц в тире, и ничто уже не отдернет палец от спускового крючка. Остается последнее и постыдное: одним прыжком одолеть расстояние до забора и перелететь через него. Но и этот цирковой трюк не спасет, пожалуй.

Спасла собака немецких кровей, но русского происхождения, — овчарка вдруг залаяла, унюхав пороховую гарь от выстрелов, сработал сигнал тревоги, вложенный в породу чуткими и злобными предками; лай же позвал к забору хозяина, удивленного редкостной свирепостью тихого стража дачного участка, и не увидеть человека он не мог, а человек, несомненно, постарался оружие опустить в карман или уронить в сумку. Очередная неудача озлобит, конечно, профессионального убийцу не хуже овчарки, в уме он, наверное, сочиняет нанимателю оправдательные объяснения, которые — тут уж не наверное, а точно — будут опровергнуты: исполнителю жестко укажут на вялость и недостаточную рекогносцировку местности, приведшую к тому, что «объект» воспользовался оплошностью и быстрым шагом достиг переулка, свернул в него, чуть позже молниеносным движением открыл калитку в заборе и спрятался, в двадцати пяти метрах от дома, за штабелем приготовленных на зиму дровишек...

Здесь Бузгалин отдышался, коснулся мокрого лба и сбросил рюкзак на землю. Кажется, пронесло. Еще одного выстрела сегодня не ожидается. Труп на лесной полоске — случайное убийство случайного прохожего. Найденное же в переулке да на дачном участке — точная и целенаправленная акция, адресный выбор, что сразу заинтересует милицию. И не только ее. Но кому, кому выгодна его смерть — вот что интригует! И этот выходящий из моды метод устранения: есть ведь десятки испытанных приемов — от дорожной аварии до способа лечения, выбранного группой специалистов; похоронят — и концы в воду. И некому ходить по прокуратурам и жаловаться на медлительность органов, так и не нашедших убийцу. Детьми судьба обделила, Аня — тоже от усохшего корня, жива за рубежом тетка, в Чехословакии, но с ней уже лет тридцать никакой связи. Ну а тот, кто назвался кузеном Ани, — фикция, да и нет его в живых.

Курить хотелось так, что ноздри учуяли сигарету где-то метрах в сорока, и дымил, естественно, незадачливый наймит, уже свернувший в этот переулок, потому что иной путь ему заказан. Вспугнутый собакой, попавший в память хозяина овчарки, сдуру обнаруживший себя так и не убитому им «объекту», он не пойдет по тропке в открытое поле, где его самого подстрелить — пара пустяков. Он тоже понимает, что в переулке — его спасение, здесь подозреваемых — по пальцам перечеть, и пуля не рискнет покидать длинный ствол автоматического пистолета, который вполне может храниться у «объекта». Он, закудивший, сейчас пройдет мимо, чтоб попасть на центральную просеку и добраться до станции. Шаги его все ближе и ближе, походка такая, словно ноги заплетаются, — очевидное плоскостопие, ступни вывернуты наружу, в руке что-то тяжелое — сумка, конечно: израильский автомат «узи» весит немало.

Человек уже шел вдоль забора, приблизился к калитке, и тут Бузгалин его окликнул:

— Дядь Федя, откуда?

Инвалид и пенсионер дядя Федя (участок № 8 по тому же переулку) от неожиданности выпустил из руки сумку, она шлепнулась, издав перестук металла, отчего дядя Федя упал в панике на колени, сдавленно выругавшись матом, который сменился восторженным воплем: показалась четвертинка водки, уцелевшая при падении, не разбившаяся о железяки в сумке, то есть о гаечные ключи, отвертки, тройники, сгоны и прочие принадлеж-

ности слесаря, промышлявшего проводкою труб от колодцев до кухонь и внутри домов. Встав наконец на ноги, он пустился в объяснения, и без того понятные Бузгалину. В райцентр ездил он, за водочкой, но, чтоб вырваться из дому, обманув «бабу», пришлось нагородить ей о халтуре у Микитича, жившего аж на самом краю поселка; Микитичем можно оправдать и запашок, и четвертинку, якобы поднесенную... Говорил дядя Федя так, что только истинно русский человек мог понять его русскую речь: из-за обилия спотыканий на сдвоенных согласных (инвалид шепелявил и гундосил сразу) и сглатывания глагольных окончаний даже увенчанный лаврами зарубежный славист не понял бы ни слова, зато истинное наслаждение испытывал Бузгалин, втягивая в себя комки шершавых слов, подобие тех, что некогда долетали до него, как сквозь вату, когда он еще не жил в утробе, внимая речам родителей...

Спасенная чуть ли не божественным волеизъявлением четвертинка продемонстрировалась Бузгалину, ему же и предложено было отпить «чуток», но тот отказался и продолжал смотреть на сумку с разводными и гаечными ключами. В ней, конечно, не было ни короткоствольного автомата «узи», ни длинноствольного пистолета, ни винтовки, естественно, с оптическим прицелом, — не было и не могло быть, потому что дядю Федю вчистую освободили от армии, оружия он не держал в руках отродясь, сильно отличаясь от Бузгалина, который не только видел на экранах разные кольты и парабеллу-мы, но и лично стрелял несколько раз из пистолета — годиков эдак двадцать или восемнадцать назад. Сейчас бы тот пистолет, сейчас бы засадить в небо всю обойму — и на радостях, и в гневе, потому что дядя Федя преподнес еще один сюрприз: собрание, которое намечалось на завтра, уже состоялось! Сегодня, в полдень! И все на нем решено в наилучшем, как уверял дядя Федя, виде: за подключение семнадцати участков к магистрали рвачи из газовой конторы требовали с каждого двести пятнадцать рублей! Более того, они обязали хозяев самим прорыть траншею для труб, глуби-на — не менее пятнадцати сантиметров и строго прямо, что нанесило Бузгалину ущерб: под топор уходила осинка, свалить которую труда не представляло, но изволь потом объясняться с другой конторой, той, что печется о сохранности леса и запрещает вырубки.

Мелькнула над изгородью бравая кепчонка дяди Феди, человека, который никого не собирался убивать; человека, который так и не понял, какое благодеяние совершила издевавшаяся над ним газовая контора; прикати вдруг сегодня утром к дяде Феде два приодетых под интеллигента молодчика, сообщи они дяде Феде, что перечисленные им через сберкаассу деньги поступили на счет их учреждения и газ сейчас подадут в его дом («Нет, нет, мы сами все сделаем, не извольте беспокоиться, траншеекопатель уже приступил к работе!»); откажись к полному недоумению дяди Феди молодчики эти от выпивки-магарыча — и жизнь советского инвалида-пенсионера будет сломана, потому что представителей конторы он примет за налетчиков, подводку газа посчитает, совсем озверев, уловкой, каждый день будет ждать отключения родного жилища от источника тепла и света, забросает милицию и все райконторы жалобами, как это уже было однажды, когда под какой-то праздник пьяненькие монтеры протянули от столба телефонные провода к нему и поставили аппарат, содрав мизерную сумму, ошеломив тем самым дядю Федю и погрузив его в тяжкие думы, которые неизвестно чем кончились бы, не обнаружись голенькая правда: телефонировали дачу по ошибке.

Бузгалин опустошенно вытянулся на земле, лежал неподвижно — кучей прошлогодних листьев, чуркой, на которой пытался в прошлый приезд расколоть упорное самолюбивое полено, — лежал рядом с той осинкой, которую надо свалить, спилить, срубить, уничтожить, что ли, ради трубы в траншее. Несколько часов назад сравнивал жизнь с рекой, державно текущей, почти неподвижной, допускал усыхание ее, и только сейчас

прикинул: а какова глубина ее, чем вообще измерять эту реку? Длиной — от истока до устья? Шириной — от берега до берега, причем один из них пологий? Годами — от момента, когда родничок пробился, до шума, с каким бурный поток низвергается в океан бессмертия? Или все-таки — страхами? Которые пронизывают — от макушки до пят — омерзительными желаниями бежать без оглядки, застыть на месте, сливаться с красками и формами той веточки, на которую тебя, жалкое насекомое, поместила судьба?..

Мельтешили ветки над головой, какие-то тучки плыли в небе, муравьи забрались под штанину и покусывали ногу, но беззлобно, не жалея, муравьи тоже наслаждались бытием, которое допускает мелкие обиды и укусы, но бытие, однако, требует почти невозможного — уничтожения рядом растущей осинки; и жалко, жалко деревца, потому что из многотомной истории этого земельного участка вырвется лист, повествующий о давних событиях. Осинке лет пятнадцать, она проросла из семени и растолкала никем здесь не убираемую листву в годы, когда неженатый старший брат стал обустривать купленную дачку. При ней десять лет назад сносился гнилой забор и возводился нынешний. Она слышала голоса сослуживцев брата, но уж самого его, умершего в московской квартире, проводить в последний путь прощальным шелестом листвы не смогла. Зато она — шесть месяцев назад — увидела брата покойного, Василия Петровича Бугалина, мгновенно полюбившего эту землю с домиком, — и не только его узрела. Они вернулись из командировки, начинался их отпуск, и Анна захлопала в ладоши, так ей понравилось здесь, в этом уголке леса, и Анну, наверное, осиночка тоже полюбила. И дядя Федя тоже полюбил, с первого очумелого взгляда... И все-таки — рубить, пилить, снимать, она уже умерла, она иссохла, она уже не в ладу с почвой, та ее не принимает, та отказывается давать ей соки земли, потому что тело осиночки не переваривает эти соки, у маленького деревца — непрохождение пищи по кишечнику. В сарае, кажется, есть пила, но лучше уж не мучить воспетую народом страдальицу леса, невзрачную, всегда чем-то опечаленную, чем-то напоминающую так и не вышедшую замуж ту, сестры которой давно уже пестуют детей. Подрубить корни, которые, как жилы у старика, проступают и взбугривают почву, предать осинку одному из древнейших способов погребения, сожжению то есть, и Бугалин — не вставая, лежа — дотронулся до холодноватого ствола, будто коснулся лба мертвеца в гробу... Огонь и дым вознесут к небу память о брате, о скрипе калитки, впускавшей их, его и Анну, на покрытую снегом дорожку к дому. Но еще больше об истории земли этой поведают остающиеся на участке березы, эта ель, вымахавшая метров на пятнадцать и чудом спасаясь от гибели, когда безмозглый и наглый сосед вознамерился ее ночью спилить, потому что, видите ли, она загоразивала тенью его грядки, мешала плодоношению, и спасибо дяде Феде, инвалид учуял беду, примчался, как только услышал взвизг бензопилы... Ели этой лет семьдесят, и она знает то, что неведомо ни одной районной конторе, битком набитой разными документами; ель видела тех, кто до брата хозяйствовал на этой земле, она, конечно, помнит и давний спор мужиков с топорами, решалась ведь судьба елочки... Все помнят всех и всё вокруг — из разных эпох и частей планеты: мягкой подстилке из листвы всего год, а самой Земле — несколько миллиардов лет; лопата, которая через час начнет выдирать из земли комки почвы, сделана совсем недавно, во всяком случае, куплена месяц назад; холодильнику, судя по приложенным к нему бумагам, полгода всего, и не потому ли весь мир устойчив и не распадается, что весь собран из деталей, которые точно не знают, как появились они на свет, и не ведают, когда топор или коса подрежут их.

Обнаглевшие муравьи поползли по голеним вверх и впились в чувствительные места, заставив Бугалина приподняться и отряхнуться от прилип-

ших с утра мыслей о всеобщих категориях, бесконечности трансформаций материи и бренности жизни. Вместе с муравьями спрятались они куда-то под листву, зато с пугающей обнаженностью возник вопрос: что же там, в лесной полосочке, которая вдоль шоссе, произошло? Пуля — вошла в ствол березы? Была ли она вообще? И сколь долго еще будет струиться, разделяя берега, водная артерия, называемая Бузгалиным?

В том вагоне электрички, где почудился ему образ СССР, сидели и те, кто был в истоках этой нешумной реки. Родители и старший брат пахали в самом буквальном смысле этого слова, неугомонный мальчонка оставался под присмотром деда, который заприметил за непоседою странность: шестилетний Вася частенько подходил к колодезному срубу и всматривался в рябь и гладь крохотного квадрата воды далеко внизу, подавался вперед, ручонки впивались в осклизлое дерево, отстраняя тело от желания полететь туда, в черную гулкость. И дед, сберегая чересчур шустрого внука, сказал, что на дне колодца — уйма змей, волков, тараканов, — сказал, не ведая, что такое же скопище несовместимостей увидит взрослый внук, когда всмотрится в собственный мозг, в нераспутанный клубок желаний, и еще до Анны, которая научила его видеть копошение своих и чужих мыслей, познал он на себе власть пригретых мозгом скользких существ, впивающих в тебя ядоносные зубы.

Так почему после магазинчика с картошкой и коньяком помутился разум, подменивший простой и ясный мир ощущаемых вещей буйными фантомами? Кем разбита склянка с ядом, чей палец открыл клетку с шипящими гюрзами и кобрами, кто напустил на него химеры? Кто вспугнул мозги? Уж не вагонная ли студентка, пумой распластанная на нескрипнувшей ветке, готовая полететь вниз и острыми клыками впиться в шею? Или так никогда не исчезающий из памяти негр великанского роста, верзила, чья пудовая длань придавила к заснеженному асфальту? За давностью лет уже не помнилось, в каком месяце это было, но, это уж точно, зимой и не позже 1961 года, потому что по Вашингтону еще ходили троллейбусы; накануне грянул снегопад, общественный транспорт замер, раннее утро, на небе ни просвета, горят редкие фонари, восток столицы, кварталы бедноты, дело простенькое — заложить в тайник донесение не бог весть какой важности и срочности, таких закладок он уже навывполнял уйму, дом и лестничная площадка определены, проходные дворы еще позавчера изучены, условия мало чем отличались от обычных: трижды пройти по улице (туда, сюда и обратно) и лишь затем нырнуть в подъезд. Холодноовато, на голове вязаная детская шапочка, чтоб нехитрым приемом этим сбавить годы и сантиметров на пять уменьшить рост, ботинки теплые и прочные, прохожие редки, полицейских не выдать, знак безопасности выставлен, последний отрезок контрольного маршрута — и можно нырять в темноту вонючего подъезда, не только можно, но и надо: капсула с текстом уже в куртке, переложена из карманчика трусов. И вдруг — приспичило, ужас как захотелось справить малую нужду, и не было уже возможности забежать за угол. А рядом — полужансенный снегом «фордик», дрожащие от нетерпения пальцы расстегивают ширинку, моча радостно изливается, истома наслаждения прокатывается по телу — и чья-то рука опускается на плечо: «Что делаешь?» Он медленно повернул голову: полисмен, негр, по рту жвачка. Машинально ответил: «Писаю, офицер!» Негр притянул его к себе, глянул на то, чем занимается юнец в детской шапочке, и увидел бурую скважину, проделанную струей мочи в снегу, не лежащим, однако, на «фордике». И пошел дальше. Бузгалин метнулся в подъезд, сунул капсулу в углубление; спустя час, достаточно попетляв, покинул обиталище нищих, вернулся в гостиницу, день прошел как обычно, но через какое-то время почувствовал рези в самом низу живота, и вспомнилось, что уже какой час мочевой пузырь не опустошался, а вечер-то на исходе. И еще несколько часов мучений оттого, что по неведомой причине заклинились какие-то клапаны мочетока. Чуть ли не

теряя сознание, пришел утром к урологу, на свет божий появился прибор, называемый катетером, моча излилась, шуточный диагноз эскулапа домыслился: испуг в тот момент, когда рука негра-полисмена легла на плечо. Думать стал, думать, кое-что почитать, а потом Анна, с ее теорией флоры и фауны человеческого мозга, обучила искусству проникновения не только в чужие, но и в свои мысли, и уже не казалось странным, что с того Вашингтонского утра он невзлюбил столицу США, как, впрочем, по иным, но близким к негру-полисмену поводам Шайенн (штат Вайоминг), Уичито (штат Канзас) и еще несколько местечек на бескрайних просторах страны, где, однако, процветали и ждали его другие, более к нему благосклонные города, Чикаго, к примеру, или даже Уичито-Фолс, поначалу пугавший его созвучием со зловредным городишком, но затем ублаживший прекрасной вербовкой.

Рука нащупала ключ под ступенькой крыльца, рюкзак развязан, маленький холодильник «Саратов» (последнее приобретение) принял в себя колбасу, сыр и масло, к счастью, не растаявшее; надо бы соорудить что-нибудь вкусненькое под коньячок, но неразгаданная тайна влечет, манит; домик закрыт, ключ опускается в карман, и Бугалин быстрым шагом вышел на центральную просеку, чтоб повторить путь свой от электрички до магазинчика, а там уж дойти до березы, в которую впились (или не впились?) пуля.

Минут десять оставалось до магазина с танкоопасной продавщицей, когда под самым носом тормознул «Москвич», откуда вылезли Коркошка и Малецкий, обрадованные тем, что успели перехватить его. В глазах верных сподвижников — зеленоокрашенные заборы воинских частей, неприступные часовые и уставная неподкупность, что исключало вопросы о том, кому понадобился Бугалин в тот час, когда рука почти дотянулась до ствола березы. Мелькнувшие догадки были равноценны: срочная консультация, церемония вручения какого-нибудь значка или ордена, ознакомление с приказом о новом назначении. До темноты еще далеко, пятый час длинного июньского дня, к речке тянутся дачники, набросив на головы полотенца, полосочка леса вдоль заборов насквозь просвечена солнцем, к шести вечера этот же «Москвич» доставит его сюда, и рука на березе скажет: Василий Петрович Бугалин не просто жив и здоров, а не доступен никакой психической порче!

«Москвич» покатил не в столицу, а выбрался на кольцевую дорогу и устремился в глубь Подмосковья, через полтора часа уткнувшись в полосатое бревнышко, преградившее дорогу и названное бы шлагбаумом, будь рядом с ним стражник. Коркошка преграду эту приподнял, «Москвич» беспрепятственно въехал на щебеночную колею, вновь понадобилась могучая рука Коркошки, ворота отошли в сторону, открывая взорам громоздкую двухэтажную дачу. Вдруг сидевший за рулем Малецкий (Коркошка еще управлялся с воротами) повернулся, озабоченный, к Бугалину:

— Василий Петрович, решено произвести захоронение вашей супруги... Индонезия, Джакарта.

В январе они прибыли в отпуск, предполагалось, что в марте вернутся в Штаты. Но Анна погибла, тяжелейшая травма нанесена легенде, потому и прервалась командировка, потому и торчит он здесь. Официальная же кончина миссис Энн Эдвардс вызовет мистера Эдвардса из небытия, он обретет статус надломленного горем вдовца.

— Какую смерть предпочитаете? От болезни? Или... Кораблекрушение? Случайное убийство? Несчастный случай?

— Все, кроме автомобильной катастрофы...

— Это усложняет... Ваше присутствие при погребении или кремации?..

— Необязательно.

«Москвич» еще не въехал на участок, еще далеко до момента, когда пересечение госграницы — что прыжок с неизвестно как и кем уложен-

ным парашютом, но уже громко — в ушах отдается — стучит сердце, наполняя грудь ощущением высоты, заоблачности, глаза приобретают необычную, тобой только понимаемую зоркость, все люди кажутся инопланетными, наивными и не для земных корыстей рожденными, потому что все их хитрости будто напоказ, и в глазах этих венеро-марсиан можно прочитать, кто они, о чем думают и что намерены делать... И сладостный — до боли — страх, которого ждешь, который пришел наконец-то, делая тебя истинно живущим, возвращая в детство, в побои деда за то, что так любилось перебегать одноколейку под самым носом паровоза!..

И — тянет в страну, которую он любит, в Соединенные Штаты Америки, и нет нужды по-воровски красться к несчастной березоньке. Да никакой пули не было! И не стрелял никто, не стрелял! И не мог стрелять, измышленный убийца — фантом, плевков мозга, натруженного долгими страхами. Тем более что вокруг — пахучая прелесть земли, леса, вещьность, которая убеждает, которая опознается зрением, обонянием и осязанием. На дачном участке — ели, наклон солнечных лучей и тени выкрасили древесные стволы под всеобъемлющий и всеохватывающий шлагбаум...

Кустов Иван Дмитриевич (действующий оперативный псевдоним — Кронин), член КПСС, изменник Родины, — человек, которого надобно было вытащить из США, — русский, майор, женатый, родился 18 июля 1937 года в селе Коросты Мценского района Орловской области. Отец, Кустов Дмитрий Леонтьевич, погиб в ополчении под Москвой (справка Министерства обороны). Война застала Ванюшу на месте рождения, никаких сведений о поведении мальчика на оккупированной территории нет и быть не могло: что взять с малолетки, оказавшегося под немцем. Работай Ваня на заводе, с него бы ничего и не взяли, но отобрали его служить в разведке, и кадровики хотели о нем много знать. И узнали, расспросив уйму людей, разрыв архивы и покопавшись в биографии матери, Марии Гавриловны Кустовой (до замужества — Столярчук), украинки, 1916 года рождения. Разрешившись от бремени, не дозволенного студентке, мать препоручила сына бабке, сама укатила в Харьков продолжать учебу в институте, но всю оккупацию просидела с сыном в хате, о чем писала во всех анкетах и что подтверждалось. Особо впечатлял момент, когда она, прятавшая от немцев буйную красоту свою, предъявила ее своим, русским мужчинам утром 17 сентября 1943 года: лужайка перед госпиталем (ХППГ-45 — хирургический, полевой, передвижной), скамейки, раненые полукругом и ширококопая рослая женщина лет двадцати пяти, на которую взирали как на небесное тело, вдруг оказавшееся на земле; за руку ее держался болезненный хлопчик, на головку которого мать напялила дедовскую буденовку. Любый мужчина догадался бы, что сегодняшние бабские страсти будут бурлить в этой женщине до смертного часа. Мажь она губы не мажь, а они будут гореть пунцовым пламенем, румяна тоже излишни, как и сажа, какой сельские девахи обозначали брови, подражая городским красоткам. Грудь и бедра поражали воображение, глаза широко расставлены, нижняя челюсть слегка выступала, нос не классический, несколько придавлен; женщина была в длинной юбке и деревенской плюшевой кофте, косы подняты на голову и уложены в три кольца. Сын Марии Гавриловны, то есть Ванюша Кустов, был излечен от хворей, и какие именно хвори на него напали — помог редчайший случай, везение, в военно-медицинском архиве, что в Ленинграде, нашлась история болезни шестилетнего Вани: рожистое воспаление кожи нижних конечностей, начальник госпиталя не допустил мальчика в палату, рож — заболевание инфекционное; мальчика избавили от заразы, диагноз — много лет спустя — подтвердил главный хирург; он, правда, сослался на давно протекшее время: «Ну, раз так написано, так надо верить...», а о матери выразился еще проще: «Да была какая-то... Всех не упомнишь...» Так и записались особистами эти слова, когда к Ивану Ку-

стому начали в техникуме присматриваться и определять годность его к закордонной службе.

После излечения сына от рожи мать оставаться в селе не пожелала (все братья и сестры ее погибли — со слов свидетелей, заверенные копии из районных загсов), вместе с семилетним сыном переехала на Урал к дальнему родственнику, там и вырослел Иван Кустов — в рабочем поселке при оборонном заводе; быт и быт, школа и спортивные секции (бокс, гимнастика, бег — почетные грамоты за то, другое и третье, включая ученические успехи, наличествовали). Тяга к точным наукам, однако рисовал, сочинял стихи, в драмкружке — на первых ролях. Школа окончена в 1955-м, представлен выбор — либо институт в Свердловске, либо техникум при оборонном заводе, хороший заработок по окончании — с последующим заочным обучением в том же свердловском институте (ответ военкомата по запросу Москвы). В техникуме и начал Иван выделяться — умом, смелостью, пытливостью (донесения агентуры). Отобран кандидатом для возможной службы в разведке, после призыва в армию предупрежден: предстоящая военная специальность — сугубо секретная, вместе с присягой — соответствующая подписка (прилагалась). Четыре года обучения — в группе и индивидуально, специализация — латиноамериканские страны с упором на Бразилию, попутно Англия, Штаты. Профессий несколько — от часовщика до фотомастера. В 1960-м — Чехословакия, английский паспорт, донесения тамошней наружки изучены, поведение признано хорошим; потом Греция, вполне удовлетворительные отзывы резидентуры. Благополучное возвращение, одобренный отчет. 1961 год — Австралия, Ивану Кустову не повезло с самого начала, для заброса туда готовили опытную пару, холили ее и лелеяли, поэтому и не попала она в южное полушарие: есть предельные, критические даже сроки подготовки, существует предел, рубеж, после которого нельзя людей посылать за кордон, они — перезревают, они уже с тухлятинкой; но, возможно, особым чутьем начальство поняло: начинается полоса провалов, нельзя ставить под удар ценнейших агентов, уж лучше послать новичка. А на него, новичка, навалились неудачи — с того момента, когда несмелая нога ощутила твердь зеленого континента. То мама опекала Ванюшу, то школа, то техникум, то комсомол, то просто соседи и знакомые, то, наконец, инструкторы, воспитатели, наставники в погонах и преподаватели, надзор за Иванушкой-дуррачком (а именно таким попал он в Австралию) велся с колыбели — глазами сотен и тысяч людей, последние годы — натасканной службой наружного наблюдения, Иванушка проверялся этим стоглазым надзирателем — и вдруг будто в открытом космосе очутился, да еще с запасом кислорода на несколько часов, потраченных им на поиски места, где можно уничтожить промежуточные документы. Вонючий сортир на окраине Мельбурна, сливной бачок не работает, обрывки внутренностей паспорта в канализацию не уносятся, обложка, правда, не выдержала огонька зажигалки, вытлела. Вспарывается портфель, извлекаются документы, которые через сутки обнаруживают полную непригодность и абсолютную опасность, потому что изменил Родине посольский работник, допущенный к кое-каким секретам, объявился в полиции, и газеты захлебываются от его разоблачений. Первый аварийный сигнал, за ним — другой, и страх сковал Ивана, бешено скачущая работа мозга выдала, однако, единственно верное решение. В контрольных точках не появлялся, резервный вариант отпал сам собой. Человек забился в щель, затаился, чтоб начать жизнь заново. Аварийная консервация на неопределенный срок, Иван на два года выпал из поля зрения, на всякий случай уничтожили ту катапульту, которая зашвырнула лейтенанта Кустова на чужой во всех смыслах континент, чтоб никто не мог по следам его прийти к этой катапульте, а Бузгалин, изучая в отведенной ему квартире папки с личным делом Кустова, понимающе хмыкал и сокрушенно покачивал головой, поскольку сам дважды попадал

в такие передраги, кляня при этом московских начальников и все же надеясь только на них, в едином порыве самоспасения не отделяя хулы от надежды. В тиши московской квартиры, хозяин которой — знакомый Малецкого — пребывал в командировке, можно было отвлекаться на филологические изыски, читая многотомную и нескучную историю неудавшейся жизни заброшенного на чужбину русского человека, одного из тех, кто по пятницам втискивается в жаркие вагоны электрички и едет на дачу, — именно заброшенного, потому что «заброс» — это операция по отправке за кордон, но и о человеке, который забыт и отвергнут всеми, который, невымытый, нечесанный и вонливый, бродит по белу свету, тоже говорят: заброшенный. Про Австралию хлестко рассуждала Анна Бузгалина, так и не дожившая до предательства Кустова. По Анне получалось, что эмбрион, проходя все стадии развития от амебы до высшего примата и превращаясь в человека, как бы совмещает в себе сразу и одноклеточную водоросль, способную лишь делиться надвое, и мерзкую жабу, и змею, и парящего в небе орла, и все, все, все! Мозговые образы пращуров застряли в черепе, будоража его: неспроста древние называли созвездия — Большая Медведица, Скорпион, Гончие Псы. И человек обладает всеми свойствами прародителей: он может, как питон, стискивать недруга в объятиях, выслеживать его с высоты орлиного полета, месяцами или годами сидеть в засаде, окатывать его бранью, как лаем, на страницах газет, но и с великодушием сытого хищника миловать малоценную добычу; ниже травы и тише воды — вот и каким может быть человек; так называемый гомо сапиенс потому стал отличаться от животных, что населил свое сознание мыслями, имя которым — те же змеи, волки, орлы, пумы, лягушки; он — венец природы, ибо обитающие в нем существа — оборотни: волк, например, может прикинуться зайцем, а овечка вонзить внезапно отросшие зубки в становой хребет мастодонта; мозг похож на охраняемый государством заповедник, огражденный черепной коробкой, где уживаются звери и птицы, сосны и папоротники, обезьяны и белки, где колеблющееся равновесие: что-то убывает, что-то прибывает, и вся человеческая психика — это реакция заповедника на вторжение инородной флоры и фауны или потворство бесконечным дрязгам ревнивых вольнолюбцев, так и норовящих выпрыгнуть, пообщаться с такими же беглянками; мысли рвутся наружу, претворяясь в лживые слова, в манерные жесты и корявые буквы. Когда однажды разговорились об Австралии, Анна так высказалась: да там же сумчатые, там утконосы, там иной, отличный от всех континентов мир флоры и фауны, любой разведчик сам себя разоблачит, если он родом из Европы или Америки, и в этой osobости — причина вязкой шпиономании австралийцев, они подозрительны ко всякому иностранцу!.. Из той же теории следовало: само место рождения человека, то есть точка на географической карте, предопределяет его сознание, вот и она, родившаяся в Штатах, не прожившая там двух месяцев и увезенная родителями в Москву, тем не менее сразу заговорила по-американски в возрасте тринадцати лет, а попав на континент этот — освоилась почти немедленно, придав ему, Бузгалину, уверенности...

Умница, редкостная женщина, в чужие зоопарки, леса, заповедники и цирки могла входить так, что угрожающих стоек звери не принимали, продолжая нежиться под солнышком, и если поднимались на лапы, то для того лишь, чтоб подойти к незваной пришелице и лизнуть руку. И все же — как ей тяжко пришлось в Штатах! Полгода ухлопала, приручая соседей — сквалыг Дентонов и ханжей Гокинсов! И намного дольше — прорывая эшелонированную оборону Американской ассоциации супружеской и семейной терапии, весьма не жаловавшую дипломы иммигрантов. Чужаков нигде не любят, а в консультанты-психологи даже не всякий американец после интернатуры принимается, с лицензией в штате Иллинойс еще и свои трудности. Но — приняли, но — полюбили, и бок о бок живший с

дипломированным психиатром Бузгалин не мог не спрашивать супругу о том, что такое мозг, и она отвечала... А однажды — умолкла, приказав ему никогда не задумываться над бурями и штормами в чужих и своих извилинах. Произошло это после того вечера, когда пожаловала к ним гостья, давняя пациентка, женщина лет двадцати пяти, у нее были когда-то какие-то неврозики, неопасные фобии, и Анна вместе с нею шарила по пыльным углам ее памяти, что-то заодно корректируя. И нашла — забытый разговор родителей (а как не забыться: те при младенце решали, куда спрятать завещание). Женщина не поверила, но год спустя перетряхнула сундучок в спальне, с этим-то известием и прикатила, после чего Анна надолго замолчала, а когда все-таки Бузгалин поинтересовался как-то, а что все-таки хранится в мозгу, она ответила тихо: «Все». Он переспросил с уточнением: что именно откладывается в извилинах от года к году, и Анна вновь ответила: «Все... И не от года к году, а от века к веку...» И глаза ее стали такими, что заглянешь в них — и голова кружится, будто над тобою черное ночное небо и стало известно, что звезд больше не будет.

Слыхом не слыхивал Иван Кустов о теориях Анны Бузгалиной, хотя, возможно, и не согласился бы с ними, потому что дичком привился к австралийской ветке и оказался таким живучим, что начальство ушам не поверило, когда он, находившийся в нетях и вроде бы сгинувший, вдруг объявился в Риме, откуда и пришла в Москву шифровка, над которой неделю ломали головы, пока не отрядили в Австралию гонца: Кустов, зря не теряя времени, выполнил побочное задание, нашел тайники для агентуры. Ему и тайникам этим учинили жесточайшую проверку, убедились: чисто. Кустов же не только процветал, открыв свое дело и обзаведясь полезными знакомствами, но и соорудил надежное прикрытие для будущего, задокументировал и обрел бразильское гражданство, кровную связь со страной, откуда сбежал в поисках приключений (от чего не смогли удержать его давно почившие родители). Когда же пришло время порывать с зеленым континентом, то так умно сделал, что порушил свой бизнес чужими руками, лопнул с негромким треском, но достаточно ощутительно для местной прессы. С повинной головой неудачник явился в бразильское посольство, прибыл на родину, в свой штат, обнюхал и осмотрел места, якобы совсем забытые за время скитаний. Три года (еще до Австралии) трудились в Москве над его легендой, все получилось как нельзя хорошо, настало время обывкания, установлены каналы связи, пошла работа, нашлась указанная им же фирма, которая дышала на ладан, которую спасли от краха, которая и передвинула Ивана на север, поближе к границам США, но в достаточном удалении от ФБР. Обосновался наконец в Колумбии, охватил сеть (был приставлен хороший вербовщик) Центральную Америку, информация обширная, ценная уже тем, что она — информация и течет регулярно. «Курочка по зернышку клюет!» — говаривал когда-то Бузгалину инструктор, и зернышки, хоть и мелкие, подбирались Иваном. Однажды побывал в СССР, виделся, как положено, с матерью. Семь благодарностей в личном деле, медаль «За боевые заслуги». И — не женат, что начинало уже обоснованно раздражать. Бизнесмен местной выпечки смотрится доверчивей при супруге, с детства известной полиции; желателен здоровый консерватизм семьи и кое-какой капиталец, освобождающий Москву от лишних трат на валютное обеспечение агента. Наилучший вариант — женитьба на среднего достатка американке с последующим гражданством, но что-то удерживало от такой женитьбы и самого Кустова, и того человека, который в Москве вел его по американским тропам. А дальнейшее холостячество грозило бедой, погружением в пьянство, признаки которого уловились за много тысяч километров: недуг такого рода знаком и хорошо изучен. Страх становится привычным, само течение жизни, треволнения быта заглушают его; он, страх, сам становится бытом, но над флорой и

фауной в черепной коробке как бы нависает унылый, протяжный звук, и никакие затычки в ушах не ослабят его и не прервут, он уже тот воздух, которым дышится, небо, под которым живут и двигаются люди, — противный надсадный звук, что может оборваться в момент, когда в дверях появится полиция, и — порою — ареста ждут с нетерпением, а то и начинают вроде бы бесцельно кружить вокруг того офиса, где обосновалось региональное отделение ФБР; человек, годами чующий слежку, так свыкается с опасностью, что уже и жить без нее не может. Он, страх, и целитель, он и вредоносен, он и гибель, он и наслаждение. И спасение от него есть, надо чем-то увлечься — живописью, собиранием марок (а зверюшки мозга хихикают: правильно, марки — это хорошо, если заподозрят, сколько времени уйдет на версию о шифре в кластерах). Но наилучшее хобби — алкоголь, никогда, впрочем, не опьяняющий до потери сознания, и случайные женщины, наконец, с которыми можно сблизиться только в постели, а те, отдавая себя, и прошлое свое дарят мужчине, заодно обещая и будущее, и обижаются, когда взамен получают какое-то ненормальное (о, как они это умеют чувствовать!) влечение к себе, и мужчина засекается в памяти, что опасно. (Мужчины с двойной или тройной биографией припоминают к себе женщин какой-то, странно вымолвить, избыточной ущербностью.) Живи и работай Иван в родной стране — давно бы детей нянчил, у него в техникуме и девушка была, и письма ей посылал с курсов, и начальство одобрительно посматривало на будущую жену, но — несчастье, автобус переворачивается, среди погибших — та девушка, и более всех горевало руководство...

Только отсутствием боевой подруги объяснялись глупость и вздорность предложенного Кустовым плана, доставленного в Москву курьером. Костяк реальной власти в США, писалось, будет на следующее десятилетие формироваться всего лишь из двухсот представителей истеблишмента, и вот вам имена пятерых, которых можно завербовать, на которых надо ставить, которым в нужный момент напомнят кое о чем, от которых и потечет информация. Люди эти после выборов 1972 года приблизятся вплотную к таким должностям, как заместитель председателя комитета в сенате, а кое-кто втиснется в губернаторское кресло, имея серьезные виды на Белый дом. План этот хорош был тем, что — невыполним, поскольку все в Москве доподлинно знали: ни губернаторам, ни сенаторам невозможно платить ни чеками, ни наличными, ни открытием счета в каком-нибудь люксембургском банке. Что все они продажны — спору нет, но возникают сложности с мотивировкой того, что называется предательством. Идея должна руководить сенатором, и не какая-то там «борьба за мир» — идея, сглаживающая какой-то душевный дискомфорт, удовлетворяющая какому-то интеллектуальному изыску, равноценному тривиальной наркомании или назревающей педофилии; и толкнуть же на сотрудничество должен человек, близкий к сенатору, внедренный в семейное окружение, на что уйдет уйма денег с минимальными шансами на благополучный исход операции, которую и доверить-то некому. Наконец, весь опыт указывал: не надо подкупать президента, достаточно взятки секретарю, который всего-навсего (и этого достаточно!) в подаваемой ежеутренней информации поменяет местами два доклада, наиболее запоминающим и нужным сунув последний. Но на этот дальнобойный — по секретарю — выстрел угробится столько пороха, что ни одна разведка мира не раскошелится на такую операцию; тот же опыт говорил, что вообще-то вербовки «сенаторов» возможны, однако только случай может подбросить рыскающим по США разведчикам такой шанс, только счастливейшее стечение обстоятельств.

И Кустова одернули — раз, другой, третий... За Кустовым установили более строгий надзор. Обидных провалов с тяжкими последствиями, к счастью, не было, успехи же внушительны, за что майор удостоивался похвал, и за дело благодарности объявляли, за дело, памятуя, однако, что ценность

любой информации прежде всего в том, что она есть, эта информация, а уж какая она — это еще проверять надо и перепроверять. В 1970 году решили майора Кустова наградить орденом Красной Звезды, но сочли этот боевой знак отличия недостаточным, не соответствующим его заслугам, поскольку как раз в феврале он передал наиценнейшие сведения о новом палубном истребителе. И шифровкой известили Ивана Дмитриевича, что отныне он кавалер юбилейной медали «Сто лет со дня рождения В. И. Ленина».

В апреле того же семидесятого года в жизни супругов Бузгалиных появился друг, Френсис Миллнз, и его часто вспоминал теперь Василий Петрович, жалел временами и мучился желанием известить его каким-либо образом о смерти Анны, потому что этот человек мог сдуру пуститься в розыски их по всему свету и подпортить, если не сорвать, операцию, которую Бузгалин решил сделать безукоризненной, она стала бы его лебединой песней, что ли, и она же осветила бы смыслом всю службу его — и прошлую, и ту, что начнется после возвращения из Штатов...

Ни в СССР жены не предвиделось, ни в США, ни в Мексике, ни в Бразилии, куда временами заглядывал Иван... И вдруг — удивительное и неразумное: Майами, пляж, и Кустов, будто он в Сочи, знакомится с девушкой, влюбляется в нее и умоляет руководство дать согласие на брак с нею, благословить! Произошло это в середине 1972 года, мальчишеское словечко «втюрился» вперлось в текст шифровки, и куратор призадумался: у нечаянной возлюбленной — не совсем подходящая родословная. Начался сбор всеохватывающих сведений о невесте, результаты еще не были получены, согласие еще только вырабатывалось, как Кустов совершил не первое, но, возможно, самое серьезное нарушение дисциплины: церковь, венчание, таинство по всем канонам. Невеста, супруга уже, — американка, дочь из малообеспеченной и отнюдь не респектабельной семейки, француженка по матери, отец — испанских кровей; натура необузданная, давшая о себе знать задолго до знакомства с женихом, когда Жозефина (такой впоследствии псевдоним получила жена Ивана Кустова), учащаяся школы, в 1968 году рванула, презрев экзамены, в Париж побуйнить вместе со студентами. В сентябре же семьдесят второго молодожены прибыли в Москву, почти одновременно с ними — ценнейшая информация из Гаваны, куда частенько навещалась Жозефина: часами выстаивала речи Фиделя и не раз пылко заявляла, что за Кубой пойдет вся Южная Америка. Скрывать от незавербованной супруги основное занятие мужа — можно, конечно, однако овчинка выделки не стоит, подозрение в супружеской измене — неминуемо, а там уж недалеко до признания в шпионской деятельности, что не всякая женщина примет, хотя чаще всего — вполне удовлетворится и начинает помогать: любовь все-таки творит чудеса. Удалась вербовка более чем успешной. Молодые отбыли за океан, информация от них потекла полезная, подпортилась она тем, что Кустов нежданно-негаданно получил американское гражданство. Такая возможность заложила в самой легенде, гражданство было зарезервировано в ней (мнимые родители Ивана сына своего произвели на территории США, в штате Айдахо), но Кустову приказали держать о сем язык за зубами, поскольку очень уж гладко и ладно вычерчивался путь его к берегам Штатов: настоящая легенда должна быть корявой, а тут все сходилась наилучшим образом, каждая деталь подгонялась к другой безукоризненно, прямо указывая на деланность биографии. Поэтому о природной национальности Иван помалкивал, до истины докопалась нетерпеливая Жозефина, хотя в бразильском паспорте мужа стоял вполне благоприятный, разрешающий житье-бытье где угодно штамп. Из властей Айдахо она вытрясла свидетельство о рождении бразильянца в рочестерской клинике; Ивану не пришлось клясться на Библии в преданности американским идеалам, и то хорошо...

Трехкомнатная квартира, четвертый этаж, кресла под чехлами; еду, газеты и папки личного дела майора Кустова привозили по утрам; обживать здесь не хотелось, Бузгалин спал в кухне на раскладушке, по вечерам слушал настроенный на Чикаго «филлипс»; телефон отключен, телевизор помалкивал; где-то рядом был стадион, оттуда доносились крики матерых болельщиков, но уши предпочитали тихие дворовые голоса, глаза с радостью посматривали вниз: туда, под окна, будто в тупик загнали вагон электрички и сняли крышу, все пассажиры как на ладони. Парнишки возвращаются с вечерних и дневных смен школ и заводов, и среди них те, кого отфильтруют, возьмут в специальные питомники, обучат умению слушать и видеть, на долгие годы забывая имя свое, погружаясь в чужой быт, становящийся родным. И первой их любовью будет не девушка с Марьиной Рощи или с Ленинских гор, а куратор, человек в Москве, кому он станет объясняться в любви цифрами и буквами секретных донесений. Эти шифровки чем-то схожи с любовными записочками из дупла: запоминаются сразу, с одного налета глаз, каждое слово толкуется так и эдак, иногда кажется, что от шифроблокнота пахнет духами «Красная Москва»; составленное в Москве сообщение — как письмо от любимой девушки, которая, тебе не изменяя, поглощена все же множеством неведомых забот; поводырю же московскому иное видится, и не может не видеться, редко какой куратор побывал в шкуре нелегала. Но чтоб держать того в повиновении, надо изображать полное всезнание, лишь оно убеждает изгрызаемого сомнениями человека в том, что кто-то лучше его осведомлен о связях мистера N и шашнях его супруги. Отлично сознавая, что куратор с потолка берет информацию, человек верит каждому слову его, потому что — кому еще верить? Так скрепляется телесная и духовная связь, и агент, со всех сторон теснимый врагами, порою начинает беспокоиться о своем московском любимом: а он-то как там — что в семье его, хватает ли денег на пропитаньице в полуголодной стране... Никто еще не воспел этот жанр возвышенной лирики, эту драму и трагедию тайной связи, эти страсти, которые помнятся до конца жизни, эти бурные волнения, когда идешь на выемку так, будто тебя ждет возлюбленная, готовая отдаться! Эти-то страсти и будут воспеты полковником Бузгалиным — для чего надо благополучно вернуться из США с целехоньким Кустовым и получить новое назначение — кадры готовить; есть в поведении человека такие не бросающиеся в глаза странности, которые там, за кордоном, выдадут его мгновенно: упрятанный в фонетике акцент, который вымолвится когда-нибудь, манера жестикулировать, плавать, ходить, то есть все то, что никаким последующим тренингом не выдавится и не поглотится; все обычное, повседневное человек не замечает, только выпирающие детали режут глаз, высвечиваются на фоне тяготины буден, и в отыскании таких деталей ой как пригодится опыт Бузгалина. Не только пестовать смену, но иставлять кураторов: так нельзя, товарищи офицеры, нельзя! Ибо очень неразумно ведут они подшефных, прибегая порою к недозволенному: сажают провинившегося на голодный паек, чтоб показать свою власть, отдают невыполнимые приказы, грозят отзывом на родину. (Все финансовые дела у Бузгалиных вела Анна, однажды рассвирепела: «Да они нас что — на отхожий промысел послали? Я после работы бегу преподавать, чтоб на пропитание пятьсот долларов заработать, а они с меня в пять раз больше требуют!»)

Парнишки, которым уготована великая участь настоящих мужчин, пробегают по двору, где бабушки у сонных колясок, где судачат молодые мамы да щебечут девушки без образования, которое сможет дать им разведка, потому что пришло их время — время домохозяйственных женщин, упорных тихонь, которые смело вгрызутся в чужие языки, обычаи, на лету схватят все курсы страноведения и, серенькие, невзрачные и потому кажущиеся безобидными, проникнут в любое учреждение, станут сеять разум-

ное, доброе, вечное, то есть освоят — уборщицами — коридоры правительственных офисов, да и к любой другой работе горазды будут, при нужде переспят — истово и мудро — с охранниками посольств, на крючок подцепят писаря, который поважнее Председателя Объединенного комитета начальников штабов. Это в бурных 30-х годах требовался другой тип — яркая, эффектная красавица с таинственным прошлым, выборочно соблазняющая министров по указке ОГПУ или Коминтерна; гремучая смесь еврейской, румынской и польской крови бурлила в приграничных областях обоих бывших империй, растекаясь оттуда по Центральной Европе и России. Короток был век этих авантюристок, удел их — разовые задания, они и поняли это, быстро повыходили замуж, положив начало новой породе, новым женщинам, таким же соблазнительным, будоражащим, но — обязательно при муже, потому что этих новых женщин нельзя было в одиночку посылать за рубеж: слишком бросались они в глаза, слишком отчетлива для западного глаза печать возможной или бывшей проституции в высших кругах, авантюризм просвечивался, поэтому их стали придавать респектабельным мужчинам, вплоть до послов, и в роли таких жен они делали фантастически много, красавицы из НКВД резвились вволю — старый и загруженный делами муженек, предмет насмешек во все века, как бы оправдывал амурные похождения супруги, заодно отводя от себя — до поры до времени — все подозрения. И что странно: гибли мужья, обвиненные во всех смертных грехах, а жены оставались невредимыми. Но и такие красавицы уже не потребовались через десяток лет, другие пришли на смену, за плечами которых техникум и яростное желание стать истинной женщиной. Обучать их было нелегко, потому что мало кому учение шло впрок, мощные позывы извне и порывы изнутри ломали карьеры и биографии, инструкторы так и не научились прерывать или останавливать беременность сверх какого-то срока, в поисках нужных работниц трясли всю страну и в конце концов находили их, да и резерв оказался значительным. Стоило девушке посожительствовать с человеком, чья жизнь предполагалась там, за кордоном, как, даже за человека этого замуж не выйдя, она уже не могла прерывать все связи со службой; она уже как бы в кадрах состояла, потому что на нее заводилось дело, и при нужде или оказии она всегда была под рукой и легко соединяла свою судьбу с тем, кто мог безвозвратно уехать на Запад. Они терпеливо ждали их, знали, как отвечать, когда их спрашивали, а где отец Юрочки или Танечки, порою изменяли сгинувшим мужьям, что им прощалось. Когда начальство сводило двух молодых людей, то близость скорой разлуки так воспламеняла обоих, что этот взрыв чувств накалом страстей, яркостью и жаром превосходил многолетние любовные радости и печали. Кому как повезет — выразился однажды начальник Бузгалина, а тому как раз-то и повезло. Вызвали его по делу на квартиру в тихом и зеленом районе, поговорили о футболе и погоде, а тут — стук в дверь, входит женщина, так входит, будто не дверь приоткрылась, а все окна распахнул порыв свежего ветра; не движения, не жесты, не взгляды создавали это ощущение легкого приятного сквознячка, не испарения умно подобранной парфюмерии, а просто запах, аромат тела, кожи, — это он уже потом понял, как и то, какой она, Анна, была: есть женщины, при виде которых почтительно умолкают ведущие беседу знаменитости мирового ранга, а юные джентльмены приходят в суетливое нетерпение и совершают глупости. Она не пыталась вести себя по-королевски, но она давала безмолвным намеком — взглядом или сменой позы — понять, что мужчина, доказывая нужность свою, обязан быть послушным и сильным. Тогда, при первой встрече, он испытал приятное напряжение чувств, мышц, мыслей, он начинал понимать, как много даст ему эта женщина, а дала ему то, что он как был Васей Бузгалиным, так и остался им во всех превращениях. И утвердился в этом позднее, в Париже, и не только укрепился в желании вечно быть пацаненком, хворостинной

гоняющим гусей, но и возвел желание в некий произнесенный, а оттого и более жесткий жизненный принцип. Они несколько месяцев жили во Франции с Анной почти впроголодь, а потом разбогатели и решили шикнуть, стали выбирать отель познаменитее и с хорошей кухней, Бузгалину представлялось: величественные своды ресторанный зала, предупредительность лакеев высокого класса, священнодействие, в какое французы облачают обычный ритуал готовки и подачи пищи... Стали гадать: «Риц»? «Георг Пятый»? «Бристоль»? «Крийон»? (Тогда еще не было позвездного деления отелей, сами названия тянули на хилтоновскую пятерку.) Решили — «Крийон» на Плас де-ла-Конкорд. Вошли. Одеты более чем прилично. Анна замешкалась в дамской комнате, а он предпринял разведку боем, первым заглянул в зал и — встретился взглядом с ресторанным мажордомом, человеком, умевшим по походке клиентов определять толщину их бумажников, владыкой, мимо которого к столикам проходили сильные мира сего, люди, для которых этот фешенебельный ресторан — что обычная забегаловка для простолюдинов. Облаченный в смокинг, плотный, коренастый, неопределенного возраста — такого, что его можно считать ровесником отеля в любой год и любое столетие после 1909 года, когда возведен был «Крийон», — с отчетливым пробором и дымчатыми глазами, лишь на долю секунды глянувшими на вошедшего, а затем погаснувшими. Но и то, что уловил в этих глазах Бузгалин, повергло его в раздражение, тревогу, обиду и злость, потому что мажордом (назывался-то он по-другому, и как именно — Бузгалин знал, но так неприятны были потом воспоминания о «Крийоне», что он запихнул поглубже слово это в пыльную щель памяти), — да, мажордом этот мгновенно унюхал и дешевенькие супцы последнего месяца, и присущую всякому бедняку неприязнь к богатым, услышал и частое хлопанье дверей сортира против комнатенки, которую они снимали, и — что тоже возможно — увидел потного связанного в Булонском лесу, разъяренного неудачной скамейкой и опозданием. Все, мерзавец, учуял! Но — деньги есть деньги, и уже прикидывал, к какому столику вести глупого провинциала, как тут за спиной Бузгалина появилась Анна — и на влитого в смокинг местоблюстителя пиршеств дохнуло оранжереей, бризом, величием дамы, снизошедшей до жалкого вертепа, в обслуживе которого и состоял не приниженный, а возвеличенный королевой вассал. И спутник ее достоин был знаков уважения, немедленно оказанных, но без тени раболепия, поскольку нравы царствующих особ сего не позволяют... Вот тогда-то и решено было Бузгалиным: никоим образом не отступать от себя, не предавать себя, потому что за Анной не унаться, а она сама ничегошеньки не играет, она сама по себе королева, Анна Австрийская, и ему надлежит оставаться ярославским пареньком со всеми русскими причудами, которые как нельзя лучше подходят к образу не слишком удачливого американского бизнесмена — суетливого, настырного, то хитроватого, то глуповатенького... («Крийон» аукнулся много лет спустя. В Марселе он присмотрелся к официанту в закускойной — к юноше, которого снесало честолюбие без алчности, неумная тяга к незримому господству над людьми, желание скроить себя по особой мерке. Завербованный, выведенный в люди мальчик этот стал через десяток лет контролировать всю атомную промышленность Франции...)

За год до «Крийона» знакомство с Анной произошло, на служебной «жилплощади» в Покровско-Стрешневе; посмеялись втроем, а потом и вчетвером, начальник отдела приехал. Брак наметился, хоть о нем и ни слова, он назревал, он не мог не состояться, и не только легенда обязывала: тренаж отъезжающей за кордон супружеской пары — занятие весьма трудоемкое, здесь надо плести узоры невиданной сложности, и Анна прекрасно вписывалась в это не очень благополучное — из-за дурного нрава муженька — легендированное супружество, ценное тем, что знакомство будущей миссис Эдвардс и самого мистера Эдвардса подтверждалось офи-

циальным источником, протоколом, которому предшествовал замысловатый эпизод в полицейском участке лондонского Ист-Энда, где некий случайно задержанный джентльмен был — в нарушение всех законов — обыскан без собственного на то разрешения, что повлекло визит адвоката; судебного разбирательства полиция избежала, принеся извинения; джентльмен, кстати, потребовал свидетеля вменяемого ему правонарушения, им и оказалась некая юная дама, туристка из Австрии, студентка на вакациях, перед которой джентльмен расшаркался. Случай попал в анналы городской полиции, в могилу ушли многие персонажи скромной драмы, не избежал сей участи и сам оскорбленный в лучших чувствах джентльмен, в личину которого уже влезал Бузгалин. Документально, да еще самой полицией подтвержденная легенда — этим пренебрегать не стоило, да и весь набор имеемых и хранимых коллизий позволял свинчивать, как в детском конструкторе, не просто заведомо устоящую и отлично легитимизированную биографию, но и создавать судьбы: временами Бузгалин силился вспомнить сообщенный ему на ухо телефон юной дамы; его, в ту пору жившего на краю Москвы, не понарошку тянуло в квартиру, снимаемую мистером Эдвардсом на Корнуэлл-стрит; он даже удивлялся по утрам, какой черт занес его вчера вечером в эту коммуналку: не иначе опять перепил (за мистером Эдвардсом замечался такой простительный грех, из-за чего он, человек достаточно состоятельный, колесил по белу свету в поисках экзотических питейных заведений). Единственным темным пятном в уже сбывающейся судьбе были семь месяцев, не заполненные ни одним свидетельством. Ист-эндская леди козырной картой могла — неудачными якобы родами на юге Франции — покрыть этот период. Уже опаленный многими страхами, Бузгалин разработал план: через Алжир они попадают во Францию и здесь — в каком-либо городишке под Марселем — задерживаются надолго, с признаками скорых родов. И будущее их обеспечено: по святым человеческим вывертам и заскокам сознания, ведущим происхождение от пещер каменного века, где, не покидая их, рождались и умирали, все предшествовавшие родам месяцы беременности будут отнесены тоже к Франции... Начальство план одобрило, Анна, разумеется, тоже, шли они как-то после занятий к метро «Павелецкая», чтоб разъехаться по домам, попили газировки, он повертел стакан в руке: «Послушайте, дорогой товарищ и соратница... Туда мы должны прибыть со сложившимися стереотипами поведения, и первую брачную ночь не там надо проводить, не там! Договоримся: здесь, сегодня, у меня!» Она так и застыла... Потом расхохоталась: «Идет! Тогда уж лучше у меня — зеркала есть!» (О, этот смех ее, внезапный, не предваряемый улыбкой или настроением глаз! Она издевалась — и над ним, и над собой, надо всеми!..) А через много лет спохватились, надобность в ребенке возникла не велением шифровки, а потребностью быта, и когда беременность была санкционирована, то ничегошеньки не получилось: выкидыш. И еще один выкидыш. Тогда-то Анна в каком-то пустячном споре наедине бросила ему в лицо, внезапно побледнев до синевы: «Это ты накаркал — теми родами под Марселем!»

Иметь детей (но числом не более двух) Корвину и Жозефине разрешили, но, к явному неудовольствию куратора, все старания молодоженов шли прахом, да и, как писал руководству тот же куратор, моральный климат в семье оставлял желать лучшего. Молодая семья стала разваливаться, кто прав, кто виноват — не разберешься, Иван бросал смутные намеки о неверности супруги, гораздо больше основания имела для жалоб Жозефина, обладавшая отдельным каналом связи и нытьем досаждавшая своим московским товарищам по борьбе. А они уже поговаривали о том, что не пора ли на парткоме обсудить нездоровую обстановку в семье сослуживца. Навели справки и горестно повздыхали: правда выглядела убогой мелодрамой, Ивана застукали на интрижке с обыкновеннейшей потаскушкой.

Супруги стали жить раздельно, временами, правда, сходясь. От Жозефины узнали много интересного, сопоставили ее донесения с тем, что муж ее писал о себе, поскольку никогда не доверяли его отчетам, и не потому, что на двадцать пять австралийских месяцев он выпал из наблюдения и контроля. Всякий профессионал прибегает в отчетах к уничижающему или возвышающему стилю в описании своей работы, простейшая операция по выемке порою выглядит на бумаге романтической историей с песенным финалом, а бывает, не удостаивается даже строчки. (Профессионалы к тому же знают: чем полнее и честнее донесение разведчика, тем с большим подозрением относятся к нему.) По уверениям Жозефины, Кустова мучили головные боли, но о них он помалкивал, за что его мягко пожурили, в ответ получив едкий вопрос: «Откуда эти сведения?..» Постеснялись поэтому спросить и о том, что злило Жозефину: та намекала на некоторую недостаточность Ивана в мужской сфере. Однако же забавляться с девицами дефект этот супругу не мешал, он, видимо, сказывался лишь на общении с женой, и винить Жозефина могла только себя: с таким пылким темпераментом да не расшевелить мужа!

В декабре же 1973 года произошло нечто странное. Фирма Ивана понесла в Мексике жестокие убытки, безрассудно закупив громадную партию пылесосов новой модели — в количестве, превышающем даже безумный спрос на них. Это настораживало: не мог столь опытный, как Кустов, делец так грубо ошибаться, не мог! Нищим, бродягою очутился в Австралии — а сколотил приличный капитал, показал невероятную коммерческую изворотливость. А тут — опростоволосился, имея прекрасное прикрытие — и финансовое, и правовое! Здесь что-то не то, что-то не так — и в который раз приступили к проверке австралийской легенды Кустова в его собственной интерпретации, попристальнее всмотрелись в перечисленные Кустовым места для тайников и нашли крохотную ошибку, которой раньше не придали значения: указанное им местечко будто бы для объемных предметов годилось разве что под записочку. Затем стали допытываться, кто помог ему стать богатым, и австралийская резидентура обещала найти доброхота из ЦРУ. Тут же возникла и такая догадка: ФБР за пределами США действует с оглядкой на свои и местные законы и, заподозрив Кустова, прибегло к коммерческой дезинформации, чтоб разорить фирму и прибрать к рукам чересчур удачливого дельца, на которого уже имелись кое-какие материалы. Версия эта получила вскоре продолжение и подтверждение. В Будапешт пришла открытка из Нового Орлеана: некто Джордж поздравлял племянника с окончанием колледжа. Вкупе с бессмысленностью послания, именем и адресом текст означал: попал под плотное наблюдение. По косвенным же сведениям — ФБР о существовании Кустова-Корвина не знало. Но оповестить Будапешт Кустов мог и при отступной легенде, майор, следовательно, уже дал какие-то показания в местной полиции. Вспокоенная Жозефина (с ней вышли на прямой контакт) опровергла все варианты, к тому же поступившая по обычным каналам шифровка от Кустова не содержала ничего, внушающего подозрения; там излагались очень дельные рекомендации и давался перечень лиц, через которых можно добраться до нужного источника информации; анализ шифровки показывал: все чисто. Однако же достоверность ее легко объяснялась игрой, затеянной ФБР.

Как только эта мысль пришла в московские головы, тут же приняли решение: все алмазы информации, что поблескивали в тоннах шифрованного навоза, изучить и перепроверить!

Не успели перевести дух, как легальная резидентура доложила о совсем уж диком происшествии. Знать, кто такой Кустов, она прав не имела, между ним и ею всегда ставилась непроницаемая стена, и вдруг люди, наблюдавшие за тайником, засекли выемку, произведенную не то что с нарушением всех правил, а вообще преступно безграмотно и так, будто вы-

емка заснималась полицией на пленку с участием свидетелей. Человек, который не мог не быть Кустовым по времени и по описанию, на виду у прохожих и гуляк в парке преспокойно приблизился к увитой растениями ограде, выдернул третий камень слева от металлического прута, извлек капсулу, критически осмотрел ее, развинтил, убедился, что содержимое в целости и сохранности, деловито сунул шифровку в карман, где долго искал что-то, не обращая внимания на публику. А люди в парке если и не глазели, то все-таки посматривали на Кустова с интересом. А он вдруг обратился к проходящему мимо с каким-то вопросом, а затем после долгих поисков все-таки нашел в кармане нужный ему мел, чтобы сделать им на камне росчерк; сердце, пронзенное стрелой, удостоверяло не выемку закладки, а заложение ее, что было нелепо, но могло сойти за случайность. Налобовавшись этим сердцем, Кустов удалился, чтоб через полчаса вернуться: рука его на том же помеченном камне дополнительно вычертила некую фигуру, весьма схожую с чайкой или альбатросом. При тщательном изучении присланной фотографии пришли к выводу, что морская птица — всего-навсего женская задница. Что означает сие — никто не знал.

Донесение резидентуры ошеломляло. Было оно пострашнее послания в Будапешт и разорения фирмы, в которую немало денег вложила и Москва. Открытку от Джорджа из Нового Орлеана сам Кустов дезавуировал, так сказать, послав точно такую в другой адрес. Закупку пылесосов в количестве, достаточном для разворощения всех песков Сахары, можно при желании объяснить латиноамериканскими страстями покупателей или происками Жозефины, но учиненная Кустовым сцена в парке превосходила опасностью все мыслимое.

Кустов — не боялся! Кустов потерял чувство страха, что уже граничило с предательством, потому что страх — это психологическое оружие, страх сам собой превращает быт, в который ты врос, во вражеский тыл, всех людей вокруг делаая врагами; далекая за океаном Родина становится ближе и притягательнее, потому что она, только она способна спасти тебя, вытащить из готовящейся западни. Страх исцеляет, страх — прививка от мутного буржуазного влияния среды, и страх надо в человеке поддерживать, культивировать даже, для чего Кустову время от времени подбрасывали — не без некоторой паники — указания: в Джексонвилль ни шагу, как и на Багамы, с мистером Клептоном оборвать все контакты, на связь не выходить до особого сигнала... Наконец, агент просто опасен, раз в нем ослаблен естественный, присущий всякому здравомыслящему и нормальному человеку инстинкт самосохранения. Если же он не боится ФБР, то, не исключено, от организации этой уже получены соответствующие гарантии. Страх должен жить в душе и теле агента, вообще человека!..

Тайник проверили, там оказалась — против всех ожиданий — шифровка, текст был ответом Кустова на предложение прибыть в Москву за деньгами, которые помогут прогоревшей на пылесосах фирме встать на ноги, и ответ поразил бесстыдством, излагалась просьба: немедленно прислать как можно скорее детские фотографии! А те были изъяты еще в середине 50-х годов, никто посылать их, конечно, не собирался, и не потому, что они уж очень советскими, разоблачительными были и вполне годились для американского суда как уликовые материалы. Более того, нелепое поведение Кустова не осталось, как прояснилось далее, не замеченным, за оградой стала присматривать полиция, и привело это к тому, что пришедший на выемку другой агент был едва не схвачен, а два дипломата в группе обеспечения несколько часов провели в полиции, после чего — на самолет и в СССР. Агенту же, во избежание неминуемого ареста, приказали исчезнуть. Опоздали, однако: человек сгинул. Где он, что с ним — полная неизвестность, тем не менее вина Кустова очевидна. Им, возможно, и затеян весь этот спектакль. А Жозефина доложила: на связь не выходят уже несколько помощников Кустова. Сам же

он, зайдя однажды в книжный магазин, чуть ли не с порога заорал: «А как насчет лагерей в стране победившего социализма?» Выходка удручала, поневоле иначе глянешь на желание иметь под рукой детские фотографии: человек накануне полного и окончательного разрыва с Родиной хочет забрать только ему принадлежащие вещи. Майор не выдержал идеологического давления буржуазной среды — заключил бы куратор, случись такое годом раньше. Ныне же тяга к детским фотографиям получала более точное объяснение.

Тревожный колокол задрезжал вторично, когда Кустов-Корвин пошел вдруг на несанкционированный контакт с тем, кого, уже завербованного, называл в шифровке «Мartiном». Самовольность вербовки усугублялась тем, что ранее к таким нарушениям дисциплины Иван никогда не прибегал и, более того, всегда послушно сворачивал знакомства с теми, кто, по мнению куратора, был непригоден к доверительным связям. На ночных совещаниях в Москве решили поначалу, что «Мартин» — агент ЦРУ или ФБР, которого Кустов пытается внедрить в сеть. Кое-какие сомнения оставались, поскольку такое служебное упущение предусматривалось отступной легендой. Она, правда, могла излагаться только при провале и на допросах в ФБР, но, быть может, майор в таком затруднительном положении, что уже соображать правильно не в состоянии и чуть ли не открытым текстом дает знать: плохо, очень плохо, спасайте, люди добрые!

Почти одновременно Жозефина подала отвратительную весть о себе: забеременела! От мужа, в марте, когда приехала к нему для окончательного разрыва. Во время вулканически бурной ссоры и произошло зачатие, и Жозефине порекомендовали лучших на континенте врачей, то есть кубинских, она прибыла на Кубу и застряла там надолго, сообщить мужу о будущем ребенке она могла только через Москву, но и у той были свои трудности: Кустов-Корвин вышел из режима связи. Самого его, когда-то пылко желавшего ребенка, решили все-таки держать в неизвестности. Сигнала всей агентуре ложиться над дно, зарываться в ил дано пока не было. О близящейся провале всей агентурной сети Центральной Америки сообщать военной контрразведке не стали, чему имелись веские доводы: ситуация тревожная и только полное выяснение всех обстоятельств провала даст возможность доложить руководству о принятых мерах. Сбивало с толку и то, что сообщенные Кустовым данные о новой американской системе гидроакустического контроля Западного побережья были убедительными.

Что именно предпринимать — никто пока не знал. Вспомнили о головных болях, мучивших — по уверениям Жозефины — Кустова уже второй год. По резервному каналу связи предателю Родины предложили пройти курс лечения от них в здравницах Кавказа. Ответ был незамедлительным: «Климат не тот!»

И — там же, в шифровке — вновь некто «Мартин», на него ссылался Кустов, обосновав отказ: это «Мартину» не нравился климат, «Мартин», якобы известный Москве, и рекомендовал Кустову отклонить приглашение.

Квартира, где Бузгалиным читался нескучный роман, была в советском, разумеется, доме, планировка ее была советской, то есть рассчитанной на неприменную тесноту и настойчивое пожелание хозяев переехать в более удобную и вместительную; в квартире была советская мебель, но множество предметов прямо указывало на западное происхождение их и род занятий хозяина — аппарат разведки под крышею (в буквальном смысле) посольства; одна комната — на ключе, она, конечно, набита коробками с вещами, приобретенными там, куда хозяина посылали в командировку. Куда именно — легко угадывалось, по фотографиям и бытовой мелочишке восстанавливался жизненный путь ответственного квартиросъемщика. Подполковник или полковник, начинал с Аргентины, послужил там мало, был стеснен и денежно, и в передвижениях по стране, свидетельством же пребывания в ней избрал якобы по забывчивости остав-

ленное у радиоприемника ресторанное меню с экзотическими названиями блюд (от пучеро-де-галино до чурраско и маниес, то есть самые обиходные и простонародные, какие подают в каждой пульперии, но все — с умопомрачительными ценами). Но чем-то все-таки отличился, иначе не перевели бы в Париж. Хорошо показал себя во Франции, заслужил сперва Лондон, а потом Вашингтон, чем гордился, понарасставив фотографий: он — у Трафальгарской колонны, он — на смотровой площадке Эйфелевой башни, он — в шезлонге и под тентом на борту комфортабельного пассажирского трансатлантического лайнера. Разные безделушки намеренно разбросаны по комнате, внушая гостям мысль о полной погруженности хозяина в западную жизнь. Бузгалину же они внушили подозрение, что полковник (или подполковник) преподносит хорошие подарки руководству и кадровикам, только этим и отличаясь, а не успешными вербовками или добычей сверхценной информации. Что в легальной разведке взятки возможны — не надо гадать и предполагать: в России (и не только в ней) общественное согласие достигается поборами и прочими укрепляющими державу сквернами.

В том дворе, куда выходили полковничьи (или подполковничьи) окна и где гомонили молодые женщины, еще не ведая, что кое-кого из них примеряют к Форин Оффису, а то и к госдепу, где резвились приткие школьники, — во двор этот ближе к закату часу въезжал грузовичок, весь день мотавшийся по продбазам и доставлявший в магазин мелкие партии товара. На ночь грузовичку разрешали оставаться на магазинных задах, у обитых железом дверей заднего входа, и кончавший трудовой день шофер позволял себе маленький, но чрезвычайно эффективный отдых, каких-то двадцать минут углубления в себя, подведения итогов протекшего дня и утверждения себя в истинности мира сущего. Было шоферу уже за шестьдесят, пора бы на пенсию; какие-то нелады с позвоночником, поясница поглаживалась его жилистыми руками, в коленных суставах что-то, вероятно, поскрипывало, раз он, кабину покинув, натужно исполнял танец с присядкой перед святым для него занятием. Уже припасен был огурчик (издали не определишь, малосольный или свежий), горбушка черняшки, вареное яйцо, шматочек сала (или полукружок колбаски) и, наконец, трепетно доставаемая из бардачка четвертинка. Ею венчался трудовой день, четвертинка и закуска являлись тем, что для людей иного рода были симфонический оркестр в Карнеги-холл или в Зале Чайковского, бейсбольный матч или пляж в Серебряном Бору. В нем, этом шоферюге, — и оправдание гулянок мистера Эдвардса, и нервический хохот миссис Эдвардс, и многое, многое из того, что сводилось к примитивненькому вопросу: бедным — подавать? богатым — обделять? справедливость — существует?

Справедливости ради и план образовался сам собой: организовать поездку Марии Гавриловны на Кубу, предложить сыну ее посетить остров Свободы, а там уж видно будет; но та, небезгрешная, забыла, видимо, о том, что Иван Дмитриевич Кустов службой своей покрывает все ее неблагоприятные делишки, а их, ранее стыдливо не замечаемых, скопилось у нее предостаточно. Тем не менее бесстыдно закричала: «Что вы хотите сделать с моим мальчиком?» К пятидесяти восьми годам она сохранила упругую, ядреную даже мощь тела, — языкастая наглая баба, как говорили одни, и тихая, полная собственного достоинства заслуженная учительница РСФСР, как почтительно именовали ее другие, не менее первых знавшие ее товарищи. Кустова напоминала — сноровкой и хватками — лису, никогда не навешавшую единожды всполошенный ею курятник. В сорок четвертом Мария Гавриловна подхватила сына и подалась на Урал, чем-то все-таки насолив односельчанам, и потом не раз меняла, набедокурив, места обитания, и — что осталось незамеченным или неоцененным, — под-

давшись уговорам, дав в присутствии секретаря обкома согласие на длительную разлуку с сыном, смоталась тут же на несколько лет в Читинскую область. Поневоле начнешь гадать: а что ж это такое сотворила она в оккупации, раз родное село стало немилым? С немцами — не общалась?

Когда в 1972 году Корвин и Жозефина прибыли в Москву благословляться, аппаратура, установленная в их номере гостиницы на Софийской, уловила странные звуки — то ли сдавленный смех, то ли обрывки тех стонов, что издаются в финальной части полового акта. Идентифицировать их так и не смогли, настораживало, однако, то, что прозвучали они сразу же после прощания с матерью Кустова, улетевшей к себе на Урал. Рыдание — такое не предположишь. Возможно, Ивана связывают с матерью особые, наукой не изученные чувства. В Свердловске нашли женщину, которая была первой в мужской биографии Кустова; у того, оказывается, наступали — после встреч с матерью — состояния углубленной подавленности, беспричинного уныния, объяснял он их тревогою за мать, которую в очередной раз обманул очередной мужчина, чего на самом деле не было; женщина (в ту пору совсем молодая, но чуть постарше Ивана) знала семью его и выразилась точно: если кто от мужчин страдает, то не мать, которая (интересная деталь!) была не из тех, кого бросают... У Ивана Кустова, юнца, жизни не нюхавшего, однажды вырвалось признание, что придет время — и ему станет совсем плохо, он расплатится за все. Потом, правда, эти подавленности исчезли, исцелила его женщина эта — тем, что она — женщина, всегда доступная взрослому мальчику, начинающему познавать женщин. Как все люди на земле, Ваня Кустов постоянно усваивал что-то из того, что вокруг него, и опорожнял себя, освобождаясь от лишнего, организму не нужного, и кроме кала, мочи, пота и углекислого газа он выбрасывал наружу словесный мусор, какие-то обрывки где-то услышанных фраз, тут же забывающиеся анекдоты, высвистывал мелодии, в контактах с посторонними гражданами и товарищами такие же обиходные, как ложка, вилка и стул; мысли свои облекал в выражения, которые ничего не значили или не стоили, были они как при разговоре почесывания щек или переносы, как притрагивания к мочкам ушей, то есть ничего вроде бы не обозначали, слетая с губ шелухой, но инструкторы фиксировали все повторяющееся, инструкторы следили, что говорят во сне их воспитанники. В той группе, где обучался Иван, одно время в ходу была фраза, пародия на какой-то романский сюжет: «И в предчувствии неотвратимого она зарыдала...» Неизвестно, откуда взял Иван Кустов часто употребляемую им присказку «Перед расстрелом он счастливо улыбался...», имевшую варианты: говоря о себе в третьем лице, он как бы любовно поглядывал на приговоренного к казни человека, всходящего на эшафот с торжествующей улыбкой.

Говорилось в 1956 году, а осмыслилось только в 1974-м. Видимо, уже тогда Иван Кустов готовился стать изменником Родины.

В субботу 27 июля Малецкий и Коркошка предложили съездить в управление на отгремевший в прошлом году на Западе фильм Фридкина «Экзорсис». Из вежливости предложили, отлично зная, что Бузгалина никакими калачами ни в какое людное учреждение не заманишь (всего один раз показал себя легальным начальникам Бузгалин — в 1947 году, когда обе разведки объединились на какое-то время и командовал ими сам Вячеслав Михайлович Молотов, вознамерившийся вдруг лично побеседовать с отправляемым за рубеж человеком, и со страху Бузгалина решили проинструктировать, указав адрес: Лопухинский переулок...). Да и фильм этот он уже видел, о чем не сказал соратникам своим, когда назавтра поехали за город; Коркошка и Малецкий быстренько прокопали траншею, за невесть откуда взявшимися халтурщиками ревностно наблюдал дядя Федя, подзававший к себе соседа и на ухо внушивший: больше двух червонцев

парням этим не давать. Сам же проворно соединил трубы в доме, пообещал тепло в самые лютые морозы. Еще раз покрыл диковинным матом всех районных, городских и областных начальников, сел рядом с Бузгалиным, хитровато покосился на его сигареты, окутался дымком «Кэмела», в глазах — покрытые пышной зеленью холмики, грядой окаймлявшие плоское пастбище, на котором пощипывала сочную травушку-муравушку отара белорунных овечек, бесчабная, вольная, как ветер, не боязливая, мало пуганная, и Бузгалин чуть понизил голос, Бузгалин еле слышно, будто про себя, стал повторять спотыкания инвалидного языка дяди Феди, его натужные подъемы гласных до вершин слога, эхом возвращать произнесенное дядей Федей ему же, и незаметно вклинился в отару, влез в нее, как в родную, поблеял с ними, заманивая их к пещере, где мясник с топором... И обрек бы ее на заклятие: дядя Федя перенесся бы под Париж, к домику его прикатили бы два услужливых молодчика на «пежо», мигом утрясли бы все его газконтторские делишки, нагло при этом пяля свои галльские зенки на могучую грудь мадам... Пожалел дядю Федю — ради Анны, у которой он поднабрался разных приемчиков, а пенсионер, уже ввергнутый в пучину беспамьятства, уже погруженный в мир капитализма, очумело озирался...

Обреченную было на убой осинку удалось сохранить, и Бузгалин присел у нее, видевшей Анну за день до гибели. Они тогда втроем приехали сюда посмотреть, что можно из этой халупы сделать и сколько это будет стоить, втроем — он, Анна и двоюродный брат ее, всегда вызывавший острое недоумение: откуда ты, дорогой родич, что-то о тебе не было слышно все годы, каждый поданкетный на учете и пригляде, а ты что — в мертвой зоне наблюдения находился? Уж не наружник ли ты, второпях обученный и специально в их семью введенный? Но Анна родственником его признавала: сын дяди, сказала, завхозом в нашем улан-баторском посольстве служившего; но что-то странное все-таки в поведении этого нагленького брательника: лет на десять моложе Анны, знаки внимания робкие, чрезмерно глуповатые какие-то глаза, под черепушкой — безмятежная дурь; а вот поди ж ты — Анне он нравился, она смеялась режущим ухо смехом, улыбка стала какой-то отчаянной. Ей бы в хлопоты о доме пуститься, о будущем думать надо, ведь ни кола ни двора у обоих, да отпуск всего полтора месяца, поселились в домике за метро «Первомайская», на служебной жилплощади, но так хотелось своей, тебе по всем законам СССР принадлежащей, к какой, оставив в конце концов Америку и все хозяйство американское, вернуться же ведь они! Квартиру выхлопотали в пятиэтажке, из-за квартиры начальству пришлось паспорта им вручать, новенькие (что было в диковинку, все отпуска в СССР — без единого документа), мебель завезли, и этот кузен, кузенчик (он прозвал его «кузнечиком») вновь рядом, большим докой был по части законов, завещание брата изучил досконально и кивнул: да, полный порядок. Дачу возымел желание осмотреть, дал ценные советы по будущему благоустройству. Дядя Федя притопал, давал пояснения, молодежато покашливал, глядя на Анну... Осине бы заскрипеть, задрожать, закачаться, замахать ветками, осыпаясь густым мокрым снегом, предупреждая, умоляя Анну побережись да отвадить от себя глупенького красавчика. А тот смотрел на нее преданным песиком, иногда от смущения клоня голову к лапам и тихохонько поскуливая. Чем взял, чем обворожил — да извержением слов, которые так и перли из него, поэтическая околесица, чушь конца прошлого века, то есть то, чего не мог себе позволить Бузгалин: там, за рубежами Отчизны, ни словечка по-русски, а любовь — национальная, это культура, это эмоции народа, «Ich liebe dich...» — сказано было им во Франкфурте-на-Майне, куда по легенде прибыли оба с разных стран, она — австриячка, он англичанин; «I love you!..» — произносилось позднее, а для родного словечка ни места, ни времени, и так — долгие годы, пока, наверное, этот мозгляк не догадался, и

за продолжением слов поехала она с ним на «Москвиче», а он решил до дому на электричке добраться, и там к нему поздним вечером завалились гуртом генералы: беда, Василий Петрович, беда!.. Тормоза отказали, дорога мерзкая, шоссе гнусное — не восстановишь уже, что там произошло, а херувимчик вогнал свой «Москвич» под впереди идущий грузовик, сплющил машину и Анну, себя тоже, естественно, и когда Бузгалина спросили — перед похоронами Анны, — а как и где погребать родственника, у которого вдруг не оказалось даже отдаленных близких, он ответил четко: «Как Лже-Дмитрия. Сжечь — и в пушку. И выстрелить в сторону запада...» Никогда не позволял себе злиться на начальство, которое временами ближе Анны, умнее ее и добрее, но тут дал волю, не вслух, про себя: а где вы были, когда этот сверхподозрительный родственничек появился, где ваша внутренняя разведка, где внешняя, почему не дали вам знать, что рядом с наиценнейшим человеком крутится некий хлюст? Почему?.. И злость потом перенес на безвинного Малецкого, хотя надо бы подивиться в очередной раз вывороченности человеческой психики. Вроде бы отстраненно соглашался на фиктивное захоронение миссис Эдвардс, пожелал успеха Малецкому, а когда тот вернулся из Джакарты, спросил его, много ли пришлось потрудиться и во что обошлась процедура, ведь какая же все-таки морока — задним числом оформлять в столице Индонезии смерть американской подданной, да так, чтоб в посольстве ничего не заподозрили. Спросил поэтому, а тот перед ответом несколько недоуменно пожал плечами и неуверенно произнес: «Во что обошлась? Два блока сигарет...» Сказал — и понял, что оскорбил Бузгалина; для того смерть жены — трагедия высочайшего звучания, и даже повторение трагедии должно сопровождаться хоралами, а не частушками. И двое суток еще Малецкий, понимая, как и чем обидел Бузгалина, виновато посматривал на него, грустно вздыхал в надежде на время, которое загладит и его ошибку, и неправедный гнев товарища.

Они, Малецкий и Коркошка, и забор кое-где подправили, и грядки подвскопали; дядя Федя презентовал для весны семена укропа и морковки. Оба майора кивали, поддакивали. Наверное, что-то в крови у того и другого было земледельческое, тяга к уходу за почвой, или, возможно, уже присматривались к будущим пенсионным трудам, если не погорят на какой-нибудь мелочи. К пятидесяти годам вырастут до полковников, сколько-то там соток земли выделит им начальство.

Уезжать собрались было, да вдруг белочка прискакала. Малецкий и Коркошка переглянулись, зашли в дом, набрали сухариков, еще чего-то — и заняли боевые позиции: белочку решено было приучить, перевербовать, затеяв с ней, любопытной и рачительной, психологически сложную игру. Малецкий, мужчина изящного телосложения, обладал улыбкой интеллигентного человека, пуще всего боящегося навредить кому-либо, и, снисходительно-ласково посматривая на зоркого зверька, осторожно вынул из кармана руку с мелким и сыпучим лакомством, отставил от себя ладонь, предлагая белочке вкусные и потребные зубкам плоды пашни и леса. Дальнзоркая белка рассмотрела дары, но принять их не торопилась, она даже сделала вид, что ничуть не интересуется предлагаемым ей блюдом и больше занята уходом за когтями, ушками и мордочкой. Тогда стоявший поодаль Коркошка, мрачноватый, темноглазый, с крупными хищными зубами, сделал вроде бы неловкое движение, обнаруживая себя, показывая, что если и есть опасность, то она исходит только от него, да, да, от него, а отнюдь не от Малецкого, и белочка, из двух зол выбирая наименьшее, на полметра спустилась по дереву, нацеливаясь на выставленную ладошку Малецкого, но опять же из предосторожности намерений своих не афишировала и, более того, отвернулась от кормильца и благодетеля, вовсе не задарма предлагавшего еду. Трубой торчавший хвост наивно выдавал все ее мысли, Малецкий глаз не сводил с него, а опасный, очень опасный

Коркошка отвернулся, будто выходя из игры, и внимание белки переключилось на руку Малецкого, которая как бы стала тому не принадлежащей, и, решив эту руку обмануть, зверек стремглав спустился по стволу ели вниз, к подножью дерева, успев, однако, отметить, что рука на быстрое движение не среагировала. Прыжок вверх — и белочка вцепилась в кору совсем рядом с едой, но на ладонь не смотрела, а увлеклась чистой лап и прихорашиванием себя. Малецкий все улыбался, приглашающе и ласково, и белочка решила: быстренько развернулась и ткнула мордочкой в еду, и очень довольный Малецкий глянул на Коркошку, а потом на прислонившегося к осинке Бузгалина.

На шоссе он попросил Малецкого остановить машину — в десятке метров от березы. Потекла долгая, томительная для Бузгалина минута: есть пуля, нет пули — это уже не вопрос о его судьбе и о том, кто шел сзади под вечер 28 июня и шел ли вообще. Есть на небе созданные мирозданием звезды — или к небосклону подвешены мигающие святлячки? Такова цена подхода к березе, и Бузгалин, не уstraшенный коварствами космоса, приоткрыл было дверцу машины, собираясь выйти, как вспомнилось о Френсисе Миллнзе, который возник из ничего и долгое время был ничем, порождением самосберегающего мозга. Они, то есть он и Анна, его, то есть мистера Френсиса Миллнза, поначалу выдумали, не могли не выдумать: не знали о нем и даже издали не видели его ни разу, предполагая, конечно, что в многомиллионной Америке человек с таким именем найдется; он не мог не возникнуть в воображении, потому что был спасением, защитой. Вся американская жизнь до него была воздержанием от слов, которые так и не слетели с губ, от жестов. Подразумевалось, что дом прослушивается, хотя вероятность такого наблюдения равнялась почти нулю, учитывалось, что в окружении — и дальнем, и ближнем — есть глаза и уши, которые увидят и услышат нечто, их обоих вместе и порознь разоблачающее, что тоже было невозможным, потому что знакомые отбирались наитщательнейше, глазастых и ушастых оттирали от себя; чтоб стражающая селекция эта оставалась незамеченной, в дом иногда приглашали явных недругов, и уж доносы в какой-либо форме всегда предполагались. Оба знали, что в Москве — по древней российской традиции — ужас как не любят прохлаждающихся слуг и частенько наводят на них страх, заставляя подозревать всех и каждого, — знали и тем не менее ревностно прощупывали безобидных коллег и случайных знакомых, о московских делах говорили на лужайке перед домом и при работающей газонокосилке. А слова рвались, слова проклятья или одобрения, порою хотелось исполнить индийский танец мщения или в каком-нибудь захолустном баре наклюкаться до потери сознания, потому что исчерпался нажитый годами метод, когда одно лишь осознание того, что ты исключительный, сверх-особый, абсолютно не тот, за кого тебя принимают, — это осознание так возвышает, так облегчает труд жизни! Вот тогда-то, в апреле семидесятого, сам собой родился способ расслабления, к которому, наверное, не они первые прибегли, но о котором и не услышишь даже от самых опытных наставников. Он тогда вернулся из Денвера, вздрюченный, потный, с омерзительно гадким чувством собственного бессилия, потому что прозевал, упустил, не додумался до сущего пустячка да еще и испугался, как мальчишка. Подавленным вернулся, хотелось потащить Анну на лужайку и все рассказать, повиниться, а она — не одна, две старушечки приперлись почесать бескостные языки свои, и не выгнать их, и не заговорить при них. Чуткая Анна вскинула глаза на него, призывая молчать, и тут-то родился экспромт: «Ты знаешь, кого встретил там?.. Френсиса Миллнза! Да-да, того самого! — (Фамилия села на язык, как беззаботная пташка на ветку.) — Чем-то взволнован, разъярен даже, на ногах еле держится...» На мифического Миллнза этого и взвалил все свои беды и печали, отчего стало легче, спокойнее, иссякшие было силы вернулись, пот уже не струился,

и Анна, распахнув глаза и душу, смотрела на него слегка недоумевающе, потом все поняла и деловито успокоила: «Ты за него не переживай, он сильный, он выкарабкается, хотя, помнится, он такой впечатлительный...», а полуглухие старухи хором подхватили: «О, мистер Филлнз такой впечатлительный!» С тех пор и пошло: мистер Миллнз опять просчитался, мистер Миллнз преуспел в одном деле, так не выпить ли нам по этому поводу. Однажды позвонил Анне: «Миссис Миллнз, я знаю, как преданны вы мужу, но все же — приезжайте ко мне, я в мотеле...» Она примчалась к нему тут же, они обнялись на пороге номера. Хорошо жилось им с мистером Миллнзом, хорошо, Анне тоже ведь надо было расслабляться; и он и она выместили из себя самих себя же — естественно как-то. Хорошо жилось — как вдруг к Анне на консультацию приперся некий рыжевато-конопатый субъект, назвавший себя Миллнзом. Мимо ушей пролетела фамилия, никак преподаватель местного колледжа не связывался ими с тем кретином, который добровольно подставлял себя под удары американской судьбы, выручая их, вызволяя из капканов и сетей. Лишь при повторном визите осознали, когда полностью прозвучало: Френсис Миллнз! Смеху было предостаточно, но и подозрений немало. С большиншим интересом присматривались к нему: как же, как же, а ну покажи нам все те шишки, которые, миновав нас, на тебя сыпались, продемонстрируй тумачи, которые достались тебе, а не нам... Поэтому, возможно, Анна с большим вниманием, чем остальных, врачевала его по модной в то время методике: если начинающему алкоголику внушить связь между выпивкой и им же выдуманном оправданием ее, то разомкнутая цепь ассоциаций локализует источник невроза. А Френсис Миллнз просто-напросто начинал спиваться. Американец в третьем поколении, по бабке — швед, чем, видимо, объяснялся европеизм в повадках. Преподавал в колледже математику и, несмотря на обеспеченность, которой позабывали бы многие, ютился в студенческом общежитии да еще и лоботрясов, по которым детская тюрьма плачет, опекал на денежные родителей. Асоциальным поведением это не назовешь, но в сильном подпитии, а такое случалось два-три раза в месяц, преподаватель норовил в кампусе гоняться в полуголом виде за коллегами женского пола, неоправданно хамил негрityнкам в парке и дразнил собак (такие вот гадости о себе выкладывал пациент). Уличенный во всех грехах, пил еще больше, впадая в тягчайшую депрессию, что и помогло Анне отвадить математика от пагубной страсти. Благодарный Миллнз частенько заходил к ним, без спросу, с книгой, которую почитывал на кухне, пока Анна хлопотала у плиты. Никакого интереса для дела не представлял, Анна даже как-то вскользь заметила: ну, этим математиком не стоит загружать доклады Москве, с чем Бузгалин согласился. Потом Миллнз получил работу в Колумбийском университете, уехал, и тут-то они забеспокоились: как ему там? с коллегами поладил? не принялся ли за старое? с малышкой по-прежнему возится? Анна не выдержала и поехала туда. Вернулась обрадованная, потом еще не раз проводывала его. Однажды утром она — уже на аллейке, шли от дома к машинам — вдруг промолвила: «Френсис просит выйти за него замуж... Разумеется, и развестись с тобой... Так ты развод — дашь?» Он закурил, побренчал ключами. «А пошли ты его к черту!» — так сказал, потому что сущим ничтожеством был этот Френсис Миллнз: какой-то преподаватель, ни с какого края не подпущенный к нужной Родине информации. Вот был бы он в группе экспертов «Рэнд корпорейшн», тогда бы американского хлюпика этого можно загнать, как соседскую кошку на гнилую осину, разрешая спускаться только в обмен на что-либо вкусенькое с хозяйского стола.

«Значит, насколько я поняла, — допытывалась со странной улыбкой приостановившаяся Анна, — будь он консультантом, скажем, в Агентстве национальной безопасности, ты бы развод дал? Чтоб я навсегда была с ним?.. Насовсем?» Он обозлился тогда, чем-то не нравилась ему улыбка

эта, тон, голос этот вибрирующий... И смех, тот самый, что впервые услышал он у метро, в Москве: «Идет! Тогда уж лучше у меня — зеркала есть!»

В десятке метров от березы Бузгалин захлопнул дверцу «Москвича», так и не покинув машины. Ни о пуле в березе, ни о Миллнзе говорить, конечно, нельзя, да сподвижники заткнули бы уши, открой Бузгалин рот: когда никто никому не доверяет, лучше ни о чем не спрашивать, иначе столы начальства будут завалены доносами; да, никому ничего доверять нельзя, но чтоб тотальное недоверие не перешло во взаимную и всеразлагающую слежку, созданы инструкции: что кому можно сообщать, а что — никому и ни в коем случае.

«Поехали!»

Полное ничтожество этот Миллнз! Ни к черту не годился для дела, его и пешкой не употребишь, о нем к тому же Бузгалин не докладывал, а если бы сейчас рассказал — то сколько месяцев ушло бы на уточнения. А уже перетрясли и перещупали всю флору и фауну Америки в поисках подходящей фигуры, которую можно подставить взамен неизвестно кого (в тьме вариантов Бузгалин заблудился уже); дотошнейше изучили дела на действующую и законсервированную агентуру; пропущенные сквозь сито люди опали все утолщающимся слоем, и в день, когда газовая контора назначила точную дату подключения к трубе, оказалось вдруг, что искомое — давно лежит под рукой и давно мозолит глаза. Два человека замажачили многообещающе, призывно даже, чрезвычайно любопытные представители рода американского, об одном из которых поведала разговорчивая Жозефина — о дядюшке своем. Этот тип из породы никогда не стареющих весельчаков всегда норовил сорвать с ветки недозревший плод, когда-то пытался совратить племянницу, за что был выдворен из дома и на глаза Жозефине (и мужу ее — тоже!) уже много лет не попадался, остепенился, стал признанным консультантом в фирме по сделкам с недвижимостью, был глухо упоминаем в семейных разговорах и в настоящее время пребывал в неизвестности. Более точные подробности могла дать сама скупавшая в гаванской клинике Жозефина.

А где сам Кустов и чем занят — это поручили одному американскому товарищу по прозвищу «Наркоман». Назвали его так не потому, что агент пристрастен был к порошкам или травкам известного свойства; этим псевдонимом наградили его один из прежних кураторов, агент некогда прославился в роли вербовщика, составляя обширные списки тех, кто, как и он, готов за малую, но ежемесячную плату подпитывать себя денежными инъекциями, мало чем отличаясь от морфиниста, который в оправдание своей пагубой страсти хочет всех обратить в потребителей этого зелья; было это еще в 50-х годах, когда работали по старинке, и с информатором вежливо распрощались, поскольку из-за жадности тот на любого годного к разработке человека навешивал столько грехов, что порою вполне достойные люди прогибались под тяжестью их. Товарища этого вытащили из небытия. Приказали: изучить владельца такой-то фирмы (имелся в виду Кустов) на предмет возможной вербовки. Размороженный товарищ вскачь пустился по Америке, гордый оказанным доверием, невидимой и неназойливой мухой повисся над Кустовым и к кандидатуре указанного ему владельца фирмы отнесся весьма скептически — бабник, пьет напропалую, сорит деньгами, любитель дешевых эффектов: на благотворительном вечере швырнул пятьсот долларов в пользу голодающих детей, чтоб репортеры отметили это событие в газетах. О том, что меценатствующий владелец фирмы прогорел на пылесосах, размороженный информатор не знал, тем оглушительнее были эти сведения. Выяснилось к тому же, что рядом с Кустовым нет никакого агента ФБР, то есть Мартина.

Опять дача, та самая, куда Бузгалина уже привозили Малецкий и Коркошка; водка, пиво, квас — все с холода, все само собой переливается в

желудки, а балык, буженина, малосольные огурчики, грибочки (опята и белые) перекладываются с тарелок в три рта; неизменные мужские шуточки, какими сопровождается выпивка, где она ни случилась — в заблеванной пивной на Зацепе или в «Уолдорф Астории»; план разработан и выглядит вполне прилично: Бузгалин просачивается на Запад самым верным и безопасным путем, под плотным надзором натаस्कанных резидентур, заслоненный ими от бдительных взоров, всего с двумя сменами документов (Вена и Париж); все рассчитано до мельчайших подробностей, свои люди расставлены по всему маршруту...

И — два вопроса Бузгалина, все планы похерившие:

— Кстати, а где мои кредитные карточки?

Обе эти карточки («Американ экспресс») сданы были им как служебный инвентарь в январе, и одна из них так и не была найдена, и кто ею пользовался — неизвестно. Вполне возможно, что оплачивал ею покупки в универмагах Вашингтона сам полковник (или подполковник), хозяин квартиры; начальникам будто невдомек, что тайны банковских вкладов, права личности и прочее — сущий бред, они в США попираются на любом уровне, пропавшая карточка же выдана банком, который не один год знает мистера Эдвардса. Брать же в банке чековую книжку уже небезопасно, это начальники понимают. Как и то, что кредитная карточка была уворована, а это принято на Руси, где присвоение государственного имущества есть наивернейшее и наинадежнейшее приобщение к делам всероссийским. Пять тысяч долларов наличными на всю операцию — такая сумма обещалась ими взамен кредитных карточек, и настороженный Бузгалин понял, чем объясняется щедрость, когда последовало еще одно признание. Сеть, конечно, уже не спасти, но Кустов давал сведения о множестве лиц, доступных вербовке или склонных к ней, и среди сотен более или менее изученных им людей многие оказались готовыми к полному и откровенному сотрудничеству. Теперь над ними установят надзор, что, с одной стороны, полезно, а с другой... Бузгалину и надо предотвратить грядущие последствия грандиозной чистки. Принять необходимые меры. Необходимые и единственно нужные! Потому что тщательный анализ установил: майор Кустов работает под контролем ФБР, сознательно вводя в заблуждение как само ФБР, так и советскую разведку, и кого он больше предает — надо выяснить там, на месте.

В прошлый раз на этой даче и за этим столом отпорхали вроде бы к делу не относящиеся словечки: отель «Амбассадор» (из номера его когда-то вытащили в свернутом ковре оглушенного человека), МИ-6 (английская разведка, якобы убивавшая изменников за пределами страны), название американского фильма (рязанский ребята переправляют на подводную лодку кого-то с англосаксонской внешностью). Такие полусумасшедшие и потому до конца не высказанные предположения — для того, чтоб при свидетелях прийти к выводу: нужны не эти, а какие-то другие меры.

Какие меры — сказано не было, в нависшей паузе Бузгалину предлагалось перебрать все возможные и невозможные варианты, и все промелькнувшие в его памяти случаи были похоронены жестким уточнением: Кустова надо доставить сюда — до того, разумеется, как он там развяжет язык. Что касается Мартина, то полная свобода действий. Самая последняя шифровка (по резервному каналу) гласила: «Тщательно взвесив события последнего года, пришел к выводу о невозможности коммерческой деятельности в стране пребывания. Мартин настаивает на отказе от возвращения в СССР, мотивируя это языковыми барьерами. Думаю, что обращение к президенту Бразилии будет благосклонно принято иммиграционными властями. Жду ваших указаний. До сих пор не получил фотографий. Где Жозефина? Корвин».

Долго ломали головы над ответом. «Обращение к президенту Бразилии» можно и нужно считать покушением на измену Родине, шифровка —

достаточно убедительный материал для военной прокуратуры и заочного приговора, известно какого. Не исключено, правда, что шифровка составлялась под диктовку ФБР, потому и ответ Кустову предназначался не столько ему, сколько криптологам ЦРУ и ФБР. «Советами Мартина не пренебрегайте, однако следует все тщательно взвесить и фирму вытащить из неприятностей. Временно отойдите от дел и уезжайте в отпуск, оставив за себя Корвина. О вашем желании обратиться за помощью к президенту должно, решение — не исключено, что удовлетворяющее вас, — доставит знакомый вам человек, который нами вызывается из отпуска, хотя до полного ознакомления им с шедеврами Прадо еще далеко...»

Все, кажется, за столом обсудили, Коркошка и Малецкий обновили закуски, установив заодно доверительные контакты с хозяйским псом; рассказаны были (не Бузгалиным) залихватские истории из западноевропейской жизни, начальник американского направления вспомнил о погранзаставе, с которой начинал службу, и роте связи неподалеку, сплошь из девиц; «Товарищ старший лейтенант! — докладывали на стрельбище связистки, получая патроны. — Ефрейтор Иванова за тремя пистонами прибыла!» Посмеялись (кроме Бузгалина).

— За прошлый и нынешний год — много провалов? — прозвучал второй (Бузгалин спрашивал) вопрос, бестактный, но более чем уместный. И ответ был получен — оттопырились три пальца; минут на семь-восемь воцарилось полное молчание, дававшее всем сотрапезникам возможность и право что угодно думать о трех провалах; три нелегала схвачены, один из них с поличным, до остальных будто бы докопались, однако все три провала — результат единой, со стратегической целью, операции. Три ареста, все с минимальной оглаской, но они дорогого стоят. Нигде по службе и в быту эти трое не пересекались, не было в Москве и человека, который по каким-либо косвенным признакам мог знать их, то есть ни на кого нельзя направить подозрение. И означает это следующее: предатель сидит в самом управлении, занимая кабинет, через который проходит емкая информация. Еще два года назад контрразведка поставлена о сем в известность, ничего плодоносящего установить не удалось, расследование будто уперлось в высокую и плотную стену. О предателе сообщил и купленный за очень хорошие деньги человек, занимавший крупный, очень крупный пост в ЦРУ, и это печально: разоблачение предателя в своих рядах очень явно и нехорошо повлияло бы на устойчивость агента в Ленгли. То есть оба предателя как бы дополняли друг друга, вместе составляя некое необходимое и достаточное условие существования обоих разведцентров, где никто никогда столь еретических взглядов не излагал, про себя мысля: а ведь это самый желательный вариант, только так и можно предотвратить войну. (Миру ничего не грозило б, сиди на пусковой кнопке американских ракет офицер Советской Армии, а руку на русской кнопке держи американец.) И здесь знали о предателе, и там, и знание вынуждало работать особо бдительно и напряженно. Более того, становилось с каждым годом все очевиднее, что разоблачение одного из них (любого!) повлечет последствия, которые приведут к дезорганизации всей разведслужбы обеих держав. Арестовать своего предателя — значит поставить под удар того, чужого, который, по некоторым размышлениям, даже ближе своего. Головы полетят — тут и там, потому и расследуют с прохладцей. Полковнику Редлю когда-то дали пистолет, чтобы он застрелился, такие бы пистолеты обоим предателям, потому что допросы обнаружат картину плачевную, тут уж поневоле подумаешь, не организовать ли мерзавцу побег. Они полезны, они, сберегая шкуры свои, выдают не всех подряд и наиболее ценных, а тех, от кого давно решено (кем — вот в чем вопрос!) избавиться. Благодаря им утвердилось и джентльменское соглашение: изменников истреблять только в законном порядке, с соблюдением правовых норм.

И Бузгалин боковым зрением посматривал на абсолютно преданных общему делу сотрапезников, неоднократно проверенных, — рассматривал, мысли не допуская, что один из них тот самый предатель, и все же гадал: кто из них предаст его — не потому, что все-таки завербован, к примеру, этот вот сейчас поедающий осетрину человек, а всего лишь по той причине, что все разведки мира склонны к саморазоблачению, что как долго плывущему под водой человеку надо время от времени подвсплывать для глотка воздуха, так и разведцентру необходимо допускать провалы. И любой агент, годами в безвестности собирающий на себя, как на липкую бумагу, нужные Центру сведения, временами испытывает то же зудящее желание обозначить себя, подавляет эти желания, но они, уже угнездясь в нем, подсознательно толкают на ошибку, на доверие к тому, кто, проводив тебя с явки, поднимет трубку телефона. Они же водят твоей рукой, когда составляется донесение, и огульная вера в нерасшифрованность посланий заставляет включать в текст сведения, по которым чужие криптологи найдут и тебя, и твоих информаторов. Но на еще большие провалы провоцирует само управление, состоящее из людей, превыше всего ценящих себя, оправдывающих доверие руководства, все документально оформляющее для личной безопасности; повязанные строжайшими правилами секретности, здраво понимающие, что следование законам и канонам одинаково давит ответственностью и на любого, и на всех, — люди эти, обладая хорошо документированной безнаказанностью, совершают трагические ошибки, выдавая наиценнейших агентов. Прикажут агенту немедленно уносить ноги, немедленно — однако, предвидя вопрос некоего стоящего надо всеми руководства, не преминут добавить: «уничтожив все следы», и агенту уже не до исчезновения, он уничтожает улики, на чем и будет выслежен, причем управление с полным основанием может считать себя беленьким и чистеньким, принявшим все меры для нейтрализации провала, и не их, оказываясь, вина в том, что человек замешкался. Нелегал оформляет — во Францию — визу в Канаду, где его с нетерпением ждет на явке давно проваленный агент, о чем управлению известно, — надо бы срочно отменить Канаду, однако сама система начинает гадить, система вдруг обнаруживает, что под рукой ни единого канала связи, чтоб предупредить человека, и медлят, медлят, курьер по дороге вляпывается в автокатастрофу, в полном отчаянии шлют шифровку через ненадежного посредника — и только случай спасает человека от ареста. Как это было однажды с самим Бузгалиным, о чем вспоминать не любил, о чем сухо написал в отчете, так и не получив внятного разъяснения, но после чего зарекся полагаться на Москву во всем, памятуя тем не менее: плохие начальники, хорошие ли — да само время разберется, а Россия как была Россией, так и останется ею при любых начальниках. Однако с тех пор препятствовал всем связям через легалов, с едким удовольствием отмечая провалы врагов, которые грешили теми же ляпами, в контакты со своими нелегалами вмешивая давно засвеченных сотрудниц посольств...

Горько вздохнувшее начальство помалкивало, мысленно соглашаясь с Бузгалиным, который вопросом о провалах отказывался от помощи резидентур; он уйдет на Запад своим путем, а вместо него — по уже отработанному маршруту — пойдет другой, менее ценный человек, допустив некоторую контролируруемую огласку; операцию же по доставке в Москву ценного груза Бузгалин доработает там, на месте, но, разумеется, с оглядкой на Москву. В добрый, как говорится, путь!

В Прагу вылетели военным самолетом, втроем, в город въехали затемно, попетляли по левобережью Влтавы, остановились невдалеке от Карлова моста. Малецкий остался в машине, Бузгалин и Коркошка прошли на середину моста, у статуи святого Иоанна Крестителя постояли, осмотрелись; чуть далее — Кирилл и Мефодий, а за ними — святая Анна, ребенок

в левой руке, напротив же — святой Христофор. Покурили. Коркошка вернулся в машину, его путь повторил Малецкий. Бузгалин постоял еще немного в пражской толпе.

На пустыре за темной улочкой остановились надолго. Здесь Бузгалин переоделся, помолчали — по обычаю, отъехали. Потом Бузгалин выскользнул из машины и пошел к отелю. В номере чутко просмотрел давно знакомый блок своих американских документов.

На исходе следующих суток он был уже в Риме. В аэропорту вспомнился федеральный закон о декларации (более 5000 долларов) ввозимой в США наличности. Пересчитал. Как раз столько, чтоб не упоминать о ней. В бумажнике — кредитная карточка «Дайнер клуба», найденная им в вещах Анны за день до отъезда. Было тошно и горько оттого, что почти всё она всегда предугадывала, и пропажу «Американ экспресса» предвидела тоже. Лишь с двоюродным братом подкачала.

680 (шестьсот восемьдесят) долларов дали Наркоману в извинение и признание недооцененности в прошлом, к наличным присовокупили круиз на Гавайи с последующими видами на Фудзияму; в так и не угасшей страсти всех обращаться в свою веру, одновременно отлучая от нее, американский товарищ подбросил адресочки, даты, фамилии и полный маршрут передвижений Кустова в последнюю декаду июля. За сутки до Праги пришел в Москву его последний отчет, где чересчур совестливый информатор позволил себе некоторую вольность, презрительно поименовав объект наблюдения «пустышкой» и намекая, что тот — не в своем уме, раз играет на скачках (откуда деньги и бесшабашные расходы), делами фирмы не занимается да на манер преуспевающих дельцов похаживает к одному модному психоаналитику. Проверив несколько адресов, к нему, мистру Одуловичу, и направился Бузгалин — помнились донесения Жозефины о головных болях, якобы раздиравших Кустова, а поскольку тот их активно отрицал, то поневоле думалось: уж не Мартин ли тот самый психоаналитик, втершийся к нему в доверие?

Мистер Роберт М. Одулович, частнопрактикующий психиатр (каковым стал два года назад после четырехлетней интернатуры и блестящей сдачи экзаменов, о чем свидетельствовал — на стене приемной — диплом, увенчанный благословенным *summa cum laude*), этот мистер Одулович пробежался по нему зорким взглядом чутко соболезнающих карих глаз, и Бузгалин понял: психоаналитик обладает, как и он сам, искусством бокового зрения; у мистера Одуловича к тому же преимущество — удвоенный законами природы приоритет собственной норы, офиса, куда заглянул на консультацию человек из глубинки, и ассистентка в приемной кое-что выпытала полезное для хозяина, о чем и доложила, выразительно округлив глаза и поджав губы, предупреждая психоаналитика о неполноте предварительной обработки. Мужчина высокого роста и отличной мускулатуры, со склонностью к полноте и потливости, бывший нападающий школьной и университетской (Гарвард) команды сигналу ассистентки внял и продолжил ее дело, заключавшееся в том, что пациента следовало убедить в гибельности его дальнейшего — без лечения у доктора Одуловича — существования, для чего пациенту дали ознакомиться с опросником, который способен был — убойной силой четырех страниц текста — превратить любого здоровяка в истерика и скрытого шизофреника, только здесь осознавшего свой недуг. Одулович заговорил о жаркой погоде, не вовремя навалившейся на штат, о нашумевшем убийстве студентки, о чем-то еще, но смысл и опросника и речей сводился к тому, что какие бы ответы ни давал пациент, он сам может убедиться: все в нем расшатано, все волевые усилия ни к каким результатам не приводят, выход один — довериться Одуловичу, он спасет, он вытащит — если не из геенны огненной, так уж, абсолютно верно, избавит от посягательств соседей, придинок начальства

и налоговых ведомств. Как большинство психиатров, Роберт М. Одулович излечивать мог только те болезни, которые он же и внушал пациентам, и методы были общепринятыми, те, над которыми издевалась Анна Бузгалина. Психику любого человека подтачивают не вырвавшиеся вовремя эмоции, они торчат в мозгу, как отвергаемая желудком пластмасса, но если ту можно извлечь ножом — с наркозом или без, — то загнанные эмоции выманиваются психиатром, надо лишь выпытать у пациента, что с ним когда-нибудь случилось такое-эдакое, а что именно — психиатр подсказывает, чаще всего наугад, тем более что без наркоза тут не обходится, то есть нужен гипноз, внушение, погружение в бессознательность. Из необжитых джунглей и невозделанных саванн мозга удаляют скалящего зубы волка, наступает облегчение, но в джунглях не может не быть волков, начинает скалить зубы собака — и человек вновь бежит к психиатру, который все знает. «Послушайте, дружище, вы, как я понял, убили все-таки топором ту старуху да заодно и племянницу ее... Да плюньте вы на эту проблему! Подделом этой банкирше! Надо ж — такие проценты драть!» Каждый год Американский совет по психиатрии и неврологии экзаменует сотни тех, кто после интернатуры хочет получить диплом, почти половину их отсеивает, но нация уже попала в западню, не сдавшие экзамен все равно допускаются к частной практике, общество барахтается в сетях, ею же сплетенных, и временами Бузгалина посещала мысль: в Звенигороде или в Мытищах доживает свой пенсионный век полковник, заманивший миллионы американцев в уже неизбежное психическое рабство? Заодно и давший Анне возможность гнать в Москву темненькие эпизоды из биографий некоторых пациентов, что и подвело к идее: а не перебраться ли — после отпуска — супругам Эдвардс в Вашингтон, где улов побогаче и рыбешка ценнее?

Одулович глаголил, заманивая овечку на вполне безобидную лужайку — пощипать травку, безропотно подставляя себя клыкам затаившегося шакала... Живой, но ненавязчивый интерес Одуловича к душе пациента увял, когда-то приступил к делу: Дороти, супруга то есть, страдает дикими («ну просто мочи нет») головными болями, происхождение которых видится в несносном нраве попугая, не один год уже каркающего у ее изголовья; Дороти, видите ли, парализована, птица — ее отрада, и просто свернуть ей шею — нет, не Дороти, разумеется, а злобной пернатой гадине — невозможно: и рука не поднимается, и Дороти тут же испустит дух, так она этого мерзавца полюбила...

Произошло чудо: мистер Одулович из хищника превратился в любознательного студента, который преуспевал не только, оказывается, на футбольном поле. «Кто кормит попугая?» — въедливо спросил Одулович и ахнул, узнав, что — сам пациент, супруг ценнейшей для науки миссис Дороти («Симпсон», — простодушно подсказал Бузгалин, хотя здесь можно было до поры до времени не называть себя). Получасовой беседой оба остались чрезвычайно довольны: Одулович развил теорию о трансферных обстоятельствах кризисов, а Бузгалин с тревогой уразумел, что перед ним человек, который опередил его, после негромкого стука вошел в черепную коробку Ивана Кустова, подластился и узнал — предположительно, пока лишь предположительно — о пациенте много больше того, что могли бы выпытать при аресте Кустова агенты регионального отделения ФБР... Ведать бы, как долго путешествовал по русскому мозгу этот мистер Одулович, всех ли зверей пересчитал в клетках, вольерах, загонях, лесных зарослях и неогороженных пустынях. Этого Одуловича ни лихой атакой, ни затажной осадой не одолеть, и надежда только на ассистентку. «Да вы, док, не беспокойтесь, я старуху свою сам доставлю сюда...»

С другой стороны улицы посматривал он на подъезд, благо время двигалось к вечеру, Одулович уже покинул свой офис, ассистентка подзадержалась, перенося магнитофонные записи на машинку и роясь в картотеке.

Вышла наконец, и когда открыла дверцу своей машины, рядом оказался Бузгалин. Дверца захлопнулась, ассистентка, несколько встревоженная, ожидала, что скажет ей человек, который очень походил на недавнего посетителя и тем не менее разительно отличался от него — чем, она понять не могла. С нее когда-то содрали приличные деньги за уничтожение следов Юга, но волосы, не плотной шапкой закрывавшие голову и прореженные уходом, выдавали все-таки происхождение, зато язык уже вычищен, здесь родилась, в Джорджии; очень соблазнительна, потому и выставлен незримый барьер, к ней уже не подкатишься на улице («Милашка, как насчет...»). Замужем, прекрасные зубы, не торжество дантистской технологии, а те же переплывшие в затхлых трюмах афро-негрские гены. Годовой доход — не менее десяти тысяч, что вполне прилично для этого штата; однако такой крупный шарлатан, как Одулович, мог бы и приплачивать. Какие-то, без сомнения, сексуально-правовые проблемы. (Словечко это — «проблема» — вошло уже в обиход и означало непереносимое присутствие в каждом человеке изъяна, о котором надо говорить чем чаще, тем лучше, поскольку бороться с проблемами стало проблематично.) Не исключен братишка, *пушером* замеченный или сам склонный к чему-то более крепкому, чем традиционная здесь марихуана. Возможна сестренка, мучимая жадной выгодного замужества, — да мало ли забот в доме, «проблем» полно у граждан любой страны, а уж в США и подавно, и все они, эти «проблемы», наплывом прошли в воображении ассистентки, поскольку вторгнувшийся в ее «фордик» увалень из глубинки не торопился приступать к сути, а делал вроде бы пустячные замечания, бросая словечки, ни к нему самому, ни к ассистентке не относящиеся: то взглядом показал на не по возрасту торопящуюся куда-то старуху, то обронил фразу о скорой перемене погоды, но старушка и скорые дожди почему-то навяли на нее страхи — о семье, о возможном найме мистером Одуловичем более молодой и исконно белой помощницы. Маленькие страхи стали подпитывать давно угнездившийся большой страх перед неопределенностью дальнейшего существования. Тем более ощутимом, когда у тебя работа, собственный дом и дети на подходе к выпускному вечеру в школе; сыну, поговаривают, доверят речь на вечере, что уже высокий знак отличия. Этот всеобъемлющий и ото всех скрываемый (от себя тоже!) страх — в каждом американце, втайне давно осознавшем, что он — на чужой земле, все, что у него есть, принадлежит не ему, а неизвестно кому, и неопределенность каждодневного бытия расшатывает психику, гонит к бару, к бешеной езде на машине, к психиатру, — и все от очевидного факта: нации — нет, нации-то нужна своя национальная территория, та, которая песком, грязью, пылью впиталась в наследственность, которая топталась лаптями, сапогами, ботфортами или голыми ступнями не одно столетие, а семь или восемь веков, та, на которой нация объявилась внезапно и так, что несмолкаемы споры о том, откуда вообще появились русские, французы, немцы; эти же, американцы, обладают точной датой своего начала, рождения — того самого дня, когда оборванцы высадились с «Мейфлауера», а далее — смотри архивы иммиграционной службы. Нет нации — нет и территории, поэтому и тщатся двести миллионов людей на континенте считать себя нацией, пышно устраивают ежегодные праздники, поднимают флаги, на весь мир орут о себе и строят, строят, строят — все новое и новое, стремительно придавая земле обжитость, и производят, производят все больше и больше пищи, вещей, машин — в таких количествах, в таком изобилии, что поневоле рождался вопрос: да неужто для всего этого создан человек?..

Время текло, а ничего еще сказано не было; коротенькие замечания о мальчишке на велосипеде с коробками пиццы за седлом, как бы нехотая выдвленные фразы о племяннике мистера Одуловича... Но мальчишка вновь напомнил ассистентке о семейных обязательствах, а племянник во-

обще погрузил в тяжкие размышления о превратностях судьбы, которая с ним, племянником, жестоко обошлась (автомобиль его врезался в фонарный столб, берцовая кость до сих пор в гипсе, страховка оспорена). Спешка недопустима в разговорах подобного рода, нельзя вторгаться на территорию чужого мозга без спросу, «форд» модели 1970 года — не кабинет психоаналитика, машина — частная собственность, священная и неприкосновенная, но и вовсе не обязательно подныривать под полог чужого сознания, нет нужды врваться в него, сотрясая обитателей ревом, ибо тут же утихомятся распри волков с медведями, бурундуков с енотами, и звери единой мощной стаей набросятся на пришельца. Надо выждать: злейший враг человека — он сам, раздираемый противоречиями, снедаемый тайными страстями, изгрызаемый сомнениями; звери в нем уже проснулись, уже встревожены и, поскольку врага внешнего нет, начинают видеть его в соседях; еще немного — начнется тихая грызня, потасовка, исход которой предрешен, потому что человеку надо жить — по крайней мере так, как сегодня, но никак не хуже вчерашнего или завтрашнего дня...

Жалким зайчиком прятался в кустистых зарослях гражданский долг ассистентки; позднее, что удалось ему, лопухому, сделать, — это побудить хозяйку храбро сопротивляться для виду.

— Простите, я забыла ваше имя... Мистер... эээ...

— Меня зовут так, как сказал я вам полтора часа назад!.. — И после недолгой паузы: — Нас интересует один из ваших пациентов, — произнесено было, и «нас» включило сидевшего рядом в некую организацию, которая могла быть чем угодно, федеральным резервным банком хотя бы, но в любом случае выше любого официального органа и с полномочиями, превышающими возможности штата. — Того, кого я найду в картотеке... Они у вас в сумочке! — одернул он ассистентку, когда зайчик пролепетал было что-то о ключах, уже почти ощущая на себе тяжелую медвежью лапу...

Вдвоем поднялись на седьмой этаж, из шкафа извлеклись папки, через двадцать минут Бугалин знал все, что ему требовалось, и, благодарный ассистентке, привлек ее к себе, дружески шепнув:

— У вас все будет в порядке...

Волосы ее источали домашние запахи, волосы вобрали в себя и пыль на 7-й улице, где жила ассистентка, и висящий над городом безудержный шум; в волосах запутались, так и не выбравшись оттуда, как из мотка колючей проволоки, голоса детей, Джун и Рика; волосы подарили Бугалину ощущение Америки, быстросекундный всплеск напоминаний о стране, — миг, повторившийся в самолете, когда тот делал круг над городом, устремляясь в Техас, к Ивану Кустову: пробка на федеральном шоссе где-то у Кливленда, многодетная семья, еле вместившаяся в фургон и оглушавшая всех истошным ором детей и бранью колошмативших друг друга родителей; негр-саксофонист на углу улицы, у ломбарда, каждый приход нового посетителя отмечавший каким-то судорожным взлетом мелодии; миниатюрная жена одного инженера, которого он обхаживал четыре с половиною месяца, обладавшая в соответствии с комплекцией тонюсеньким голосочком, — с нею, с собственной супругой решил посоветоваться инженер, прежде чем согласиться на предложение Бугалина, поскольку сам сомневался, стоит ли связываться с израильской разведкой, а игрушечная супруга его вклинилась в переговоры и, увидев впервые Бугалина, радостно просюсюкала: «Так это же КГБ!.. Соглашайся!»; тихое и горькое помрачение разума, испытанное у входа в библиотеку конгресса, земля качнулась под ногами, содрогнулась, потому что вдруг почему-то представился Левитан, «Над вечным покоем»; бессонная ночь в мотеле, где за стеной женщина убивала мужчину со сладострастными причитаниями, и нельзя было прикинуться куда-то спешащим, покидать мотель, потому что женщина, убив и поизмывавшись, полчаса отвела на уничтожение улики и вы-

скользнула, подозрение же пало бы и на внезапно отъехавшего Бугалина, вот и решалось, надо ли показывать себя полиции или стоит повременить — ибо американец (а таковым он себя уже считал) обязан обрастать американскими грешками, кои властям известны, то есть штрафами за неправильную парковку и превышение скорости; тогда-то в мотеле и подумалось, что и в свидетели пора бы попасть; впервые подмеченное им у себя чувство обретения свободы, когда ты за рулем, когда каждая пролетевшая миля кажется приближением к счастью, и такое, конечно, чувство у каждого американца, да и вся страна спешит неведомо куда, не то убегая от чего-то, не то приближаясь к чему-то, — вот она, птица-тройка, вот упоительный полет к мечте, которая станет явью за поворотом; секунда остолбенелого страха и ужаса — в Пенсильвании, за час до очень важной встречи, когда вдруг уразумел: совершена ошибка, провал неминуем, а ты идешь к нему, как к счастливому финалу тобой написанной пьесы, — и страх и ужас оттого, что потянуло на самоубийство, собственная жизнь потому показалась бессмысленной, что о смысле ее никто так и не узнает, и захотелось заорать во все горло: «Я — самый выдающийся шпион XX века!.. Только благодаря мне на четыре года затянулась разработка нового бомбардировщика! Только я, я, я — смог добыть стенограммы совещаний в Ленгли!..»; и конечно, тот негр-полисмен, «Что делаешь?»; Анна, Анна, Анна — стремительная и жестокая, любящая ровно настолько, насколько сегодня будет достаточно для дела... любимая страна, которую надо спасти от нее самой, — последний отзвук разбушевавшейся внутри бури, скачки перекрывающих друг друга ощущений, каждое — что внезапно прилетевший запах, от которого кружится голова и прошлое кажется вернувшимся во всей осязаемости, но без докучавших некогда забот и волнений... Америка, Америка, судьба и счастье, удачи и несчастья, временами хотелось напевать давно знакомое: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек...» — о себе напевалось, ибо нигде, как в США, так вольно не добывались секреты, ни одна страна, ни один народ не позволяли так легко обкрадывать себя или продаваться по дешевке, потому что каждого жителя этой страны гложут сомнения в праведности его бытия; сколько американца ни уверяют в праве более сильного иметь больше денег, идея природного равенства тлеет в душе его, возгораясь временами, и тогда он начинает отдавать бедным и слабым отнюдь не лишнее в сладостном припадке самопожертвования; о великий американский спектакль, в котором самозабвенно играет вся страна, и сценическое действие охватывает нацию, которая не может уже остановиться в сочиненной ею пьесе, ибо стоит погаснуть юпитерам на антракт, как на подмостках немногие зрители увидят другую Америку, совсем другую, потный лик которой изуродован стекающим гримом, и поэтому надо гнать акт за актом безостановочно, надо зевак и зрителей вовлекать в спектакль, загонять их на все расширяющуюся сцену, не позволять им спрыгивать в партер, откуда — с первых рядов — все, все видно и даже слышно, как беснуется суфлерская будка...

Все будет в порядке, повторил он, уже себе, в самолете, когда иллюминатор показал ему краешек Америки, любимой страны, и в шляпу негра-саксофониста, что привиделся ему в подмосковной электричке, полетела смятая десятидолларовая купюра — в оплату того невероятного, что позволила ему узнать ассистентка. 20 февраля этого года Кустов впервые пришел на прием к Одуловичу, жалуясь на непрекращающиеся головные боли, бывал затем у него четырежды, и все потому, что 17 сентября 1943 года не с рожистым воспалением голени привела Мария Гавриловна Кустова сына к лужайке перед госпиталем, а с черепно-мозговой травмой, ею же нанесенной и потому Иваном Кустовым ото всех скрываемой. А ведь еще в Москве могла мелькнуть догадка о травме: день этот, 17 сентября, по данным метеослужбы, выдался чересчур жарким и солнечным для начала осени, +26 градусов, ветер западный, на малюсенькой головке

же Ванюши Кустова — просторная дедова буденовка, закрывавшая тугую повязку; с проломленной головкой стоял на лужайке перед госпиталем мальчик Ваня, а в медицинской книжке майора Кустова, во всех анкетах и автобиографиях: «В детстве ничем, кроме простуды, не болел». Тот же вопрос о болезнях задавался очень давно и матери, ответ был тот же — простуда, более ничего: деревня, хата не топлена, ветер изо всех щелей... (В Москве же надо было еще спросить: все сведения о 17 сентября — из военно-медицинского архива, так почему и с чьей воли на мальчика Ваню составили историю болезни в госпитале?) Вмятина в мягком черепе шестилетнего мальчугана заросла давно, знали о ней трое — сам Кустов, Мария Гавриловна и, наверное, госпитальный хирург, по неизвестной причине скрывший точный диагноз, — известной, впрочем, легко догадаться, зная Россию: буденовка была им приподнята, рана бегло осмотрена, мальчик с матерью уведены в процедурную, черепно-мозговая травма на бытовой основе — так определилось опытным фронтowym хирургом; короста на черепе обработана перекистью водорода, и дальнейшие рекомендации по лечению свелись к уточнению того времени, которое Мария Гавриловна могла бы отвести самому хирургу, для чего пришлось, в оправдание «виллиса», на котором преодолевались восемь километров от госпиталя до деревни, выдумать рожистое воспаление кожи, то есть заразу, с которой мальчику подходить к госпиталю нельзя. Сговор врача с женщиной, готовой собою расплатиться; бытовая травма, не более, о чем могла бы рассказать быстрая на побори Мария Кустова. Что же касается энцефалопатических последствий, то можно что угодно предположить. Как и то, что ни при каких обстоятельствах повзрослевший Ваня Кустов не упомянет о горячей руке матери. Обстоятельства же сложились необычайные: 11 марта при вторичном визите Кустова пальцы Одуловича выщупали неровность в черепе, но, естественно, пациент все начисто отрицал, Кустов, майор Советской Армии Иван Дмитриевич Кустов, прятал себя в себе; крот вырыл нору и не хотел показываться, и вконец запутавшийся Одулович стал разбрасывать ядовитые приманки, выманивая крота, вытаскивая из памяти пациента образы детства, порушенного злодеями родителями, для чего и потребовал у Кустова фотографии, что вызвало в Москве переполох. Одулович же — бесился, потому что за английским языком пациента не выступали очертания предметов, и кроме языкового барьера — еще и колючая стена неприятия вербальных установок. Тогда-то, после третьего визита, и выскочил из глубин подсознания некто, назвавший себя Мартином и впервые объявивший о себе в шифровке. Он не мог не появиться: шпион ты, плотник, водитель троллейбуса ли, а у тебя обязан быть свой Миллнз, твой постоянный незримый и шепотом говорящий собеседник. Их много, этих Миллнзов, потому что с многоликим человеком сожительствоуют разноликие отражения его, самозванцы, подтверждающие цельность характера. Четыре месяца постепенно лишавшийся рассудка Кустов жил в содружестве с измышленным им человеком, до хрипоты спорил с ним, соглашался, возражал, доказывал, брал верх над ним или смирялся перед мудростью этого Мартина, которого он обвинял в том, что тот пробрался в его черепную коробку и гадит там, сверлит ее изнутри; Мартин торчал в мозгу занозой, которую надо вырвать; он орал на него, послушался ему, какими-то остающимися нормальными частями мозга догадываясь, что совершает ошибки, — и вдруг едва не поколотил Одуловича, отказался лечиться, но — вот что странно! — Кустов, никому не дававший знать о себе, скрывавшийся ото всех, — Иван Кустов не далее как позавчера позвонил ассистентке и дал ей свой адрес. И что уж совсем загадочно: Кустов впервые назвал свою фамилию — ту, под которой жил в Америке!

Плохо, очень плохо! Но могло быть и хуже. Таких Мартинов разведчик находит обычно в четком подражании самому себе же; бывает, однако, что мозг начинает удовлетворять себя потворством самозванцу, который всегда податлив, и, наверное, предвестием возможного предательства становятся

сознательно необдуманные поступки, ибо тяга к двойной игре, к работе не только на свою, но и на чужую разведку — это в каждом, кому до смерти надоели игры с самим собою...

Все рухнуло! Карточными домиками рассыпались все сочиненные в Москве планы — и те, что проговаривались на шлагбаумной даче под квас, балык и водочку, и возведенные на квартире полковника (или подполковника). По улицам городка в ста милях от Сан-Антонио бегал обезумевший человек родом из Мценского района Орловской области, не поддающийся лечению, подвластный химерам, слепой, оказавшийся в густом лесу и внимающий устрашающим клекотам птиц, ревам хищников, топанию буйволов, продиравшихся сквозь чащу. Но этот страдающий безумец кого-то ждал, на чью-то помощь надеялся, иначе бы не звал к себе того, кто усмирит страсти, кому — через ассистентку — и указан был адрес пансионата на окраине города, трехэтажного строения в стиле начала прошлого века, — на тот случай, если о его местонахождении спасатель не осведомлен. Он зачем-то отрастил старившие его бакенбарды, которые ему не шли и которых не было год назад (для любительского фильма, снятого Жозефиной, растянули простыню в московской квартире), волосы не поредили, все та же буйная шевелюра, рост, естественно, прежний, шесть футов без малого. Надбровные дуги — выломлены страдальческим, как у трагического мима, углом и казались мазками гримировального карандаша. Полный сомнений и раздумий, он подолгу стоял на перекрестках улиц, не решаясь переходить их; не поддавался он и порыву толпы, пропуская мимо себя спешащих, а затем внезапно, броском обгонял всех. У витрин магазинов он застывал и, с неопытностью новичка в слежке, изучал отраженных стеклом соглядатаев — то ли дурачился, то ли в самом деле имел основание подозревать прохожих в злых умыслах. Людей он частенько побаивался, он огибал их, пробираясь к дальним столикам в кафе, занимая те, где он мог быть без соседей. Его мучила жажда, но, уже на подступе к утолению ее, он наслаждался терзавшей нутро болью, предвкушением снятия ее. Когда приносили вино или виски, он опускал голову и внимательно всматривался в жидкость; тонкие пальцы задумчиво поглаживали ножку бокала; двойное виски он выпивал залпом, алкоголем он заливал пожар, потому что в нем бушевало пламя. Джунгли пылали, в огне и дыму бесились звери, птицы кружили над плотной стеной желто-красного огня. От него пахло помойкой; кожа впитала в себя что-то отвратительно мерзкое, он истязал себя грязью; появившись в таком виде И. Д. Кустов на московской улице, его привели бы в милицию, но в непуританской глубинке самого южного штата Америки он сходил за обычного искателя женщин и выпивки. В азарте поиска или в страхе погони он так и не почувял, что за ним идет человек, замечавший скошенные задники когда-то модных туфель, немытые и нечесанные волосы некогда чистоплотного майора Советской Армии и удачливого коммерсанта, который сейчас, 7 августа 1974 года, кого-то, это уже становилось очевидным, разыскивает...

Он искал себя самого! Коновал Одулович сделал попытку бочком протиснуться в мозги пациента, но встретил бешеное сопротивление человека, обязанного молчать и ни при каких обстоятельствах не признаваться, кто он; прошлое пациента не желало обнаруживаться: ни на каких сеансах больной не говорил о себе откровенно, на что рассчитывает каждый психиатр, задержанные в сознании боли извлекавший наружу, чтоб те становились ровень с обычными бытовыми неурядицами и воспринимались уже не терзающими воспоминаниями, а разбитой в суматохе тарелкой или штрафом за неправильную парковку. Броневой заслон падал перед Одуловичем, не подпуская его к тому дню и часу, когда кто-то тупым предметом едва не раскроил нездоровый детский череп. Вот тогда разгоряченный

Одулович в мозги Кустова не стал вползать бесшумно, не проник внутрь, осторожно открыв дверь отмычкой, а вломился нагло — не с кнутом даже, а с фугасом, чтоб уничтожить засидевшегося в черепной коробке Мартина. Произошло чудовищное, то, перед чем была бы бессильна Анна Бузгалина. Мартин покинул его, сбежал, выпрыгнул из черепной коробки, как с автобуса, вывалился, как из автомашины, на полном ходу. Исчезло собственное отражение, человек только что смотрел в зеркало, видел необходимое дополнение себя — и вдруг в зеркале пустота! Последние дни Кустов жил будто без кожи, без костей; еще оставались какие-то заменители, он пытался завести дружбу с кем-либо, но мужчины отпугивали не самого Кустова, а где-то обитающего рядом Мартина; Кустов проникался убеждением, что его постоянный собеседник, именно в этом городе от него сбежавший, тоже ждет его, ищет, остался ему верен и тоже хочет соединиться с ним, сесть рядом в кафе, подойти на улице, позвонить, и уж, во всяком случае, он рядом, кружит где-то поблизости, оберегает его и готов с повинной головой явиться к нему, что радовало Кустова, хоть он не очень-то стремился увидеть Мартина, потому что имел на него зуб... Оттого и обманывал: выжидательно простаивал несколько минут, будто бы ждал у входа в маркет, в бар, а затем уходил вдруг, презрительно сплюнув. Или, перебросившись словечками по пустякам со случайным встречным, понимающе кивал, как бы давая наблюдавшему за ним Мартину знак: да, я понял, я жду тебя в месте, которое ты мне сейчас указал. На этом месте он и останавливался, чтобы вдруг уйти, расхохотавшись, как бы говоря: да нужен ты мне, ну, чего прилип?! Не было уже сомнений: та сцена в парке у ограды, когда Кустов картинно демонстрировал себя толпе, еще и мел выпрашивая, чтоб начертить им абрис наглой пухлой женской задницы, — этот спектакль затеян был для Мартина, был каким-то эпизодом их распрей, их размолвкой, Мартин изменял ему, в нужный момент его не оказывалось рядом; Кустова и сейчас тянуло припасть к ушам какого-нибудь верного и понимающего прохожего, поведать ему о горюшке своем... (Бузгалину вспомнилась некогда прочитанная фраза: «Охо-хо-хохонюшки, тяжело жить Афонюшке на чужой сторонюшке без любимой матушки!..»)

Его привлекали чем-то бары, пиццерии, кафе и не очень дорогие ресторанчики; они, наверное, нравились и Мартину; он (или уже — Мартин?) садился за столик и поворачивал голову, бросал вопрошающий взгляд на дверь; из-под набрякших век оглядывал он мужскую толпу; что-то быстро прожевывал. Он вынюхивал и высматривал, он стал собакой, потерявшей хозяина; уши его временами вставляли торчком, прислушиваясь; хорошо — по-собачьи — зная нравы и привычки своего хозяина, заглядывал он туда, где обычно посиживал повелитель, и свободный столик выбирался для того, кто сейчас войдет и сядет рядом, избавив его от мучений. И на дверь бросались его взгляды: ну где же ты, где? Будто привязанный к столбику, стоял он перед входом в магазины, с затаенным ожиданием вглядывался в людей с покупками; доезжал до аэропорта, занимал удобное место на смотровой площадке, бинокль его шарил по пассажирам; местные авиалинии скрещивались в этом городке, ни одного самолета до Далласа, Чикаго или Нью-Йорка — видимо, хозяин отлучился ненадолго и был где-то неподалеку. Истинным наслаждением был дождь, внезапно упавший на город: Кустов неподвижно стоял под ним, промокая до нитки. При многочасовых блужданиях по городу он вдруг приваливался к стене дома, ища в ней опору и утверждаясь на нетвердой для ног земле; опорой могли быть и люди, и они влекли его; изредка приставая с разными вопросами к прохожим, он внезапно отчуждался от них, чтоб с еще большим вниманием всматриваться в окруженную, окутанную разговорами толпу, которая и манила и отпугивала. Курил он часто, решительно и брезгливо отшвыривая налипавшие к губам сигареты. Улыбка язвительного превосходства над сбежавшим хозяином не сходила с его лица, он будто знал, что роли пере-

меняется и хозяин станет искать собаку, ту, которую бросил на издыхание, на чужих людей; хозяин будет крутиться вокруг него в ожидании какого-то решительного призыва или жеста, следить за ним и за недругами, и в предвидении слежки собака давала возможность хозяину предупредить, пресечь, самому выследить увязавшегося за ними обоими шпика. Заходя в бар, Кустов временами пускался на рискованные приемы страховки. Минут пять потолкавшись, сев, уже взяв виски, он стремительно поднимался и выходил на улицу, чтобы шпику ничего не оставалось, как выскакать из бара, идти следом за ним, тем самым выдавая себя.

Так вот однажды вылетел из бара Кустов, едва не сбив с ног Бузгалина, и тот увидел в глазах его молнии полыхавшей над мозгом майора грозы, содрогание джунглей от далекого топа обезумевших слонов; мимо Бузгалина будто пронесли к спасительной воде табуны антилоп, и бок о бок с ними мчались львы и тигры, волки и зайцы; растоптанные лапами тяжелогрузных хищников, корчились недораздавленные зверюшки, гады, пауки — и Бузгалин в страхе отшатнулся, уже начиная понимать, какое злодейство учинила Мария Гавриловна Кустова и как помог ей Роберт М. Одулович.

Под вечер майор появился в холле отеля и — Бузгалин убедился в правоте своих догадок — взял ключ от номера, где проживал тот, кто утром вышел из пансионата для гостей колледжа. Кустов поднялся на этаж, чтоб встретиться с самим собою, увидеть самого себя же, Мартина то есть, для которого и снят был номер. Не застал его, конечно, и вышел все в той же задумчивой обеспокоенности — на двенадцатом часу наблюдения за ним. Порциями виски Кустов как бы окатывал неутихающее пламя и все удалялся, уходил от центра к окраине, он подолгу останавливался у проститутток, ведя бесплодные переговоры, спрашивая их о чем-то, получая отказы, и все же — не давал повода полиции присматриваться к себе, а темнота скрывала грязь тела, хотя проститутки вонь унюхивали и громко порицали возможного клиента. Постепенно сворачивая во все более извилистые и темные улочки, ища человека, приметы которого сообщил проституткам, он добрался до кварталов, куда побаивались заходить белые: это была та Америка, от которой надо было держаться подальше, которую всегда избегал и Бузгалин; Кустов оглядывал людей внутри магазинчиков и удалялся, руководствуясь какими-то приметами ему самому не известного места, и наконец нашел то, что ему надо было: почти пустая бильярдная, несколько соперживателей у зеленого стола, бармен, четыре столика в углу, с которых официантка уже убрала тарелки, стаканы и кружки. Он зарядил музыкальный автомат мелодией и сел. Вытянул перед собой руки и глянул на них так, словно они исполнили какую-то чрезвычайной сложности трудную и никем не оцененную работу. Наслаждался музыкой, заглушавшей рев, исторгаемый всем нутром его.

Долго сидел, закрыв в блаженной истоме глаза... Открыл их, когда к потолку взлетела ссора: кто-то кому-то недоплатил, а бармен ссылаясь на то, что ничего не видел и не слышал. Вышел — и забыл, где он. Потом уловил что-то приятное, знакомое, узнаваемое, — раскинул руки, задрал голову, смотрел в небо. Такси высветило себя в ниспавшей с неба ночи, Кустов остановил его, держал рядом, отвел десять минут на переговоры с толстенкой и черноволосой проституткой, пока та не прогнала его. Он посмеялся вместе с ее подругами и так, с улыбкой, полез в такси, чтоб выйти у пансионата, взять в холле газету, и вошедший следом Бузгалин наблюдал, как с идиотски искательной и раболепной улыбкой Кустов названивает в отель и спрашивает, есть ли кто-нибудь в номере семнадцатом, — наводит справки сам о себе! Злые, затекиши от бессонницы и алкоголя глаза его оглядели Бузгалина с едкой брезгливостью, протянутое ему письмо принял важно, как верительные грамоты. Кивнул, показал спину, пошел к себе, повел плечом, разрешая визитеру идти следом. Походка,

взгляды — все было театрально, картинно, вычурно и даже помпезно. Жестом Цезаря, посылающего в бой легионы, указано было на стул. Сам, глубоко затягиваясь дымом, сидел в кресле, двумя пальцами, средним и указательным, держа письмо, прочитанное мгновенно; кролики в его мозгу вгрызались в тигров, бегемоты прыгали с ветки на ветку, летящих крокодилов он отличал от плывущих брассом слонов, но способам передвижений не удивлялся; послание от Жозефины было сочинено и собственноручно написано Бузгалиным два часа назад, причем на бланке отеля, дата поставлена текущей, сегодняшней, но письмо это майор признал подлинным; заодно приглядывался он к тому, кого супруга называла дядею, будто пробуя имя и самого носителя имени на зуб, чего не скрывал, с детской дотошностью выпытывая кое-какие подробности того, что излагала Жозефина, но все подозрения заглушались молотобойными ударами текста: будущая мать уверяла отца еще не родившегося ребенка о желательности присутствия его при родах и вскользь упоминала о волнующем моменте, когда наконец-то свершился долгожданный акт зачатия; писалось и о том, что судьбу свою она, Жозефина, вручает не только мужу, но также известному ему дяде, который найдет его, который и передаст это письмо, и дядя этот осведомлен об узах, которые не слабее супружеских, а даже крепче оных связывают их, то есть его, ее и ребенка, и в троицу эту следует ввести и дядю, который не только посвящен в дело святого служения Высшей Справедливости, но и сам некоторое время был с ними на этом славном пути, на поприще служения...

Рука, державшая письмо, помахала им как веером. Высокомерная презрительная и всезнающая улыбка превосходства не сходила с губ Кустова. Чиркнула зажигалка, поднеслась к письму, вялое пламя уничтожало документ, принимаемый Кустовым за шифровку: сердцевиной неразгрызаемого орешка тайлся в безумце человек, большую часть своих лет проживший конспиративно. Горевшая бумага добралась до пальцев, и Кустов наслаждался болью, удостоверявшей его существование. К этому способу идентификации себя он уже прибегал, видимо, не раз, потому что кончики пальцев подчернились ожогами. Содержимое в части, касавшейся беременности, было поначалу сочтено мало убедительным, по лицу Кустова блуждала улыбка ребенка, хорошо знающего, какие врунишки эти взрослые. Сроки, однако, совпадали, не мог не помниться тот яростный, едва не перешедший в драку спор, неожиданно для них обоих, сцепившихся в обоюдных обвинениях, завершившийся иступленным обладанием друг другом. Такое могло стать моментом зачатия — это признано было наконец Кустовым... Но бдительности он не терял: рука цапнула неотлепший кусок письма, глаза выхватили намек о работе дяди на благо Высшей Справедливости.

— И давно ты, — спросил, — заколачиваешь деньгу предательством родной страны?

Какой день уже носился он по городу, объятый пламенем, и, вырываясь из полыхающих джунглей, искал того, кто выведет его за огонь, на душистые травы широкой и чистой степи. Собеседник был нужен ему, человек чуткий и понятливый, верный, опаленный тем же огнем и страдающий теми же недугами, не чужой, как Одулович. Поднеслись к глазам обожженные и минуту назад державшие письмо пальцы, отдернулись. Кресло резко развернулось, кто-то чужой почувился сзади. Губы выщептали имя супруги, протянутая рука застыла, пробуя что-то невидимое на ощупь, и голос Кустова завибрировал, хуля Жозефину в горячечном словоблудии, слова вылетали скорострельными залпами, майамский период знакомства с нею удостоился, впрочем, скупой похвалы, а затем посыпались обвинения, скоро перешедшие в оскорбительные недомолвки о некоторых физиологических странностях супруги, дурость которой в полной мере проявилась в «одном крупном городе», том самом, где завербована была Жозефина, вообще склонная к шпионству, — причем город так и не

был назван, сказано было о «звездах, которые и ночью алели, даже через шторы на окнах», и Кустов по-приятельски подмигнул Бузгалину, чтоб тот уж наверняка знал, какие именно звезды (кремлевские, конечно) горели всю ночь; легко было догадаться, куда начальство поместило прибывшую в Москву супружескую парочку накануне вербовки Жозефины; руководство отработало по полной программе, молодоженам отвели люкс в гостинице на Софийской набережной (окна выходили на Кремль), придали номеру автомашину «Чайка», на которой обычно вывозили в свет космонавтов, устроили пышный прием, подняли бокалы, Ивана предъявили супруге не мелкой сошкой, а влиятельным офицером, действующим с одобрения и благословения Верховного Руководства Великой Державы. Доставили с Урала мать, две женщины счастливо расплакались...

И Кустов тоже расплакался — не там, в Москве, а здесь, в пансионате. На женщин, так выходило, ему не везло с тех пор, как на Урале погибла любимая девушка. («Она унесла все мои мечты!..») Все остальные — обманывали, особенно та, которую прочили ему в жены, когда он прибыл в тот же город за четыре года до Жозефины (в какой город — сказано было подмигиванием: ты, мол, сам понимаешь...). Повезли его на дачу с боссами беседовать, а на даче этой у стола под так называемыми русскими берегами суежилась девушка, не очень симпатичная, но бодренькая, ладная такая, все у нее в руках горело, взгляд бросила на него такой, что сомнений не оставалось — напарницей будет! Такую подругу давно ждал он, без нее худо приходилось на чужбине, и быть бы девушке этой напарницей и подругой на веки вечные, да не прошло и пятнадцати минут, как она за него все решила и командовать им стала, так себя повела, будто какой год уже спит с ним и все привычки его знает, потому что — знание привычек этих обнаружила, ее уже осведомили, и показалось это ему так гнусно, что откасался от девушки, не нужна она мне, сказал, не полюблю я ее!.. И теперь — Жозефина, которая следит за ним, а достойна ли женщина быть женой человека, о котором докладывает? Это ведь хуже супружеской измены! Да, хуже! И — не верит он, не верит он ни Жозефине, ни наставникам своим. Мелочные, ничтожные даже людишки! Разорили его, вчистую разорили! Для пользы дела приказали закупать пылесосы через фирму, известную своим грабительством, она и вытянула из него все деньги! Все! Если б не два крупных выигрыша на скачках в Атланте, то клади зубы на полку!..

Слезливо кляня судьбу, он мелкими осторожными шажками ходил по комнате, и глаза его обегали стены, пол, потолок, мебель, ища какую-то памятную ему отметину или рассыпанные монеты немалого достоинства, руки же ощупывали все, до чего могли дотянуться. Человек искал опоры, камни, выступающие из воды, по которым можно перейти бурлящую реку, или такое дерево, забравшись на которое спасешься от бушующего внизу пожара, — уголок искался, безопасный и теплый, но отметинки блуждали, монеты выскальзывали, мысли Кустова скакали, и в пассаже о неверности супруги вставлена была новелла о себе, сокрушителе женских сердец, способного час, два и более не вставать с женщины: такой могучей силой наделен не всякий, нет, не всякий, — и Кустов провел пальцем по согнутому локтю правой руки, показав этим размеры предмета, который надолго сохранится в памяти любой женщины, на всю жизнь, если, конечно, она останется жива, ибо всякого усомнившегося ждет смерть, да, смерть, как найдет она...

Палец воткнулся в Бузгалина, предварив громовой и грозный вопрос: кто он, и ответ неожиданно погрузил Кустова в томительные раздумья... Про дядюшку Жозефины было забыто, недавний обличитель ее с неприкрытым изяществом сел в кресло...

Комната угловая, просторная, окна закрыты, но шум далекой улицы проникает сквозь противомоскитную сетку, не заглушая говорившего с ти-

хой яростью Кустова. Вытянутые ноги подергивались, правая рука то касалась подбородка, то почесывала шею; в его теле судорожно ворочался тот, кто незаконно занял место Мартина и теперь пытался найти уголочек, где можно притулиться, выждать день и час, когда его признают своим. Вопросы (Бузгалина интересовали скачки) входили в уши Кустова, как камешки, бросаемые в колодец, и по тому, с какой задержкой следовали ответы, можно было судить и о глубине колодца, и о ряби на невидимой воде; на некоторых словах Кустов стал спотыкаться, что приводило его к смущению и удивлению, он повторял слова эти, с натугой, с нажимом, радостно убеждаясь, что язык ему все-таки послушается, и, от радости впадая в смирение, умягчал мышцы, расслаблялся. Рука потянулась к сигаретам на столике рядом — и застыла, рука забыла о куреве, и точно так же другая рука, бузгалинская, задержалась надолго в движении к тому же столику, где лежали и его сигареты. Кустов все-таки дотянулся, сигарета оказалась во рту и застыла в недоумении — как замер и Бузгалин, тишайшим шепотом начавший говорить и напрягать слух, будто пощелкивал циферблатом сейфа, разгадывая шифр. Слова выпархивали из него крохотными птичками, еле шевеля крылышками, слова невесомые, нащупывающие, севшие на забор, за которым в догорающем лесу лежали вповалку сонные, уставшие от ужаса звери, — и наконец почувялась доска, которая отошла и впустила внутрь неслышно ступавшего Бузгалина. Сон — самое небезопасное для человека время; звери спали, они еще какое-то время поводили ушами в сторону незваного гостя, но тот успокоительно сказал что-то, будто бросил кусок мяса твякнувшему псу. Он стал своим, точно так же пахнувшим, как и они; еще одно слово произнесено было нежнейше — камешком, который летит в тьму кустов, проверяя слух и зрение сторожевого пса. В упоенной дреме обитатели сонного царства разрешали рассказывать им сказки, в которые начинал верить и сам рассказчик, ужом вползающий в чужой храм... «Однажды...» — несколько раз повторялось лязгучиком, пока мохнатые, скользкие и оперенные существа не прислушались, выбирая для полноценного сна ту сказочку, в которую они хотели поверить, какую ждали... Рука нашла руку, душа душу, тела слились и полетели в пропасть; раздался протяжный звук, в котором был полет, парение и мягкое приземление, пронесся и отнесся вихрь, раздвинув тучи, которые расступились, и в свежем дуновении воздуха растаяли бесовские запахи гари и омерзительная вонь подпаленных шкур, а черное звездное небо Техаса стало потолком; вдавленное в комнату пространство задышало угрозой скорого ливня, что вот-вот разразится под сводами средневековья, к которым Кустова подтащили сеансы мистера Одуловича...

...придавленное небо дышало угрозой скорого ливня и превращения топкой дороги в непроходимую трясику, и, поглядывая вверх, люди стегали лошадей и волов, торопясь до ночи выбраться из низины, разжиться сушьем и прогреться у костров. До моря далеко, но порывы ветра доносили возбуждающие запахи соленой стихии и — всем так казалось — парусные вздохи кораблей, на которые надо погрузиться; молния, вдали блеснувшая, подгоняла; где-то взбесились кони и злобно ржали, заглушая тележный скрип, яростные проклятья возниц и лай собак, которые трусили за ордами людей от самого Кобленца; оценившиеся по пути суки вели за собой выводки, ибо и зверей и птиц охватывало сплотившееся людей стремление: туда, на юг, через море, к Гробу Господню!

Десятки тысяч людей прошли уже этой дорогой, распугав окрестных крестьян, разворвав их дома и уведя скот; пахло кислотной пропотевшей обуви и протертой одежды, уши щемило от жалостливых криков детей, которые никак не желали понимать, зачем отцы их и братья, матери и сестры подались из родных и теплых мест в края, где придется каждый шаг сопровождать убийствами неверных. Хватало кровопускательства и

здесь: за то время, пока колонна по кривой огибала невысокий холм, два промчавшихся всадника прирубили отставшего путника-страдальца, и труп бедолаги люди оттащили от дороги. Никто не пожелал слова доброго сказать об убиенном, но услышать хотели, и бредущие миряне увидели, как на холмик, будто на амвон, поднялся одетый в рубище пилигрим, громко воздавший хвалу Всевышнему за быструю смерть смиренного раба Божьего, который получил то, к чему и стремилась душа его, чего алкало и тело его, — гибель во славу Господа Бога.

— Упокоение нашло его не на равнинах сирийских в сече с неверными, не при осаде крепостей, хранящих в себе несметные богатства султанов и калифов, и не на берегах Иордана, а на истинно христианской земле, — будто отходную молитву пел пилигрим, которого вернее было бы назвать странствующим монахом, избравшим дальнюю дорогу наилучшим и наикратчайшим путем к покаянию. — Христианский меч погубил христианскую же душу, избавив страдальца от еще больших мучений, бессмысленных и порочных...

Люди, чудом избежавшие мечей двух проскакавших господ, приостанавливались, внимая речи безбородого проповедника с жезлом, причем и на жезле в руке его, и на правом плече плаща белой краской нарисован был костыль, что обязывало монаха оказывать помощь увечным и беспомощным, — занятие, для него явно затруднительное, поскольку сам нуждался если не в помощи, то в сострадании.

— Да, — продолжал монах, которого ветер колыхал, так был он слаб, — да, бессмысленные и порочные, потому что Господь повелел нам быть милостивым ко всем падшим и заблудшим, прощать им грехи, а не наказывать огнем и мечом, к чему призывают вас те, кому выгодно гнать вас будто бы на спасение Гроба Господня, — им это выгодно, не вам, поскольку папская булла дает господам отсрочку от уплаты пошлин и долгов, а прелатам сулит все те блага, которых они лишены здесь!.. Одумайтесь! Вам-то что надобно за морем? Вы как были нищими, так и останетесь ими!.. О, собрат! — едва не взвыл монах, увидев бредущего странника в черной рясе. — Какая злоба погнала тебя под святое знамя? Рыскающие по лесам бандиты тоже сплотились под этим знаменем, чтоб напоить коней в водах Иордана, но ты-то, ты — куда ползешь? На твоих хилых и избитых ногах ни сандалий, ни башмаков, — как и у меня, как и у многих... как и у вас, добрые христиане! — громко, превозмогая тугой ветер, продолжал укорять и стыдить монах, и люди, нагие и босые, недоуменно озирались; вокруг свирепеющего от проклятий человека уже сгущивались будущие завоеватели и охранители Гроба Господня, невольные соизмеряя адское существование на земле с раем небесным; некоторые давно уже выжгли на своем теле кресты, уверяя всех, что рука Божья тому причина. Разинув рты, внимали они хриплому еретическому голосу, и будь это действие на городской площади, воры давно б уж почистили карманы и кошельки зевая, а расторопистые парни лапали бы хихикающих горожанок. Первые капли дождя пали уже на капюшон страждущего истины пилигрима, но, кажется, даже гром небесный не отвратил бы его от угодного Богу занятия, потому что голос еще хлеще взметнулся к низкому небу; вздернутые руки звали Царя Небесного к наказанию заблудших...

Тот странник в черной рясе, кого окликал недавно злобствующий пилигрим и который невозмутимо продолжал свой путь, вдруг остановился, повернул назад, всмотрелся в неистовца, забрался на холмик и решительно приблизился к нему, отмахивая руки предложив людям возобновить поход к далекой стране за морем, и когда толпа поредела, тихим шепотом укоризненно произнес:

— Брат Родольфо, ты так изменился, что только по голосу я узнал тебя. Но до сих пор не могу поверить — ты это или не ты!..

Молодой человек, названный им Родольфо, недоуменно вгляделся в посланца нечистой силы и вытянул перед собою хилую, чуть толще виноградной лозы руку, казавшуюся особенно тонкой в широком рукаве рясы.

— Кто ты? — сурово и брезгливо спросил Родольфо и бросил взгляд на тучи, на небеса, как бы призывая их испелить нечестивца и грешника, вздумавшего прервать богоугодную речь.

Монах в черной рясе откинул капюшон, показывая себя, и дал время брату Родольфо всмотреться...

Тот сдавленно вскрикнул и ладонью заложил уста, чтобы не выдавать тайну, в которую оба они были посвящены много лет, если не веков, назад.

Наконец губы его вымолвили почти беззвучно:

— Брат Мартин, ты ли это?

— Я, — отвечивал брат Мартин. Нога его, обутая в добротный ботинок из свиной кожи, а вовсе не босая, коснулась — не без отвращения — камня размером с воловьей голове. Не приходилось сомневаться, что камень этот символизировал величину и тяжесть грехов брата Родольфо, и в вещное доказательство своего желания грехи эти искупить брат таскает его повсюду с собой. — Мне чудится, — с насмешкой продолжал брат Мартин, — что твое желание вразумить толпу и обратиться к ней с проповедью объясняется просто: тебе захотелось скинуть с плеч камень и отдохнуть, но поскольку перед камнем у тебя какие-то обязательства, то ты от него — ни на шаг...

— Ни на шаг! — иступленно повторил брат Родольфо. В голосе его прошипелась ненависть, полная любви; чувства эти смешались, и в разъяренную душу брата Родольфо тихо вползала радость от того, что на пуганых дорогах Европы он встретил бывшего наставника своего, брата Мартина.

— Не мешай исполнять мне Божью волю! — угрожающе произнес он, делая попытку спихнуть брата Мартина с холма вниз, но тот лишь презрительно усмехнулся и ни на пядь не сдвинулся с места. — Неужели ты не чувствуешь бесовского наваждения толпы? Иль ты веришь басням о том, как Петр Пустынник добрался до Святых мест в Иерусалиме, как уснул в храме при Святом Гробе и явившийся к нему во сне Спаситель вручил ему письмо патриарху, чтоб тот побудил сердца верующих очистить Святые земли от язычников? Враки все это, враки, ибо кому, как не тебе, известно по донесениям наших монахов, что Петр Пустынник, он же Петр Амьенский, на контрольной встрече в Иерусалиме так и не появился. Неужто нос твой не обоняет запаха серы? Зачем, подумай сам, Гроб Господень этим несчастным? Плодороднейшие земли Европы лежат невспаханными, хлеб, рожденный ими, даст пищу этим обуянным гордынею людям, — здесь пища будет, здесь, рядом с их семьями, а не за морем, где поджидают их сабли и копыя сарацин. В монастырях, сам знаешь, куется знание, что облегчит труд землепашца и ремесленника, освободит их головы и руки от грешных помыслов и дел, направит на служение заповедям Христовым, которые растоптаны богоотступниками — как мирянами, так и служителями церкви...

Будто подтверждая правоту его слов, мимо холмика с песнями и бесвязными пьяными выкриками проехали повозки с проститутками, и старшая в их обозе матрона издевательски предложила обоим монахам полакомиться свеженькими девочками, которые тут же задрали юбки, издавая при этом похотливые вопли. С доброй улыбкой человека, который испытал всю сладость греха ради возвышенного самоуничижения, брат Мартин горько посетовал матроне на оковы ордена, запрещавшего блуд, на что та мудро заметила: нетленность мужских чувств превыше всего, и то, что под рясой, ордену не подчиняется, а подвластно скорее им, Божиим избранникам. Не могла матрона не обратить внимания на костыль и, хитро изменив стиль зазываний, обратилась к монахам с просьбой — не помогут ли они оба снять с нее, именно с нее, вериги воздержания, она ведь терпела столько ночей и дней!

Дюжина хохочущих проституток, среди которых выделялась бойкая рыженькая толстушка, замахала руками и задрыгала ногами, требуя от обоих монахов того же; едва не вспылил брат Родольфо, и рука брата Мартина легла на его воспаленный лоб, призывая к спокойствию и благоразумию.

— Я опечален, — сказал брат Мартин. — Я очень опечален. Тяжкий путь, выбранный тобой и аббатством, омрачил твой рассудок кошмарами, ты забыл о поручении руководства. Оно, как и ты, с недоверием относится к наплыву чувств, охвативших народы, что ныне стремятся к югу. Но ты забыл, с какой целью посылали тебя под видом странствующего и кающегося грешника в земли европейские. Тебя обязали изучить, как папская власть взаимодействует с мирской, каковы земельные отношения в срединной Европе и что замышляют враги ордена. Ты должен был заглянуть во все закоулки городов и узнать, что нового в настроениях горожан и как движется мысль ремесленников. Тебе поручили найти чертежи камнеметной машины и подлинники документов, хранящихся в известных тебе монастырях. Руководство ордена обеспокоено тем, что нет сведений о способах, какими улучшается в Европе конское поголовье... Или ты забыл?

— Подробный отчет мною составлен, — возразил засовестившийся брат Родольфо, — и находится в верном месте... Но, согласись, никакое одеяние не может скрыть во мне дарованную Богом и, возможно, излишнюю трезвость рассудка. Ты ведь помнишь, что я был в монастыре владыкою пасеки, и мед моими трудами тек не только в кувшины и бочки для продажи в городах, но и, прости, в глотки братьев наших по ордену, послушников и всех, кто по вечерам пировал в трапезной, где в нарушение устава бывали и те, которые только что притворно жаловались на вериги воздержания...

— Мне тоже кажется — притворно, — согласился с легкой усмешкой брат Мартин, не преминув заметить, что Папа Римский отпустит все грехи тем мужчинам, которые возьмут в жены этих дерзких девиц. Брат же Родольфо, будто не расслышав, продолжал:

— И я не могу потворствовать лживым измышлениям князей церкви и мира, погнавших под гнусным предлогом народ куда-то подальше от дел, от творчества, от трудов праведных во славу...

— Остановись! — взревел брат Мартин. — Ты посягаешь на самое святое — на заблуждения миллионов! Ибо в них, в заблуждениях этих, спасение мира и мирян. И, чего уж скрывать, сама вера — заблуждение, иначе не развелось бы так много апостолов, каждый из которых глаголет истину... Да, люди эти, голодные и вшивые, мерзкие и развратные, ленивые и жадные, — люди эти идут неведомо куда, повинувшись высокой мечте о справедливости, потому что в слепой вере они убеждены: там, на Востоке, они, отвовав Гроб Господень, заодно и нахапают кучу золота и женщин, и нахапают так много, что не понадобятся весы для справедливого дележа добычи, те самые весы, которые всегда лгут. Эти спотыкающиеся от голода и мучимые князьями простолюдины получают по потребности... Так им думается, именно так, но, сам понимаешь, ни шиша им не достанется, и все же терзает меня мысль: как ты, такой чуткий и сострадательный, не познал истину, вытекающую из основ Отца нашего. А она такова: не для ковыряния в земле рожден человек, ибо он не вол и не хрюкающая свинья, не для заполнения утробы вином и мясом, не для ублажения плоти, жаждущей женщин. Бессчетное количество зверья кишит в лесах и долинах, тучи насекомых и птиц кружат над ними, гады заселяют каждую расщелину, рыбы резвятся в пучинах морей и океанов, все они, каждая особь жрет, пьет и совокопляется. Неужто думаешь ты, что мир суший создан для этого nepотребства? Нет! Человек создан Богом, чтоб оправдать все им сотворенное, Творец не ради тварей старался: Бог, единый и триединый, наделил людей позывами к чему-то бессмысленному и возвышенному, и

чем тощее люд, чем громче и слышнее вопит голодный желудок, тем к большему свершениям надо их, обездоленных мирян, звать именем Господа Бога!..

Сдавленным выкриком брат Родольфо хотел остановить поток слов брата Мартина, но тот продолжал:

— Душа человеческая возникла в оправдание ошибок, допущенных Богом, и дух человека — святыня, дух заставлял подвижников нашего братства уходить в пустыню под жала змей, жить в промозглых пещерах, питаться ящерицами. Они, брат мой, раздирались когтями львов или умирали, побитые камнями обманутых, науськанных простолудинов. Но молча, молча! Ибо их вера — в понимании того, что эти бессмысленные движения людских масс с запада на восток, с юга на север и обратно суть тайные желания Высших Сил из числа тех, что никогда не слетают с уст Господа нашего!

Истинно мучился брат Родольфо, слушая богопротивные речи друга и наставника. Не мог он не заметить, что ряса наставника подбита мехом, дорогим мехом.

— Кто ты есть? — вскричал он. — Разве такое я слышал от тебя когда-нибудь?

— Слышал! Именно это и слышал. В стенах монастыря — слышал! В душевных кельях! Но не под небом, которое Бог! А оно учит нас боготворять вонючую, подлую и мерзкую толпу, ибо она, и только она, исполняет Высшую Волю Господа нашего!

Руки брата Родольфо взметнулись к небу, которое внушало ему иное.

— Это какая же Высшая Воля?.. Да ведомо ли тебе: все бесовство мира в том, что сотни тысяч людей тронулись в гибельный путь потому лишь, что... я открою тебе страшную тайну, в которую боюсь сам поверить... — Родольфо приблизился к Мартину вплотную. — Страшную... Люди бегут из Европы потому, что она, Европа, перенаселена бесами в человеческом обличье, что крестовый поход такая же необходимость, выявленная Богом, как чума, что косою пройдет по миру...

— Именно поэтому и не препятствуй людям! — расхохотался брат Мартин дьявольским смехом и прибегнул к последнему доводу, спихнув ботинком вниз отягощавший и душу и тело камень.

В ужасе от предательства друга, брата и наставника Родольфо возрыдал, и взгляд его, провожавший камень, наполнялся мучкой и смирением.

Тем не менее он пошел вслед за братом Мартином, по привычке согнув правую руку так, будто она несла камень...

Было это на юге Италии, в двух дневных переходах до Бриндизи, оба монаха вошли в рощу, где их поджидал конь без седла. Брат Родольфо еще поманерничал немного, заговорив об ослице, на которой разъезжал Христос, но догадался, видимо, что только конь выдержит их обоих.

Они взгромоздились на него и куда-то поехали.

Они продолжили свой путь в средневековье, более им знакомое, чем те годы, на которые выпало жить и служить полковнику Бузгалину В. П. и майору Кустову И. Д. Они долго ехали, они расставались и съезжались, продолжая существовать в текущем двадцатом веке, не ведая, как в них бурлит другая жизнь, безумная, потому что Европа съятила, от населявших ее чудовищ спасаясь песнопениями, и если хор серафимов величал престол Всемогущего чистыми дискантами, то внутрихрамовые хоралы били по сатанинскому воинству градом камней; слово молитвы обладало остротой и силой меча, а если к слову присоединить и танец, то гибель Зла обеспечивалась — к сожалению, не всегда молитва в храме завершалась торжеством Добра. Последней надеждой, постоянно действующей литургией оказывалось монашество, не допускавшее ада в заблудший и загни-

вающий мир. Рассеянные по Европе горстки людей, чьей миссией было отвращать жестами и словами гнев небесный, привлекать на себя Божье прощение и окроплять все окрест себя благодатной росой доброглаголетия, — подвижники эти строили монастыри, часто — в горах и на вершине самой высокой горы, чтобы приблизиться к небесному обиталищу, еще чаще — порывали с родным домом, уходили куда глаза глядят, чтоб болью разлуки с очагом детства и лишениями в пути очистить и себя, и тысячи мирян, каясь и уготавливая себя к Судному дню, к земной смерти и обретению другой жизни. Несметным толпам несчастных сотни, тысячи Одуловичей внушили — по подсказке безвестного центуриона — христианское учение о врожденном грехе, который надо было искупать страданиями и лишениями; люди по году сидели в болоте, отдаваясь мошкаре; святыми провозглашались те, кто десятками лет не видел женского лица; в боязни Страшного суда кто спал сидя, кто залезал на столб и, не спускаясь на землю, десятилетиями бил поклоны; в подражание злобным клекотам грифонов проповедники слова Божьего надрывали глотки, но чаще всего оскверняли души верующих богомерзкими словесами, отчего и укоренилось мнение: бесы влезают через рот. Они же, злейшие и наиподлейшие враги человека, могли превращаться в собаку, в любого зверя, в женщину, что было искушением воистину дьявольским. Потому исцелением стало уединение и молчание, монахи уходили в места, где нет ни людей, ни животных; подвижники Божьи втайне от себя рассчитывали на то, что изгрызающие их звери-желания прельстятся ширью земных угодий и выметутся из черепа. Но изобретательные бесы упрятались в извилинах мозга, они выпрыгивали и под видом чертей издевались, они хохотали, глумясь над людьми, а те не могли избавиться от проклятий греха: как только монахи осваивали пустынный клочок земли в надежде, что бесы покинут их, они, бесы, возвращались на возделанную монастырской братией цветущую землю, плодя грехи, и брата Родольфо не раз встречал на дорогах Европы брат Мартин, всматривался в него, допытывался, а какой это грех пытается извлечь из себя его бывший ученик, что хочет он снять с себя и бросить в костер, в огне которого сгорит не только рубище, но и вшами запрятанные в складках грехи, коих немало, потому что страдал, страдал брат Родольфо, и помочь ему не мог пока ни брат Мартин, ни тем более полковник Бузгалин, который, как и майор Кустов, тоже забыл земное и самого себя — ради царства небесного...

Они уехали, оставив в пансионате для гостей колледжа застывшего во сне Кустова и проснувшегося Бузгалина, который счастливо, освобожденно потягивался, радуясь тому, что и с души его, и с тела сбросилась какая-то всю жизнь досаждавшая тяжесть. Он сытно позавтракал и лениво покурил, он нащупал в кармане Кустова паспорт и убедился: майор, полтора месяца назад отказываясь лететь в Москву, врал, уверяя, что паспорт надо менять на новый, двухгодичный срок его, мол, истек. Он сидел до вечера у неподвижного собрата по профессии и дождался: вдруг Кустов поднял голову; Кустов озирался, не понимая, где он и кто он; «Голова — болит...» — произнесено было неожиданно ясно и чисто, после чего вновь заснул. Возможно, он был ошеломлен вторжением в средние века, потому что Одулович путешествовал с ним по пещерам первобытных племен, намереваясь дотянуть пациента до года, когда он заговорит о Марии Гавриловне.

Он и заговорил о ней — когда проснулся. Каким-то механическим голосом воспроизвел он — точь-в-точь, слово в слово — то письмо, что прочитал накануне, — о том, что она, беременная Жозефина, ждет его в Гаване, вместе с Марией Гавриловной, которая вылетает вскоре в Москву, надо поэтому спешить, сама же она с Кубы — ни шагу, это может повредить их мальчику, да, да, будет мальчик, она это чувствует... «Врет... —

провещал голосом робота Кустов и добавил: — И ты врешь... Фальшивка, почерк — не Жозефины...» Окатил Бузгалина серией вопрошающе-презрительных взглядов, но ответом вполне удовлетворился: нельзя же, призвал к благоразумию тот, тащить через три границы письмо служебного содержания!

Только такие, по-детски наивные рассуждения понимались им, и от него по-прежнему пахло псиной. Взгляд был растерянным, ни на чем не фиксировался. Часто поводил плечами, съезживался будто от холода. Заставил Бузгалина произнести фразу, которая — так ему казалось — выдала бы акцентом славянское происхождение. Спросил наконец:

— А чем, собственно, занимался ты, служа этой Высшей Справедливости?

И вновь провалился в сон, из которого вышел ровно в час дня. Наступил решающий для него и Бузгалина момент: Кустову надо платить за номер в отеле, куда должен прийти сбежавший Мартин, и если сейчас Кустов направится туда, в отель, то никуда он из этого города не выедет, он будет продолжать поиски того, кто сбежал именно в этом городе и потому здесь где-то, рядом.

Тикали минуты. Было 9 августа, телевизор в холле гремел на весь пансионат, передавали отречение Никсона, и американское нутро Кустова не осталось безучастным, с блаженной улыбкой идиота одобрял он решение греховодного президента, приветствуя пришествие справедливости, хотя занимался, как все американцы, делами похлеще тех, в чем обвиняли президента США. О Мартине и отеле было забыто. С нагловатеньким прищуром опухших глаз, пренебрежительно цедя слова, Кустов спросил, а как дядюшка намеревается попасть в Гавану, и предложенные варианты отверг, да их, вариантов, почти и не было. Остров блокирован, прямой аэрофлотовский рейс Москва — Гавана отпадает, на промежуточной остановке в Канаде к самолету никого не подпустят. Морская дорога заказана, частный самолет найти почти невозможно, остается тот самый путь, какой — предположительно — привел Жозефину в лучшую клинику на Кубе, и начало пути — в Лиме.

Это были последние трезвые и нормальные слова, услышанные Бузгалиным. Пора было расставаться с пансионатом, и тут-то оказалось, что Кустов не хочет жить в двадцатом веке: во рту его будто перекатывалась горячая картофелина, речь стала невнятной, уши будто заложены комками ваты, — он почти не слышал, говорил с трудом, пришлось прикрикнуть, побуждая его двигаться, ходить, казаться нормальным человеком. Бузгалин со все большей тревогой посматривал на него — все-таки случилось то, чего избежать, наверное, было нельзя. Кустов стал почти ребенком, все бытовые приемы и повторявшиеся изо дня в день жесты, слова — все разладилось в нем, и надо было подсказывать ему, давать советы при одевании одежды: «Так, правильно, теперь брюки держи обеими руками, а левую ногу... ну, ту, которая в синем носке...» Бузгалин вымыл его в душе, постриг отросшие и уже загибавшиеся вовнутрь ногти на руках и ногах, снес бритвой фатоватые баки, приладил галстук. Расплатился с пансионатом. Владелица его, видевшая Кустова иным, удивления не выразила; на всякий случай, репетируя дальнейшие объяснения, Бузгалин брякнул: «Майор. В отставке. — И многозначительно: — Сайгон!» (О Америка, великая, гуманная и необъятная, привечающая всех несвободных и ненормальных, которые хозяевами ходят по ней, поскольку с каждым днем все радостнее жить!..)

Уже по дороге к автостанции Кустов закричал вдруг, полез из машины вон, несколько минут стоял в неподвижности, тер лоб, что-то вспоминая и явно не желая покидать этот город. Бузгалин впихнул его все-таки в такси, покатали, автобус почти пустой, на мексиканской границе у обоих не стали требовать паспорта, и так ясно — чистопородные янки! Головные

боли у Кустова исчезли, но страдания от них помнились, как след ожога, как рубец; временами он хныкал; но очень резко реагировал на проститутток, которые после отставки Никсона чувствовали себя, как верующие после распятия Христа, и с новой, ударной силой предлагались, обступая автобус на остановках. Еще семь часов тряски с пересадками — и Лима, гостиница на берегу океана. Сутки не выходили из нее, о Кубе Кустов не заикался, все более мрачнел. Отмытый и приодетый, благоухающий одеколонами и лосьонами, он тем не менее ощущал себя загаженным и завшивленным, временами превращался в Родольфо, поглядывал на ногти так, будто они отросли до совсем уж неприличных размеров, а сам он — в ветхом рубище. Рассматривал себя в зеркале, приглаживая волосы и расчесывая их, громко при этом называя себя: «Я! Я! Я!..» — и тыкая пальцем в грудь. Речь его постепенно становилась внятной, он уже одевался без помощи и подсказок, однажды разбушевался, приняв горничную за Жозефину, будто бы проституткой заказанную в номер. В нем, еще не осознавшем, кто он есть, продолжал жить Мартин, и не просто жить, а осаживать его, одергивать; Мартин прикидывался им самим, Кустовым, а самого его тянуло к Бузгалину, в котором чудилось что-то от Мартина, который был для него, только что вылупленного цыпленка, курицей, маткою; признаательно и робко смотрел на него, часами сидели друг против друга, словом не перебросившись, но разговор шел — брат Мартин и брат Родольфо все еще бродили по Европе, нещадно споря, и тогда майор Кустов начинал — из семисотлетней временной впадины — подавать незашифрованный голос, а полковник Бузгалин прислушивался, и однажды к нему пришло отвратительное признание: оба они — мужчины, заразившиеся болезнью от одной и той же женщины.

Анна Бузгалина уверяла как-то, что все виды сумасшествия — вынужденные возвраты в детство, в сны, что, забываясь, оставляют о себе такую же память, как запах чего-то так и не увиденного. Однажды Бузгалин застал Кустова в холле, тот со смущенной улыбкой спрашивал о чем-то мальчугана, сына поодаль стоявшей супружеской четы. Смутился, поднялся с Бузгалиным наверх, присел рядом. Заговорил о Жозефине: очень, очень несправедливо обошелся он с нею, очень! И прервал себя, заходил по номеру, делая какие-то нелепые движения, походка — будто в правой руке грехи неподъемные. Бузгалин из номера — Кустов за ним, ходил приклеенным, выслеживал, устраивал засады и смиренхонько возвращался в номер, будто не выходил из него.

Пошли пятые сутки, Бузгалин носился по смрадному городу, в котором бывал-то всего несколько раз; он заводил знакомства, всем обещая любовь и дружбу, ловил нужных ему мужчин и женщин на улице, в ресторанах, на стадионе, все шло по плану, который возник сам собой в пансионате, рядом со спальней в беспомысленстве Кустовым. Только из Лимы можно было увезти Кустова на Кубу. Уже наметился и день: 19 августа, билеты на самолет заказаны по телефону, но так, что фамилии слегка изменены и при получении билетов измененность отнесут на глупые уши девчонки в агентстве. У паспортов был один изъян: они были настоящими, не фальшивыми, и если за кем-либо из двух пассажиров тянется какой-нибудь след, то по нему дойдут до Панамы, где американская военная база и где любого могут вытряхнуть из самолета. («Ил-18» шел круизным рейсом из Гаваны в Гавану через Панаму и Джорджтаун в Гайане.)

В полдень побросали рубашки в чемоданы, Кустов, последние дни пребывавший в томительном ожидании чего-то ему не понятного, взбодрился вдруг, Бузгалин зорко рассматривал за ним. Операция может сорваться по той простой причине, что она спланирована чересчур тщательно, в механизме увоза провалившегося агента все детальки так отшлифованы, смазаны и подогнаны, что крохотная песчинка в состоянии сбить работу всей системы. Одну песчинку, а точнее — камешек, удалось из-

влечь из застрявших шестеренок: два дня назад их нашел некий Гонсалес, бывший компаньон Кустова по пылесосному бизнесу, завалился в номер с жалобой на Жозефину, которой Кустов будто бы дал доверенность на ведение дел. Давал или не давал — об этом Кустова лучше не спрашивать, он больше разбирался в монастырских порядках, чем в неизвестных ему переговорах фирмы с поставщиками. (Провалы в памяти у него — что дырки в добротном сыре.) На мексиканца он глянул дико, Бузгалин вытолкал нежданного совладельца в коридор, сказав, что Жозефина будет со дня на день, с нею и ведите переговоры. Глянул в глаза засмущавшегося Кустова. Там — ровный ряд баранов, рога нацелены на изрытую копытцами землю, неприступная крепость. А за баранами — подозрительно спокойный лес, безмятежное голубое небо. Что-то мерзкое задумал Иван Дмитриевич Кустов, нашедший какой-то изъян в брате Мартине.

— У меня тут знакомые, — беспечно произнес Бузгалин. — Пойду проведу обстановку... Билеты возьмем в аэропорту, время есть, вылет в семнадцать тридцать.

Он бросился названивать всем обретенным в городе знакомым обоего пола и с каждым новым разговором все дальше и дальше отбрасывал мысль о самолете, раздумывая над тем, как унести ноги отсюда — им обоим, ему и Кустову, потому что, не побывав ни в советском, ни в кубинском, ни в американском посольствах ни вчера, ни позавчера, ни в предыдущие дни и тем более этим сегодняшним утром, он по тону тех, с кем разговаривал, по отказам консульской челяди, вдруг загруженной какими-то делами, понял, что тревога объявлена повсюду, и кто первым ее поднял — уже не понять и не высчитать, но американцы догадались о каком-то чрезвычайно важном мероприятии, затеваемом Советами, и подняли на ноги всю агентуру. И как не догадаться, если сам посол Кубы уже около 14.00 был в аэропорту — на тот, без сомнения, случай, если кого-либо попридержат на контроле. Узнав о столь раннем прибытии посла, американцы, вероятно, и заподозрили что-то. Но кубинцы-то — какого черта баламутят воду? Никто ведь не знает, что рейсом этим полетят два американских гражданина, которым эта суэта противопоказана.

Последний звонок прояснил все окончательно. «Джек, рада тебя слышать... — промурлыкала секретарша консульского отдела американского посольства. — А видеть не могу, дорогой. У нас тут аврал, и если так уж хочется повидаться, то давай после шести, когда страсти улягутся...»

Не зря, значит, посол Кубы в роли то ли прикрытия, то ли обеспечения, и когда никого при посадке в «Ил-18» не задержат, американцы станут разыскивать в Перу двух спугнутых ими граждан, приметы, возможно, уже разосланы. Аппарат ЦРУ здесь обширный, люди расставлены повсюду, искать будут сперва по гостиницам, а затем прочешут всю страну. Бежать! Немедленно. Но — куда?

Куда и когда — за него решил Кустов, сбежавший из гостиницы. Бузгалин нашел его, дрожащего от страха, на вокзале, уже под вечер. Взял за руку, увел к океану, положил на песок, сел рядом, надеясь на рокот волн, на берег этот набегавших и пятьсот лет назад, и вчера. За те сутки, что прошли со встречи брата Родольфо с братом Мартином на холме невдалеке от Бриндизи, Кустов насыщался и питывался словами и образами, как подрастающий ребенок, с тем отличием, что скакал — день за днем — в развитии от года к году. Когда начался прилив, Бузгалин оттащил Кустова от наползающей белой бахромы волн, пристроил его тело к разъединенной солью лодчонке, гладил по головке, приговаривал что-то колыбельное, помогая ему одолевая ужасы средневековья, когда люди, уже пообщавшись достаточно, исходив вдоль и поперек свою страну и чужую, уразумели собственную подлость, мерзость, увидели бездну, которая разверзлась, которая манила; существование в мерзости становилось уже нетерпимым, и брат Родольфо был одним из тех, кто спасал человечество от

укусов населявших его зверей, насекомых, гадов; грех и покаяние владели умами; исповедь напоминала судебный процесс, в котором человек обвинял сам себя; отделение овец от козлищ не сулило овцам ни спасения, ни прощения; человечество же исторгало из себя чудовищ, грызших изнутри его черепную коробку, художники и скульпторы рисовали и ваяли страшных птицепресмыкающихся, с уродливой ухмылкой смотрят они до сих пор с гравюр, мозаик и фресок, капителей церквей и храмов; под перьями монахов заглавные буквы рукописей превращались в фигурки скалящих зубы драконов, а невиданные никем растения обвивали кривые и стройные пьедесталы букв; первые картографы в очертаниях некоторых стран видели рыкающих львов, а моря рисовались обязательно со змеями, длинной от Британии до Африки; пасти левиафанов готовы проглотить всю Европу, сцены Страшного суда с грешниками, имя которым легион, украшали порталы соборов, в ходу были миниатюры, изображавшие смерть, простертую над миром; ангелы трубили, возвещая конец света, праведники отделялись судом от грешников в пропорции, не сулящей рая никому; осужденные понуро плелись к котлам с кипящим маслом; души человеческие терпели поражение за поражением, даже если за них заступалась сама Дева Мария; демоны пожирали эти души на капителях церквей; все было грехом, даже отпущение их; молнии карали хороводы и в церквях, и на лугах в крестьянские праздники, красота и уродство соседствовали рядом; именно в эти лихие времена образ мохнатого и хвостатого черта с копытцами навек остался в мозгах, осязательно и зримо являясь в алкогольных страданиях, — в мозгах, потому что места ему не нашлось на Земле. Таким чертом мог прикидываться бес, и бесов этих надо было изгонять, корчеванию подлежали человеческие души.

Вымачивая носовой платок в воде, он остужал пылающий лоб Кустова и сочинял в уме угрожающую докладную начальству — о недопустимости в дальнейшем столь нещадной эксплуатации людей: не пять человек висело на Иване Кустове (что оправдано всей практикой разведслужбы), не семь (критическое число), а восемнадцать, и любой свихнется от такой нагрузки.

Самую страшную докладную он не решался даже мысленно составлять, и, положа руку на лоб впавшего в забытие Кустова, так и сяк обдумывал тот застольный разговор на даче, где он спросил у начальства о провалах. Даже Малецкий и Коркошка не знали, кто такой мистер Эдвардс, в ночь с 31 июля на 1 августа пересекший чешско-австрийскую границу. Ни в Риме, ни в Нью-Йорке никого из американских и неамериканских знакомых он не встречал. И тем не менее — в Лиме были наготове. Произошла, возможно, трагическая накладка: выдан был человек, которого — вместо Бузгалина — протащили через все резидентуры Европы, а человек этот на собственный страх и риск решил спровоцировать ЦРУ и ФБР.

Бузгалин разорвал кредитную карточку «Дайнер клуба» и поднял Кустова. На того временами нападало прозрение, мозги становились современными, ясными, и в такие минуты Бузгалина посещала издевательская догадка: а не притворяется ли тридцатисемилетний мужчина, не играет ли он мальчишкою какую-то роль, нарепетированную им много лет назад в поселковом Доме культуры?

— Так что с Кубой — полетим?

— Нет. Не нравится мне что-то...

— И мне тоже, — согласился Кустов и с детской признательностью глянул на Бузгалина.

Подались на юг, в курортную зону, дешёвизна необычайная, Кустов язвительно кривил губы: отель ему не нравился, отель его бесил; со всеми его страхами Бузгалин сжился, научась убаюкивать взрослого младенца недетскими увещеваниями, но посреди ночи Кустова стала бить истерика,

перебрались в другое место, благо гостиниц — навалом, и стало понятно, от кого убегает Кустов. И к этому отелю приперся уже знакомый слюнявый безумец, местная достопримечательность, кургузый человечешка, осыпаемый добродушными насмешками ребятни, что гомонила у отеля, обирая иностранцев. Высокий лоб, несоразмерно большая голова, с подбородка свисали слюни, глаза горели живейшим интересом, выдавая ум, короткие, кривые и проворные ноги умели изгибаться и сплетаться. Этот идиот и уродец полюбил Кустова, как бы родственную душу опознал в нем, часами высиживал под окнами номера задрвав голову; Кустов был единственным, кто, наверное, понял бы его. «Да прогони ты его! Прогони!» — взмолился Кустов, уже близкий к припадку, к свисающим с подбородка слюням.

Пришлось уезжать ночью, такси заказывали не через администратора, а по телефону из номера, и тем не менее в тропической звездной ночи раздался истошный голос рыдающего идиота, резво бежавшего за ними.

Нашли пристанище у озера с детским названием, сняли хижину за смехотворную плату, невдалеке поселилась экспедиция, нанятая Колорадским университетом, веселые парни дожидались киношников перед броском в Боливию. По вечерам жгли костры. Проводники — из местных, усохшая от лет перуанка соболезнающая поглядывала на Кустова, поила его какими-то травами. И допоила. Тот что-то вынашивал, что-то тайл. И внезапно — к ужасу Бузгалина — разговорился. Археологи, разбившие лагерь поблизости, принесли добычу — обломок меча, и по черепку найденной там же миски определили: шестнадцатый век! Стали спорить, вспомнили о конкистадорах, о Нуньесе Бальбоа. Обломок ходил из рук в руки и надолго задержался у Кустова. Тот разглядывал его так и эдак, принюхался даже — и неожиданно сказал: двенадцатый век! Так сказал, что все поверили, и тем не менее он сперва неохотно, а потом разгоревшись прочитал лекцию о мечах, о сакральности их и даже сексуальности, ведь умирающий Роланд меч свой назвал вдовицей; что же касается этого обломка, то он — стальной, изготовлен по особой технологии: из железных прутьев выжигался углерод, прутья затем ковались, скручивались винтом, расплющивались и снова бросались на наковальню, из трех-четырёх заготовок получали сердцевину клинка; этот длинный меч пришел на смену короткому римскому, способному наносить только колющий удар, этим же можно было поражать врагов наотмашь и с коня. На обломке, если его потравить чуточку кислотой, можно будет прочесть какое-либо святое для двенадцатого века слово, возможно — имя меча. Попал же он сюда не как боевое оружие, а святынею, которой дорожил испанец, павший здесь много веков назад, а точнее — 17 мая 1515 года...

Раскрыв рты слушали... Умолк Кустов — и Бузгалин потянул его от костра, от любопытствующих, в хижину, сзади плелась, укутанная в шаль цыганской расцветки, перуанка, прикрикнули на нее — отстала. На осторожный вопрос: не годом ли раньше погиб испанец или неделей спустя? — Кустов с лучезарной улыбкой ответил: а что, может быть... А могло быть и то, что по-первобытному хитрый Кустов намеренно брякнул про 17 мая 1515 года, а сумбурная память, где сейчас цифры и слова валялись в обнимку, как гуляки после праздника, подала ему фрагмент из какого-нибудь пособия по истории. Поневоле подумаешь: уж не брат ли Родольфо надоумил Ивана Кустова, в бытность того капитаном, нарушить вековую истину: разведка не должна мешать политикам. В 1969 году в переданной через курьера пространной записке приводились убедительные доводы: напрасны потуги Москвы покупкой пшеницы в США создать некий плацдарм с абсолютно непредсказуемыми результатами, уж лучше развернуть всю торговлю с Южной Америкой: страны этого континента неприхотливы к качеству товаров, и советские пылесосы, к примеру, завою-

ют рынок; темпераментом южноамериканцы схожи со славянами и более склонны, чем кто-либо, воспринимать идеи марксизма; та же торговля вызовет промышленный бум в СССР, русский язык отлично усваивается не только на Кубе, надо срочно послать на континент правительственную делегацию, надо... В Москве не стали дочитывать до конца этот бред, позднее при личном контакте внушили: не лезь не в свое дело.

Этот обломок меча наваял на Кустова тревожные сны, ночью он трижды вскрикивал, однажды забился в припадке — эпилептическом, наверное: изгибался, хрипел. Вдруг вытянулся, затих, по лицу растеклась блаженная улыбка. Кроватей в хижине не было, только матрацы, Бузгалин лег рядом с беззвучным и, казалось, не дышащим телом майора, вспоминал Анну и уже представлял, что будет после пробуждения. В полуметре от него покоилось человечество накануне эпохи Возрождения, в тот неопределенный период, когда, уже начав познавать культуру Древнего Рима, оно чувственно постигло глубину времени, осознало себя преемником предыдущих эпох и родоначальником всех последующих, история стала биографией скопища людей, и те утвердились на Земле — единственно мыслящие. Ни пульса у Кустова, ни дыхания, обломком дерева лежал на матраце, раскинув безмятежно руки, выдававшие присутствие жизни в нем: пальцы что-то высчитывали, пальцы шевелились, ощупывая некую ткань, сжимались кулаком, руки брали копьё, аркебузу, бердыш, пистолет... И вдруг истошно заорал, как тот заслуженный пигмей, и навалился на засыпающего Бузгалина, стал душить, острое колено его вдавилось в горло, свободная рука потянулась к матрацу, набросила его на Бузгалина, у того уже исчезало сознание и черными сужающимися кругами обрывалась жизнь. Но сорвался сам Кустов, пал ничком, захрипел, издавая сухие гортанные щелчки, как при икании. Бузгалин отдышался, выйдя из хижины, собрался было искать перуанку, но та уже колдовала у изголовья мертвеющего Кустова, будто всю ночь таилась в углу хижины. Разожгли костер, подтащили к нему умирающего, перуанка села на живот его, запела. С озера доносились всхлипы болотных птиц, над горами возгоралась заря — дважды, трижды, Бузгалин тем самым осколком меча раздвигал челюсти Кустова, вливал в рот отвратительное пойло из трав и сушеных змей.

Выходил. На третьи сутки Кустов поднялся рывком, пошел к воде, один — чего никогда себе здесь не позволял, для него Бузгалин был наседкой, из-под которой он, цыпленок, только что выбрался, пробив мягким клювиком скорлупу: он следовал за ним по пятам, повторяя шаги, длину их и ритм, и никогда не выходил из номера, пока его не позовет вошедший Бузгалин, лишь однажды изменил цыпленочьему инстинкту, когда сбежал перед рейсом в Гавану. Сейчас — пошел один, сам надел рубашку, без подсказок умылся. Бритва была заводной, механической, стрекотавшей. Кустов ладонью погладил щеки, подбородок, долго рассматривал себя в зеркале, показал язык, подергал за уши, и Бузгалину в какой уже раз подумалось, что где-то внутри Кустова сидящий человек корчит из себя умалишенного, а на самом деле с мальчишеской издевкой наблюдает за напрасными потугами взрослых разоблачить его; археологи с некоторым недоверием посматривали на него, чуя притворство, и рассказом о мече Кустов убедил их в том, что не придуривается.

Вдруг, огладив щеки ладонью, Кустов ясно произнес:

— И долго мы будем здесь колупаться?.. Надоело... А ты — кто?

Негодяй Одулович огнем и мечом прошелся по его мозгу, теперь звери постепенно возвращались в родной лес по собственной прихоти, никак не в том порядке, в каком бежали и в каком когда-то вторгались и обжигались. Первыми вернулись вонючие и злобные существа, которых можно назвать недозверьями, опровергая возвышенные домыслы о благородной цельности человека, Божьего творения; пополняющие память звери натерпелись в изгнании лишений, кое у кого перебиты лапы, бока опалены,

кто-то отстал, многих уже недосчитаться; от ребячьего возраста до старости человек открывает ворота в свой загон, на просторах мозга пасутся сотни, тысячи людей; была надежда, что в Буэнос-Айресе стадо пополнится, в городе этом бывал Кустов не раз, в Бразилию все-таки не рвался, что успокаивало Бузгалина: некогда Кустов стремился упасть к ногам президента и вымолить прощение — так какого президента он имел в виду?

За археологами пришел самолет, они и полетели с ними; там, в салоне, Кустова стал бить озноб, участилось дыхание, дважды терял он сознание, что-то бормотал, судорожно стискивая руку сострадательной девушки... Он, как и все люди далеких веков, искал частичку вселенной, к которой можно было притулить душу свою исстрадавшуюся, — женщину искал, прощая ей греховность за то, что более сладкий грех обладания ею звал к многократному и спасительному покаянию. Такие женщины и стали пересекать пути странника Родольфо. Верная ослица завела его однажды в густой лес, где он встретил заготовителей угля, подвозивших деревья к костру, и один из угольщиков взял с собою на работу дочь свою, глаза ее воткнулись в Родольфо копьём, стрелой, пущенной не наугад, а после продолжительного прицеливания, потому что она попала бы прямо в сердце, не будь надломлена жестким ребром. В славном городе Кёльне, протискиваясь сквозь уличную толпу и одаряя нищих тем немногим, что содержал его кошелек, он почувствовал вдруг на бедре своем чью-то руку, норовившую через одну из прорех рясы залезть в и без того скудный карман монаха, он схватил ее выше локтя, чтоб подтянуть к себе воришку и отчитать его за богомерзкий поступок, но пальцы уже не могли сжаться, потому что их ласкало нечто теплое и покатоое, источающее жар, взывающее к милосердию и стрельнувшее в него огнем желания, опалившее затем изгибом плеча, мелькнувшего в полуразодранной одежде воровки, и брат Родольфо расплакался, потому что вселили беса не знало границ. Принужденный монастырем к целомудрию, он лелеял мечту о встрече с женщиной, с грешной и величественной дамой сердца, которой будет тайно поклоняться до конца дней своих, и с женщиной этой познакомил его брат Мартин, успевший побывать в тех странах, которые простирались на много веков дальше.

Много чего повидал он в те десятилетия, когда был оруженосцем странствующего рыцаря (по имени Мартин). Не раз въезжали они в ворота замков и слушали песни трубадуров, которым внимали и дочери владельцев особ. Но вот однажды заблестал на солнце золотой шлем, водруженный на шпиль замка и приглашавший рыцарей отдохнуть от странствий и битв, еще немного — и показались башни, но когда рыцарь Мартин всмотрелся в щит на воротах, он попридержал коня, а затем, скорбно поникнув головой, повернул обратно. На робкий вопрос оруженосца ответил со вздохом: «Там — она...», и сколько бы потом обличий ни менял Родольфо, он всегда помнил о даме сердца, которая томится в неизвестном отдалении, и даму эту миновало бесовство...

С самолета на поезд, в Буэнос-Айресе отмылись и отгладились, куда дальше — Бузгалин не знал, и еще в самолете пришла мысль: если вдруг разобьемся, то так в Москве и не узнают, что с ними, потому что по следам его до Одуловича можно добраться, до Лимы, пожалуй, тоже (если хорошо потрясти Жозефину и Гонсалеса), но уж про озеро Титикака — никто не узнает, и долгие года Бузгалин и Кустов будут числиться без вести пропавшими или предателями. Единственный шанс — связаться со здешним резидентом. И поневоле думалось о московском начальстве: какие бы дурости ни проявляло оно, уже то, что где-то далеко от этого континента люди одного языка с тобой о тебе думают на том же языке — это уже вселяло надежду и всегда придавало поискам даже блошиного номера в зачуханной гостинице смысл великий, мирило с шалостями помощников.

Сейчас же — от Кустова испытывались тяготы величайшие, у него стали обнаруживаться дурные мужские привычки: по мелочам придирался к официантам, с проклятьями проверял поданные за обеды в номере счета, устроил бучу, найдя ошибку, обзывал горничных нехорошими словами, не делая, к счастью, попыток затащить их к себе. Однажды, правда, едва не схлопотал по морде, запустив в ресторане руку под юбку проходившей мимо дамы; Бугалин пустил в ход все спасительные модные словечки: отставной майор, рана, Вьетконг, Сайгон, партизаны. А Кустов при этих извинениях поглядывал на даму оскорбительно умно и честно, как вполне нормальный человек, пошедший скуки ради на розыгрыш. Что-то происходило в нем, отголоски споров с оседлавшим его Мартином иногда долетали до Бугалина, который сам начинал побаиваться Мартина, и однажды с пугающей ясностью до него дошло: они-то, Бугалин и Кустов, оба — погорельцы в самом точном значении этого слова на Руси, им обоим несдобровать, потому что их истинный хозяин Мартин может погубить их в любую минуту. Кустова-то уже к петле подвел, заигрался майор со своим Миллнзом: без денег и без работы, одинокий человек, у которого все рухнуло, в наличии — полусумасшедшая супруга, не раз ему наставлявшая рога, и сам он — психически больной человек, а уж о матери лучше и не вспоминать, Мария Гавриловна в далеком сорок третьем году, занимаясь любовью с кем-то, шандарахнула сыночка по голове чем-то не легким, и травму можно, пожалуй, называть не черепно-мозговой, а психосексуальной. Взрослый сын брошен ею на произвол судьбы. Как-то Бугалин улучил момент и заглянул в кустовский лес, там — все застыли, даже листья деревьев не колебались, и звери стояли неподвижно, настороженно подняв головы: уши — торчком, глаза высматривают опасность, которая разлита по всему лесу, и нет щебечущих пташек, а многометровые питоны свернулись кольцами и расщепленные языки их вибрируют в сонном воздухе...

С резидентом решено было не связываться: признать-то Бугалина своим он признает, но ничего не сделает, пока Москва не одобрит и не согласует, а где Москва — там вылетевшая птичкой информация. На исходе недели удалось связаться по телефону с давним знакомым, ныне он работал в Чили, но собирался лететь к жене в Чикаго, обещал задержаться на пару дней в Аргентине и кое в чем помочь, — обещание более чем ценное, потому что у Кустова исчез страх перед Кубой. Встречать его поехали вдвоем, поднялись на смотровую площадку аэропорта. Было чистое, как-то по-особенному голубое небо, знакомый прилетал рейсом из Сантьяго, аэропорт Эсейса наполнен веселящим рокотом; у знакомого — обширные связи, найдется смельчак, который покатает на самолете двух «нортеамерикано», чуточку заблудится и окажется на военном аэродроме под Гаваной. Тем и кончатся странствия: Бугалина и Кустова — по Америке, брата Мартина и брата Родольфо — по кошмарной Европе.

Средневековые ужасы помешали задуманному.

Самолет задерживался, взяли бинокли, глазели на пассажиров нью-йоркского рейса, на стюардесс, Кустов, в той, тайной жизни усмиривший плоть, в этой так и норовил цапнуть рукой сокрытые одеждами женские прелести. Не отрывая от глаз бинокля, пощипывал, признавая выдающиеся достоинства блондинки, шагавшей впереди прибывших с каким-то флажком. На площадке — человек семь-восемь, до Кустова — рукой подать, но не настолько же близко, чтоб воспринимать даже на таком расстоянии дрожь слабеющих от страха рук, неслышный хруст коленных суставов, внезапно принимающих на себя тяжесть смертельно напуганного тела. Бугалин ощутил, как изменился Кустов, и оторвал глаза от бинокля, глянул на него: тот, весь потный, вцепился взглядом в кого-то, и ноги его разъезжались, ища новую, более верную точку опоры. Глянул и недоумевающий Бугалин: профессорского вида мужчина с очками в роговой оправе,

дама с таксой под мышкой (красная кепочка на собачке), следом — молодожены, никак не могут отлипнуть друг от друга, еще одна особа женского пола, но никакого сходства с Жозефиной, и наконец то, что готово вот-вот обратиться в бегство смертельно напуганного Кустова, который не знал, кто он и откуда родом, но зато помнил ужасы и невернувшегося прошлого, и несбывшегося будущего.

Три человека шли за женщиной, не имевшей никакого сходства с Жозефиной. Трое мужчин: высокий молодой мулат в синей фланели; старик слепец в темных очках и с тростью, на нем — старомодный костюм с жилетом; и поводырь — бережно поддерживавший старика за локоть унылый парень. И все. Ничего, возбуждающего опасения. Поднакопивший денежек фермер кликнул сыновей, и те спровадили его в вояж по белу свету, кого-то из родных повидать, то есть повстречать, поговорить да просто потолкаться в чужой толпе. Старость напоминает о зряшной суете минувшего, деньги, так получается, не только обуза, но еще и горькое осознание: да зря ведь прожиты годы, сейчас бы насладиться тем, чего нельзя было позволить себе годами раньше, сейчас бы... Жалко старикана, да что поделаешь, жизнь — это жизнь, а жизнь, как уверял один разуверившийся писатель, — это проходной двор между двумя уборными. Жаль, конечно.

От удара в бок Бугалина едва не скрючило. Бил Кустов, схватил за руку, потащил вниз. Втолкнул в кабину телефона-автомата, прижался, зашептал в лицо:

— Бежать! Бежать отсюда!

— Что случилось? Куда?

— На куда попадем быстрее! Бегом!

Глаза дикие, но уже начинают мыслить, осторожно обегают толкучку возле касс, в походке уже нет спешки, напуганность можно ощутить, только взглядом прислонившись к его лицу, на котором робко заплескалась радость скорого избавления от какого-то несчастья. Презрительно фыркнул, отказываясь что-либо объяснять, хорошо держался при посадке в самолет (Буэнос-Айрес — Мельбурн), но когда оторвались от земли, развернулся в кресле, глянул назад, будто проверял, сбилась ли погоня со следа или по-прежнему дышит в затылок, бежит ли лающая стая, роняя длинную слюну, или присела и ждет улюлюканья оставших охотников. И Бугалин — стало зябко — тоже оглянулся. Порыв Кустова уже не казался дурью психа. Безобидная троица, фермерская семейка, весьма похожа на оперативную группу спецназначения, отправляемую за кордон для ликвидации людей, предавших Родину и вообще тех, кого посчитали нужным убрать. Все нелегалы и их помощники знают, что таких опергрупп нет и не может быть, ибо после ликвидации Бандеры в Москве решили: хватит, себе дороже обходятся такие акции! И ни одного официально зарегистрированного и доказательствыми снабженного факта убийства кого-либо из перебежчиков, ни одного! И тем не менее те, кто по разным поводам опасается за свою жизнь, именно отсутствие доказательств и фактов считают самым убедительным свидетельством неизбежности расправ, вчитываются в скупые строчки газет, повествующих о нежданно-негаданных смертях, о таинственных исчезновениях, об автомобильных катастрофах при невыясненных обстоятельствах, об убийствах, оставшихся нераскрытыми, и постепенно начинает проступать некая система устранения, где главную роль играет снайпер высочайшего класса, человек, природой одаренный и природой же предназначенный творить возмездие. Человек этот мог быть замечен только в войну, лишь в жесточайших условиях мировой бойни мог он выделиться — естественным отбором — из тысяч высококлассных бойцов, умевших без промаха стрелять, и от этих тысяч его отличала необычайная способность определять на глаз плотность и температуру воздуха, скорость ветра и отклонение пули, на которую влияло и вращение планеты Земля, и географические координаты нацелившегося мас-

тера, которому сейчас, в 70-х годах, уже за пятьдесят, потому что воевать он начал двадцатилетним, учиться на снайпера послали его после призыва и первого месяца в окопах, когда ротное или полковое начальство уразумело, какой прирост получило с новым пополнением. Из сибирской глубинки, наверное, образованьице — ЦПШ, то есть церковно-приходская школа, образно выражаясь (а не Центральная партийная, как пошучивали), затем ЦСШ, снайперская, фронт, а после войны — в кадрах ГРУ или КГБ, неоднократные поездки за рубеж. Языками не владеет, посему и бутфория — слепой, глухой, немой или глухонемой, умевший — по роли — украинскую мову пустить в ход. Оружие к месту акции доставляется заранее, агенты хорошей выучки в роли сопровождающих родичей или тех, кого придумают на Лубянке. А там свой стиль работы, никакие запреты сверху Лубянку не меняют, всегда составится в единственном экземпляре документ, под которым «ознакомлен», подпись без даты, и, видимо, какая-то информация о Кустове-Корвине попала-таки во Второе Главное управление. Те шестьсот восемьдесят долларов, что всучили прыткому информатору, достаточны ли для того, чтобы он не захотел вторично доказать свою незаменимость? Еще кто-нибудь — не взялся за Одуловича? Не пошарил в картотеке асседки? И тогда на подмосковную дачу прибывают два похожих на Коркошку и Малецкого майора, будят старикана, не трясущиеся руки которого достают из тумбочки темные очки; строгий взор, брошенный на старуху, сопровождается снисходительным наказом: «Ты у меня не шали...» После чего София-Афины-Мадрид и далее, — что, однако, весьма маловероятно, потому что экспедиция попала на глаза случайно, потому что перуанку в рваном пончо нельзя подготовить ни в одном учебном центре, а уродца тем более.

Только после Кейптауна тревога отступила от Кустова. Он уже не смущал пассажиров наглым рассматриванием их. Вжался в кресло, заснул, но в Мельбурне иные волнения поджидали его, и Бузгалин все более склонялся к мысли, что, зная, в Австралию прилетели они не по велению умысла, а потому, что в аэропорту Буэнос-Айреса рейс из Нью-Йорка и самолет до Мельбурна отделялись минутами, и не попасть сюда, на этот континент, было уже невозможно. Кустова будто оглушили и ослепили: вцепился в плечо Бузгалину, тянул его куда-то в сторону, подальше от суеты людской. Оторвал наконец руку от плеча, жадно вдыхал влажный воздух.

— А я ведь, кажется, здесь бывал... — промолвил он. И сник. Его глаза заслезились. Повел головой — влево, вправо, влево, настраиваясь на австралийский акцент в приаэропортовском говоре таксистов и носильщиков. Вдруг выбрал машину, полез туда, забыв о Бузгалине. Упал на сиденье, сказал, куда ехать. Докатили до пустынного (семь вечера, хлестал дождь) пляжа, Кустов упал на песок, руки раскинул, смотрел в небо. Шофер дал Бузгалину зонтик, сказал что-то о женщинах, из-за которых все беды. А тот, понимая уже, что Кустов вернулся в 60-е годы, припоминал все страхи Анны перед фауной и флорой этого континента, она бы и болящего Кустова на порог дома своего не пустила, потому что боялась таких, как он, как всех тех, детство которых было испохаблено диктатами матерей, игравших роли отцов. Однажды показала мужу реферативный журнал, там некий эндокринолог утверждал: всю мудрость и все навыки свои волчонок получает в слюне прожеванной отцом пищи, она, эта слюна, что смачивает жвачку, прививает поведенческие реакции взрослому хищнику, но когда одна мать воспитывает уже скалящее зубы мохнатое чадо, мужские гормоны начинают вырабатываться и у нее, искажая и деформируя выводок, будущих уродцев пестуя.

Шофер забрался в машину, а Бузгалин стоял с зонтиком и выжидательно бездействовал, потому что в Кустове забил и вырвался на поверхность ушедший было под землю родничок, молоденькая зеленая травушка

выделилась красочным пятном. Поднялся наконец, полез в такси, частенько останавливал машину, всматривался в полузабытые места, сокрушенно покачивал головой, как бы констатируя: гляди-ка, снесли, а какой квартал был уютным! И стал вести себя вполне профессионально: расплатился с таксистом — и сквозным двором увел Бузгалина на другую улицу, потом нырнул в переулок, уже в другом такси адреса не называл, только указывал, где и куда поворачивать. Краина, двухэтажный особняк, сдавались две квартиры внизу и весь верх, который и выбрали, заплатили за неделю, съездили в кафе (хозяин дал машину), заснули, а утром Бузгалин застал Кустова за нелепым занятием: тот делал какие-то пометки на стенном календаре, шевелил губами, лоб его морщился... Выругался, когда его спросили, чем он, черт его побери, увлечен. Ошалело смотрел на Бузгалина, до которого дошло: амнезия, из памяти Кустова выпали недели, если не месяцы, склок с Мартином, то есть с самим собою, когда спасителем от головных болей стало воцарившееся в нем существо, и что делалось им, Кустовым, а что избавителем, подлежало разделению, но как это сделать, если про дела сбежавшего было Мартина почти ничего не известно и сотворенное им, Кустовым, тоже не вытискивается из памяти, сколько она ни напрягается. Зато, наверное, отчетливы ныряния в полусумасшедшие видения, и тогда могут затрещать мускулы и кости, если вспомнятся сеансы с коновалом Одуловичем...

Вдруг спросил — почти так, как при первой встрече:

— Значит, ты тоже служил Высшей Справедливости?

О предательстве дядею родной тому страны вроде бы забыл — как и о деньгах, которыми оплачивалось служение этой справедливости. Зато отважился на грустное признание:

— Мне тут тяжело пришлось когда-то... Натерпелся.

Загадочным образом он — за двадцать часов перелета — похудел фунтов на сорок и с разведкой себя четкостью всплывавшие из глубин памяти кусочки своей бестолковой (так ему представлялось ныне) жизни. Наибольшее омерзение вызывали прощальные ужины с руководством, когда вроде бы надо дать последние наставления, вселить бодрость, уверить разведчика не только в благополучном исходе операции или командировки, но и внушить: мы всегда рядом, мы вытащим тебя из любой беды, только верь нам... Так полагалось, так мыслилось. А наяву — последняя проверка на преданность Родине, чуткое ощупывание, страхование на тот случай, если предаст, — и кусок застревал в горле за этим столом, да и слишком много советчиков, поневоле прикинешь: а где же скрытность?

— Тебе этого не понять... — продолжал Кустов. — Ты шпион, а я — разведчик. Ты за деньги, а я по совести.

— Денег, значит, у тебя много...

Пока не бедствовали, но вскоре придется думать о будущем, потому что денег совсем мало. О двух крупных выигрышах на скачках в Атланте Кустов, к счастью, забыл, а то бросился бы на здешний ипподром. Расспросил Бузгалина о Жозефине, услышал то же, что и раньше, то есть содержание письма, повторно проверил даты, убедился, что, пожалуй, ребенок — от него. Вздумал было дать ей телеграмму, еле-еле от мысли этой отказался. Какие-то варианты толпились в мозгу его, еще на что-то он надеялся, листал телефонный справочник, поднимал трубку и с грохотом клал ее, не решаясь напоминать кому-то о себе в стране, которую покинул когда-то и куда вернулся не по своей воле; скользившая по спирали жизнь сделала виток, возбуждавший вопрос: ну а что дальше? Мозг его постепенно заполнялся прежними обитателями домашнего зверинца посреди леса и у водоема, где бойкими всплесками мысли резвилась рыба молодая и глухо брякала хвостом по глади вод мудрая престарелая щука. Почти все вернулись, но кое-кто в добровольном изгнании нарушил правила семейного

общежития, что-то натворил и спрятался в чаще, на зов не откликнулся, боясь расплаты за содеянное. Трижды порывался он спросить о чем-то Бугалина, но обреченно взмахивал рукой, как бы говоря: да откуда тебе это знать? Он, несомненно, чувствовал: что-то в недалеком прошлом совершено им такое, что подлежит наказанию.

Однажды ранним утром Бугалин уехал — один, без Кустова, дважды пытался позвонить в Прагу — и не решился; убеждал себя, приводя утешительные доводы, что троица в аэропорту — фермерская семейка на отдыхе, и только. Однако: нужен ли Москве майор Кустов? Кто-то ведь обязан «признать ошибки», повиниться за то, что ямку в черепе так и не обнаружили ни при одном медицинском осмотре, что Мария Гавриловна — разгульная баба, и кто объяснит, почему высланы застуканные у тайников дипломаты? Не нужен Москве майор Кустов! Не нужен! А раз так, то десяти австралийских долларов хватит на набор купленных в аптеке лекарств, в нужной смеси образовавших бы именно для Москвы нужное снадобье.

Так и не позвонил в Прагу... Когда же подъехал к дому, увидел «бентли» у ворот, осторожно прикрыл дверцу, обогнул особняк, разведанным ходом пошел на женский смех, к полураскрытым окнам, дивясь веселью Кустова и его гости, но еще более поражаясь языку, до него долетавшему. Не английский, конечно, не испанский, не французский, но и ни один из скандинавских, и все же — странно знакомый, долгожданный даже, потому что Бугалин чувствовал: он — улыбается.

И тут же согнал улыбку, потому что наверху говорили по-русски! Долгую минуту стоял, навалившись на перила витой лестницы. Три комнаты наверху, можно проскользнуть в свою и послушать, но женщина, приехавшая на «бентли», уже предупредила Кустова, еще раньше увидев «форд», и тот распахнул дверь: «Заходи!» — сказано было им как обычно, то есть по-английски.

Лет тридцать, не больше, этой разбитной по виду русской бабенке, но глаза та, умна и мужика, если уж тот попался в ее руки, не упустит. Местная: так вольно никто из советских не ведет, причем постоянно пребывает в близком, тесном, плотном русском окружении, иначе бы так не сохранился язык — бытовой, чистый, с намеком на матерщинку. Тонкие брови вразлет, скулы типично монгольско-славянские, сунь градусник под мышку — 36 с чем-то, а душа кипит, жесты такие, словно тренируется кидать камни за ограду, и Бугалин размяк, расслабился, чтоб сподобнее было принимать удары, уж очень ему не понравилась былая и незаржавевшая любовь Ивана Кустова, брошенная им на пороге скорой женитьбы, о чем он умолчал в отчете, как и о том, что почти раскрылся, объявил себя русским, чем и объясняется многое: община помогла. Бабенка, которую Иван назвал Ниной, стреляя черными глазами, пронизывающе прощупывая дружка своего бывшего любовника, трещала без умолку, русско-английские имена взлетали к потолку и толстым слоем покрывали пол, остерегаясь попадать на ложе любви; встреча была такой бурной, что не было времени раздеться, и, кажется, сейчас славянин и славянка в третий или четвертый раз приложатся друг к другу; застукай обоих Жозефина — и кривой испанский нож вонзился бы в шею этой Нины или чуть ниже ключицы. Если же рассортировать брошенные при Бугалине слова и упорядочить их, то они пополнят личное дело Кустова увесистым томом, заключительным, возможно, потому что служебных упущений, мягко выражаясь, в нем не счесть; однако же только они, ошибки на грани преступления, и позволили Ивану выжить. Видимо, оказавшись без документов, без связи и с мизерными деньгами, он познакомился с русской девушкой, парикмахершей, а ныне — владелицей салона, а почему именно с нею — так по той причине, что очень похожа на Марию Гавриловну. «А ты уверен, что он по-нашему ни бум-бум?» — метнула в направлении Бугалина вопрос русская Нинка, заодно полоснув острейшим взглядом Кус-

това, не удовлетворяясь его мычанием. Руки ухоженные, причесана под англичанку, юбка смята, кофточка распирается грудью, которая размерами привела бы в бешенство завистливую Жозефину и которая приятно тревожит Ивана. «Удачи!» — произнес Бузгалин, уходя к себе и спиной чувствуя напор тяжелых глаз чернявой австралийки донских кровей... Жгучий и неженский интерес ее к дружку былого хахаля был потому еще подозрителен, что Ниночка эта властвовала в своем зверинце, помахивая хлестким бичом, и по стриженным газонам в замысловатой последовательности показывали себя, как на арене, дрессированные медведи, мастодонтовой величины слоны, умеющие не опускать лапу на будто ненароком скользнувшего под нее зайчонка, а питоны дружески обвивали улыбавшегося павиана. Цирк!

Угомонились они только к вечеру, «бентли» укатил; на столе — остатки истинно русского пиршества, даже селедочка полуобглоданная; Иван молчал так, что Бузгалину казалось: где-то рядом смачно и громко мурлычет сытый нагулявшийся кот. Будто оправдываясь, Кустов виновато произнес: «Она меня когда-то здорово выручила...» Во взятой с подоконника телефонной книге некоторые листы замусолены грязными руками, Бузгалин еще раньше эту книгу просмотрел, не мог не отметить тех, кому названивал Кустов, ногтем проводивший по некоторым фамилиям, — очень, очень неосторожно вел себя майор, а ведь (так Бузгалину казалось) он, попав в страну, где претерпел столько бед, станет вдвойне осмотрительным. Наверное, не только беды нависали над ним, радости тоже встречались, да еще какие, родную русскую душу встретил на австралийской чужбине, утомлен сейчас этой душой, пышнозадастой и грудастой, а душа самого распахивается Мартину, который уже вверх брата Родольфо в былые страхи и...

...и когда мягко, расчетливо дверь приоткрылась, согнутый в три погребели — от выпавших на него бедствий — брат Родольфо приподнял голову и услышал тихий голос возлюбленного наставника, что было свободой. Голод, терзавший пленника все эти недели заточения, пробудился в нем с новой силой и тут же заглох, потому что брат Мартин приложил палец к устам, призывая к молчанию и повиновению. Схваченные по доносу богомольцев и брошенные в темницы замка, над которым развеялся стяг герцога Анжуйского, они тщетно взывали к благоразумию местных властей, которые знать не желали их отца настоятеля и в богопротивном невежестве отказывались читать их верительные грамоты. Сейчас хозяева замка пиршествовали в главной зале, усеянной цветами и освещаемой факелами; мало кто держался на ногах, еще меньше было тех, кто мог бы присматривать за стражей, натаскавшей с барского стола сосудов с вином, и лишь собаки сохраняли трезвость, хотя скользкие от сырости лапы их сами собой расползались по каменным плитам пола. Время от времени кто-либо за столом бросал им недообгрызенное бедро лани или полтушки жареного зайца, — швырял не глядя за спину, и псы лениво поднимались и обнюхивали угощение, от запаха которого желудок брата Родольфо начинало скрючивать в колючий комок, вызывая приступ ненависти к богачам и угнетателям, и все понимавший брат Мартин сжимал его руку, взывая к разуму...

Гобелены на стенах. Стол дубовый. Скатерть узорная. Фрески — без перспективы. На полу розы и лилии.

Рассмотрев сверху залу, спустившись по крутым лестницам на два этажа ниже, монахи проникли в комнату, где вповалку лежала пьяная охрана, и, присмотревшись к разбросанным одеждам, стали выбирать нужное: в монастыре, что воспитал их, они с равным усердием изучали и слово Божие, и науку врагов, потому так искусно брат Мартин облачался в доспехи, предварительно натянув на свое тело гобиссон, защищавший рыцаря

от ран, даже если панцирь и будет проколот, наложив наплечники и набедренники... Подобрал шлем по размеру, он шепнул, что брату Родольфо вовсе не следует подражать ему, потому что гораздо естественнее будет, если тот оденется под оруженосца, и брат Родольфо повиновался, ограничился кафтаном, стальным нагрудником и шишаком. Вышли во двор, неся с собой копье, два щита, меч, палицу, для лошадей — чепраки, кожу, бляхи, наглавники, и лошади повезли на себе слугителей ордена, которых не могла не пропустить охрана замка, потому что брат Мартин, умея по-всяческому говорить, приказал от имени графа Анжуйского опустить мост; ров остался позади, и ночь тоже: разгорался восход величайшего дня в истории освобождения всех трудящихся, близился час битвы Высшей Справедливости с Темными Силами Мирового Зла, и чтоб заодно уж узнать неприятельское войско, монахи двинулись не напрямик, а стали кружным путем пробираться к своим.

Скот, выгнанный из городских стен, мычал. Кухахтали куры. Крестьянин, которому до смерти надоели войны, отважился на песню, переиначивая «Deus le volt» в издевательскую частушку. Чистое высокое небо. Хрюкали свиньи.

Сотня мощных латных коняг несла на себе рыцарей-норманнов, чем-то обозленных; монахов спихнули бы с дороги, не догадайся брат Мартин свернуть в рошу, где они были пойманы по навету злодеев месяц назад, а может быть, и больше; сколько же точно — они не помнили и помнить не хотели, потому что были бессмертными, как и орден, воспитавший их; они спешили и припали к родничку, утоляя жажду, а затем, прислушиваясь к гулу издалека, отказались от костра и зайца, который так и напрашивался на вертел. Водрузившись на лошадей, они переправились на пологий берег реки, с каждым новым шагом все более и более ощущая запах родного войска, но в смутном беспокойстве чужа и нечто звериное поблизости, встревожившее брата Мартина настолько, что он хотел было повернуть обратно, да было уже поздно: в гряде кустарников показались одетые в медвежьи шкуры люди-берсекры, перевоплотившиеся в медведей войны из далекой Германии; неимоверная злоба и бешенство берсекров докатились до аббатства, прирученного орденом, и вызывали споры, кончившиеся тем, что монахов решено было обучить медвежьему рыку. Его умело издал брат Мартин, подняв забрало, и берсекры, сидевшие в кустах на корточках, пропустили их; сверкнули на солнце железные ошейники у впереди затаившихся, еще не убивших ни одного врага, но готовых умертвить любого, своего даже, лишь бы кровью смыть позор бесчестья, коим были железные кольца. И еще раз издал звериный крик брат Мартин, но уже по-волчьи, потому что в перелеске таились люди-волки из Франции, пополнение, вызванное князьями, и оборотни в медвежьих и волчьих шкурах, заняв плацдарм на берегу, намерены были обеспечивать переправу...

Ржанье лошадей, которые делились, как и люди, на угнетателей и угнетенных, и опасались переходить реку на сторону врагов... Злобные взгляды оборотней, одинаково ненавидевших людей и лошадей... Влажность речного берега, напомнившая — запахом — родной брату Мартину Дунай, а брату Родольфо — Сену...

Три любезных сердцу монахов крестьянина расселись на лужайке почти на виду неприятеля и лакомились уворованным каплуном, как-то неопределенно показав, где начальство, но согласившись угостить брата Родольфо куском хорошо прожаренной дичи. Брат Мартин сокрушенно смотрел на жующих: не одна битва уже была им испытана, и он знал, как тягостна духу борьбы сытость. Повинуясь его взгляду, брат Родольфо утер масляный рот рукавом и забрался на неохотно принявшую его лошадь. Они уже достигли своих рубежей, и брат Мартин благоразумно снял с го-

ловы своей господский шлем. Утренний туман белесой кашей наполнял долину, скрывая людей, которые слаженно пели походную песню:

Божья помощь нам нужна
сокрушить врагов дотла.
Божья сила — наша сила
к небесам нас возносила!

Показался из тумана и первый отряд, во главе его вышагивал гусь, а люди шли босыми и счастливыми, и хоть не по-христиански было пускать впереди себя гуся, в полном согласии с заветами отцов церкви крестьяне рвались в бой, чтобы умереть, потому что гибель за правое дело обеспечивала рай. С тем же радостным остервенением вышагивал и второй отряд со свиньей впереди, дружественно взмахивая короткими дубинами и пиками. Странствующие рыцари-монахи поскакали дальше, к знамени на высоком древке у шатра. Брат Родольфо невольно придержал лошадь, потому что приближаться к шатру посчитал рискованным: под знаменем, величественно опершись на мечи, стояла группа господ, и брат Мартин, много чего повидавший на своем более длинном, чем бессмертие, веку, успокоил сотоварища: здесь, рассмеялся он, взятые в плен рыцари, с их помощью и советами тысячи бедняков осияют богатеев... Протрубил сигнал — и будто стая орлов взлетела к небу, заслоняя солнце; богатенькие в латах как-то сникли, а шедшие с козами, свиньями и гусями батальоны расступились, пропуская мимо себя главную ударную силу трудящихся — сводный отряд прокаженных и сифилитиков. Эти Богом обиженные люди все были в масках, тем самым всех призывая к маскам, к единообразию лиц, потому что все Богом данное — для всех, общее и одинаковое. Разве это высокое и никогда не исчезающее небо — только для избранных? Разве землей выращенные плоды не всякой утробе полезны? И кто из живущих откажется от жареного поросенка? А развали бабу на травушке, закрой подолом лицо ее, — да у каждой под юбкой одно и то же! И все мы, из милости высшей сотворенные, в каких-то мелочах друг от друга отличаемся, и маски — только знак нашей общей схожести, и горе тем, кто думает иначе, пусть кара небесная обрушится на богатеньких, которые присвоили себе право брать все лучшее, отдавая нам, как собакам, худшее...

Прованс, Лангедок, Тюрингия...

Победный клич раздался над войском трудящихся и вознесся к небу — призывом к победе и смерти; гибель в сражении обеспечивала блаженный рай одним и геенну огненную другим. На прорыв вражеских редутов пошла ударная сила — люди в балахонах и масках; брат Мартин придерживал рвущегося в бой брата Родольфо, но не уследил: ученик пропал, и тогда, разя мечом злобную стаю нелюдей, в гущу боя бросился брат Мартин. Хрипели в предсмертных мучениях лошади, ничком лежали люди, и кровь пропитывалась земля. Брат Родольфо мелькнул впереди, он отбивался трофейным мечом от наседавших эксплуататоров, а потом будто надломился и упал. Мартин пробивался к нему, круша черепа, и достиг наконец холма, на котором едва не нашел вечное блаженство брат Родольфо, заваленный трупами. Разбросав их, брат Мартин наклонился над учеником и с одного наметанного на смерти взгляда понял, что успел, что жив еще брат Родольфо, пораженный вражеским мечом в голову. Краем полукафтана отер он кровь с лица не навеки уснувшего, и в этот момент на самого Мартина обрушился меч...

Утром нашли в холодильнике остатки вчерашнего разгула, завтракали вяло, Бузгалин небреженько поинтересовался, как в миллионном городе отыскал Иван свою любимую Ниночку... Невнятное пожатие плеч могло сойти за ответ, но повторный вопрос поднял Кустова на ноги. «Что ты хочешь этим сказать?» — грозно спросил он, и тогда последовало уточнение, равное сигналу опасности.

— Поражаюсь я тебе... Только что, три дня назад, увильнули от КГБ, ума бы обоим поднабраться, а на деле... Ведь не ты, а она тебя нашла здесь! Кто указал?

— Да никто не указывал! — взъерепенился Кустов в страхе и умолк. Он, конечно, искал эту Нинку по телефону, полистывая справочник, мог найти и старых знакомых, что маловероятно, а уж те... Баба она хваткая, через частную службу знакомств до кого угодно доберется.

Дошло наконец до Кустова: про особняк этот не знает никто! И тем не менее Нина прилетела сюда!

— Ты думаешь... — начал он бегать по комнате. — Ты думаешь, что она...

Будь этот разговор до встречи Кустова со старой любовью, до этой кушетки — он клялся бы, отрицая любые связи ее с полицией, потому что все подозрения заглушались скорыми объятиями, ожиданием этой кушетки. Но в том-то и дело, что женщина кушетки помнит, а мужчина забывает, ему мнятся уже другие постели, другой стиль раздевания.

— Да, она, — произнес он обреченно и сел — не на кушетку (ее он уже боялся), а на стул. — Что делать-то?

Какие гадости можно ожидать от австралийской полиции — это Кустов знал, а Бузгалин мог только догадываться. Отколовшаяся от Англии страна все хотела делать не так, как на далеком родительском острове, и дурила. Кенгуру, утконосы, тасманийский волк, смрадный дух маори, ушербная психика бывших каторжан и местное зверье никак не уживаются с привезенным из Европы стадом.

— Ты прав, дядюшка... — согласился Кустов. — Ты прав. Надо, как выражаются русские, рвать когти.

На час-другой он стал хищным гладиатором, которого вытолкнули на арену знакомого Колизея, все бывшие страхи колыхнулись в нем и подавились, бывшие же победы наполняли тело и душу восторгом скорой битвы. Поднялся неспешно, зевнул, огляделся, будто случайно подойдя к окну; губы сложились для свиста, мелодия незнакомая. Он совершал обход владений, он прошелся по лесу, по пискам, ревам и запахам опознавая птиц и зверей, по шорохам листьев и трав — ползающих. Пробежался взглядом по комнате, по себе, по Бузгалину. Открыл чемодан, стал укладывать вещи. Задумался. В кое-каких уголках уже не девственного леса зияли пустоты, что-то забылось, но напоминало о себе досадой.

— Я ничего такого... не натворил?

— При мне — нет... Да и Жозефина бы проговорила...

Хозяину сказали: будут спрашивать — уехали в Окленд. В аэропорту зашли в бар, взяли по местному бурбону. Расписание авиарейсов — перед глазами, Кустов поднял глаза на Бузгалина: «Куда?» Штаты его попугивали невспоминаемостью последних месяцев, но там — это ему нашептывал владелец будто бы преуспевающей фирмы — дом, дела, супруга, которая в отъезде, но вернется, да еще с ребенком. Значит, надо пожить скромненько в Европе несколько недель, пока страсти не улягутся. Но где? В СССР нельзя, от одного слова этого Кустов произвольно делал шаг назад, как ребенок, отдергивающий обожженную руку от огня. Варшава, София, Прага — что-то нехорошее чудится, нет уж, увольте. Рим тоже исключается (из какого-то временем не измеряемого прошлого Кустову доносилась опасность, будто бы настигшая его в этом городе).

А у Бузгалина металось в мозгу — Джакарта, Джакарта, Джакарта! Еще в час прилета увидел в расписании рейсов город этот, и что-то втолкнулось в него, ворочалось, устраиваясь поудобнее, но так и не нашло себе местечка, двигало будто острыми локоточками, будило, тревожило. Ни разу не бывал в городе этом, и ехать сюда, разумеется, не собирался: город был выбран местом фиктивного захоронения Анны потому лишь, что вдали от Штатов. Но, верный себе и делу, поднатаскался у Малецкого, тот крутил ему видовые фильмы, много рассказывал.

— Джакарта, — сказал он. И сам себе напомнил: завтра день рождения Анны, которая была Энн.

Кустов долго обдумывал.

— А что там? Зачем?

— Жена.

— А... — Губы изогнулись в презрительной усмешке. — Теперь понятно, хранишь супружескую верность, — намекнул он на вчерашний вечер: Ниночка предлагала ехать к ней, обещала Бузгалину девчонку посвежее, а тот отказался. — Извини, — пробормотал он, внимательно глянув на него. — Что-нибудь случилось?

— Да. Она там похоронена. На днях полгода как... Дата. Да и день рождения ее близится.

— Какая-нибудь болезнь?.. Эти тропики...

— Утонула. Паром на остров Бали.

Так и не допивалось виски в стакане Кустова. Он думал. Очень осторожно спросил:

— А она тоже... — он усмехнулся: — тоже сражалась за Высшую Справедливость?

— Да.

Пауза, рассчитанная на то, что значение ее будет понято.

— А ты не думаешь, что ее?..

Что отвечать — Бузгалин не знал, вопрос был ему внове.

— Нет... — выдавилось у него.

— Та-ак... — Кустов не поверил.

Допили, расплатились, взяли билеты до Джакарты и переглянулись: денег маловато, пора возвращаться в Штаты. Потом Кустов сжал многозначительно руку Бузгалину:

— Я тебе очень сочувствую...

Прилетели — из дождя в жару, «Индонезия!» — сказано было таксисту. Бузгалин поерзал, глянул на велорикш, свыкся с бешеной ездой и вжился, в отеле разговоривал так, будто он и в самом деле брал здесь номер полгода назад. Кустов, оглушенный уличным ревом, повалился спать. Уже стемнело; в коридоре встретились две индонезийки необычайной красоты; Бузгалин заглянул в бар, представлявший не больше опасности, чем московский «Метрополь», и на выходе столкнулся с мистером Миллнзом.

Мистер Френсис Миллнз шел ему навстречу и ничуть не удивлен был, увидев его; как-то грустно повел глазами по сторонам, будто показывая: мы с вами одни в этом мире, мы в общей печали и здесь нас никогда не поймут. Рука его была влажной и крепкой, взор печален, одет с профессорской основательностью, чего за ним ранее не наблюдалось: мистер Миллнз, презирая юных бунтовщиков и режа правду-матушку попечительскому совету, тем не менее одевался в тон буйному кампусу, всегда в джинсовом костюме и армейских башмаках... Катер, сказал, уже заказан им, венки доставят туда же завтрашним утром, а самого мистера Эдвардса он ожидает с прошлого вечера.

— Дела, — неопределенно вздохнул Бузгалин. — Я догадывался, что встречу вас здесь, — добавил он, уводя Миллнза подальше от бара, куда мог заглянуть Кустов, хотя тому полезно было бы услышать про Анну; Миллнз, как выяснилось, о гибели Анны узнал недавно, из газет (работа Малецкого).

Года два уже не видал Бузгалин мистера Миллнза, и, кроме иного облика, старый знакомый приобрел привычки осмотрительного джентльмена, благодарно отказался от тропических блюд и экзотических десертов. Не сигарета, а сигара, причем настоящая, кубинская. И галстук-бабочка, отвергаемый им когда-то. Очки иные. Мистер Миллнз либо вступил в наследство и управляет отцовской фирмой, либо расстался с лачужкой в кампусе и обитает в более достойных, профессорских апартаментах.

— Это ужасно, когда гроб объединяет... Но раз уж так случилось... Не буду скрывать, дружище: я любил и буду любить вашу супругу, которая была вам верна до гроба... Мне уже не жениться, никто и ничто не выгеснит из моего сердца память о ней... И что бы она ни попросила — даже с того света, — я выполню... Тем более, что у меня больше возможностей...

Они, эти возможности, впечатлять не могли: или фирма по производству готового платья, или университет, а то и другое к источникам интересной информации не отнесешь. Майор советской военной разведки, засевший в спутнике Бузгалина, клюнул на ложную приманку; прыгающая с ветки на ветку обезьяна увидела на самом низу лакомый плод, Кустов лифтом спустился под оранжерейный полог ресторана, сел рядом, сухо кивнул, но услышал про Анну — и тяжело вздохнул, признательно протянул руку Миллнзу: да мы все трое скорбим, потому что усопшая была удивительной и любимой нами прекрасной женщиной!

О ней, усопшей, горько заговорил Миллнз, поражаясь тому, что мир не содрогнулся, узнав об уходе ее в инобытие: лишь немногие поняли, кого лишилась Вселенная. Среди этих немногих нет, к сожалению, тетушки Анны, той, что вынянчила Анну, а надо бы известить ее, да вот беда: живет в Чехословакии, за «железным занавесом», точный адрес неизвестен, а самому Миллнзу лететь в Прагу нельзя. «Так уж все складывается...» — неопределенно пояснил он, и Бузгалин закрыл глаза от пронизавшей его боли, он понял, почему Миллнзу нельзя лететь в Прагу. Бывший алкоголик и бывший преподаватель математики служит ныне, как он клятвенно, конечно, обещал любимой женщине Анне, в Агентстве национальной безопасности! Нацелила же его на такую службу — Анна, конечно, и Миллнзу запрещено бывать в странах Восточной Европы, за бывшим недотепой ныне пригляд полный. Нет, чутье у Кустова отменное.

— А вы, старина, не смогли бы навестить тетю? Кое-какие связи у меня с чехами есть, я через госдеп могу быстренько организовать визы.

Неожиданно для себя Бузгалин возразил:

— Тетя, пани Милада Эйнгорнова, живет в Австрии.

— В Чехословакии, — поправил уверенно Миллнз. — Давайте решайте.

Бузгалин молчал, затягивал паузу, чтоб изобразить длительность раздумья перед отказом. Ему тоже нельзя туда лететь, но по иной причине: на шее висит еще не вышедший из безумия Кустов, да и ждть визу — две, если не три недели, и — денег мало, совсем мало. И самое главное, воспротивится Кустов, как черт ладана боявшийся Чехословакии, где его когда-то пасла наружка.

Рука Миллнза углубилась в карман пиджака, пальцы бережно подержали чек, и Бузгалин узнал его. Год назад в Калифорнийской школе психиатров, столь симпатичной Анне, умер основатель целого направления, стал создаваться фонд его памяти, Анна и выписала чек на полторы тысячи, Москве решено было не отчитываться, посыпались бы вопросы, на которые отвечать муторно. Теперь этот чек лежал перед Бузгалиным, фонд на корню скупила какая-то мощная фирма, поставив условие: ни цента со стороны.

Бузгалин придвинул его к Миллнзу.

— Оставьте его у себя. На память.

Тот благодарно опустил голову. Положил чек в портмоне. Достал книжку, выписал на ту же сумму чек, перекочевавший в карман Бузгалина. И вновь предложил собеседникам слетать в Прагу, не очень надеясь на то, что они согласятся.

Вдруг порывисто поднялся Кустов, протянул Миллнзу руку. Пылко произнес:

— Мы согласны!.. Я тоже знал супругу мистера Эдвардса, это — изумительный человек!

— Визы, — напомнил Бузгалин, и это прозвучало отказом: американский паспорт — универсальная отмычка, ключ, подходящий ко многим дверям, но не к тем, за которыми соцлагерь.

— Я помогу вам получить визы, — сказал Миллнз. — Не более суток придется ждать...

Три венка полетели в воду, катер описал круг над местом, где перевернулся паром... На берегу Миллнз обнял, совсем по-европейски, Бузгалина и Кустова; визитные карточки предложены не были, Френсис Миллнз стал расчетливым в знакомствах. Через три часа он улетел в Токио, его проводили и стали гадать, как добраться до Праги. Об аэрофлотовском рейсе лучше и не заикаться; самолет шел в Москву через Карачи, но чешская виза не давала транзита; билеты взяли до Рима, и, видимо, настала очередь Бузгалина возвращаться, как Кустову, к истокам, скользить по кругу до точки, совпадавшей с исходной: там, в Риме, можно остановиться хотя бы на сутки в отеле, откуда он делал разбег и перелетал через Атлантику. До самолета — сутки, Кустов впал в глубокую задумчивость, из которой выходил для расспросов об Анне и все больше и больше пригорюнивался. Однажды учудил: появился вдруг в темных очках, согбенный, при ходьбе опирался на диковинную палку, и когда Бузгалин присмотрелся, то в некотором испуге отшатнулся, потому что палка была как у того фермера в аэропорту Эсейса. Недолго, правда, побыл Кустов в обличье убийцы спецназначения, палку забросил на шкаф, очки разломал. Потащил Бузгалина на католическое и лютеранское кладбища, хотя труп той, которую Малецкий назвал нужным именем, так и не был выловлен, сумочку с документами миссис Энн Эдвардс пригнала к берегу волна. Ноги привели его к могиле, русской могиле, фамилия, правда, не совсем русская, но на камне высечено: «Поставлено иждивением императорского русского консульства». Долго и безмолвно стоял перед нею, скорбно опустив голову, хотел было позвать Бузгалина, но передумал и презрительно махнул рукой — что, мол, с тебя, нехристя, взять!.. Мозг его постепенно восстанавливался, леса и равнины заполнялись менее злобными и опасливыми существами, за буйными играми волчат с косулями наблюдали сверху хохочущие макаки; в листве и кронах запрятались птеродактили, мастодонты вымерли, динозавры пыжились, не желая исчезать; людей стало больше, но они никак не хотели узнаваться, не хватало каких-то мелочей, тех особин, которые отличают в полутьме одного человека от другого, — букашки не приживались к лесной почве, разные мухи, тараканы, осы, муравьи, полевые мыши и прочая мелюзга, для опознания которой Кустов часами тарачил глаза на спящий люд в холле «Индонезии», пялился на торговцев фруктами; однажды приперся к мечети и едва не превратился в того кривоногого идиотика, который пугал его в Лиме: челюсть отвисла, слюни вот-вот потекут к подбородку — так увлечен был жанровой картинкой, привычной каждому жителю Джакарты, но не европейцу. А у входа в мечеть высилась гора обуви, окруженная толпой мальчишек: дети стерегли ботинки, босоножки и туфли родителей, пришедших поклоняться Аллаху, — ребяташки в молитвенном смирении взирали на холм из кожи и текстиля. Пораженный виденным, Кустов промолвил вдруг отчетливо и по-русски: «Бугульма!»

В гостинице же учинил Бузгалину чуткий допрос: что же побудило или заставило его, американского гражданина, предавать свою страну?

— Негр, — ответил после долгого раздумья Бузгалин. — Старый негр, приставленный к саксофону и ломбарду... В Новом Орлеане не бывал? — Взмах руки Кустова означал: где только не приходилось, разве упомянешь... — Пивная там у въезда в доки, рядом с нею — ломбард, и на ступенях его — старый негр в отрепьях, но — цилиндр и саксофон при нем. Нанят ли, отвоевал ли место на ступенях — не знаю. Стоит и играет. Иг-

рает и стоит. Мимо него люди несут пожитки, а он встречает и провожает их, он приветствует и скорбит... Мелодиями саксофона. Разные мелодии. Обрывки их, намеки на них, порою обозначения только, несколько нот — и достаточно, люди покачивают головами, будто признавая: да, это то, что надо... Сам я ни черта в музыке не смыслю, и вот привел я однажды знатока, профессора, дававшего уроки восходящим оперным звездам, профессор полчаса слушал и через сутки сказал мне, в чем секрет. В репертуаре негра — всего двенадцать мелодий, архетипический набор звуков, так выразился профессор. Те, которые созданы веками и которые навсегда останутся с людьми, которые всегда внутри людей, стоит только напомнить им начальные ноты... И люди, все люди понимали негра, не только я таскался к этому ломбарду внимать негру, все, понимаешь — все! Вот тогда-то я и подумал: самое лучшее в этом мире должно принадлежать всем! Всем, а не одиночкам. Не богатым, не бедным, а всем людям.

— Значит, — нашелся у Кустова ответ после трудной для него работы мысли, — значит, чем больше ссудных лавок и, соответственно, нищих, тем лучше?

— А зачем быть сытым и богатым? Ведь смысл жизни отдельного человека — в продолжении существования народа, популяции, а произойти такое может только при бедности. Только примитивные формы жизни способны на вечность.

Кустов соображал долго, потирал коленки, морщился.

— Ты, значит, социалист... Так скажу тебе: социализм — правда одинок. Как только они объединяются в коллектив, становятся массой — тут же кому-то захочется иметь эту ссудную лавку. Иметь! А не таскать туда вещи.

Спорили долго — и в Риме, и в Вене, где остановились в «Интерконтинентале». Неподалеку — советское посольство с флагом и решетчатой антенной на крыше. Кустов долго рассматривал флаг. Уже в Праге, еще раз прочувствовав глубину времени и увидев впереди свое прошлое, сказал:

— Вот что, дружок: ты здесь впервые, а я эту вшивую республику ой как знаю!.. Впереди нас ждут тяжелые испытания, советую тебе поглубже засунуть свой американский язык в американскую задницу.

Визу чехи дали на неделю, еще в Джакарте Бугзалин попросил Миллнза целью поездки указать «ознакомление с историческими ценностями», в Праге же Кустов запретил раньше времени говорить о пани Эйнгорновой.

— Чехов не знаешь, — сплюнул он. — Сволота сплошная. Наружка наглая и ленивая, я-то знаю, поверь мне... А вместо тетушки могут подсунуть девку из корпуса национальной безопасности. Кстати, на Целетной отдел учета населения, справки выдаются только лично, но одному тебе туда идти нельзя. И не заикайся о том, что эта Эйнгорнова — родственница. Старушку слопают.

Сходили, запросили, сутки спустя ответили: да, некая пани Эйнгорнова — действительно гражданка ЧССР, но проживает не в Праге, а в Пардубице, и та ли это пани, что нужна, еще надо выяснять, потому что фамилия эта не редкая.

— Сам выясню, — буркнул Кустов. — Я до Пардубице за два часа доберусь, оттуда и позвоню, а ты сиди в отеле, глуши пиво, оно здесь без обмана, только оно...

— Не надо... Прошу тебя: не надо.

— Я уже такси заказал!

— Не надо! — заорал Бугзалин.

Покормили голубей на Вацлавской площади, попили пива. Какая-то тяжесть повисала на языке Бугзалина в те минуты, когда надо было поговорить с Кустовым о Марии Гавриловне.

— У тебя там, в СССР, кто-нибудь есть из родных?.. — и глянул на Кустова.

— Никого нет, — сказал он равнодушно. — Была мать. Плохая мать. Нет ее уже... Очень плохая мать, но — мать.

В номере — путеводители по Праге, альбомы с видами, так и звавшими на улицу. Бузгалин предложил сходить на Карлов мост: чудо архитектуры, в Нью-Йорке такого не увидишь. В ответ Кустов отчеканил наставительно:

— Да будет тебе известно: этот мост — сплошная контрольная явка. Там шпик на шпике. Не советую.

Но через час толкнул отяжелевшего от пива Бузгалина.

— Пойдем! Быстро!

— Куда?

— На Карлов мост! Там — только что вычитал! — статуя святой Анны!

Пришибленный Бузгалин долго сидел молча, долго собирался.

Пошатались по мосту, постояли у св. Анны, Кустов не вытерпел, рукой дотянулся до младенца.

— Настоящий. Не то что у Жозефины. Пора бы тебе, дядюшка, знать: Жозефина лгунья!

Впервые, кажется, за два месяца он купил газету («Вашингтон пост»), полистал, отшвырнул.

— Ничего, — сказал, — в этом мире не меняется.

А под вечер затащил Бузгалина в Старо Место и едва не свихнулся вновь, глянув на скрытую темнотой и тенью фигурку в нише старинного здания, — то ли чертик спрятался там, глумясь над прохожими и высовывая язык, то ли еще кто... Задрожал, задергался, замычал, и Бузгалин затолкал его в такси, донес до номера, всю ночь сидел у кровати, прислушиваясь к неровному дыханию загнанного человека.

Утром тот вострепнулся, встал, ничего о вчерашнем не помнил. Бодро просвистел залихватскую мелодию, прибежавшему администратору пообещал набить морду, если тот не дозвонится до Пардубице. Позвонила сама полиция: пять Эйнгорновых в Чехословакии и все примерно одинакового возраста! Администратор предложил театр или цирк — подумали и отказались. Однако вечером решили глянуть на Прагу, долго стояли на углу возле отеля, отказавшись от услуг швейцара; Кустов учил Бузгалина: это тебе не Нью-Йорк, на первую попавшуюся машину не садись, чистая подстава! Сам выбрал наконец такси и уже в машине спохватился, вспомнил очень интересный телефон, что дала ему полиция, выгреб из кармана мелочь. Таксист остановился у автомата, Бузгалин вышел, крутил диск, поглядывая на машину, на редких прохожих. Улица узкая, трех-четырёхэтажные дома старинной, чуть ли не времен Яна Гуса, постройки, а уж то, что вдоль них сам Швейк ходил, — это точно. В заднем стекле виднелся затылок Кустова, заслонявшего шофера. Девять вечера, зажглись фонари.

Первым появился Малецкий, вышел из подъезда противоположного дома и направился к машине. И тут же к ней приблизился откуда-то взявшийся Коркошка. Они одновременно рванули на себя дверцы такси, сели — и голова Кустова пропала. Такси тронулось с места и поехало. А Бузгалин побренчал еще монетами, вышел из будки автомата и пошел в обратную сторону. Под фонарем открыл он путеводитель по Праге и хлопнул его. Неторопливым шагом ночного гуляки добрался до парка, где в толпе подавленно молчали, глядя на киношные съемки под прожекторами...

Даже не глянув на часы, он знал, что машина с Кустовым уже на военном аэродроме и самолет фырчит, проверяя моторы перед ответственным полетом в Москву. Шагом искателя благопристойных приключений пересек площадь, свернул за угол и не ошибся: пивной зал, прокопченными сводами напомнивший ему гамбургские и нюрнбергские заведения для неоднократного и многокружечного употребления святого для Германии и

Чехословакии напиток. Кельнеры в белых фартуках носились по залу с подносами и без, Бузгалин втиснулся в ряд непоколебимых чешских спин, раздвинул их и занял место за длинным столом; пили стоя, сдвинув кепки и шляпы на затылок, сдувая пену, грызя сухарики, вилокй цепляя шпички.

— Жареного гуся! — возгласил по-немецки Бузгалин, достаточно громко, чтоб его слышали те, кто язык этот знает, затем столь же громко повторил заказ на ломаном чешском и, убедившись, что по крайней мере человек пятнадцать — двадцать повернули к нему головы, тот же вопрос о гусе интерпретировал иначе: — Гуси ведь в моде, не так ли, господа? Тем более — в вашей демократической и даже, не боюсь это произнести громко, социалистической стране! Ведь верно?

Почти сотня любителей народного напитка и народного досуга набилась в заведение с каким-то непереводаемым чешским названием. Половина из них уже прислушивалась к явно провокационной речи иностранца. Нашлись и добровольные переводчики. Кельнер принес два пива на кружочках и хорошо распаренную ляжку гуся с зеленым горошком и неизменной горчицей. Бузгалин отпил и восхищенно помотал головой:

— Пиво — отменное! Вот что значит преемственность! Ян Жижка, Ян Гус и Гусак, первые хмельные напитки тринадцатого века и нынешнее высококачественное пойло, источник валютных поступлений могучей индустриальной державы, каковой является, без сомнения, Чехословакия, страна, которая выстрадала социализм всем ходом общественной мысли... Ваше здоровье, господа социалисты! — оторвал кружку от мокрого стола Бузгалин и залпом выпил ее.

В пивной поубавилось шуму, на занятого иностранца посматривали с надеждой и опаской. А Бузгалин достал из кармана плоскую бутылочку виски и отхлебнул.

— Слышал я, среди вас есть недовольные, вы тут какую-то пражскую весну выдумали... Напрасно! Все, что было до нее и после, — плоды трудов многих веков, старания ваших предков, еще в четырнадцатом веке изобрели они, наряду с пивом, и рецепты исконного чешского социализма, улучшенные более поздними веками. Помнится, в Табор, а это не так далеко от этого благословенного места, не так ли?.. — обратился Бузгалин к соседу, и тот кивнул, подтверждая. — Так в Табор, как в Прагу весной известного вам года, слетались оппозиционеры и гуманисты истинно западного толка, я имею в виду проповедников еретических сект всей Европы, среди них иохамиты, беггарды, вальденсы, то есть те, кого принято называть таборитами. От них и пошел тот социализм, который вами так отвергаем ныне, но который вы унаследовали, как язык и обычаи. Это ведь ваши прадеды основали вместе с этим пивным залом вашу мораль и ваше право. Это они предрекли вашу весну, это они орали, что настанет день и год мщения, что всех зажавшихся коммунистических лидеров надо срубить и сжечь в печи, как солому! Измолотить их, как снопы!.. Не правда ли, так выражаться могли только истинно трудолюбивые крестьяне, занятые мирным земледельческим трудом?.. И с некоторой тягой к научной деятельности, поскольку предлагалось также выщеживать кровь из угнетателей... Для чего, интересно? Еще одну порцию гусятины! — крикнул Бузгалин, но кельнер не шевельнулся.

В зале давно притихли и с некоторым страхом посматривали на иностранца, который увлеченно расписывал достоинства чешского прасоциализма.

— Задолго до русской модели переустройства мира не вы ли отменили еще пятьсот пятьдесят лет назад все Христовы законы милосердия? Вы! Каждому чеху рекомендовалось умыть руки кровью врагов Божьих, а к последним отнесены были и те крестьяне, которые не жаловали своих избавителей от гнета. Да, содруги, да — это вы снабдили русских смутьянов

своими идеями, вы первыми расписали порядки Царства Божьего, где женщины будут рожать без мук, но и зачинать без мужчин, где все общее, и жены тоже... Я дождусь гуся или все ваше руководство народным питанием состоит в истинно национальной секте таборитов? Или я ошибаюсь — адамитов? Которые меня, филолога, восхищают образностью выражений и терминов. Убивая всех подряд, они глаголили: «Зальем кровью весь мир, крови будет по уздечку коня». Ну, естественно, только тогда сбылось бы их пророчество: никто, уверяли они, не будет ни сеять, ни жать, вообще ничего не делать. Все будут, так полагаю, убивать друг друга. И убивали. По ночам вспыхивали деревни, люди в чем мать родила выскакивали из домов, приобщаясь к великой секте адамитов, которые ходили нагишом, потому что — так считали они — только в голом виде они становятся чистыми перед Богом и могут беспрепятственно выбирать женщин, что не могло понравиться Яну Жижке, — я правильно произношу имя это? Он и приказал истреблять голеньких адамитов. А кому какие женщины достались — это истории неведомо... Ваше здоровье, господа! И — вперед, чешский лев!

При полном безмолвии чехов Бузгалин покинул пивную — в момент, когда, по его расчетам, самолет с Кустовым пересек госграницу на пути к Москве. Но едва прошел несколько метров, как некий прохожий остановил его, вежливо приподняв шляпу и не менее вежливо предложив: не соблаговолит ли гражданин последовать за ним в участок на предмет составления протокола о поведении гражданина... Прохожий был в восторге от собственной ладной фигуры, от своего немецкого языка, от шляпы, которой он пытался разогнать алкогольные миазмы, коими был пропитан остановленный им подозрительный субъект. Еще большее удовлетворение испытывал полицейский в штатском от английского языка, к которому вынужден был прибегнуть после того, как в участке Бузгалин воспрепятствовал попыткам обыскать себя, ссылаясь на то, что позволить эту процедуру он может только с письменного согласия и в присутствии адвоката. Отнюдь не потеряв любезности, образованный полицейский предложил Бузгалину ответить на несколько чисто протокольных вопросов: имя, местожительство, гражданство, вероисповедание.

— Мартин, — назвал себя Бузгалин. — Странствующий монах ордена францисканцев. Аббатство Ретурель.

Чрезвычайно обрадованный красавчик предложил стул.

— Приятно слышать... С консулом не желаете поговорить?.. Кстати, весной этого года в нашем университете стажировался некто Мартин, профессор из Дартмутского колледжа. Его очень интересовали адамиты... Вы, кажется, распространялись о них не так давно.

— Да?.. Не помню, — опроверг очевидный факт Бузгалин. — Не понимаю, о чем вы говорите, — удивился он, когда его спросили, в каком заграничном учреждении получил он визу и когда. — Я не настолько обмирщился, чтобы знать ваши порядки... Пересекаю границы по повелению Его Святейшества.

Полицейский с пронзительным вниманием полистал какую-то книгу: видимо, в графе «Должностные лица» искался Папа Римский. Так и не найдя его, он встал и по кругу обошел Бузгалина, чтобы резко и сильно ударить того железным кулачком в бок и осторожненько, без размаха садануть туда же тупым ботинком. Позвал веселых ребят, которые поставили Бузгалина на ноги, вежливо осведомились о здоровье и сочли его достаточноым для камеры. По расчетам Бузгалина, произошло это в миг, когда в Москве к переднему трапу лайнера подкатила «Волга», принявшая в себя еще ничего не понявшего Кустова.

Он не спал до утра, радуясь тому, что ночь провел в участке, что еще жив, потому что судьба могла распорядиться иначе: с человеком, державшим в уме всю разведсеть Южной и Северной Америки и брошенным в

джунгли далекого от Москвы города, все могло случиться; такой человек, нагруженный свинцовыми адресами, камнем идет ко дну, как только обрежется над ним поплавок, случайность смерти становится такой же очевидностью, как луна, звезды, и полиция отвратила его от неминуемого. Он благодарно пожал руку подленькому ладному молодчику, теплым взглядом простился со стенами и полом, вскользь поинтересовавшись, составлен ли протокол и есть ли вообще какие-либо следы пребывания брата Мартина в узилище этом...

В отеле с недоумением воззрились на него; кто-то еще вчера вечером — от его и его друга имени — отправил вещи в аэропорт. «Да, да, расплатились...» Бузгалин сел в парикмахерское кресло; почти спеленутый в белую простыню, он не мог заголить кисть и глянуть на часы, глазами искал настенные, они оказались отраженными зеркалом, и, мысленно перекрутив стрелки, он наконец определил точное время — как раз тот момент, когда в комнате, которую условно можно назвать приемной, два сержанта плоскими кончиками пальцев ощупывали снятое с уже голого Кустова белье... Еще десять, пятнадцать минут — и провернется одинаковый для всех камер универсальный ключ, майор Кустов окажется заточенным в следственную тюрьму КГБ...

И в тюрьме той, отвечая на вопросы дознавателя, вышагивая длинными ногами короткие километры камеры, собственноручно исписывая листы отчета о командировке, питаюсь баландой, знакомой ему по столовкам рабочего поселка на Урале, он продолжал, в озарении снов, вразумлять народы Европы, которая никак не могла, взбаламученная, утрястись, потому что раздиралась гордынями отцов мира и церкви. Континент, что ни говори, был все-таки переполнен страждущими и алчущими людьми, которые тайно вождели бедствий на свои головы и с показным смирением встречали повальные болезни.

Зима настала для Ивана Дмитриевича Кустова, теплокровные животные попрятались в норах, кое-кто пребывал в спячке, журавли улетели в теплые края, синичек не видать, а утки пронеслись с шумом и скрылись; рептилии свились в застывший комок, лишь покрытые густой шерстью клыкастые звери защищали свое право на жизнь да неизвестно где и кем пригретая африканская кобра, водящаяся в окрестностях Кейптауна и от всех подобных ей кобр отличавшаяся тем, что не вонзала зубки в мясную мякоть врага, а оплескивала его ядовитой слюной, — эта змеюка вымазывала десятки листов отчета, уничтожая полковника Бузгалина, то есть не его самого, а дядюшку Жозефины, который, племянницей привлеченный к работе во благо СССР, на деле является пособником американского империализма, руководящую и направляющую роль партии отрицает, издевательски относится к народным массам, не признавая за ними разумного и созидательного начала. Люди, то есть народы, должны обманываться, они не достойны вдохновляющих примеров служения, поскольку все погрязли в мелочной суете, — так проповедовал этот дядюшка, по недоразумению оказавшийся в одном стане с истинными борцами за мир во всем мире...

Когда Бузгалину показали эти строчки, наполненные ненавистью к нему, он пожал плечами; гадал, вспоминал, сопоставлял приводимые Кустовым фразы с теми беседами, что вели они в Лиме и Мельбурне, Джакарте и Праге, — и приходил к изнуряющей мысли: это же накануне Страшного суда винится брат Родольфо! На него разрешили глянуть — через глазок тюремной камеры. Кустов сильно исхудал, но не казался подавленным; майор читал газету очень заинтересованно, его вроде бы не страшило наказание, а оно близилось: на одну чашу весов положили старые заслуги нелегала, на другую взгромоздили провалы агентуры, причем каким-то непостижимым образом, — Бузгалин только сокрушенно покачал головой, — катастрофа в Австралии, вызванная изменой посольского ра-

ботника, теперь объяснялась забросом туда Кустова. Что перетянет — было ясно, уже и подсказано было: двадцать пять лет, а может — и высшая мера. И скорее всего — да, высшая мера, потому что не о майоре Кустове пеклось начальство, а о том, как обезвредить предателя в руководстве разведкой, как обмануть его, — вот и решили изобличить Кустова до конца, сделать его виновником не только высылки двух дипломатов, но и тех арестов, о которых шла речь на подмосковной даче под квас, водочку, балычок и грибочки. Как все-таки допытался Бузгалин, молодой и неопытный офицер, вслед за ним выстреленный на Запад, по его намеченному маршруту через резидентуры и явки добравшийся до Штатов, еще на полпути обнаружил слежку, загодя организованную, и чтоб уж наверняка удостовериться, за кем это нога в ногу следуют штатники, бросил ложную приманку и едва не проглотил ее сам в Лиме, откуда еле унес ноги. Вышло, что московский предатель о разработанном маршруте Бузгалина — знал, а о Кустове — нет, и затеялась никому не понятная игра, майору Кустову И. Д. было предъявлено обвинение в измене Родине (статья 64 УК РСФСР, пункт «а»). Вину свою майор полностью признал и единственным смягчающим обстоятельством посчитал усталость от многолетней службы и неконтролируемое им поведение, что и стало причиной ущерба, нанесенного им обороноспособности Родины; майор полагал к тому же, что длительный разрыв с родной страной отрицательно повлиял на его образ мыслей, отчего и капитулировал он перед агрессивным идеологическим напором чуждой ему среды.

И уж полной для Бузгалина неожиданностью стало еще одно признание. Майор Кустов уверял руководство, что стремился попасть на Родину, для чего использовал враждебно настроенного дядю Жозефины: подтолкнул его к прилету в Прагу, чтобы там связаться с посольством.

Откровения Ивана Дмитриевича опровергались отчетом Бузгалина, где писалось о мистере Одуловиче, вмятине у темечка и энцефалопатическом кризе. Начальство сокрушенно вздыхало и сетовало: вот если бы к отчету приложить те бумаги, что в шкафу у ассистентки... Раздражавшие Бузгалина игры продолжались, доведя его до вопроса: «А кто у Кустова адвокат?», после чего он понял, на какие сценические подмостки попал.

Газ к домику подвели, дядя Федя мялся, как юноша перед решающим признанием в любви, и наконец выпалил: пришлось червончик подбросить этим гадам газовщикам. Зажженная спичка поднеслась к кругляшку конфорки — и возник голубой венчик, еще большую радость доставила тумба, называемая «АГВ»: теперь и зимой будет тепло, поворот ручки — и тепленькие батареи станут горячими. Через пару недель на ВДНХ начнут продавать саженцы яблонь, кусты смородины, которые на возделанной почве дадут мало кому нужный урожай. Малецкий и Коркошка обходили участок, присматривались к каждой кочке и, подтверждая репутацию опытных следопытов, нашли логово ежа, установили численность семейства, приступили к разработке его и в сумерках пронаблюдали шествие всего выводка.

А на землю навалились полчища грибов, белые водились и на лесной полосочке от магазина к дачам, но уже не тянуло глянуть на березу с застрявшей в ней пулей, и все казалось решенным: месячный отпуск продолжается, приказ о новом назначении подпишут перед ноябрьскими праздниками, впереди — упоительная работа. Ныне же — опята, хождение по лесу и доносящийся из четвертьвековой давности голос инструктора, который на вопрос «а что после?» ответил завистливо: «Маслята собирать будете!..» В беглом обзоре поляны с последующими крохоборческими поисками грибов было умиротворяющее повторение всего того, что делалось в командировках, но всегда со счастливым исходом. Теперь этот исход здесь, среди своих, путник вышел из чужого леса и добрался до своего, где

все знакомо, где по запаху узнается, кто свой, а кто нет. С опятами пришел он к дяде Феде, внимал жалобам гундосого инвалида на дурость власти, что-то опять запретившей, произвел обмен — корзина только что срезанных грибов на трехлитровую банку их же, засоленных. Почему-то пошел, не заходя к себе и о банке забыв, на электричку, проехал три станции, вылез, долго сидел на платформе, а электрички катили и катили мимо него в Москву и обратно, — зеленые вагоны, наполненные тихой болью, самым постоянным свойством русских душ. В уже родной пятиэтажке — то же ровное чувство несчастья, которого еще нет, но которое будет и которое надо пережить...

Утром поехал в госпиталь имени Бурденко, при себе имея не только паспорт, но и удостоверение личности, которое не понадобилось: ни одна охрана не смела поприветствовать человека, через все посты проходившего так, будто он на своем дачном участке. 15-е отделение — анклав, территория в территории, как Сан-Марино в Италии, часовой у калитки; кроме обычного госпитального запаха еще и что-то заградительное, ни к собакам, ни к животным не относящееся, и оно, будто разбрызганное, пропитало все отделение духом чего-то неземного. Двадцать дней назад следователь вынес постановление, майор Кустов И. Д. подлежал освидетельствованию, не раз привозился в это отделение, имевшее права судебно-психиатрической экспертизы.

Капитан медицинской службы Терентьев И. Т., лечащий врач майора Кустова, человек, собиравший все заключения врачей — от инфекциониста до невропатолога, — даже взгляда не бросил на вошедшего в его кабинет Бузгалина, бровью не повел, орудуя дыроколом и пересчитывая какие-то бумажки; что-то, однако, дрогнуло в нем, когда посетитель сел, не испрашивая разрешения, и так же свободно закурил, себя так и не назвав. Дырокол убрался наконец со стола, все бумажки свелись в некое единство, сверху прихлопнутые какой-то железякой, а сам капитан м/с Терентьев унял рукоблудие и ждал, что скажет ему тот, кто, конечно, имел право сказать, внести уточнение в диагноз, который ставился, конечно, ими, врачами, но с оглядкой на некую инстанцию, не имевшую названия, неизвестно где расположенную и, возможно, вообще не существовавшую.

— Что с ним?

С кем — уточнять не надо, капитан м/с Терентьев все понимал. В медицинской книжке майора Кустова — полное благополучие, врачи призывной комиссии, другие врачи многих военно-медицинских комиссий, специалисты, ответственные за те или иные участки или органы тела вплоть до жидкости в суставных сумках, — все в один голос уверяют в полном здоровье, нигде никаких отклонений от нормы.

— Когда комиссия?

Продолжая сидеть — руки в карманах, ноги вытянуты, — Терентьев ответил:

— Послезавтра.

Бузгалин поднялся.

— Так и я буду там, — произнес он.

В полдень назначенного дня он взял в ординаторской халат и рядом с Терентьевым вошел в чей-то большой кабинет. Пятеро — в белых халатах — сели за длинный стол, Терентьев и Бузгалин устроились на стульях вдоль стены. Председательствовал молодежавый хозяин кабинета, дважды звонил куда-то и удовлетворенно соглашался со сказанным ему. Вопросительно глянул на Бузгалина, потом на Терентьева, и тот что-то сделал со своим лицом — то ли ужал какие-то мышцы, то ли скривился... Но и того было достаточно, никто более на Бузгалина не смотрел, всех взволновало то, что сгоряча — в сердцах, что называется, — произнеслось кем-то: Гайдуков-то — в отпуске! Наконец огласили очередность: Кустов и Митрофанов, поскольку на Менташина и Кузовлева документы не подготовлены, а,

наоборот, как Кустов, так и Митрофанов уже всем знакомы, Кустов трижды содержался в стационаре, двое, трое и пятеро суток, Митрофанов вообще здесь, но лечащий врач его на консультации и будет через полчаса. Итак — Иван Дмитриевич Кустов, 1937 года рождения, майор, Терентьев сейчас доложит, что и как...

Чуть привстав и тут же сев, нудно и вяло капитан м/с Терентьев стал докладывать, и Бузгалину не надо было вспоминать значения терминов, потому что по смыслу и тону речи было ясно: майор Кустов здоров, возникавшие ранее психосоматические эффекты патологического характера не носят и...

Ввели Кустова. Привезли его из Лефортова, был он в пражском костюме, но без галстука; лет на десять помолодел он за эти недели, сухая кожа обтянула скулы, шел к стулу посреди кабинета легко, с учтивым полупоклоном приветствовал комиссию за длинным столом. Но без улыбки, понимал, куда его привезли и зачем. Сел на стул перед комиссией. Ни леса в нем, ни зверей, ни вообще какой-либо живности — пустыня, бескрайние пески или, точнее, макет местности с искусственными холмиками, руслами рек и фигурками людей из папье-маше. На вопросы отвечал не сразу, с небольшим раздумьем, и все ответы его свидетельствовали: человек правильно понимает и правильно отвечает, во времени и пространстве ориентирован. О присяге помнил, о работе, то есть службе, много не говорил, ограничился коротким «справляюсь, хотя не всегда получается». В Бузгалине он не увидел того, с кем больше месяца вояжировал по Америке, Австралии и Европе, и не мог увидеть, потому что с дядей Жозефины очную ставку ему не сделали, и тот, следовательно, благополучно выскользнул из Праги и сейчас — это уж точно — не на Кубе. Накануне военно-врачебной комиссии все средневеково-европейские, пражские и мельбурнские страсти в нем увяли, и реальностью стала присяга, нарушить которую он не мог, как не могли того сделать и все в этом кабинете. Председательствующий наклонился к соседу, что-то сказал, тот поднялся, глянул на дымчатый рентгенснимок, подошел к Кустову, пальцами помассировал кожу головы. Тот спокойно отнесся к этой процедуре, ничто не дрогнуло на лице его и не могло дрогнуть, потому что Иван Дмитриевич Кустов был вне себя, вне тела своего, он как-то безучастно посматривал на человека, который сидел на стуле посередине большой комнаты. На вопрос о происхождении вмятины на черепе ответил очень просто:

— Она у меня от рождения.

Председатель тягуче впился в какой-то документ, недоуменно глянул на испытуемого:

— А не мог ли вам кто-либо в детстве нанести эту травму?

Впервые голос Кустова дрогнул.

— Повторяю, — с некоторым испугом произнес он, — это не травма, это врожденная особенность.

По крайней мере три человека за столом читали тот эрзац уголовного дела, что получили они от следователя, и председатель показал соседям справа и слева нечто любопытное и лично его взволновавшее. Соседи согласоно кивнули, последовал вопрос:

— Среди ваших друзей и знакомых есть такой — Мартин?

Ни на секунду не задумавшись, Кустов ответил отрицательно — прежним тусклым, бесцветным голосом. И продолжал спокойно сидеть: ноги чуть расставлены, руки на коленках. И удивленно повернул голову направо, когда вышедший из-за спины его Бузгалин подтянул к себе стул, сел рядом и принял ту же позу, скосив на него глаза. Оба молчали. Застыли и люди за столом. Настала тишина, и в ней — два безмолвствующих человека, от которых тишина исходила угрозой, предвестием взрыва. Рука Бузгалина чрезвычайно бережно протянулась к плечу Кустова, но не притронулась, а как бы попорхала, прежде чем коснуться. И глаза обтекающе смот-

рели, глаза силились что-то спросить у кожи, туго натянутой на черепе соседа... Глаза смотрели, и под оживляющими струями взора в пустыне проснулась вроде бы заглохшая жизнь, трава пробилась на холмиках макета, вода заполнила искусственные русла, посреди песков забили ключи, быстро образуя зеленеющие оазисы, а в шелесте внезапно выросшего леса послышалось пение райских птичек, располагающее его обитателей к жалости и смирению... Что-то стало меняться в Кустове... Все за столом напряглись, стараясь понять, что же все-таки изменилось в человеке, и увидели, а затем и услышали тот протяжный зевок и хруст, что издается человеком, когда на него нападает сонливость и он испытывает удушье от недостатка воздуха. Внезапно обострились черты лица и стали отчетливы скулы, подбородок и глазницы, из которых полился сразу померкший свет, и вдруг послышался голос подсевшего к нему человека, который спросил по-английски, как выяснилось позднее, после тщательного прокручивания магнитофонной записи, до сих пор хранящейся в архивах госпиталя:

— Брат Родольфо, ты ли это?

— Я! — разрыдался внезапно Кустов, и слезы обильно потекли, а плечи сотрясались от волнений и перенесенных мучений, и успокаивающая рука брата Мартина, погладив затылок, возложила на страдающее темя. — Я... — со всхлипом продолжал Кустов. — Брат мой, куда я попал?... Я был в темнице, я помню это, но ты же меня тогда вызволил из нее...

— Да, вызволил... — повторил брат Мартин и сам заплакал от сострадания. — А потом предал тебя! Мне воздастся за это! Простишь ли ты меня, брат мой любимый? Никого у меня нет, кроме тебя!

— А где мы, где мы? — рыдал брат Родольфо, озираясь и поражаясь, и брат Мартин ответил:

— Мы на свободе... Мы вновь пойдем сражаться за Высшую Справедливость! И мы победим! — заключил он по-португальски.

Он прижал его к себе и стал оглаживать; трепетные пальцы любовно прикасались к лицу Родольфо, и каждая морщинка, каждая складочка причиняли пальцам боль утраты того времени, когда оба они были еще в монастыре и рядышком сидели в скриптории, наслаждаясь латынью. Три продольные линии на лбу Родольфо заставили Мартина сокрушенно покачать головой, но истинную боль доставила ему вмятина на черепе.

— Брат мой! Кто нанес тебе это увечье? Почему меня не было рядом? Я тебя не уберег, мне и за то воздастся!

Плачущий навзрыд брат Родольфо вгляделся в Мартина.

— Так ты не помнишь?... Ведь это ты вытащил меня из-под горы трупов, там, в долине у Пуатье. Ты меня спас! И вовремя спас. Потому что я едва успел отвести меч, нацеленный на тебя!

— Разве?... Я что-то не помню!

— Тебе напомнит шрам, лезвие меча скользнуло по твоей голове, я перевязал тебя и оттащил.

— Вспомнил! Вспомнил!

Они встали. Где-то внизу — в долине ли, в овраге — стояли люди-маски в белых халатах-балахонах и смотрели снизу вверх на них, задрвав головы. Они высились над людьми этими, потому что великое служение воссияло им, утренним красным солнцем вставая на горизонте; их гнал порыв, самый благородный из всех позывов души и плоти, — всех сделать счастливыми, всех без исключения, и богатых, и бедных, и здоровых, и хворых, и калек, и убогих, — чтоб единый общий вздох облегчения разнесся над сотворенной Богом землею, и ради этого всеобщего счастья, ради слез умиления, что хлынут из глаз миллионов несчастных, которые в один миг станут счастливыми, ради людей, которые омываются изнутри

общечеловеческой кровью и достойны поэтому быть людьми, равными не только перед Богом, но и друг перед другом, — ради них надо идти на бой, сражаться за Высшую Справедливость.

Они запели. Они громко запели. Они пели и топали, они ревели, рты их округлились в истошности, глаза выпучились. Хорал сменился боевым песнопением, маршем:

Мезон паре, мезон каре, мезон каре паренас... Кру-кру — пакс!
 Пакс маре, пакс ларе, пакс маре ларенас... Пру-пру — бракс!
 Бракс! Пакс!
 Селюдь ака, мерюдь апа, меслюд апа акаса... Дра-кра — пру-пру!
 Эгаль ситэ, регаль вите, эграль деми-мату... Сакр! Макр! Рудду!
 Пру-пру! Рудду!..

Жизнью и смертью повязанные, они, плаксиво оружие, шли к окну, чтоб выброситься оттуда и собственной гибелью подтвердить высшую мудрость бытия людского и Божьего. С громким пением, потные и счастливые, объятые великой дружбой всех угнетенных, направлялись они к закату мира, и сколько бы ни нависало на них людей в белых халатах, они стряхивали их с себя, приближаясь к окну, к зеву бессмертия и счастья, к мокрому асфальту под окнами, который расколет их увечные черепа, — и тогда в кабинет ворвались люди в зеленом и сером, связывая беснующихся монахов, вминая в них кулаки свои, заворачивая им руки за спины...

Две недели спустя полубезумного Кустова (поведение его было признано не опасным для окружающих) отдали Коркошке и Малецкому, они привезли его в квартиру подполковника (или полковника), и, как подмечено было ими с некоторым страхом, новый жилец по-бузгалински обосновался здесь. Спал на раскладушке, подолгу смотрел во двор. Уже пошла всяю дожди, в редкие солнечные дни Кустова вывозили на природу, вооружали палкой, он бродил по лесу, с грибами ему везло. Почему-то быстро уставал. Никогда не спрашивал, что будет с ним. Он, Коркошка и Малецкий составляли вместе визуальный треугольник, потому что в любой момент дня и ночи с Кустова не спускали глаз. Как-то привезли его в госпиталь, но не в Бурденко, а Вишневого, и врачебные перья вывели наконец: под надзор матери!

А матери-то уже не было! Мария Гавриловна скончалась. Но место жительства Ивану Дмитриевичу Кустову определили по закону: Урал, Свердловская область, тот самый рабочий поселок с техникумом и оборонным заводом, откуда и пошел Ваня служить в Советскую Армию. Он уже разросся, этот поселок, ставший городом, и мало кто из старожилов узнал бы в нынешнем Кустове того юношу, которому аплодировали в Доме культуры, где он играл первые роли в спектаклях о молодежи. Кадровики стали подсчитывать пенсию увольняемому в запас майору Кустову, посыпались вопросы и возражения. В частности, австралийский период — засчитывать в срок выслуги или нет? С одной стороны, лейтенант Кустов задание руководства не выполнил и вообще неизвестно чем занимался, потому что указанный им тайник вовсе не годился для объемных вложений. С другой стороны, не по собственной же воле оказался он на другом континенте. Спорили, гадали, послали человека перемерить тайник, тот доложил: для объемных складок все-таки годится! Вздохнули с облегчением. К тому же выяснилось отнюдь не порочащее майора обстоятельство: не по его вине сцапали двух дипломатов, потому что резидентура по глупости и лености (да еще и экономя на транспорте!) устроила тайники для разных агентов — в одном месте, не разнеся их друг от друга. Проблемы у кадровиков, однако, не исчезли. Если майора Кустова уволить в запас по состоянию здоровья, то есть по болезни, полученной во время прохождения службы, то пенсия увеличится, но для этого надобно доказать, что какая-

то там неврозоподобная шизофрения подхвачена им чуть ли не в болотистых штатах Австралии. А вмятина на черепе, то есть та самая психотравмирующая ситуация? Другое затруднение: сберкнижка, всего тринадцать тысяч набегало за годы службы, однокомнатная квартира стоит вчетверо меньше, но мебель не бесплатно отпускают в магазине, да еще и в очереди постоять надо, разные расходы туда-сюда — изволь теперь устраивать человека на работу. Пустили шапку по кругу, сослуживцы побросали в нее кто что мог, пригодились доллары и кроны, изъятые при аресте майора. А Коркошка и Малецкий поехали на Урал втискивать Кустова в очередь на квартиру, для чего явились на прием к местному начальнику. Малецкий (разумеется, в штатском), обворожительно улыбаясь, пустился в изысканный разговор о предмете, близком хозяину кабинета, большому любителю расписных деревянных ложек, причем развалившийся в кресле Коркошка бросал на обоих знатоков досадливые взоры: да когда ж вы, суки, наконец приступите к делу? Под этими взглядами хозяин кабинета испуганно вздрагивал, а Малецкий виновато жмурился, будто принося извинения за излишнюю нетерпеливость коллеги. Битый час обрабатывали, и не напрасно, столько же времени ушло на прописку, еще столько же — на подогрев зябнувших грузчиков мебельного магазина, и те напоролись так, что Коркошка попытел, втаскивая диван на третий этаж. С работой обошлось не так гладко, преподавателем какого-либо языка Кустова не брали, но опять постарались Малецкий и Коркошка, нашлась должность в ремстройконторе: бухгалтер; в финансовых тяжбах с Москвой Кустов-коммерсант поднаторел в общете и подсчете почти фиктивных сумм. Провели приказом по тресту, обмыли и ускакали в Москву, намекнув на то, что первый год будет Иван под негласным надзором, но ежели надзирающие станут хамить, то по этому вот телефончику звякните нам...

Лишние метры прилагались к тем шестнадцати, что считались жилыми: балкончик. На нем, утепленном, Кустов стал выращивать цветы — на продажу и для души. Несмотря на пенсию и бухгалтерский оклад денег ему почему-то не хватало, хотя и жил скромно. Правда, его вскоре из конторы уволили за что-то. И с продажей цветов на рынке не все обстояло благополучно. В холодильнике — самое необходимое, в книжном шкафу — традиционные для СССР классики.

Примерно так жил и Бузгалин, месяцами не покидал дачи. Он уже не служил, служба его, как и планы переустройства всей агентурной сети Северной Америки, рухнула в тот день, когда он, брат Мартин, и Кустов, брат Родольфо, пошли в 15-м отделении госпиталя на штурм окна, за которым расстилался мир, созданный для переустройства во благо Высшей Справедливости. Кустова тогда увезли в Лефортово, а его — откачали в процедурной, и, доставленный домой, утром вспомнив и обсудив вчерашнее, он пришел к выводу: новому назначению — не бывать! И как ему быть, если магнитофонная запись того, что происходило в Бурденко, уже застенографирована, пропущена через пишущую машинку, изучена и красный (синий? коричневый?) карандаш задумчиво поставил галочку справа (слева?) от гимна трудящихся; песнь, с приложением магнитофонной ленты, преподнесена специалистам, которые найдут и в словах и в мелодии признаки нормандского, скажем, диалекта старофранцузского языка. После чего можно — в шутливой, разумеется, манере — спросить у полковника Бузгалина, почему утаивал он знание этого языка. И о многом можно спросить — о шраме на его черепе, о котором сказал брат Родольфо, и есть ли этот шрам, нет его — такая же загадка, как и пуля в стволе березки на лесной полосочке возле дачи... И — ночь в полицейском участке Праги. И — Миллнз, о котором он ни словечка не вымолвил в отчете; Кустов расписал американца в тончайших подробностях, начальству достаточно полистать личное дело Бузгалина, чтоб убедиться: намеренное утаи-

вание информации, сознательное, подлежащее расследованию сокрытие фактов...

Есть шрам или нет — так и осталось неизвестным, потому что без каких-либо медицинских комиссий полковник Бузгалин был отправлен в распоряжение Управления кадров Министерства обороны, и сначала распоряжение это, что отстранен он от службы, которой отдал 28 календарных лет. Можно было, конечно, задержаться еще лет на пять в действующем резерве, но уже куплены саженцы, уже дядя Федя подсказал, как оккупывать две невымерзшие яблони, и однажды утром Бузгалин почувствовал себя вдруг давно живущим на этой даче и недавно — на планете. Пенсия позволяла жить безбедно — по мнению дяди Феди, но что такое богатство и что такое бедность — Бузгалин так и не постиг. Яблонька, на ВДНХ купленная, по осени той посаженная, дала первые плоды, когда Бузгалин, отведав их, подался на Урал, в рабочий поселок, и долго ходил по кладбищу, вспоминая могилы в Джакарте. И здесь тоже были иждивенческие захоронения, к знатым и почившим в Бозе людям здесь причислялись главные конструкторы, генералы, ответственные работники, о должностях которых говорили не надгробные скрижали, а толщина и цвет мрамора. Марии Гавриловне Кустовой сподобилось попасть на аллею избранных, заслуженная учительница РСФСР уставилась на Бузгалина непроницаемо каменно, выдав тем не менее страшную тайну — день смерти, павший на 26 августа 1974 года и предположительно на тот миг, когда сын ее в аэропорту Буэнос-Айреса увидел заботливых сыновей фермера, решившего гульнуть вдали от дома. Пучок свежих цветов примостился в подножье памятника, и только один человек мог принести их — сын Марии Гавриловны, заоравший как-то в Лефортове следователю: «Не черните мою мать!»

Городской театр извещал о скором спектакле («Ричард Второй»), до электрички еще далеко, Бузгалин проник внутрь бывшего Дома культуры, в котором некогда играл Ваня Кустов, ныне тоже прильнувший к искусству (Малецкий разузнал). Пользовали его поначалу на бессловесных ролях, а потом присмотрелись, стали поручать и говорливые. Мистер Эдвардс о Шекспире знал понаслышке, отставной полковник Бузгалин кое-что почитывал на досуге и в полутьме храма искусств с интересом смотрел и слушал. Сцена была клеткой, люди еще не напялили на себя театральные шкуры, но по тому, как стояли и как сидели, видно было, у кого львиный рык, кто подобострастно подтягивает, а чья походка предвосхищает змеиное шипение. Вдруг все задвигались, мужчина в пиджачке топнул ногой, все умолкли, и парень в свитере произнес чуть подвывая:

— Ответь ей «Pardonnez-moi», король.

Вместо короля заговорила женщина — страстно, дерзко, гневно, взывая к справедливости, обличая, — голосом Анны говорила, бросившей когда-то Бузгалину: «Это ты накаркал!»

Нет, от игры словами нас уволь!
 О злой, посредством языка чужого
 Двусмысленным ты сделал это слово! —
 Король, тебя мы просим об одном:
 Скажи «прошу» на языке родном,
 Твой взгляд смягчился, дай устам смягчиться;
 Пусть в сердце чутком слух твой поместится,
 Чтоб, вняв мольбам, от сердца полноты,
 «Прощу» ответил милостиво ты.

Кого королем назначили — неизвестно, ответил («Но встань же!») страдающей горлице человек неопределенных лет, и Бузгалин узнал Кустова, приподнялся и двинулся к выходу, а вслед ему неслись укоры неземной Анны («Ты — бог земной!») и запальчивый тенорок Кустова:

Но за вернейшим братцем, за аббатом,
 За этой всей достопочтенной шайкой,

Как гончий пес, сейчас помчится смерть. —
 Погоню, дядя, отряди немедля,
 Пускай их ищут в Оксфорде и всюду.
 Ах, только бы их разыскать смогли, —
 Изменников сотру с лица земли.
 Счастливым путь, мой благородный дядя. —
 Кузен, ступайте. Мать вам жизнь спасла,
 Служите ж нам, не замышляя зла.

Было, было еще время — дожждаться Иванушку, который станет провожать ту женщину, сказать ему...

Нечего было сказать, да и надо ли говорить. Все сказано, все давно сказано, в минуты их знакомства, еще до того, как начал брат Родольфо странствовать, дабы убедиться и в бездействии Бога, и в том, что Бог, сотворивший мерзости мира, дал людям право самим определять судьбу свою. На себе решил познать судьбы людей брат Родольфо, приступив к решающему эксперименту в лаборатории при монастыре.

Пестик в руке его уже навис над ступкою, когда раздался едкий голос: — А ты все продумал, Родольфо?

Монашек удивился, всмотрелся в темноту. Кто-то копошился у стены, сметая в угол остатки разбитых сосудов.

— Кто ты?

— Я — Мартин. Меня приставили к тебе, я изучал тебя в скриптории... Уж очень ты не по годам суетный. Поэтому и прибираю я здесь во славу Господню, уничтожая лишнее, добывая надобное. Коврига хлеба да кувшин воды, что пошли на твой ужин, принесены также мною... Так я тебя спрашиваю: все ли ты предусмотрел, все ли ты продумал до того, как начнешь растирать в ступке адскую смесь?

— Мне незачем думать, — возразил молодой монах, садясь на топчан. Упоминание о воде и хлебе показало ему час текущий. — Пусть думают ступка и пестик.

— Однако... — хмыкнул мусорщик. Он подошел к ступке, запустил вовнутрь хваткую руку. Извлек крупные зерна. — Так я и знал... Сера, селитра и уголь. И пропорция, кажется, та же... — Он пожевал порошок и сплюнул. — Совершенно правильно. Ты, Родольфо, на пороге величайшего открытия. Да будет тебе известно, что методом проб и ошибок ты добрался к истинному волшебству. Нос мой обоняет дурной бесовский запах серы, элемента номер шестнадцать с атомным весом тридцать два ноль шестьдесят шесть. Помнится, это ее ты выплавлял из гипса, в котором содержится кальций-эс-о-четыре... С селитрой тебе повезло, нитрат калия калий-эн-о-три достался тебе от такого же суетного и нетерпеливого. Если ты доживешь до утра, то попробуй в дальнейшем получать селитру обменной реакцией между нитратом натрия и хлоридом калия... Ну, а уголь ты взял из костра.

— Я тебя не понимаю... — в замешательстве произнес Родольфо. — Какой это еще атомный вес? Что такое нитрат? Калий — это что?

— Калий — это щелочной металл в первой группе таблицы Менделеева, четвертый период, первый ряд... Некоторая аномалия атомного веса объясняется...

— Постой! — прервал монах. — Откуда тебе известно то, чего не знаю я?

— Это известно давно, однако гордыня твоя непомерна... — укорил юного монаха брат Мартин, временно исполнявший обязанности мусорщика. — Я уже не помню, сколько раз приходилось мне выгребать и выметать отсюда отходы алхимического производства. Каждый взмах метлы — новая мысль, а мысль — это то, чего нельзя отнять у неимущего... Ты нравишься мне, Родольфо, ты оправдал мои ожидания. Ты начал с поисков эликсира, ты хотел продлить жизнь — и обязан был найти средство, которое способно обрывать жизни. И я хочу предостеречь тебя. Ты вот-вот изобретешь нечто величественное. Но в том беда, что пестик и ступка при

кратковременном и сильном взаимодействии создадут условия для интенсивного возгорания той смеси, что придумал ты и что потом будет названа порохом. Огонь не только опалит тебя, Родольфо. Динамический удар по телу повредит некоторые жизненно важные органы. Ты можешь погибнуть.

Родольфо давно уже обратил внимание на то, что трущиеся поверхности нагреваются, кончик пестика всегда был теплым после растирания. Смесь же, засыпанная им в ступку, могла гореть — это он обнаружил недавно.

— Так ты полагаешь... — неуверенно предположил он.

— Я тебя просто предупредил, — мягко возразил мусорщик. — Но тебе все равно надо сильным ударом вогнать пестик в ступку и бить им до тех пор, пока не произойдет взрыв.

— Я погибну? — мрачно предположил брат Родольфо.

— Без сомнения, — изрек мусорщик, и совок его соскреб в угол добычу метлы. — И тем не менее — приступай.

Монах медлил.

— Приступай. Ради истины. Сказано же: мудрость мира — заблудшая овца, потерянная верующими; возврати ее хотя бы из рук неверующих.

— Но...

— Начинай! — рявкнул брат Мартин. — Начинай! Иначе не откроют Периодическую систему элементов, радиоактивность некоторых творений Божьих!

Дверь закрылась за ним, но Родольфо чувствовал: там, за дверью, ждут. Он взял пестик и направился к ступке...



ИНГА КУЗНЕЦОВА

*

ПОСЛУШАЙ ПТИЦ

* *
*

родители как солнечные боги
рождаются из моря и песка
а я створоженный комок тревоги
а после облака

все вещи есть без рамы без обмана
растут и движутся со мной
и глаза безболезненная рана
сквозит голубизной

моя любовь как яблочная тайна
еще не сорвана никем
я отыщу ее случайно
и съем

Университет

Вот сеятель-дворник, сыплющий из рукава
песок, превращающий Москву в Сахару.
Сахара к чаю нет. Раскалывается голова.
В прошлом веке сахар кололи щипцами, держали пару
лошадей. Я не запомню несколько странных и иных слов
о том, как Жак и Ресю благополучно вышли из дома.
Я засыпаю среди сахарных и городских голов,
подталкивая ногой два холодных щедринских тома.
Мне снится и сеятель-дворник, делающий пески
в Москве, и статуя, превращающаяся в красильщика фасада
при движении. Экзамен сдан, и уже не надо
ни «прогуливаться вдоль решетки», ни «замедлять шаг», ни «сжимать
ВИСКИ».

Разбуди меня среди ночи — и я честно расскажу тебе всю
лексику за семестр: я не ела шесть дней, Анна идет к вокзалу,
она уезжает в Париж. Мама же ей сказала:
держись прямо, поддерживай себя сама и ищи Ресю.
Жак и Ресю (и может быть, Анна) жили в Париже, о боже мой,
но перед тем и после — всегда — в маленьких городах и селах.
«Экскурсия показала им интересной и веселой.
Усталые, но довольные они возвратились домой».

* *
*

опять автобус изменил маршрут
и засыпая замечаю
что декорации уже не врут
а добросовестно ветшают
они не дерево и не трава
и чем обман наглей и очевидней
тем легче всем и легче выдавать
сон летаргический за сон невинный

* *
*

Что мне делать, я — это ты, я повсюду с тобой,
поправляю рюкзак и шагаю в ботинках тяжелых,
смотрю из окошек зрачков: вот ограда школы,
собака, девочка, дальше какой-то сбой —
ты закрываешь глаза, сдваиваешь ресницы.
Как я люблю их мерцание на щеке,
когда усталые кружевницы
лечат кисти в мелкой муке и молоке.
Даже если у этой зимы
миллионы раз,
если эти слова тысячу раз говорили, —
я верю, что сейчас
были
действительно мы.

Диалог

Двадцать три.
Обнаружив,
что почти разучилась летать изнутри,
от тоски
перемещаюсь снаружи.
Я пустяк,
маленький человек
с мешками заплаканных век.

Ничего.
Вот облака,
плывущие неторопливо,
как тысячи прихотливых,
объемных и нежных лекал.
Вот блестящее солнце.
Когда-то
мы были связаны с ним тесней,
связью незамысловатой,
как растения или снег.
Мы когда-то и были
ими.

Но природа уже — ракушка
в багажнике автомобиля.
Память о летней поездке на юг
в ящике для безделушек,
в кармане брюк.
Только имя.
Не отчаиваться
не получается.

Нет, не так,
посмотри:
лес живой, лес телесен.
Тесная лестница сосен,
резная плесень
мха —
да лес любой
реальней нас с тобой.

Я ищу абсолютные вещи,
но все-таки я умру.
Ты говоришь: лес.
Умирают звери, деревья, птицы.
Не исчезают только какие-нибудь кварки,
частицы.
Расскажи мне, как выглядит мир
с точки зрения элементарных частиц.
Точно при свете электросварки?

Послушай птиц.

Небо смотрит в окно
сквозь угрюмые прутья решетки,
проникая в мою тюрьму,
перебирая меня, как четки,
делая четким все,
исполненным изумленья.
Но из плена
тоски и лени
мне не вырваться к нему.
Ни тебя, ни себя, ни его
я уже не люблю, не вижу.
Помоги мне, ты выше.
Помоги же мне!

Так нельзя.
Ты не прах, не комочек теста,
обрывок текста,
платье, слеза.
Ты — это я и ты.
Ты — это узел, сплетенье
зверей и растений
удивительной красоты.
Ты — это встреча
света, речи.
Как ты можешь уйти,
если все во всех и они — это ты?


* *
*

снова качнулась земля
перетекает небо слоями
лица поплыли дремучие как острова
в теле внезапного счастья воздушные ямы
спутанная трава

как поглощает вода
как же легко отпустить распоясать
выцветшие города
плачь ненасытное сердце-неясыть

Метемпсихоз

Каждый день я стучусь в эту дверь, но не знаю, хочу ли туда войти.
Может быть, только что-то
услышать, увидеть чудо.
Каждый день
наша соседка сверху кому-то кричит: «Вон отсюда!»,
и еще — матом — то-то, то-то и то-то.
С шести и до десяти.
Пада-
ют стулья, столы.
Малыш
плачет: «Мама, не нада».
Старший, ровесник ему
по уму,
с кем-то пьет за верандой детского сада.
Вот чужая реальность.
Без перчаток ее не возьмешь.
Для нее мои сложности — ложь,
но у всех свои виды ада.
Нет, не могу я сейчас говорить
о чудесном,
о прекрасном и странном.
Ты мне скажешь: дыши чистой праной,
но оконная рана
каплет воздухом грубой гульбы.
Кто-то плачет навзрыд.
Если бы
можно было их уберечь от себя
и друг от друга.
Как сама я слепа и слаба.



ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ

*

ЛЕТОМ В ДЕРЕВНЕ

Рассказы

ДАЧНИКИ

На берегах той самой реки Угры, где некогда государь Иван III перестоял татар Ахмет-хана, существует деревня Новые Михальки. Деревня, по нынешним понятиям, не маленькая, дворов в двадцать пять, плюс заброшенная зерносушилка, похожая на огромные сломанные часы и оставляющая даже несколько фантастическое впечатление, плюс небольшой пруд, наполовину заросший осокой и камышом, да еще американский школьный автобус, который много лет ржавеет посреди деревни, и вообще непонятно, как он сюда попал.

Новые Михальки замечательны тем, что, во-первых, они стоят по обоим берегам Угры, и чтобы, положим, луковицу попросить у односельчанина, реку нужно переплыть, а во-вторых, живут тут главным образом москвичи. В соседней деревне Ванино еще обитают несколько семей природных крестьян, а Новые Михальки опустели лет так тридцать тому назад, когда в Юхновском районе пошла мода на паспорта. Мало-помалу заброшенные усадьбы пораскупила приезжая публика, главным образом москвичи, заселившие правый берег, а на левом берегу по-прежнему коротали годы остатки туземного населения, именно бобыли Василий Иванович Яхонтов, бывший начальник водонапорной башни, и отставной, неudelный пастух Семен. У этих усадьбы пребывают в самом плачевном виде: на дворах валяются охваченные тлением механизмы, собаки забитые, куры тощие и едва оперенные, точно их до времени ощипали, в избы противно ступить ногой. А у дачников ничего: заборы все новые, дома крыты шифером и выкрашены в увеселительные цвета.

Третья изба, если считать от заброшенной зерносушилки, принадлежала семье Симоновичей, состоящей из хозяина Петра Петровича, его жены Веры, дочерей Ольги и Любви и маленького кобелька по кличке Аккордеон. У этих Симоновичей чуть ли не каждый вечер собиралась компания деревенских соседей, которые почти не знали в Москве, а тут любили посидеть вместе, потолковать о том о сем, выпить и закусить. Являлись они под вечер всегда всегда приодетыми, но на открытой веранде у Симоновичей сидели босыми, так как Вера Симонович была чистюля и у нее, когда ни зайди, свежeweмытые полы.

Итак, августовский вечер, солнце над Угрой висит низко, чуть-чуть не касаясь верхушек сосен, и являет тот печальный, даже угрюмый цвет, который еще дают догорающие костры. Нагретый ветерок, почему-то пахнущий лебедой, слегка шевелит занавески из полосатого, матрасного, полотна, на той стороне чья-то собака брешет, на московской стороне кто-то завел электрическую пилу. За столом, не считая хозяев, сидят: Сережа Чи-

Пьецух Вячеслав Алексеевич родился в 1946 году в Москве. По образованию — учитель истории. Автор двенадцати книг прозы. Постоянный автор «Нового мира».

жиков, чета Книгеров — Митя и Маша, и, словно в насмешку, Иван Иванович Иванов. На лицах у всех благостное выражение, какое бывает у человека, только-только выпившего рюмку водки, даже у Веры Симонович, которая в тот день мучилась приступом язвенной болезни и гости ей были остро не ко двору. Сережа Чижииков говорит:

— Есть мнение, что мысль существует независимо от языка, — может быть, и так, но это еще вопрос. То есть мысль мысли рознь. Если мы разумеем под мыслью силу, направленную на изобретение колеса, тогда слово действительно ни при чем. Ну разве что оно необходимо в том смысле, чтобы передать кому-то знание о функции колеса. Но если под мыслью мы подразумеваем силу, способную постичь и сформулировать категорический императив, то в этом случае слово и мысль неразделимы, в этом случае слово и мысль — одно! Или можно так сказать: тут мысль есть слово, а слово — мысль...

— Ну и о чем это, по-твоему, говорит? — как-то невнимательно справился Иванов, который был как раз специалист по линии языка.

Вера Симонович тем временем разливает по чашкам чай из старинного посеребренного самовара, аппарата такой ухоженности, что в него посмотришься приятно, и изо всех сил пытается не показать, что гости ей остро не ко двору. Митя Книгер читает газету поверх очков. Его жена Маша, которая тоже носит очки, наблюдает закат, и сквозь стекла с диоптриями видно, как в ее глазах набухает задумчивая слеза. Петр Симонович то и дело искоса поглядывает на Машу Книгер, размышляя о том, что иной раз очки придают женщине особенное очарование и, как это ни странно, вызывают дополнительный физиологический интерес. Девочки Симоновичей, Оля и Люба, играли в мяч.

— Это нам говорит о том, — отвечает Сережа Чижииков, — что происхождение языка не эволюционно, а революционно, что язык есть продукт какого-то качественного скачка...

Митя Книгер тяжело вздыхает и говорит:

— Одни гадости в газетах пишут...

Маша его спрашивает:

— Например?

— Например, про унижительный курс рубля. Или вот вам, пожалуйста: оказывается, это не проделки исламистов, это еще царь Михаил Романов шахматы запретил...

— Если мысль, так сказать, техническая, — продолжает Чижииков, — доступная и животным, скажем бобрам, не нуждается в слове, а мысль высокая и слово неразделимы, то законно будет предположить неземное происхождение языка...

Над Угрой откуда ни возьмись низко повис туман, солнце незамедлительно ударяется во что-то золотисто-жемчужное, вдруг смолкает электрическая пила. Тогда такая наступает тишина, что слышна заунывная песнь шального, зажившегося комара.

— ...Ведь что такое, собственно, человек? Человек есть мысль, обращенная на себя. Ясно, что мысль такого накала представляет собой явление вне природы, и, следовательно, язык — это дар, ниспосланный нам неизвестно когда, неизвестно как. Если, конечно, мы с вами непоколебимо стоим на том, что мысль есть слово, а слово — мысль.

— Так-то оно так, — вроде бы соглашается и в то же время не соглашается Иванов, — да только самые древние слова на всех языках звуко-подражательны, и, видимо, человек воспроизводил их так же, как это делает попугай. Например, возьмите существительное «барабан»: по-русски это будет «барабан», по-французски — «tambour», по-немецки — «Trommel», по-английски — «drum». Посему логично будет предположить как раз эволюционное происхождение языка. По той простой причине, что, осваивая звуковое средство общения, человек на первых порах рабо-

тал как попугай. Какое уж тут неземное происхождение слова, если собака начинает с «гаф», человек — с «агу»!

— Но ведь собака так и обходится одним «гаф», покада не околеет, а человек, начиная с «агу», возвышается до категорического императива, который включает в себя прямо божественные слова!

— Именно?

— Именно: звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас, — у Канта это вроде бы звучит так.

Петр Симонович взял со стола початую бутылку водки, налил пол-лафитника Ивану Ивановичу и почти полный стакан себе.

— Петь, — говорит ему Вера, — ты бы поменьше пил.

Симонович опрокинул в себя стакан, нарочито крикнул, скользнул глазами по лицу Маши Книгер и поставил стакан на стол.

— Когда я была в Атлантик-Сити, — сообщает Маша, — я обратила внимание, что публика там постоянно пьет. Они безумно много пьют, но при этом пьяным я не видела никого...

— Ну слава богу! — восклицает Митя Книгер и весело глядит на соседей поверх очков. — Наконец-то хоть одно приятное сообщение!

— Какое именно? — вчуже спрашивает его Вера.

— В Воронежской области отмечено повальное отравление грибами, уже шестеро граждан отправились в мир иной.

— Что же тут приятного?

— Как — что приятного?! Значит, наконец-то пошли грибы!..

К этому времени небо уже притухло, как керосиновые лампы тускнеют, когда кончается керосин. Первая, ярко-голубая, звезда проклюнулась и висит. За рекой, видимо на опушке леса, странно вопит какая-то ночная птица, и от этого звука всем делается немного не по себе. У калитки Симоновичей кто-то стоит бледной тенью и показывает веранде литой кулак. Приглядевшись, компания выясняет, что это неудельный пастух Семен.

— Чего ему надо? — спрашивает у хозяина Иванов.

— Морду мне пришел бить, — отвечает Петр. — Я у него в прошлом году петуха задавил. Катался на велосипеде и нечаянно задавил. Так мужик как мужик, но стоит ему выпить, как сразу идет мне морду бить за своего несчастного петуха.

— И не лень ему было речку переплывать, — замечает Чижииков. — Ты бы, Петь, разок начистил ему физиономию, он бы, глядишь, отстал.

— Нет, таких, как он, бить бессмысленно, таких, как он, надо либо убивать, либо увещевать.

С этими словами Петр наливает полный стакан водки, кладет на кусок хлеба порцию заливного судака и направляется к калитке увещевать бывшего пастуха.

— Ну так вот, — продолжает Чижииков, — человек начинает с «агу» и постепенно возвышается до осознания нравственного закона, который дан ему, как способность к прямохождению или слух. В том-то все и дело, что человек, взрослея, проходит те же этапы развития, что и человечество: от обезьяны до божества.

Иван Иванович спрашивает:

— Ну и о чем это, по-твоему, говорит?

Сережа Чижииков было надулся, по-видимому собираясь сказать что-то очень значительное, как на веранду вернулся Петр. Он некоторое время свирепо молчит, потом наливает себе с четверть стакана водки и говорит:

— На мой непросвещенный взгляд, человечеству вообще зря, не по заслугам, достался дар членораздельной речи. Не понимаю, зачем ему разговаривать, если из десяти тысяч человек один — человек, а прочие так... млекопитающие, которые и говорят-то всю жизнь производными от «агу»!

— Петь, — увещевает его Вера, — ты бы поменьше пил!

— Если бы даже одному бобру из десяти тысяч бобров было чего сказать, — замечает Иван Иванович, — то членораздельной речью он бы владел не зря.

— Вот именно! — соглашается Маша Книгер. — Как бы там ни было, погоду делает тот самый один человек из десяти тысяч, достойный дара слова, который его получил не зря. Вот когда я была в Атлантик-Сити, я обратила внимание, что там у всех безумно симпатичные лица, но совершенно не с кем по-настоящему поболтать...

Чижигов тем временем гнет свое:

— Это нам говорит о том, что если человек проживает за свою жизнь всю историю человечества, если он последовательно проходит через первобытность, жестокость и самовлюбленность античности, средневековый фанатизм и так далее, — то вот что интересно: по нему можно самое отдаленное будущее человечества предсказать. Вы понимаете, к чему я клоню?

— Не совсем, — отвечает Петр.

— По крайней мере, — продолжает Чижигов, — из этого феномена со всей очевидностью вытекает, что членораздельной речью человек обзавелся прежде, чем он научился пилить-строгать. Материалисты утверждают, что слово есть следствие производственных отношений, но если Люба Симонович в три года овладевает одним из самых сложных языков в мире, а в пять лет научается завязывать шнурки бантиком, то, значит, слово есть Божий дар.

Легка на помине, Люба Симонович поднимается на веранду и начинает о чем-то шептаться с Верой. Через минуту та хлопает в ладоши и говорит:

— Так, товарищи! Сейчас у нас будет представление домашнего театра! Сценка называется «Три красавицы небес», выступают все Симоновичи, включая собачку Аккордеон.

Впервые за весь вечер из-под стола вылез взъерошенный пес, нелепо оглядел компанию и зевнул.

— Кстати о четвероногих друзьях, — возглашает Митя Книгер и некоторое время молча смотрит поверх очков. — Агентство «Рейтер» сообщает, что в Гаване совершенно нечем кормить собак.

Воспользовавшись тем, что Вера и девочки отправились в дом костюмироваться, Петр выпивает полный стакан водки и долго шевелит пальцами над всякой домашней снедью.

— И как ты не лопнешь! — делает ему замечание Иванов.

— Видишь ли, какое дело: Вера замечает, что я выпивши, только в начале третьей бутылки водки.

На это Иван Иванович лишь убито покачивает головой.

Торжественно растворяется дверь в избу, и на веранде одна за другой появляются: Вера в вечернем платье, с черепаховым гребнем в волосах, Люба, вся закутанная в белый оренбургский платок, с веером, повешенным на запястье, Ольга в материном платье до пола и бархатной шляпке, которая налезает ей на глаза. Все трое принимают позы, Вера кивает мужу, и тот заводит губами дурной мотив.

Три красавицы небес шли по улицам Мадрида... —

поют Симоновичи на разные голоса и сопровождают пение довольно забавным танцем.

Донья Флора, Долорес и прекрасная Кларида.
Веселился весь народ на воскресном на гулянье,
Только нищий у ворот умолял о подаянье...

Аккордеон давился, но подвывал.

Митя Книгер зевал глазами, Чижигов, напротив, умильно наблюдал за представлением, Иван Иванович — непроницаемо, Маша смотрела в небо.

И было на что, действительно, посмотреть: уже не вечер, но еще и не ночь, небо темно-бирюзовое, в ранних звездах есть что-то воспаленное, похожее на сыпь, вся западная сторона затянута низким-пренизким серым облаком, точно кто одеяло набросил на горизонт.

Тем временем Петр, который продолжает наигрывать губами дурной мотив, нащупывает босой ступней Машину босую ступню и начинает легонько ее ласкать.

— Ногу прими, — не поворачиваясь к мужу, говорит Маша.

— Что?.. — спрашивает Митя.

— Я говорю, ногу прими.

Митя пожимает плечами и вперивается в газету — на лице у него выражение легкого недоумения и тоски.

Вдруг представление прерывается, Любовь начинает топтать ногами, тонко плакать и наконец убегает в дом. Вера идет вслед за ней, через минуту возвращается и объявляет:

— Люба разнюнилась оттого, что на нее никто не смотрит. Начинаем сначала! Так: все смотрим на Любовь. Петь, заводи мотив...

И опять:

Три красавицы небес шли по улицам Мадрида,
Донья Флора, Долорес и прекрасная Кларида.
Веселился весь народ на воскресном на гулянье,
Только нищий у ворот умолял о подаенье...

Вдали послышался звук мотора, и все наострили уши. Вообще тишина в этих местах такая, что любой превходящий звук слышен очень издалека.

Представление вдругорядь прерывается, но на этот раз без скандала; впрочем, по выражению лица Веры хорошо видно, что она устала прятать от гостей боль.

Чижиков говорит:

— Тут еще вот какая имеется закавыка: человеку даны готовые органы речи — например: голосовые связки, и следовательно, он в физиологическом порядке загодя был подготовлен к речи, можно даже сказать, что человек изначально был обречен однажды заговорить.

— Так-то оно так, — вроде бы соглашается и в то же время не соглашается Иванов, — однако голосовые связки, равно как и кисть руки, — это продукт развития, и следовательно, человек есть не только мысль, обращенная на себя, человек — это еще процесс. То есть я хочу сказать, что в течение многих миллионов лет голосовые связки сами собой развивались сообразно возможностям и потребностям языка.

— Но ведь сама способность эволюционировать в идеальном направлении есть в своем роде предопределенность, не так ли?

— Это, положим, так.

Вера говорит:

— Кстати заметить, меня давно занимает один вопрос... За что Бог выгнал первых людей из рая? За что Он их выгнал, если при сотворении человека Он, например, дал Еве все средства к деторождению, ну там евстахиевы трубы, молочные железы... — ну за что?!

Вера умоляюще оглядела компанию, затем встала из-за стола и включила свет.

У ворот Симоновичей со скрипом тормозит «газик», принадлежащий одному чудачу из соседней деревни Ванино, по фамилии Молочков, который держал кроличью ферму, с десяток пчелиных ульев и промышленный огород. Он еще у калитки выбросил сигарету и, подойдя к веранде, долго снимает допотопные рыжие брезентовые сапоги.

— С чем пожаловал? — спрашивает его Петр.

Молочков деликатно пристраивается с краю стола и отвечает:

— Да вот хотел спросить: вам крольчатина тушенная не нужна?

— Вроде бы не нужна...

— Тогда больше вопросов нет.

— Ну, во-первых, — заводит Иван Иванович, — Бог не за инцест выгнал первых людей из рая, хотя, наверное, отчасти и за инцест. Он их главным образом отправил в ссылку за то, что они познали добро и зло.

Вера спрашивает:

— И как это прикажете понимать?

— А хрен его знает, как это понимать!

Молочков аккуратно берет со стола кусок черного хлеба и говорит:

— Рожь нынче в сапожках ходит.

Петр интересуется:

— Ну и почему нынче на рынке рожь?

— Три с полтиной за килограмм.

— Я когда была в Атлантик-Сити, — вступает Маша, — то обратила внимание, что в Америке безумно дешевые продукты питания, особенно мясо и молоко. Но черного хлеба там правда нет.

Сережа Чижиков говорит:

— Я думаю, это так следует понимать: дергаться не надо, то есть всякая деятельность, поступки, устремления — это только себе во вред. Вот, например, дети — они ничего не делают, между тем природа не знает существа более счастливого, чем дитя. Стало быть, идеальная метода существования такова: нужно расплестаться, насколько это возможно, с внешними формами жизни и уйти в наслаждение от личного бытия. И ведь действительно счастье — это очень просто: счастье есть разум с его волшебными возможностями все квалифицировать и, как следствие, примирить.

— Кстати о детях, — говорит в свою очередь Иванов. — Вот лингвисты до сих пор не могут постичь феномен детского языка. Общеизвестно, что почти каждый младенец изобретает свой собственный язык, не имеющий ничего общего с родовым. Но ведь это нонсенс, чудо, это значит, что каждый сосунок — некоторым образом демиург!..

Молочков озирает компанию веселыми глазами, затем протяжно вздыхает и идет надевать свои допотопные сапоги. Через минуту его шаги слышатся уже возле калитки, но вдруг он возвращается пугательным, необычным шагом, причем на лице у него такая сложная мина, словно он только что привидение повстречал.

— Что такое? — настороженно, однако не совсем трезвым голосом спрашивает его Петр.

— Колеса с машины сняли. Пока я тут с вами прохлаждался, кто-то мои колеса уговорил.

— Да вроде бы некому у нас колеса воровать, — предполагает несмело Вера.

— Ну я не знаю... Стоит машина на кирпичках.

Молочков с минуту потоптался в растерянности и ушел. Только он ушел, как отключилось электричество, что вообще в Новых Михальках случалось довольно часто, и все как будто внезапно ослепли — такой наступил непроглядный мрак. Только звезды холодно блещут в небе да малопомалу намечаются дымчато-черные пятна от облаков. Сережа Чижиков еще говорит:

— Разве что младенческое словотворчество как раз звукоподражательно, ибо славянское дитя гулит совсем не так, как, скажем, начинающий эскимос, — но прочие уже мысленно разбредаются по домам. Вера зажгла свечу. И сразу в картине появляется что-то непосредственно живописное, староголландское, и даже там и сям чудятся утонченно-выверенные мазки. От огня свечи восковеют лица, появляется лихорадочный блеск в глазах,

дает приятные блики старинная кузнецовская посуда и как будто начинает шевелить плавником заливной судак.

Долго ли, коротко ли, Симоновичи остаются одни: дети сидят на полу и играют в «пьяницу», Вера принимает пакетик альмагеля и после заговаривает свою язву словами, которые она вычитала в медицинском календаре. А Петр, подперев отяжелевшую голову рукой, искоса смотрит в небо и говорит:

— Каждый день одно и то же! Где, спрашивается, порыв, где горение, где полет?!

АВЕЛЬ И СЫНОВЬЯ

Вот краткое описание жизни и деятельности одного необыкновенного человека, но только, в отличие от житийной литературы, с легким уклоном в жанр.

Фамилия у него была Молочков, и носил он библейское имя Авель, и это, конечно, довольно странно по русской жизни, чтобы человек звался Авель Сергеевич Молочков. Бог знает о чем думали его родители, когда выбирали младенцу имя, но не исключено, что они исходили вот из какого соображения: если Каин есть символ палачества, то Авель, напротив, — жертвы, и стало быть, имя Авель логически представляет собой самое русское из имен. Впрочем, этот мотив кажется сейчас более чем сомнительным, потому что дело-то было в тридцать восьмом году.

Как бы там ни было, Молочков своим именем нимало не тяготился, Авель и Авель, тем более что ему безнаказанно сошел сорок девятый год, когда народ сплошь и рядом держал ответ за библейские имена. Он благополучно закончил школу, выучился на специалиста по холодной обработке металла, женился, произвел на свет двух сыновей, Бориса и Глеба, получил квартиру в Пролетарском районе и до самого девяносто третьего года жил в родном городе, пока за него не взяли новейшая история и судьба.

Хотя новейшая история и судьба донимали его задолго до девяносто третьего года, так в ту пору, когда его жена была беременна первым сыном, он изобрел одно хитроумное приспособление для копировально-фрезерного станка, из чего последовали такие неприятности, которые даже трудно было вообразить. То есть, с одной стороны, Молочков нажил себе ишемическую болезнь сердца, поскольку начальники разных положений и степеней никак не хотели заниматься его изобретением; в конце концов он подрался с референтом министра легкого машиностроения, и дело дошло до товарищеского суда. С другой стороны, на него рабочие ополчились, так как внедрение молочковской новации в производство обязательно сказалось бы на расценках, и написали на него коллективный донос: якобы накануне Октябрьских праздников он распространял в литейном цехе листовки подрывного содержания и какие-то подозрительные значки. Это дело, правда, оставили без последствий, но Молочков зарекся изобретать.

Как раз в мае девяносто третьего года его завод приказал долго жить: поскольку спроса на изделия не было никакого, производство свернули, рабочих и персонал распустили, ворота опечатали, и, таким образом, Молочков оказался полностью не у дел. На какое-то время он крепко запил. Да и как не запить русскому человеку, который с детства привык к тому, что он остро интересен своему государству, коли оно всячески его опекает и отслеживает каждый шаг, коли у сестры в Таганроге нельзя пожить без того, чтобы не отметить прежде у паспортистки, — и вдруг получается, что на поверку ты никому не нужен, кроме любовницы и жены. Не исключено, что исходя именно из этой коллизии ближе к вечеру Авель Сер-

геевич покупал две бутылки водки, устраивался на кухне и выпивал. Из комнат доносилось бубнение телевизора, водопроводные трубы урчали, точно они задыхались, ходики тикали, мерно капала из крана вода, а онпил, смотрелся в бутылочное стекло и разговаривал сам с собой.

— До чего же сволочная наша действительность! — время от времени повторял он. — То ты был техническая интеллигенция, то не пришей кобыле хвост!

Пьянка, впрочем, продолжалась месяца два, не больше, пока Молочковы не обнищали до такой степени, что уже не на что было купить хлеба и табаку.

К чести Авеля Сергеевича нужно заметить, что он все же довольно быстро сообразился с веяниями времени и вскоре открыл частное дело по ремонту холодильников, которое сулило немалые барыши. Оно потому сулило немалые барыши, что новые аппараты народу были не по карману, а старые сильно поизносились, но главное — Молочков отважился-таки на еще одно изобретение: вместо фреона заливать в системы картофельный самогон, и в результате холодильники отечественного производства работали как часы. В короткое время Молочков назанимал денег у родственников, арендовал сторожку возле железнодорожного моста, где прежде помещался приемный пункт стеклотары, открыл счет в банке «Покоев и Тиберда», и дело пошло как будто само собой. То есть дело точно пошло бы как будто само собой, если бы в один прекрасный день не исчез банк «Покоев и Тиберда». Это было удивительно и даже таинственно: то существовал в городе такой банк, то словно в воздухе растворился, как растворяются миражи, и даже особнячок, который он занимал на углу Трифоновской улицы и площади Коммунар, в четверг еще стоял на своем месте, а в пятницу уже нет. Занятно, что Апель Сергеевич не столько был потрясен утратой начального капитала, как именно той сказочной пертурбацией, что в четверг еще стоял оный особнячок, а в пятницу уже нет.

Молочков было вдругорядь запил, но вот однажды в пивной напротив автобусного вокзала случай свел его с главным агрономом колхоза «Путь Ильича», что в Юхновском районе Калужской области, и эта встреча перевернула его судьбу. Именно агроном надоумил его за бесценок арендовать в соседнем хозяйстве землю и этой землей худо-бедно существовать — например, разводить кроликов, заняться пчеловодством, употребив угодыя под медоносы, или выращивать лук-порей. Авелю Сергеевичу сквозь пивную задумчивость сразу увиделись неоглядные просторы, мирный дымок над трубой, первобытная тишина, и он решил выращивать лук-порей. Неделю не прошло, как Молочковы продали свою квартиру в Пролетарском районе, собрали скарб и отбыли на новое место жительства, по пути толкуя меж собой о преимуществах крестьянского способа бытия. Апель Сергеевич критиковал архаическое трехполье, жена его мечтала о деревенских вечерах у открытой печки, Борис и Глеб то и дело просили купить ружье.

Разумеется, это был ненормально смелый, слишком отчаянный поворот, однако и то нужно принять в расчет, что у нас на Руси время от времени случаются исторические периоды, когда народ, точно под воздействием некоторой инфекции, вдруг впадает в идиотию, иногда даже окрашенную в жизнерадостные цвета, и, в сущности, не ведает, что творит. Например, в семнадцатом году нашего столетия этот феномен себя явил, и как раз в девяносто третьем году он себя явил. Еще сидели на Лубянской площади отцы третьего переселения народов, но уже повывлазили из полуподвальных контор будущие вершители судеб, уже пьянили кровь новые-старые названия улиц и площадей и радостно было походить генеральский китель, уже оказали себя блеск и нищета свободного слова, бывшие мирные труженики ударились в коммерческие обороты, а бывшие карманники вышли в большие люди, уже рубль приравнялся к единице знания о неправдах канувшего режима, — одним словом, совершились

многие немислимые перемены, перед которыми меркла невинная фантазия выращивать лук-порей.

Обосновались Молочковы в деревне Ванино, на отшибе, неподалеку от полуразвалившегося коровника и напротив чудом сохранившейся силосной башни, из которой росли кусты. Вообще у этой деревни была дурная слава: когда-то здешние мужики утопили в прудах баронессу Черкасову, в девятнадцатом году вырезали продотряд, и чуть ли не до самой войны тут по древнему обычаю голые женщины опахивали деревню в случаях эпизоотий или нашествия саранчи. Впрочем, в новейшие времена, после того как наиболее деятельная часть населения разбрелась отличаться по городам, Ванино присмирело, и много если на Красную горку тут случался кулачный бой. В соседнем районе шабашники деревни жгли, чуть их обидь рублем, а в Ванине — ничего. Разве что впоследствии Авеля Сергеевича огорчало, что местные не возвращали долги, не помнили добра, были на удивление равнодушны к красотам природы и могли изувечить за покражу охапки дров.

Первым делом Молочков отправился в Юхнов и зарегистрировал частное сельскохозяйственное предприятие под названием «Авель и сыновья»¹. Затем он купил сильно подержанный «газик», трактор «Беларусь», кое-какой инвентарь, семена под посев и только после этого принялся за избу: он перестелил полы, оклеил обоями стены, побелил печку, провел воду в дом и повесил над столом оранжевый абажур. Приятным и каким-то теплым помимо топки оказалось их новое жилище, единственно Молочковых поначалу смущали таинственные ночные звуки, на которые вообще торчат деревенский быт: это все-таки не то, что водопроводные трубы урчат, точно они задыхаются, если посреди ночи вдруг кто-то тяжело заходит по потолку.

В тот день, когда Авель Иванович повесил над столом оранжевый абажур, в первый раз затопили печку, всей семьей уселись вокруг нее и тогда особенно остро почувствовали преимущества крестьянского способа бытия. Мальчишки развлекались тем, что подсовывали в топку щепки и бересту, жена молча вязала носок из собачьей шерсти, Авель Сергеевич рассуждал о видах на урожай.

Вдруг растворилась дверь и появился долговязый, тощий мужик с лицом цвета пыли, по самые глаза заросший щетиной, — это был ближайший сосед Петров. Он прошел в комнату, сел к столу, достал папиросы и закурил. Молочковы смотрели на него осторожно, точно ожидали нелестных слов.

— Ну и какие вообще планы? — спросил Петров.

— Какие планы... — отвечал ему Авель Сергеевич. — Вот собираюсь выращивать лук-порей...

— Ну, я не знаю!.. Тут у нас лебеда и та не растет. Знаешь поговорку про русский грунт: посеешь огурчика, а вырастет разводной ключ. Я чего и в колхозе не работаю, потому что мне скучно выращивать лебеду. Я, наоборот, стишки сочиняю про то, про сё.

— Да ну?

— Ну!

— Так прочитали бы для знакомства чего-нибудь...

— Нет, я стесняюсь...

— Ну как хотите...

— Тогда я назло прочту:

¹ В отделе регистраций над ним насмеялись:

— Откуда же это у Авеля взялись сыновья, если он в отрочестве погиб, все сыновья пошли от Каина, в чем, собственно, и беда.

Такая вот стихия —
 Чуть что, пишу стихи я,
 Допустим, ветер стих,
 И вдруг родится стих.

— А что, — сказал Авель Сергеевич в некотором даже изумлении, — ничего!

— Или вот еще:

Как у нас простой народ
 Действует наоборот:
 Например, вместо хлеба
 Получает недород.

— Это, наверное, называется «критический реализм», — сказал Молочков и сделал понимающее лицо.

— С чем, с чем, а с критикой у нас полный ажур, — подтвердил Петров.

В эту минуту ему, вероятно, явилась свежая рифма, поскольку он что-то засмотрелся на оранжевый абажур. Он некоторое время смотрел на абажур, потом поднялся из-за стола, загасил окурок в селедочнице и ушел. Любопытно, что больше он к Молочковым не заглядывал никогда.

Но что Петров накаркал, то накаркал: ни единого всхода не дал посев, словно это Молочкову приснилось, что он сажал в мае месяце лук-порей. Но Авель Сергеевич не пал духом: он заказал семь ульев на лесопилке, купил у одного древнего бортника семь семей пчел, обзавелся инвентарем, включая такое экзотическое приспособление, как самоварчик Студицкого для подкуривания формалином, и стал дожидаться первого взятка, сильно рассчитывая на успех. Но вот какая незадача: пчелы улетели за взятком и больше не прилетели, видимо, подлец бортник нарочно отпустил ему таких пчел, которые, как почтовые голуби, всегда возвращаются в родовые, означенные места. И на этот раз Авель Сергеевич не пал духом: он приобрел на базаре в Юхнове кролика и крольчиху, устроил для них просторную клетку и стал дожидаться потомства, сильно рассчитывая на успех. Когда действительно появились первые крольчата, Авель Сергеевич так обрадовался, что в один присест изобрел две автоматические линии — одну для кормления, другую для преобразования мяса в тушенку и вареную колбасу. Правда, забивать кроликов пришлось принанять деревенского дурачка Васю, и Авель Сергеевич скоро заметил, что рождается ушастых гораздо больше, нежели поступает в переработку на тушенку и колбасу. Тем не менее он в самое короткое время весь дом забил готовой продукцией, колбасы у него висели даже под потолком, поскольку крольчатина совсем не имела сбыва — бедность в этих местах стояла такая, что деревенские дети не стеснялись просить милостыню у заезжих и городских.

В конце концов Молочковым кроликов потравили: как-то просыпается Авель Сергеевич чуть свет, выходит на двор, а там среди охапок смертоносного лютика валяются с полторы сотни бездыханных тушек, картинно так валяются, точно накануне кролики меж собою вступили в бой. По ту сторону забора стоял сосед Петров и наблюдал эту картину бесстрастно, даже незаинтересованно, как Наполеон под Аустерлицем, шуря на солнце попеременно то левый, то правый глаз.

— За что вы нас так не любите? — в сердцах спросил его Молочков.

Петров в ответ:

— А за что вас, спрашивается, любить?

Авель Сергеевич подумал, что действительно, любить их особенно не за что, и успокоился, сразу пришел в себя. То есть этот случай еще не переполнил чашу терпения — переполнилась она в тот день, когда с молочковского «газика» поснимали колеса и оставили машину держаться на кирпичках. Как-то отправился он в соседнюю деревню Новые Михальки, к

знакомым москвичам, главным образом на предмет сбыта своей тушенки, а у них праздник — у этих москвичей всегда был праздник, когда к ним в гости ни заявись. Авель Сергеевич еще у калитки затушил сигарету, прошел к веранде, где москвичи услаждали себя беседой, чаем и водкой, и, зная порядки, первым делом снял свои допотопные рыжие брезентовые сапоги.

— С чем пожаловал? — спросил у него хозяин.

— Да вот я интересуюсь: вам крольчатина тушенная не нужна?

— Вроде бы не нужна...

— Тогда больше вопросов нет.

Сразу уйти было неловко, и Авель Сергеевич на минуту присел за стол.

— Ну, во-первых, Бог не за инцест выгнал первых людей из рая, — говорил какой-то мужик в годах, — хотя, наверное, отчасти и за инцест. Он их главным образом отправил в ссылку за то, что они познали добро и зло.

Хозяйка спросила:

— И как это прикажете понимать?

— А хрен его знает, как это понимать!

Чтобы не отстать от компании, Авель Сергеевич взял со стола кусок черного хлеба, до смешного тонко нарезанный, и сказал:

— Рожь нынче в сапожках ходит.

Хозяин справился:

— Ну и почему нынче на рынке рожь?

Молочков сказал:

— Три с полтиной за килограмм.

— Я когда была в Атлантик-Сити, — вступила в разговор молодая женщина в богатых очках, — то обратила внимание, что в Америке безумно дешевые продукты питания, особенно мясо и молоко. Но черного хлеба там правда нет.

Мужик в годах продолжал:

— Я думаю, это так следует понимать: дергаться не надо, то есть всякая деятельность, поступки, устремления — это только себе во вред. Вот, например, дети — они ничего не делают, между тем природа не знает существа более счастливого, чем дитя...

Дальше Авель Сергеевич не вслушивался в этот, по его мнению, неосновательный разговор, и у него в ушах только монотонно звучало «та-та-та, та-та-та», точно в них чудом завелся крошечный барабан. Немного погодя он протяжно вздохнул и отправился надевать свои допотопные сапоги. Он вышел за калитку и обнаружил, что все четыре колеса с «газика» сняты и стоит машина на кирпичках.

Домой он возвращался пешком и, поскольку кромешная стояла тень, в какой-то рытвине вывихнул ногу и о ветки исцарапал себе лицо. Войдя в избу, Авель Сергеевич молча уселся за обеденный стол, постелил перед собой лист ватмана, раскрыл готовальню и стал чертить. Вошла жена, оперлась спиной о косяк двери и долго наблюдала за Молочковым жалостными глазами, ни единого слова не говоря. Она вообще была молчаливая женщина, и ее требовалось хорошенько раззадорить, чтобы она фразу-другую произнесла.

— Ты знаешь, — сказал ей Авель Сергеевич, — сколько после смерти Ньютона осталось денег? Двадцать тысяч фунтов стерлингов! А что он, собственно, изобрел?! Закон всемирного тяготения открыл — только и всего, а так он все больше алхимией занимался, свинец в золото превращал. Вот если бы он изобрел такую втулку на ось моста, чтобы колесо было снять невозможно, вот тогда бы он был гений и молодец!

Жена молчала-молчала, потом сказала:

— Ты прямо психический какой-то, Авель Сергеевич, ну тебя!

Эти слова Молочкова донельзя поразили, и он даже оторвался от своего чертежа, ибо, во-первых, жена была молчаливая женщина, а во-вторых, он от нее во всю жизнь и полслова критики не слышал. Тогда он понял: что-то окончательно сломалось в его судьбе; что-то окончательно сломалось в его судьбе, если на него взъелась жена, последний друг и подельница до конца.

Фатум Авеля Сергеевича неизвестен. Наутро его еще видели идущим по дороге на Новые Михальки, с посошком в руке и котомкой через плечо, но дальше следы его теряются среди просторов нашей России, в которой, впрочем, человеку всегда найдется дополнительный уголок.



ЕЛЕНА УШАКОВА

*

ЦВЕТЫ НЕ ПЛАЧУТ

* *
*

Какой несносный день! За что бы уцепиться,
Не знаю; где тот обруч золотой?
То лето душное, та утренняя птица?
Жизнь заперта железною скобой.

Кошмарный сон: звучащий в ре миноре
Мотив, насильно, грубо в соль-диез
Переведенный вдруг, в необъяснимой ссоре
С самим собой звучит себе вразрез.

Я посетила дом, где я давно когда-то
Служила, тосковала и была
Больна, замучена, любви своей не рада,
На набережной... Наяву спала.

Мне ближе, кажется, Петровская эпоха,
О Меншикове больше я теперь
Могу порассказать... Так что же мне так плохо?
Как будто в местность ту открылась дверь?

Какой пустынный день! Я ничего не вижу.
По существу, ведь зренье — тоже слух,
Тот тихий, внутренний, чьим голосом приближен
Кипящий тополь и летучий пух.

Взять Анненского? Там звучит такая нота,
Такой надтреснутый созвучий ряд...
Тоску тоской накрыть — и сдвинулось бы что-то:
Интерференция, как говорят.

* *
*

Вдруг увидев семейку фиалок, увивших крыльцо
Среди сорной растительности незаметно-подробной,
Я подумала, в людном собрание вот так же прельщает лицо
С голубыми глазами и костью горячею лобной.

Если втайне понятны поступки, мотивы обдуманных слов,
 Если переглядывая приятно с чужим человеком,
 Дорожим впечатленьем своим, как основой основ,
 Как подсказкой во тьме, новогодним подарком и снегом.

Что ж так нравится он? Удивлюсь, второпях головой
 Помотаю, смеясь: не туда повернула оглобли.
 Просто вера в людей здесь опору, поддержку, покой
 Обретает; среда обитанья и дружеский облик.

И рука сквозь бутылочный лес и бокалов кусты
 Пробирается с рюмкой в застольном клубящемся зное,
 И срывается с губ простодушное, зряшное «ты»,
 Но и «вы» ни при чем, как на свадьбе лицо должностное.

Третье что-нибудь нужно... Индивидуальный пошив...
 Но отрадно заметить, что общей этической нормой
 Виртуозно владеет он, самолюбиво-учтив,
 Как таинственно-дикая прелесть — фиалковой формой.

* *
 *

Перечисляя жизни обольщенья
 И радости, в которых мы опору
 Находим, он сказал о сочиненье
 Стихов, луч солнца, море, гору
 Назвал, и облако, и куст сирени,
 И в список обольстительный поставил
 Улыбку женщины... Смутясь, в колени
 Уставилась я; нарушенье правил
 Каких-то непредъявленных, негласных
 И странно-смутных, непроизносимых
 Почудилось, поправанье прав неясных.
 Когда бы я в условиях счастливых
 Таких же точно — микрофон, эстрада —
 В затихшем зале выставила чинно
 Тот перечень вещей, которым рада, —
 Шиповник, синева небес, мужчины
 Улыбка... — как бы выглядел он дико:
 Мужчина к розовым кустам в придачу!
 Мы не цветы, голубка Эвридика,
 Цветы — не мы: не лгут они, не плачут.

* *
 *

«Ах, знаете, серьезным, сухопарым
 И толстым, шустрым, всем, — она сказала, —
 Я нравилась, и молодым, и старым,
 Мне жаловаться вовсе не пристало,
 А вот подруги не было, с которой
 Младенческой беспечности приливы
 Могла бы разделить, и разговора
 Наивного, незрелого, как сливы

В июле... — Промелькнули иван-чая
 Полянки. — С противоположным полом,
 Не правда ли, иначе?» Ощущая
 Вагонный столик тряский локтем голым
 И глядя на летящие пейзажи,
 Я думала: ничем мне не ответить
 На это приглашение, и даже
 Когда бы я одна была на свете,
 Оглохшая трава, соски сирени
 И лепестки петунии и герани
 Теперь важнее выстраданных мнений
 И женских непосредственных признаний;
 Подруга не заменит мне, пожалуй,
 Ветвей распластанной на небе ивы
 Или пионов, цвет их нежно-алый
 О бедствиях напомнит мне, счастливой,
 И убедит в возможности возврата
 Внезапно отодвинутого счастья,
 Но там, где вечная цветет рассада
 И нет нужды в сочувственном участье,
 Я не хотела бы, чтоб только корни
 И муравьи мне были братья, сестры, —
 Твою бы тень искала я упорно
 С надсадой здешней, ожиданьем острым!

* *
*

Это «а» — окончание в имени вашем мужском,
 Саша, Миша, Сережа, Алеша и Митя,
 Видно, воспринимается лишней висюлькой, ростком
 Мягким, листовенным, гибким, смешным — посмотрите,
 На березах такой, на акациях и тополях,
 И смущает значением формы слависта,
 Разобравшегося в наших флексиях и падежах,
 Изучившего Щербу старательно и Бенвениста,
 И наводит на мысль о характере женском души,
 Что-то нежное в имени есть незнакомом,
 Что-то снежное, мягко залегшее в милой глуши,
 Притягательной чудным отличьем от дома.

Будто вы в самом деле участливы так и чутки,
 Что относитесь к женщине, словно к ребенку.
 На морском берегу наблюдаю я из-под руки
 За семейством: ее в простыню, как в пеленку,
 Он заботливо кутает и растирает живот,
 Спину мокрую и натирает их мазью
 От палящего солнца: расслабишься здесь — и сожжет,
 Мы в далеком Египте — не чувствуешь разве?
 И, песок отряхнув, деловито глядит ей в глаза.
 Как зовут тебя — Ваня? А лучше бы — Петя.
 Седоватый блондин. Кто-то сзади его отозвал:
 «Вальтер, Вальтер!» — донес мне услужливо ветер.

* *
*

Я полюбила жизнь в конце концов.
Какой понадобился долгий путь!
И странно: ни деревьев и цветов
Явление, ни моря шум, вздохнуть
Счастливо заставлявшие не раз,
Не привели к устойчивой любви.
Тоски и страха, кажется, запас,
Как в море волн, куда ни поплыви,
Неисчерпаем был. Так что ж теперь
Мне нравится на скользкой колее
Уже наклонной и ввиду потерь,
Пригнувших и приблизивших к земле?
Смешно признаться: душ, дезодорант,
Стиральная машина, телефон
Мобильный, принтер и официант
С салфетками, его приличный тон...
Я чувствую улыбку, например,
Невольную на собственных устах,
Когда включают кондиционер:
Метафизический он гонит страх,
А счастье — шестикрылый серафим —
Его наращивает и живет
В сотрудничестве деятельном с ним,
Дует знакомый — скрипка и фагот.
И пусть невытравима эта смесь
Боязни и надежды, но кольцо
Из меди на дубовой двери здесь
Заметь, пожалуйста, приблизь лицо.
И, всматриваясь с мышью под рукой
В осмысленно мигающий экран,
Ты разминешься с вяжущей тоской,
Бессмертной — Эдварда, смертельной — Глан.

* *
*

Алексею Герману.

Над разрытым асфальтом, над грудой
Развороченой грязной земли,
Старым скарбом и битой посудой,
Кирпичами — сюда завезли
Для строительства вместе с цементом, —
Над бетонными трубами, над
Проводами, палаточным тентом,
Над столбами, стоящими в ряд,
Из другого какого-то мира,
Сада, неба, вольера, страны,
Из Парижа или из Каира —
Мест, которые здесь не слышны,
Но с их блеском, и плеском, и летом,
И сияньем витражным чужим,
Одаряя, как сказано Фетом,

Эту местность *миганьем живым*,
В невесомости, в самозабвенье,
Боже мой, как душа, как мечта
Этих брошенных, бедных строений,
Яркокрылая их маета.

И когда я следила неровный
И ныряющий этот полет,
Спотыкаясь о камни и бревна,
Я внезапно подумала: вот
Почему так не радуется все же
Этот фильм, защищаемый мной,
Сильный, дерзкий, на правду похожий,
Отвратительный, страшный, смешной.
Темнота и жестокость суровых
И уродливых лиц объяснят
Нашу злую нужду в катастрофах,
Их позорно-назойливый ряд,
Нищету и убогость пространства,
Котлован, на котором ничто
Не возводится, драки и пьянство,
Вечно поднятый ворот пальто.
Так и есть. Но зачем в эпизоде
Не мелькнуло нигде ни в одном
Что-то дальнее, высшее, вроде
Мимолетности с пестрым крылом?
А без этой крупы — простого
И ничтожного, что ли, штриха —
Не простят нам разумного, злого
Пониманья, прозренья, греха.



ЯРОСЛАВ МЕЛЬНИК

*

КНИГА СУДЕБ

Рассказ

1

Изначалу ее приняли за очередную мистификацию. На этого психа, чей склад был забит восемью миллионами томов, подали в суд сразу триста тысяч людей. В разных странах. Потому что это было кощунством — то, что сделал этот богач, угробивший почти все свое состояние на напечатание восьми миллионов толстенных томов. Безусловно, это был клинический случай. Напечатать даты смерти всех ныне живущих на планете мог только сумасшедший. И главное, проделав это свинство, он сразу онемел. Онемел ли он на самом деле, никто не знал, но факт, что с тех пор, как его схватила полиция, он не произнес ни слова. И вообще не реагировал на расспросы. А вскоре он странно умер, во время очередного допроса, свалившись со стула, как будто сраженный стрелой. Помощник следователя, присутствовавший при этом, говорил, что именно таким было его впечатление: как если бы в окно влетела стрела, выпущенная из лука индейца, и пронзила сердце этого злоумышленника. Но конечно, никакой стрелы не было, окна во время допроса были не только закрыты, но и плотно занавешены металлическими шторами.

Вообще вся эта история с самого начала выглядела более чем странно. Если б человек все свое состояние проиграл в карты или подарил любимой женщине или даже нищему с улицы, это можно было бы понять. Можно было бы хоть как-то, с натяжкой, но объяснить. Любое безумие имеет свое объяснение. Но в сборе информации о всех жителях планеты и в печатании дат их смерти было слишком много ума. Слишком много разумных усилий. И это-то вселяло ужас.

Поначалу воспринявшие все это как шутку, как черный юмор, газеты вскоре перешли к возмущению и брани. Ибо кому же приятно читать о дате своей смерти? Миллионы домохозяек раскаляли телефонные трубки редакций, телевидения и полиции докрасна. Говорят, сумасшедшего арестовали сразу же, как только жена президента той страны, в которой он жил, прочитала, что умрет через четыре года и пять дней. А президенту обещалась долгая жизнь.

Вскоре выяснились и некоторые детали. Преступник, оказывается, имел доступ к международным центрам электронной информации, так что ему ничего не стоило получить фамилии и имена жителей планеты. Остальное — дело техники и времени.

Так бы и стало это событие очередной сенсацией, о которой спустя месяц уже никто не помнит, если бы приумолкнувшие было газеты не

Мельник Ярослав Иосифович родился в 1959 году на Украине. Закончил Львовский университет и аспирантуру Литературного института им. А. М. Горького. Прозу печатал в «Литературной газете», «Литературной учебе», других изданиях. В «Новом мире» выступал как критик. Живет в Литве.

взорвались вторично. Начали поступать сигналы от родственников только что умерших людей: люди умирали в точности по «Книге судеб»! Невероятно, но это было именно так. Причем, как вскоре оказалось, исключений не было. Даже те, кто, зная о дне своей смерти, сидели целый день дома, все равно умирали, кто от чего. Чаще всего останавливалось сердце, но отказывали и почки, и другие органы. Также заметили, что многие заболели за какое-то время до роковой даты, так что в назначенный день болезнь и достигала пика. Те же, кто не интересовались особо «Книгой судеб» или просто не слышали о ней (а были и такие), те часто погибали на улицах, от несчастных случаев или, ничего не зная о своей дате смерти, кончали с собой в психологическом кризисе. Убийства тоже совершались по «Книге». И убийцы конечно же понятия не имели, что убивают в «положенный» день.

В общем, это был ужас. Кто-то поджег склад с книгами, и все они сгорели. Но обнаружилось, что существуют другие склады с экземплярами «Книги». И к тому же «Книга» была записана на компактные диски, и любой человек, в принципе, мог заложить диск в компьютер и набрать свою фамилию или фамилию родственника.

Что это могло быть? Существование высшей силы стало самоочевидным. Никто не мог теперь отрицать ее. Расходились только во мнении, Бог ли это или какой-нибудь чисто технический Высший Разум. Если это был Бог, то Он зачем-то решил явить Себя, выбрав для этого случайного человека. И непонятно было, зачем Он это сделал, что это все означает. Если же это были какие-то инопланетяне, контролирующие и, быть может, программирующие судьбы, то они просто передали человеку, работавшему в электронном центре, цифровую информацию. Как говорится, «с компьютера на компьютер». Но опять же — зачем? С какой целью?

Как бы там ни было, жизнь не остановилась. Странно, но не остановилась. Какой-то чудаки ради эксперимента убил себя «раньше срока». После него не выдержали нервы еще у нескольких тысяч. Оказалось, раньше срока умереть все же можно, что было нелогичным и малопонятным. Но вот пережить срок — нельзя. Не удавалось никому. Даже детям. Дети, те ничего не знали и были единственными, кто жили, как еще недавно жили все. Счастливые!

2

Жена моя уже спала, когда я вернулся от приятеля. Дисков было еще не много, к тому же на одном диске помещались фамилии лишь на одну букву. Не так-то просто было тому, кто хотел получить информацию. Моя жена Лена сказала, что не желает узнавать, потому что не сможет тогда жить. И так поступали многие. Правительства некоторых стран издали указы об изъятии и уничтожении книг и дисков. Но кто хотел, тот узнавал и в этих странах.

— Коля, зачем? — говорила мне жена, увидев мой первый порыв «узнать правду». — Не ходи, я прошу тебя.

— Но Лен... Это же правда.

— Зачем нам она, Коля? — По ее лицу текли слезы. — Ну да, да, мы все умрем. И пусть. Наша Сонечка, наш Игорек, ты, я — все умрем. А сейчас мы живем, сейчас нам нужно жить.

Я поклялся ей не узнавать. А сам пошел к Перитурину и все узнал. Мы сидели с ним у компьютера, и Перитурин, икая, говорил:

— Смотри, Коля. Ты умираешь шестого мая, а я через год, четырнадцатого апреля, — и глупо улыбался. Казалось, он не понимает.

— А твоя Ленка...

— Заткнись! Сука!

Я ударил Перитурина в скулу, и Перитурин заплакал. И тут я подумал, что Перитурин же умрет, а я его в скулу ударил ни за что ни про что, и сам заплакал.

Когда я вернулся, в моей голове было ясно как днем. Лена спала. Ее веки вздрагивали, как если бы ей снился страшный сон.

Лена должна была умереть через двенадцать лет, а я через шестнадцать. Что мы за это время успеем сделать? Мало, очень мало. Но все же больше, чем бедная Клава, жена Перитурина. Той осталось два года. Я сидел в полумраке у кровати жены и удивлялся. Удивлялся тому, как я размышляю. В этих размышлениях было что-то чудовищное. Как и в моих чувствах. Потому что я, немного огорчившись, что переживу Лену и придется четыре года жить одному, все же радовался, что нам с Леной больше повезло, чем Перитурину с женой. И оба ребенка у них умрут молодые, а у нас только один, Игорек, в четырнадцать лет. А Сонечка проживет целых восемьдесят четыре года!

Я поднялся и пошел в детскую. Сонечка спала как ангел, полураскрытая, дыша носом. Она еле помещалась в кроватке. Надо скоро покупать большую кровать. Я улыбнулся и пошел спать. К Игорьку я не решился приблизиться.

3

Не знаю почему, но с того дня, а вернее, вечера я Сонечку стал любить больше, чем Игорька. Хотя должно было бы быть наоборот. Сонечке предстояла долгая жизнь, ей, скорее всего, судилось быть матерью, продолжить род. Игорек же умирал в четырнадцать лет. Конечно, было бы жестоко, зная об этом, не развивать его. Но зачем? На этот простой вопрос я не мог ответить. «Папа, а когда я вырасту, я полечу на самолете?» — «Да, Игорек, да». Что он успеет в жизни? Успеет ли полюбить? Что успеет узнать?

Не было денег, и я пошел на биржу труда. Мне предложили за копейки работать для одной фирмы. Нормальных денег сразу не дает никто. Вот если честно послужишь, тогда, быть может, постепенно начнешь получать нормальные. В этом был какой-то абсурд: зная, что я через шестнадцать лет умру, идти работать за копейки. Но хлеб, который надо было кушать, стоил именно копейки...

Лена, придя с работы, падала на кровать и лежала полчаса — так уставала. Чем меньше получаешь, тем тяжелее вкальваешь. На что тратим свою жизнь? А что делать? Маленькие деньги зарабатываются большим трудом, а большие деньги... тоже большим трудом, но иного рода. Но куда нам до больших!

Неожиданно к нам приехали мать с отцом, мои. Мать умрет через год, отец — через три. А говорили они о какой-то капусте. Потом отец сказал, вставая: «Я тебя предупреждал, что твоя профессия никому не нужна, а ты меня не слушал». Почему он такой злой? Ведь ему всего три года осталось. Мать все жаловалась на сердце.

Сонечка, которая проживет восемьдесят четыре и увидит конец следующего столетия, училась ходить, держась за палец бабушки.

В четверг позвонил Перитурин и позвал на рыбалку. Я ожил, решил отпроситься с работы. Знал, что посмотрят косо, но не мог не поехать.

На рыбалке было прекрасно. Перитурин поймал восемь карасей, я три окуня и четыре карася.

— Коля, живем! — сказал мне Перитурин.

— И как если бы никакой «Книги судеб»!

В кустах заливались птицы, ветерок гнал к нашим ногам мелкие волны.

— Красотища! — сказал Перитурин.

— Да.

— А может, все это мура? — сказал Перитурин.

— Что?

— Ну, книга эта. Я думаю, что мура.

— Ну сказал... — Я поднял голову и посмотрел на него: — Ни одного исключения.

— Пока... — Перитурин поменял наживку. — До пятницы все будет сбываться, а с субботы перестанет.

— Как?

— А что, не может так быть?

И он, размахнувшись, закинул удочку подальше.

После этого дня я немного по-другому стал смотреть на происходящее. Почему бы и в самом деле не допустить подобное? Ведь никто же сначала не предполагал, что можно умирать раньше срока, а оказалось, что можно. И потом, не существует пока полной статистики. Известно, что все смерти соответствуют датам в «Книге». Но разве проверены *все*, кто должен был умереть в означенный день? Разумеется, не все. Тогда откуда уверенность, что нет исключений? Что кто-либо где-нибудь в джунглях Африки, *назначенный* умереть вчера, не живет и сегодня? А если хоть один такой есть, то может быть и другой, и десятый.

Потом обрадовала многих вот еще какая путаница: оказалось, что люди, чьи фамилии, имена, отчества совпадают, не могут различить, где чья дата смерти. Если «Книга судеб» составлялась божеством, то что же оно не предотвратило такого конфуза? Если оно хотело, чтоб люди знали дату своего конца, то почему же оно не подумало о тех, кого зовут одинаково?

Были и еще путаницы. Время по какому поясу считать? На одной стороне планеты — еще сегодня, на другом — уже завтра. Но в «Книге судеб» про это ни слова.

Наконец, что же с теми, кто теперь рождается? Они-то не занесены в «Книгу». Стало быть, если не явится новый пророк, то следующее поколение будет жить нормально, как мы все жили прежде. Эксперимент? Зачем?

4

Очень странная сложилась ситуация в стране. И вообще на планете. Солнце светило, как и раньше, небо, тучи, деревья, животные... И в то же время — «Книга». Это могло просто взбесить. Если Ты, Бог, решил показать всем, что Ты есть, таким оригинальным способом, то Ты выйди. Явись нам. В виде чего? Уж это Тебе лучше знать. Мы Тебя будем ждать на площади, а Ты выйди, величиной ну хоть в пятиэтажный дом, чтоб сразу стало понятно, что Ты — Бог. Или выгляни с небес, из-за туч, чтоб лицо было видно. Ну и поговорим. Кто Ты, кто мы, что такое наша смерть и зачем. Скажи: так, мол, и так, для того-то вы и созданы, для того-то живете. А смерти не бойтесь, потому что это и не смерть вовсе. Вот Я — а вот вы. И все вы — Мои.

Нет, все это ерунда. Не надо. Если бы такой разговор состоялся, как жить дальше? Как гвоздь забивать, как на копеечную работу в фирму идти? Вид Бога и прямой разговор с Ним нельзя выдержать. Оцепенеешь в тихом ужасе и жить больше не сможешь. А жить надо. Пока не знаешь истинного смысла, до тех пор и жизнь.

Между тем газеты, телевидение и радио пытались осознать сложившуюся ситуацию. Вскоре я с удивлением обнаружил оживленные «дискуссионные столы», «исповеди» и даже юмористические передачи на новую тему. Причем размышляли о новом положении вещей попивая вино, расслабляясь, то есть как ни в чем не бывало наслаждались жизнью. Какая-то девушка, которой буквально завтра умирать, обращалась накануне к миллионам телезрителей, прощаясь и неся околесицу о «доброте», «мире» и

«всеобщей любви». А два известных юмориста кривлялись друг перед дружкой (и всей страной) в следующем духе: «Ты завтра что делаешь?» — «Завтра? Э-э... Сейчас посмотрю. Так-с... Нет, завтра не могу. Завтра мне умирать». (Смех за кадром.)

Лене о ее смерти я объявил как-то утром: не мог дольше носить в себе.

— Я знаю, когда тебя не станет! — сказал я бреясь.

— Узнал все-таки? — сказала она как-то зло. — Ну и когда?

— Через двенадцать лет.

— Так мало? — сказала Лена (она драила посуду на кухне). — Я ожидала больше.

— А я через шестнадцать! — крикнул я, чтоб она услышала.

Когда-то она уверяла, что не сможет жить, зная свой конец. Что-то теперь будет?

Я побрился и вышел. Лена ворожила над кастрюлей.

— Сходи за хлебом, если можешь, — сказала не отрываясь. — Дома ни куска.

Я озадаченно смотрел на нее.

— И позвони Марье Федоровне насчет Сони. — (У нашей дочери были проблемы с математикой.)

Я стоял в дверях и ожидал, что она еще чего-нибудь скажет. Но она продолжала что-то быстро бросать в кипящую воду.

— Ты еще здесь? — удивилась она, заметив, что я все еще торчу в дверях.

— Лен, — сказал я. — Я тебе сообщил такую новость, а ты...

— Ну что я? — Она вдруг бросила свою кастрюлю и с какой-то луковичей в руках уставилась на меня. — Что я? Что от этого изменится?

— Как это что?

— Что, жрать не надо? Жрать-то небось захотите?

— Но... — Я не знал, что и говорить.

— Или, может, Сонечка пусть двойки приносит за уравнения?

— Но мы же...

— Ну какая разница? Что сейчас об этом думать? Какой толк?

Я не верил своим ушам; молча повернулся и ушел. Нет, я не знал своей жены.

5

Интереснее всего, что мы больше не говорили с ней на эту тему, и ничего не изменилось, абсолютно ничего, даже ссорились, как и раньше, из-за пустяков. Лишь иногда я вспоминал, что, если верить этой проклятой «Книге», осталось нам... Это был какой-то дурной сон — знать точно свой конец и ничегошеньки не мочь изменить.

А тут еще разные ученые книги начали выходить одна за другой: «Мудрость конечного знания», «Смысл знака свыше», «Теория и практика ухода»... Казалось, все наши философы и психологи набросились на горяченькую тему и качали денежки. Народ, понятно, давай все это покупать и читать. Миллионные тиражи. Не смог и я не купить. Почитал. По-ихнему получалось, что сейчас лучше, чем раньше. «Смерть перестала быть подлой неожиданностью...», «Человек теперь смотрит истине в глаза и может рассчитать свои силы» и т. п. Какие-то фирмы по «оформлению ухода» росли как грибы. Поскольку теперь каждый мог знать день своей смерти, то этот день многие превращали в событие сродни свадьбе, крещению и т. д.

В одно из воскресений мне позвонил Перитурин и пригласил «на проводы» (так это теперь называлось) одного своего знакомого. Вернее, это был муж подружки его, Перитурина, жены, той, которой оставалось жить почти ничего. Так вот этот муж был большая шишка, вице-президент какой-то фирмы, богач и закатывал целый бал по поводу своего «дня ухода»

(как сообщалось в разосланных приглашениях), человек на пятьсот, в своем загородном замке. Жена Перитурина, понятное дело, отказалась ехать, и приглашение Перитурина предложил мне. Ну, я и поехал, потому что о подобном только читал, но не видел.

Столы были выставлены прямо под звездным небом (было лето) и ломились от яств. Играл духовой оркестр, танцевали; то тут, то там вспыхивали фейерверки.

— Они что, веселятся? — спросил я Перитурина, когда встретивший нас метрдотель провел нас к месту в конце одного из столов.

— Нет, плачут.

— Я серьезно.

— Он что, дурак — приглашать к себе плакальщиков в последний день?

— А где он сам?

— Потерпи, скоро явится.

Ближе к четырем утра компания (если несколько сот человек можно назвать компанией) достигла уже той степени раскрепощения, когда говоришь что хочется и все кажется тебе разумным и прямо блестящим. Вдруг часы на башне стали бить четыре, лестница замка осветилась; последний удар совпал со вступлением фанфар. Народ замер, и вот дверь широко распахнулась и явился хозяин: в красном пиджаке, в галстук, улыбающийся! С ума сойти! Он спустился еще молодой походкой; внизу его окружили близкие.

После того, как виновник торжества уселся на видном месте, во главе центрального стола, веселье возобновилось.

Четыре утра — это было ноль часов в той местности, где жил издатель «Книги судеб». Начинался, стало быть, день смерти хозяина, и он не хотел рисковать, явился секунда в секунду, чтобы умереть, если что, на глазах. Только теперь я понял смысл расхваливаемой в последнее время «смерти на глазах»: в этом на самом деле что-то было.

Уже наступило утро, а хозяин все еще жил — жил, ел, смеялся и даже танцевал с молоденькими девушками.

— А где же священник? — спросил я сонного, полупьяного Перитурина.

Он поднял голову, посмотрел на меня, как будто бы видел в первый раз:

— На таких встречах его не бывает. Что ему здесь делать?

И снова уронил голову.

Все ждали «кульминации» — смерти хозяина, ради чего, собственно, и сошлись сюда. Похожее, вероятно, можно было пережить разве что в Средневековье, в толпе во время общественной казни.

— Я хочу сказать тост! — услышал я вдруг в громкоговорителе, висевшем над моей головой. — Вы, все вы останетесь ненадолго, а я уйду. И я завтра уже буду знать то, что вам недоступно. Так пусть же живет и процветает моя фирма «Лотосинтернейшнл», конец которой никому не известен!

— Ура! Ура-а! Ура-а-а!

Послышалось хлопанье пробок, полилось шампанское.

К обеду все порядочно поустали. Хозяин зевал, еле держась на ногах. Жена, крупная дама с огромным декольте, тоже была пьяна и, икая, время от времени смеялась неизвестно чему.

Некоторые гости уже начали поглядывать на часы и незаметно исчезать из-за столов. Другие смиренно сидели, чувствуя, что некрасиво уйти, не дождавшись смерти хозяина (ведь ради нее он их пригласил). Я тоже уже начал было подумывать, что надо бы улизнуть (Лена бог знает что вообразит), как вдруг кто-то торжественным голосом объявил по громкоговорителю:

— Господа! Он уходит! Господа! Наш хозяин уходит!

Все повытягивали шеи, даже повставали с мест, так что я толком мало что видел; только на мгновение мелькнуло перед глазами дергавшееся в судорогах и дрожавшее как лист тело в поднятом на всеобщее обозрение кресле. Прошло минут пять.

— Господа! Его уже нет! Выпьем за него, господа!

Все молча встали и выпили.

— А теперь, господа, — десерт.

Точно так трясся в судорогах кролик, когда я ему перерезал, на даче, горло.

Я схватил за руку Перитурина и почти силой выволок на дорогу, где стояли его старые «Жигули».

— Что за безобразие!

— А что? — спросил Перитурин. — Куда так спешишь? Десерт вот не покушали.

— Разве так умирают?

— А какая разница? Кто как хочет, так и умирает. Ты как хочешь, а я пошел есть десерт.

— Ну и иди!

Я сел у машины и стал ждать.

6

Лена все-таки изменилась со временем. Ближе к смерти Игорька (а я ей и об этом сказал, не мог скрывать) она стала задумчивее. Раньше такого не бывало, а теперь то и дело заставлял ее сидящей на кухне с недочищенной картофелиной в руках и смотрящей куда-то в даль (наши окна выходили на городской парк). Трудно сказать почему, но ее грусть меня радовала.

Игорек тоже знал. Детей тянет к запретному: в школе все о всех знали; знали, сколько кому жить: по рукам ходили выписки из «Книги судеб».

Однажды я остановился у спортивной площадки: там два мальчика лупили друг друга почему зря. «Ты мамин сыночек! Мамин сыночек!» — кричал один, сжимая кулаки. «А ты подохнешь в девятом классе, вот! Я буду жить семьдесят восемь лет, а ты подохнешь!» — «Гад!» — и он вцепился в обидчика, повалил на землю. «Вы что там делаете! — закричал я. — А ну сейчас же прекратите!» Они, видно, испугались и бросились наутек.

Когда Игорьку исполнилось тринадцать, мы, поздравив его с днем рождения, опустили глаза: что мы могли сказать? Это не была даже болезнь — с болезнью можно еще бороться, по крайней мере тешить себя надеждой.

— Игорек... — сказал я, сглотнув слюну. Что я мог пожелать своему сыну, вступающему в последний год жизни?

— Не надо, папа, — сказал Игорек. — Я все и так понимаю.

Он был мужественнее меня, и я его за это уважал. И я видел, что он был счастлив, что я его уважаю. Неужели здесь можно еще говорить о каком-то счастье?

Лена хлюпала носом, прижимая к себе Сонечку, которая проживет во семьдесят четыре года.

Не знаю почему, но я надеялся на чудо. «Только чудо может нас спасти». Раньше я не понимал этого выражения. Уже давно умерла жена Перитурина и одна из его дочерей (второй осталось жить лет пять), а я все еще надеялся. Мир к этому времени совсем обезумел: богачи платили сумасшедшие деньги телеканалам, чтоб те вели прямые репортажи с их «дней ухода»: народ, сидя у телевизоров, с замиранием сердца смотрел, как исчезает известнейший банкир или киноактер. Бульварные газетки — и даже некоторые серьезные — печатали, рядом с прогнозами погоды и гороскопами, списки известных людей, которые умирают завтра. Накануне Ново-

го года обнародовали, кто умрет из «мировой элиты» в следующем году. Специальные институты готовили данные, показывающие, сколько новых мест (врачей, профессоров, прокуроров и т. д.) освободится, — и за эти места уже начиналась, при живых работниках, борьба.

Мы с Леной готовились (психологически и материально) ко «дню Игоря» (как мы это называли). «Провожать» Игоря мы решили в узком кругу семьи: мы с Леной, Сонечка и Игорь. Так еще делали те, кто не принял моды «праздновать» «дни ухода» (с приглашением гостей и т. д.).

Накануне того дня мы начисто вымылись, оделись в новое, сели за стол и молча отужинали. Ночь мы решили не спать — хотели быть с Игорьком. Игорек держался как никогда; казалось, не мы его, а он нас провожает. Даже пробовал шутить.

К утру, однако, Игорек все еще жил — даже не болели больные почки (у него врожденные отклонения, от Лены). Единственное, чего мы сейчас с Леной желали, — чтобы он не мучился, ушел тихо. Чтоб это было не удушьем какое-нибудь, не «кровь горлом». Боже, до чего же мы все куски мяса в чьих-то руках — делай с нами что хочешь.

К обеду Лена стала вдруг молиться (чего раньше с ней никогда не случалось) в ванной. У меня тоже сдали нервы. Уж не лучше ли пить, как рекомендуют? Но не хотелось быть пьяным в такую минуту.

— А почему бы нам не посмотреть «Екатерину из Лос-Анджелеса»?

Мы удивленно глянули на Игоря: речь шла о сериале, который мы смотрели вот уже полгода.

И правда, это было самое умное решение. Хотя, может, и кощунственное.

Мы уселись, включили телевизор (спустился уже вечер) и вдруг ощутили тихую (да! да!) радость: как если бы ничего нет. Никакой «Книги судеб». Как если бы мы просто сели вчетвером, как всегда, согревая друг друга телами и улыбками. Мы на самом деле улыбались. Казалось, не может теперь ничего произойти — никакой ураган не ворвется в наш прочный воцарившийся мир, разрушив его.

Только когда кончился фильм, тревога опять вернулась; вернулось сознание того, что неизбежное — неизбежно. Однако не хотелось верить. Хотелось сказать себе, что это дурной сон. Дурной сон — и больше ничего.

Наступила ночь. Сонечка уснула на диване, а мы втроем остались сидеть лицом к телевизору, но уже (по крайней мере мы с Леной: я ее чувствовал) ничего не воспринимаю. Когда? Когда же?

Кончался последний день Игорька.

7

Хотите верьте, хотите нет, но Игорек не умер. Оставалось несколько минут до четырех утра (то есть до полуночи по времени издателя «Книги»), и мы с Леной с каким-то ужасом и предчувствием невозможного прикипели к стрелкам электронных часов на стене. Вот пошла последняя минута...

— Игорек, — сказала Лена, — сыночек...

Она придвинулась к нему, как если бы хотела защитить от судьбы. Я молча кусал губы. Ну же, ну...

Когда бабкнуло четыре, мы — все трое — вздрогнули. Что-то случилось.

— Ты жив, Игорь? — Я не верил своим глазам.

Радости еще не позволялось прорываться — ждали подтверждения. Носились мысли об отставании часов (хотя вчера подвели специально), о какой-то ошибке...

Прошло, однако, полчаса, час — бабкнуло пять. Игорь — живой, улыбающийся — сидел перед нами. Мы ничего не понимали.

8

«Книга судеб» как возникла, так и исчезла. Оказывается, уже три дня, как ее предсказания перестали сбываться (мир об этом пока не знал — эта информация не стала еще всеобщим достоянием). Лишь через несколько месяцев все успокоилось, убедившись, что люди, которые должны были умереть за это время, остались живы.

Мы с Леной как на свет родились: будто второе дыхание открылось.

— Едем к морю! Завтра же! Все к черту!

Чтоб раньше мы вот так сорвались и уехали? Боже, как хотелось жить!

Хотя, если подумать, что изменилось? Мы стали бессмертными? Теперь я даже не могу быть уверен, что доживу до той даты, которая мне предназначалась. Не говоря уж о восьмидесяти четырех годах Сонечки. Но отчего вдруг такая легкость? Откуда?



ЕВГЕНИЙ КАРАСЕВ

*

ЧЕЛОВЕК НА ОБОЧИНЕ

* *
*

В небольшой церкви, пустой и гулкой,
над гробом сына, еще салаги,
в голос рыдает женщина:
«Кровиночка моя, ты чище гуленьки...
Дитяtko мое, ты сродни ангелу...»
Парнишку убили сорванцы-ровесники —
лежащему ногами переломали

все кости.

Безутешная, обращаясь к Царю Небесному,
исходит слезами:

«Вседержитель, Ты сам Отец!

Ты знаешь, как потерять рожего!

Верни мне его, Господи!»

В храме стеноло, вопило материнское горе;
оно готово было отдать сгбнувшему
сердце, душу, принять на себя удары

тех злобных сапог.

Мне казалось, эту боль я услышал бы
и среди нескончаемых миров,

во вселенском хоре.

Почему же не слышит несчастную Бог?..

В больничном покое

Я лежу в больничном покое;
тишина, как в режимной тюрьме.
За окном облетевшие липы покойно
готовятся к долгой зиме.

Я завидую этим черным, точно обугленным

деревьям,

дрогнушим от дождя, холодного ветра:
всю жизнь проблукав, не имея корней,

в безверье,

у меня нет их надежды на солнечное лето.

Межа

На подъезде к Белокаменной
в вагоне общем
духотища, дети ревут.
Пассажиры на жизнь треклятую ропщут.
И на чем свет клянут Москву:
— Там и пенсия выше, и зарплата.
Будто мы вкальваем меньше! —
какая-то вымученная до черноты
женщина
выбросила напоказ ладони,
натруженные лопатой.
Я и за колючей проволокой встречал
ненависть эту
не только к Москве — к москвичам:
редкий уркач из столичных
мог пробиться в «авторитеты».
И те же попреки: жрут в три глотки.
Любят, чтоб все на блюдечке
им подносили.
Видно, надолго совковые льготы
отделили Москву от России.

У порога

Я стою у порога, с которого начал;
представления молодости, дерзкие желания —
все обернулось безверьем.
Я чувствую себя, как после дикой качки,
когда из трюма выводят на берег.
Я ставил на кон свободу против куша
неизмеримо меньшего,
а чтобы вернуть ее — в бегах рисковал
жизнью.
Что искал я — единственную женщину?
Будоражащую воображение золотую жилу?
Плыли к другим потрясные крали,
драгоценные залежи —
я пропадал то в воровских малинах,
то в лагерных бараках.
Но не испытывал к счастливицам
ни грамма зависти.
Значит, не здесь зарыта собака.
Только зачем я мучаюсь над ответом,
вглядываюсь в прошлого расплывчатое лицо?
...Я толкаю дверь и вхожу в дом,
далеким летом
покинутый бедовым огольцом.

Чаепитие

После русской бани
я пью чай с медом,
предпочтя эту трапезу другим разносолам.
Мед выходит обильным потом,
обернувшись всегдашней солью.
Сколько ее из меня выпарили
на повале,
на спецобъектах в степях выжженных.
Но судьба с лихвой возмещала
потерю поваренной —
может, оттого и выжил.

Сны и явь

Ночь. За окном на деревьях галки
умучились от междоусобной войны.
Пожелтевшей страницей Евангелия
лежит на полу свет луны.
Мне снятся картинки детства,
волнующие, как в повторном
прокате.
...Этой ночью в соседнем подъезде
застрелили предпринимателя.

У края

Сам выйдя из ночи,
поднявшись с илистого дна,
я с тревогой говорю дочери:
— Не гуляй допоздна! —
По этапу исколесив Россию
с народом, умеющим и воровать,
и жульничать,
я наставляю сына:
— Не полуночничай по жутким улицам!.. —
Видно, мы дошли до точки,
до последней черты,
если я, пройдя одиночки,
страшусь за окном темноты.

Странная охотка

Недовольный дворник ворчливо разгребает
выпавший под Новый год обильный снег —
такая щедрость для него не фарт.
Я прошу у мужика лопату
и под чей-то смех
начинаю усердно чистить асфальт.
Не меньше уличного трудяги я имею основание
ненавидеть непролазную заметь —
столько этого снежку пришлось побросать
на лежневых дорогах в зоне.
Но, видимо, как зажавшегося иногда тянет
картошка с солью,
так и меня знобкая память.

А этот на воле лопаёт забытую мной тюрю
и доволен своим местом под солнцем.
Какую надо окончить школу —
здесь мало строгого лагеря, —
чтобы среди соблазнов, играющих,
как лучи в призме,
считать чёрный хлеб за великое благо
и радоваться жизни?
Трапезничающий на обочине мужик — существо,
может быть, в высшей степени разумное,
но кажется странным в нашей околесице.
...Шумная трасса изгибается
около леса,
и за деревьями её пульс уже слышится
вроде непрерывного зуммера.

В поле

Прокаленная солнцем пшеница тяжела,
слышно золотое дзиньканье осыпающихся
зерен.
Я стою меж хлебов и отхаркиваю шлак,
накопленный за многие годы в зоне.
С тех пор, как я вышел,
неоглядная ширь влечёт меня
как проклятого.
Здесь каверзной памяти трудно выстроить
вышки,
натянуть колючую проволоку.
...Оползем бегут маслята, грузди —
хоть коси косой.
Среди звенящего раздолья я ощущаю волю
не только глазами, грудью —
душой.

Крушение

Дорога позади, возвращаться поздно —
ругать иль оправдывать пройденный путь?..
...В мокрые травы падают звезды
и разбиваются в мелкую ртуть.

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. Т. ТВАРДОВСКОГО

А. СОЛЖЕНИЦЫН



БОГАТЫРЬ

Когда я досиживал лагерный срок ещё при Сталине — как представлялась мне русская литература будущего, после коммунизма? — светлая, искусная, могучая, и о народных же болях, и обо всём перестраданном с революции! — только и мог я мечтать быть достойным той литературы и вписаться в неё.

И вот — видные российские литераторы хлынули в эмиграцию, освободились наконец от ненавистной цензуры, и тутошнее общество не игнорирует их, но подхватывает многими издательствами, изданиями, с яркими обложками, находками оформления, рекламами, переводами на языки, — ну, сейчас они нам развернут высокую литературу!

Но что это? Даже те, кто (немногие из них) взяли теперь бранить режим извне, из безопасности, даже и те слова не пикнут о *своём* подлаживании и услужении ему — о своих там лживых книгах, пьесах, киносценариях, томах о «Пламенных революционерах», — взамен на блага ССП-Литфонда. А нет раскаяния, так и верный признак, что литература — мелкая.

Нет, эти освобождённые литераторы — одни бросились в непристойности, и даже буквально в мат, и обильный мат, — как шкодливые мальчишки употребляют свою первую свободу на подхват уличных ругательств. (Как сказал эмигрант Авторханов: *там* это писалось на стенах уборных, а *здесь* — в книгах.) Уже по этому можно судить об их художественной беспомощности. Другое, ещё обильнее, — в распахнутый секс. Третьи — в *самовыражение*, модное словечко, высшее оправдание литературной деятельности. Какой ничтожный принцип. «Самовыражение» не предполагает никакого самоограничения ни в обществе, ни перед Богом. И — есть ли ещё что «выражать»? (Замоднело это словечко уже и в СССР.)

А четвёртым знаком ко всему тому — выкрутасный, взбалмошный да порошний авангардизм, интеллектуализм, модернизм, постмодернизм и как их там ещё. Рассчитано на самую привередливую «элиту». (И почему-то отдаются этим элитарным импульсам самые звонкие приверженцы демократии; но уж об искусстве широкодоступном они думают с отвращением. Между тем, сформулировал Густав Курбе ещё в 1855: демократическое искусство это и есть реализм.)

Так вот *это* буйное творчество сдерживала советская цензура? Так — пуста была и трата сил на цензурный каток, коммунисты-то ждали враждебного себе, противоборствующего духа.

И почему же такая требуха не ходила в самиздате? А потому что самиздат строг к художественному качеству, он просто не трудился бы распространять легковесную чепуху.

А — язык? на каком всё это написано языке? Хотя сия литература и назвала сама себя «русскоязычной», но она пишет не на собственно русском языке, а на жаргоне, это смрадно звучит. *Языку*-то русскому они прежде всего и изменили (хотя иные даже клянутся в верности именно — русскому языку).

Из 2-й части книги «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов». В полном объёме этот эпизод, написанный в 1982 году, публикуется впервые.

© А. Солженицын.

Получили свободу слова — да нечего весомого сказать. Развязались от внешних стеснений — а внутренних у них не оказалось. Вместо воскресшей литературы да появилось непотребное пустозвонство. Литераторы — резвятся. (Достойным особняком стоит в эмигрантской литературе конца 70-х Владимир Максимов.) В другом роде упадок, чем под большевицкой крышкой, — но упадок. Какая у них ответственность перед будущей Россией, перед юношеством? Стыдно за такую «свободную» литературу, невозможно её приставить к русской прежней. Не станова, а больная, мертворожденная, она лишена той естественной, как воздух, простоты, без которой не бывает большой литературы.

Да им мало — расходиться по углам, писать, затем свободно печататься, — их потянуло теперь на литературные конференции («праздник русской литературы», как пишет нью-йоркская газета), пошумней поглаголить о себе и смерить свои растущие тени на отблеском фоне традиционной русской литературы, слишком погрязшей в нравственном подвиге, но, увы, с недоразвитым эстетизмом, который как раз в избытке у нынешних. По наследству ли от ССП они считают: чем чаще собираться на пустоголовье литературных конференций, тем больше расцветёт литература? Прошлой весной собирали сходку в Лос-Анджелесе, близ Голливуда, этой весной — в Бостоне. И все их приглашения: что подлинная культура ныне — только в эмиграции, и что «вторая литература» Третьей эмиграции и есть живительная струя. (Второй тупик Пятой линии...) А Синявский и тут не удерживается от политической стойки: опять — о «пугающей опасности русского национализма», верный его конёк много лет, почти специальность; ещё и с лекциями об этой пугающей опасности колесит ведущий эстет по всему миру.

Но вот ужасная мысль: да не модель ли это и будущей «свободной русской литературы» в метрополии?..

И вот только сейчас, при русском литературном безлюдьи, и при этом третьем эмигрантском шабаше, я с возросшим пониманием вижу, как много мы потеряли в Твардовском, как нам не хватает его теперь, какая это была бы сегодня для нас фигура! Когда я был ожесточён борьбой с советским режимом и различал только заборы цензуры, — Твардовский уже тогда видел, что не к одной цензуре сводятся будущие разлагающие опасности для нашей литературы. Твардовский обладал спокойным иммунитетом к «авангардизму», к фальшивой новизне, к духовной порче. Теперь, когда претенциозная эмигрантская литература поскользнула в самолюбование, в капризы, в распущенность, — тем более можно вполне оценить такт Твардовского в ведении «Нового мира», его вкус, чувство ответственности и чувство меры. Уже тогда натягался, а я не понимал, ещё и этот конфликт: противостояние Твардовского наплыву художественной и национальной безответственности. Я только видел, что его окружение — всё правозверные коммунисты; не видел, как он держит плотину от потопления чужестью. (Хотя не абсолютно он в этом успел.) Прорывом «Ивана Денисовича» Твардовский не дал литературной оттепели излиться в ревдемократическом направлении или исключительно о тюремных страданиях образованных горожан. Я так был распалён борьбой с режимом, что терял национальный взгляд и не мог тогда понять, насколько и как далеко Твардовский — и русский, и крестьянский, и враг «модернистских» фокусов, которые тогда ещё и сами береглись так высказывать. Он ощущал правильный дух — вперёд; к тому, что ныне забренчало так громко, он был насторожен ранее меня. Лишь теперь, после многих годов одиночества — вне родины и вне эмиграции, я увидел Твардовского ещё по-новому. Он был — богатырь, из тех немногих, кто перенёс русское национальное сознание через коммунистическую пустыню, — а я не полностью опознал его и собственную же будущую задачу. Мне уже тогда посылался лучший и наидальний союзник — а мне некогда было помочь ему расщепить душу и путь. Нашей большой литературе, встающей на ноги, ещё как бы помогли его крупные руки, его подсадка!

Но его перепутало и смолело жестокое проклятое советское сорокалетие, — охват его литературной жизни, все силы его ушли туда.

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ



ЭТЮД О ТВАРДОВСКОМ

Современному читателю, околдованному половодьем русского модернизма конца XIX — XX века, поэтическое наследие Александра Твардовского сегодня, пожалуй, не очень-то интересно. Пока существовала советская литературная субординация, Твардовский считался классиком. Рухнула субординация — стали забывать поэта Твардовского. Ностальгирующие шестидесятники помнят его «Новый мир»; замечательно яркий и пронзительный образ Твардовского — у Солженицына в «Бодался телёнок с дубом». Но положи руку на сердце: кто сейчас не расстается с лирикой Твардовского, кто подробно читает его поэмы? После всех новаций, метафор и метаморфоз новейшей поэзии — простоватая, прямая, местами нравоучительная поэзия Твардовского кажется архаичной. Сам Твардовский скупо знал и туго понимал самых интересных наших поэтов этого века, вряд ли, кажется, задумывался над тайной — с двойным и тройным дном — лирической речи, о возможностях преображения словесного материала, лобово решая в поэзии смысловые задачи.

Он выше всего ценил поэзию, которая черпает непосредственно из бытия, а не из культуры. Но — в отличие, скажем, от Рубцова — был слишком «по жизни» связан с советской властью, чтобы родник его творчества был первозданным, незамутненным. В сущности, тут драма поэта, слишком тесно сошедшегося с идеологией, ладно внешне, но и внутренне недостаточно дистанцировавшегося от нее. Поэзия дело тонкое, и такие вещи безнаказанно не проходят.

При том, что Твардовский ценил в поэзии более всего жизненность, он мало пекся о собственно эстетическом, недопонимая, что словесности необходим элемент культурного аристократизма.

Все это так. Так же, как правда и то, что Твардовский не всегда умел уловить нужный объем стихотворения. Например, какой сильный зачин в знаменитом «Я убит подо Ржевом...»:

Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете, —

какая отличная фонетическая переключка, как хорошо это «на левом» с усеченным обстоятельством места.

Четвертая строфа еще превосходней:

Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облачком пыли
Ходит рожь на холме, —

очень большая поэзия, и глагол «ходит» как точен, ну а уж «корни слепые», ищущие «корма во тьме», — высокое поэтическое достижение.

Но в целом в этом стихотворении 42 (!) строфы-кирпичика, и читать его к середине, если не раньше, надоедает.

А вот стихотворение «Две строчки», можно сказать, безукоризненно. И какое глубокое, воистину христианское чувство пронизывает его — чувство отождествления себя с жертвой:

Из записной потертой книжки
 Две строчки о бойце-парнишке,
 Что был в сороковом году
 Убит в Финляндии на льду.

Лежало как-то неумело
 По-детски маленькое тело.
 Шинель ко льду мороз прижал,
 Далёко шапка отлетела.

Казалось, мальчик не лежал,
 А все еще бегом бежал,
 Да лед за полу придержал...

Вот когда тема действительно берет за душу, инерционно заполнять страницы однотипными строфами невозможно: как здесь, обязательно собьешься в размере. И эта разладица будет держать читателя за горло — всегда. Стихотворение бьет током энергии, его породившей и в нем же неиссякающей. Последнее восьмистишие этого поразительного стихотворения вообще непонятно как «сделано», ибо оно не сделано, а проговорено как откровение (отсюда и его пронзительное косноязычие):

Среди большой войны жестокой,
 С чего — ума не приложу, —
 Мне жалко той судьбы далекой,
 Как будто мертвый, одинокий,
 Как будто это я лежу,
 Примерзший, маленький, убитый
 На той войне незначимой,
 Забытый, маленький, лежу.

Многое, чему мы научились в поэзии, Твардовскому из-за его творческой психологии было неинтересно (а может, и не под силу) осваивать. Но, читая и перечитывая это выдающееся стихотворение, пожалуй, заметнее, какой мы понесли урон: вымывается из поэзии эта проникновенная прямота, сердечная ясность. Ужимка, ухмылка, гаерство теперь сделались повсеместны; волшебство стихотворной речи превращается в «текст», в какие-то куплеты, а не достойные строфы. Твардовский же в своей поэзии был глубоко серьезен, и как бы ни было нам порой, повторяю, от этого скучновато, он все-таки одергивает нас в нашем игровом шутовстве. Твардовский нес в себе традиционную психологию русского литератора: понимать поэзию как служение и дар как ответственность. Это в нем было главное, несмотря на досадную советскую примесь. Без него спектр русской поэзии XX века все-таки был бы уже; такие поэты нужны, дабы опреснить чрезмерную, приторную порой, барочность. Переизбыток фантазии в одном творческом мире уравнивается нехваткой ее в другом.

Кстати, очевидно, именно поэтическая «простота» Твардовского — после всех изысков новейшей поэзии — привлекла к «Теркину» Ивана Бунина. Он, видимо, увидел тут здоровье, от которого давно отвык в стихах своих издерганных современников и по которому так скучал не только в эмиграции, но еще в России.

Вообще стихи одинаково опасно созидать как на чистой энергетике безответственно распалаемого воображения, так и на расчетливо воплощаемом замысле. Лучшее, как правило, рождается из синтеза того и другого.

Но теперь, кажется, потеряна сама возможность простого человеческого повода для написания стихотворения — без ёрнической задумки или ангажированного пафоса. Твардовский же умел найти и разрешить тему, которая вряд ли бы привлекла иного более заикленного на себе самом стихотворца. Например, был сосновый бор — стал больничный парк, казалось бы, о чем тут писать? А вот Твардовского зацепило:

Как неприятно этим соснам в парке,
 Что здесь расчерчен, в их родных местах.
 Там-сям, вразброс, лесные перестарки,
 Стоят они — ни дома, ни в гостях.

Прогонистые, выросшие в чаще,
 Стоят они, наружу голизной,
 Под зимней стужей и жарой палящей
 Защиты лишены своей лесной.

Как стертые метелки, их верхушки
 Редеют в небе над стволом нагим.
 Иные похилились друг ко дружке,
 И вновь уже не выпрямиться им...

Еще они, былую вспомнив пору,
 Под ветром вдруг застонут, заскрипят,
 Торжественную песнь родного бора
 Затянут вразнобой и невпопад.

И оборвут, постанывая тихо,
 Как пьяные, мыча без голосов...
 Но чуток сон сердечников и психов
 За окнами больничных корпусов.

Отлично. Так сейчас, кажется, никто уже не напишет.

Так же, как никто, очевидно, не станет уже создавать обстоятельных проблемных поэм, не скупясь на описания, строфы, главы, никто не сможет разрабатывать стихотворно человеческие характеры... Мастер в одной строфе может изложить ныне то, на что прежде требовалось бы десять. Поэзия стала емче, но одновременно и герметичней, и ограниченной.

А какие чудесные и вовсе уж не советские строки созданы Твардовским осенью 1968-го; тогда, в ранней молодости, я их прочитал, вздрогнул, запомнил. Ведь та осень вся проходила под знаком Чехословакии; и вот, оказываешься, то изматывавшее меня, еще щенка, чувство растоптанности и тревоги было и у старика Твардовского:

Безветренны, теплы — почти что жарки,
 Один другого краше, дни-подарки
 Звенят чуть слышно золотом листья
 В самой Москве, в окрестностях Москвы
 И где-нибудь, наверно, в пражском парке.

Перед какой безвестною зимой
 Каких еще тревог и потрясений
 Так свеж и ясен этот мир осенний,
 Так сладок каждый вдох и выдох мой?

Этот мотив осеннего прощания-расставания с жизнью есть и в другом превосходном стихотворении поэта:

На дне моей жизни,
 на самом доньшке
 Захочется мне
 посидеть на солнышке,
 На теплом пёнушке.

И чтобы листва
 красовалась палая
 В наклонных лучах
 недалекого вечера.
 И пусть оно так,
 что морока немалая —
 Твой век целиком,
 да об этом уж нечего.

Я думу свою
 без помехи подслушаю,

Черту подведу
 стариковскою палочкой:
 Нет, все-таки нет,
 ничего, что по случаю
 Я здесь побывал
 и отметился галочкой.

Палая листва в «наклонных лучах недалекого вечера» — как хорошо.

Но было у Твардовского, к сожалению, и другое. И не в раннюю пору, а в «лирике последних лет». Например, пафос социалистического строительства, изнасилования природы. Когда такое встречаешь у поэтов — «детей XX съезда», это воспринимается как натуральная дурость. Твардовскому же — крестьянскому сыну — это менее извинительно. И когда он бравурно восхищается Сибирью как «единой площадкой строительной, / Размеченной грубо карьерами рваными» (стихотворение «Дорога дорог»), это ранит: думаешь — если уж Твардовский так, то чего же ждать от других?

Один покойный ныне уже поэт рассказывал мне, что после первой своей публикации в «Новом мире», еще в начале 50-х, они шли с Твардовским по центру Москвы и увидели гигантские портреты вождей. Поэт, потерявший в коллективизацию близких, был, видно, не лыком шит и прошептал Твардовскому на ухо: «Скоро конец этой бодряге!» Твардовский оторопел, перешел вдруг на церковно-славянский: «Изыди, сатано!» И поскорее зашагал прочь.

Свое уже оттепельное стихотворение «Слово о словах» он закончил четко: «Оно не звук окостенелый, / Не просто некий матерьял, — / Нет, слово — это тоже дело, / Как Ленин часто повторял». (Почти «Как Сади некогда сказал», — советские стихотворцы, не сморгнув, работали, в частности, в пушкинской интонации, заполняя ее *своим* содержанием.)

...Вообще при советской власти поэты расплодились в невероятных количествах: достаточно открыть любой ежегодный «День поэзии» тех времен (включавший, впрочем, их ничтожную толику), чтобы убедиться в этом. Рифмованная речь отвечала разом и задачам идеологии, и сентиментальной избалованной душе советского человека. А авторам обеспечивала существование и вписывала в достойную социальную клетку. К тому же с годами режим так либерализовался, что сытно подпитывал уже не только тех, кто утверждал, что времена теперь самые лучшие, но и тех, кто убеждал, что они не самые худшие.

Тогда-то сформировалась странная ситуация (только усугубившаяся сегодня), когда поэт вроде бы есть, а личности нет: за текстом не просматривается значительность стихотворца — ее, что называется, и с лупой не рассмотреть.

Графомания — естественный, очевидный, спутник грамотного человечества на определенном этапе — тогда приносила выгоду. Именно в ту пору появилось бессчетное множество стихов, словно написанных для одноразового употребления — чтения по диагонали. Запоминалось немного; немного было рассчитано на «спектральный анализ» медленного прочтения, на вдумчивое живвание.

Увы, та же беда и ныне: большинство пишет очень неряшливо. А тот, кто думает о «нетленке», пишет претенциозно: словно нудит нас перечитывать его ради разгадывания темнот, а не по велению сердца. Но чаще всего такого рода «шифровки» оставляют с носом: расшифрованное не стоит выеденного яйца.

...Совершенно условно можно представить себе две ветви отечественной поэзии. Одна — реалистическая, описательная, пейзажная, разрабатывающая характеры и весьма прямолинейно заявляющая мировоззрение стихотворца — обличительное или патриотическое, при социализме — социалистическое. Другая ветвь — метафорическая, открывшая звуковые красоты, варьирующая музыку внутри стиха, сюрреалистическая и ассоциативная; наконец, здесь же — как вырождение — всеобъемлющая ирония и цитатность.

В действительности, конечно, все переплетено, но — существует и разделение. Ныне оно не только формального, но и идеологического характера.

По-настоящему русскими в определенных кругах числятся поэты только первого направления. Тогда как «метафористы» считают «реалистов» совками, если не хуже.

На деле же все мы стоим перед одним и тем же вызовом маячащей на пороге эпохи.

Твардовский жил и творил в те баснословные теперь уже времена, когда казалось, что поэзии ничего не грозит, что она будет существовать всегда и читателей в России пруд пруди: дай им и ей волю — и наступит настоящий поэтический ренессанс. Причем так думали и стихотворцы, связанные с советским режимом, и те, кто был почти подпольщиком. Только теперь, при наплыве новейших культурных технологий, отличающихся подспудной неуклонной агрессией, проясняется, что поэзия вещь хрупкая, что она вымывается ими из цивилизационной духовной толщи.

Неужели настоящая поэзия в новом веке окажется потерянной для России? Такую лакуну в духовном и культурном нашем ландшафте уже нечем будет восполнить; такая потеря, естественно, повлечет за собой новый виток деградации языка, а значит, и национального духа — со всеми вытекающими для России последствиями. Как говорится, «потомки нам этого не простят». Тем важнее сейчас поэтам свести с приходом расход, провести вдумчивую ревизию наработанного до них...

В частности, не надо пренебрегать поэтическим наследием Александра Твардовского, всей крупнотой его драматичной личности.



ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

МАРИЭТТА ЧУДАКОВА

*

ЛЮДСКАЯ МОЛВЬ И КОНСКИЙ ТОП

На исходе советского времени

1985

19 января. 14 января с очень большим успехом прошло научное заседание, посвященное 90-летию Ю. Г. Оксмана, организованное секцией документальных памятников [Московского отделения Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры] и Музеем Маяковского — в самом музее. <...> Я — нечто вроде небольшого доклада. Затем — Лира Долотова; я прочла фрагменты воспоминаний К. П. Богаевской и писем к ней Ю. Г.; затем Б. Ф. Егоров, В. В. Пугачев, Н. Я. Эйдельман, и в заключение я прочла несколько писем — и еще несколько слов: «Я хотела бы напомнить ту простую и бесспорную истину, что мы живем в своем отечестве, а не в чужом доме, и память о нашей культуре и сама жизнь нашей культуры — это наше собственное дело».

...Пугачев, уходя:

— М. О., один вопрос — это климат или микроклимат?

— Микроклимат, воздействующий на климат и постепенно меняющий его. — (Мой ответ в основном демагогический, потому что это даже не микроклимат, а уноклимат.)

Эля Павлюченко, уходя (по словам Наташи Зейфман) — «...Тираны мира, трепещите!»

К. М. Ч. (звонил):

— Это историческое событие! Я шел — не думал, что так будет... Я только хотел узнать, что сейчас *можно говорить* об Оксмানে... — (Характерно! Как это он надеялся узнать?..)

28 февраля. В Малом зале ЦДЛ, 18.30 — «Н. М. Карамзин — писатель и историк» (из цикла «Из литературного наследия»).

Председательствует А. Гулыга.

Подчеркивает «контрпропагандистский (!!) характер заседания».

— Вот один западный историк спросил в какой-то библиотеке «Историю...» Карамзина — ему не дали; отсюда он делает вывод, что она у нас под запретом! А ее, наверно, просто не было в этой библиотеке (*смех*). В издательствах лежат 5 заявок на ее издание! Это тоже о чем-то говорит» (*смех*).

А. См-в — темно-бурое, с коротенькой и маленькой, лоскутом, бородкой — страшное лицо. Не доктор филологических наук, а незаконченное среднее — по речи, по «мыслям».

— До нашего времени дожило традиционное мнение, которое мешает издавать «Историю...», — что, мол, Карамзин — *монархист*. Карамзин был мастером художественного слова, он многое мог передать одним словом... (*шумок в зале*)... Пайпс — консультант Рейгана (с фрикативным «г»), он объявляет Карамзина основателем — вместе с Пушкиным — консервативного мышления, которое якобы противостоит декабристам, Радищеву и другим! А даже Добролюбов называл «Историю» великим делом.

Эйдельман:

— Я думаю, контрпропаганда наша не дрогнет, если мы признаемся, что с «Историей государства Российского» у нас в государстве не все обстоит благополучно. И даже если бы она была в библиотеке — это еще вопрос, выдали ли бы ее тому человеку.

Распространилась легенда, что «История...» уже подготовлена к печати в «Литературных памятниках». Эта легенда ни на чем не основана. ...На предложение издать было отвечено:

— «История...» очень интересна, очень увлекательна и может увлечь читателя не туда.

...Карамзин был представителем консервативного направления, и в этом нет ничего страшного. Любопытен вопрос и о сегодняшнем консерватизме. ...Поскольку здесь все свои, то скажем прямо — Карамзин был монархист...

23 марта. ВТО. Л. Шилов: история звукозаписей Булата Окуджавы.

— ...Апрель 1961 — первые записи. Худсовет и фирма «Мелодия» (июнь 1961). Каждую песню голосовали отдельно — обычно принимают *пластинку*. Отклонили «Ах, война, что ты сделала, подлая» — Великая Отечественная война — и «подлая»! Осенью 61-го началась газетная кампания, и пластинка не пошла.

...В 1964 году первая зарубежная пластинка в Англии (выяснилось позже, что «пиратская»); ее привезла Ахматова.

...Тут в подвале «Никитинских субботников» организовали комнату для записи (студия грамзаписи дала старую аппаратуру). Записали пластинку, ее не было в плане («Чего нет в плане, того нельзя вычеркнуть»). ...Горел план — выпустили Окуджаву — 800 экз. В это время — съезд писателей. Разобрали; Окуджаве не досталось; новый тираж — 17 тысяч: как вода в песок. 100 тысяч — невозможно пластинку достать. Наконец до 1 миллиона — и она стала более или менее доступной.

4 апреля. Совет по латышской литературе [при Союзе писателей].

(Горбунов Анатолий Валерьянович — секретарь по идеологии — вместо Андерсона.)

С. Залыгин предоставляет слово Янису Петерсу.

— Я думаю, мы у себя дома и можем говорить совершенно откровенно.

...Самое существенное [в нашей литературе] для всесоюзного читателя остается за кадром. Но у нас, правда, нет и тех поэтов, которые сочиняют *абстрактные подстрочники* для всесоюзного читателя.

...Не слишком ли мы истожили историческую память тем, что не хотим пойти дальше Упита и Лациса?..

...Драматизм прибалт<ийских> республ<ик> перед Второй мировой войной несравним ни с Польшей, ни с Белоруссией — мог бы позавидовать Шекспир.

Быт партизан в Латвии был не то что в Белоруссии — здесь далеко не каждая хата помогала. Здесь нацистам помогали — не будем скрывать: ошибки и передержки первого года советской власти...

...Что такое литературный герой-коммунист? Никогда не забывавший о культуре своего народа — и пострадавший от культа личности и отчасти от эпохи волонтаризма... Мы не должны скрывать сложностей, драматизма. Душа народа отчуждается от Риги. С одной стороны, Рига способна создать лекарства для всех и т. д. С другой стороны, это город, в котором стремительно растет потребление алкоголя. ...Смерть от алкоголизма — в 4 раза больше, чем в 50-е годы. 2 тысячи ежегодно умирает от алкоголя. Самый высокий уровень смертности и низкая рождаемость — не только в стране, но и в мире. Аномалии детей — больше, чем в любой республике.

Во Второй мировой войне — корни сегодняшнего латыша. У нас это была уже война ради войны — потому что все говорили, что они правы. Шведы

выдали беглецов советскому правительству — многие из них живы. Политики о них говорят, литература молчит.

А. Бочаров. ...В «Советском писателе» при переводе снималось «Ему не хватило ровно на четвертинку»; «слабость к бутылке» заменяли на «слабая память», «если накануне *перебрал*» — «если накануне чрезмерно устал», вычеркивали — «у *бедного* колхоза», «*тощие* колхозные травы».

Конец 80-х

С ужасом слушала в субботней программе «Время» восторженные интонации Нинели Шаховой — сотрудники Музея Толстого *счастливы*, что к ним поступил из КГБ подлинник письма Толстого... Цветет улыбка, обращенная к следователю. Как ему посчастливилось обнаружить этот бесценный документ?.. И следователь КГБ с трудом сдерживает довольную улыбку.

А адресат-то?! Никому не ведомый Почуев-то? Хоть обмолвитесь — что с ним-то, несчастным, вы сделали?..

1991

21 июля. В Национальной галерее в Лондоне.

...«*Мастер святой Вероники*» — вот и все, что осталось от имени человека, создавшего в 1420 году эту картину.

Изумительных красок триптих «Распятие Христа» — лица Космы и Дамиана, и девочка Богородица — и имя также утеряно в дебрях XV века.

Булгаков видел, что имя его исчезает — *уже при его жизни*. Его уже никто не знал! И он был *готов* в романе к безымянности — недаром мастер безымянен. А «в быту» — хотел, чтоб знали.

...Все двинулось в России, и двинулись люди из России — двинулись, как во все века шли искать себе лучшей доли. Может ли человек искать ее? Может ли он желать улучшить качество своей жизни — как ни говори, единственной? Своей и особенно своих детей?

Аргументы экологические и медицинские — бесспорны. Вообще с той чашей весов, что качается в пользу отъезда, как говорится, все в порядке. Вот с другой чашей — гораздо хуже. Она взлетает будто бы пустая. Никто не думает о том, что на ней лежит и лежит ли что-либо, о том, готовы ли люди, защитив здоровье детей, принять тот факт, что это будут люди другой, чем они, культуры, другой национальности... *Нет проблемы*.

22 июля. В поезде Оксфорд — Лондон.

...Еду вдоль полей. Уже созрело и позолотело что-то, пока я езжу по Европе...

Сэр Исая Берлин.

Встречал на пороге своего дома в Оксфорде. В сером костюме, в сером галстуке, не старый совсем. Провел в небольшую гостиную.

— ...Когда-то славистикой здесь заведовал Коновалов — сын министра Временного правительства. Тогда детям известных эмигрантов помогали — так сын Набокова получал помощь. Этот Коновалов вообще ничем не был известен. Но когда я попробовал перетащить к нам Якобсона — он стал препятствовать. Конечно! Якобсон превратил бы его в пыль! А Якобсон тоже был очень самолюбивый. Не любил соперников.

— Ну, кто же мог быть ему соперником! Наверно, таких и не было.

— Ну да, конечно.

Об Б. Унбегауне:

— Унбегаун прошел весь путь — и в Белой армии был, и эмигрировал. И вот мы встретились...

Он мне рассказывал про смерть Эйхенбаума... что Эйхенбаум сделал доклад, пошел на свое место, сел и умер. Он говорил: «Формалисты много думали над структурой, над началом и концом — вот и Эйхенбаум сделал хороший конец...» (Улыбается.)

Я несколько раз виделся с Эйнштейном. Один раз в 1946 году, в США. «Хотите пойти к Эйнштейну? Он у нас в Принстоне».

Прихожу. Он сидит с босыми ногами, но туфли под столом — на всякий случай, наготове.

Спросил обо мне; я сказал, что я посол Британии в США, что был недавно в России.

— И как — народ поддерживает правительство?

— Нет, там об этом как-то вопрос не стоит — о поддержке. Правительство не от этого зависит.

— Но ведь там социализм?

— Может быть, но не совсем обычный. О демократии там, во всяком случае, и речи не может быть.

Ему это не понравилось. Он принял меня, видимо, за какого-то американского полковника. А Америку он тогда очень не любил — за бомбу, за которую считал себя ответственным.

Он сказал:

— Да, это плохо, когда правительство не имеет полной поддержки народа. На этом я откланялся.

— В ноябре 1945 года я был в Москве.

— У вас не было чувства, что вот — надежды не оправдались?

Но он даже не мог понять, о чем речь, — у него во время войны не было надежды, которую я имела в виду.

— Но ведь мы были союзниками?

— Да, знаете, но это было особое союзничество. Полного доверия не было.

— Вам все было ясно в 1945 году, что происходит у нас?

— Совершенно ясно. Я думал, что вот если бы произошла такая фантастическая история... Я родился в Риге, я был подданным Николая II и должен был стать советским, — и вот если вдруг у меня нет английского паспорта, а вместо него — советский. Только — пуля в висок, так я это ощущал; это — единственный выход.

В том году в Москве я ехал в метро, и со мной заговорил военный — полковник или майор:

— Вы русский?

— Нет.

— А, украинец?

— Нет, я из Англии.

— А, из Англии...

В разговоре я сказал ему, что мы сейчас ищем профессора русской литературы (тогда еще Коновалов у нас не появился).

Он сказал:

— А вот в ваших лагерях для перемещенных лиц много образованных русских — вы и поищите среди них себе профессора!

— Но ведь ваше правительство требует их возвращения!

(Не запомнились с точностью воспроизведенные И. Берлином слова военного в ответ — что-то о желании самих лиц и о том, что здесь им будет очень трудно, — опасно прямые слова.)

И на следующей же остановке он вышел.

— Да, — сказала я не удержавшись (помня одну из самых позорных страниц британской истории — насильственную выдачу русских после победы нашим палачам), — это очень драматический эпизод. Он как бутылку в море бросал — пытался спасти соотечественников, давая им понять, что их ждет.

— Я написал записку своему правительству на эту тему, — сказал Берлин. Говорим о поэтах и Сталине.

— Пастернак явно имел личное отношение к Сталину, явно... Когда я сказал: «Вот как хорошо, что вы живы, уцелели», он так и взвился: «Я не работал на них!..»

— У Ахматовой ведь было иначе? Хочу проверить на вас одно свое предположение. У нее ведь не было к Сталину *личного* отношения? Только у нее — в отличие от Пастернака, Мандельштама, Булгакова...

— Нет, абсолютно... Когда я говорил что-то «смелое», она показывала пальцем на потолок — «начальство». Для нее это было *начальство* — и только.

— Если так — ведь это ее царскосельское прошлое мешало ей отнестись к Сталину персонально! Он был для нее слишком вульгарен. А их, мужчин, это не смущало.

— Ну да, — говорит Берлин, — она была дворянка, а они евреи — Пастернак, Мандельштам. Впрочем, Булгаков — нет, но и не дворянин.

— Да, он был все же киевлянин, провинциал.

(И подчеркивал свою старорежимную воспитанность — компенсировал провинцию и пóзднее — по отцу, получившему перед смертью статского советника, — дворянство.

Действительно — их волновала *сила*, а ее — вовсе нет. Она в мужчинах этого рода силу вовсе и не ценила, видимо, и вообще — зачем ей это было? Она не была экзальтированной, психопаткой, кликушей...

Да, *они* согласны были зависеть от *силы*, от своего сюзерена — и видеть в этом нечто уходящее в средневековье. Ей с этим делать было нечего.)

Как она рассказывала Берлину (видимо, уже во вторую их встречу, спустя двадцать лет) о том, что говорил тогда Сталин о ней: «Нет, нет, я этого повторить не могу — очень грубо». И наконец с трудом повторила:

— У нее там иностранные посланники ползают в ногах.

24 июля, парижское метро.

Вспоминаю двух юных гомиков в поезде Кале — Париж. С выбритыми головами и только на темени торчащими вверх, а затем кудрями ниспадающими рыжими волосами.

В черных трико, у одного более или менее спортивно выглядящих — более или менее! очень приблизительно! — зато у другого тоненькие ножки торчат из-под какой-то парчовой хламиды — туники, что ли, — в ботинках, выглядящих трогательно, как на ножках юной девушки.

И столько написано на лице со свежевыбритым подбородком и женственно-страдальческим выражением глаз и губ. Столько пережито, видно, в борьбе — пусть и краткой по здешним условиям! — со своей женственностью, во время самоотжествления, теперь уже завершившегося.

7 августа. 3 августа прилетела в Москву [после трехмесячного отсутствия].

Первые московские впечатления. Метро: странные женщины с мечтательными улыбками на лицах. У одной — русо-седые волосы на прямой пробор и короткие косички. У другой — гладко назад. У обеих гладкие, ухоженные, с легкой, но точной косметикой лица. Красивые, длинные платья. То ли актрисы, то ли новый тип «русской жены», хозяйки русского дома.

8 августа. У квартиры № 50.

Висит за проводом высохший букет. Над дверью — «15.5.91. 100 лет Мас-теру. УШАЦЬ помнит тебя». [УШАЦ — это реликт совсем особой истории, рассказанной мне давным-давно старшим братом, берущей свое начало с первых послевоенных лет в Архитектурном институте и быстро приобретшей характер эпидемии. Это была фамилия студента, которую сокурсники написали однажды — ради розыгрыша — на всех столах, — чтобы он не различил заня-

того им для ночной работы над дипломным проектом. Потом это имя стали писать на стенах института — уже в протестном значении, в пику нелюбимому замдиректора. Появились стихи:

На стенах нашего МАИ
Мы «УШАЦ» пишем ежечасно
Лишь потому, что в наши дни
«Дурак Блохин» писать опасно.

А потом это имя стало появляться повсюду — вплоть до Владивостока и пиков труднейших альпинистских маршрутов.]

На стене:

«Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать».

«Все в наших руках: бес паники».

«Покайся, Иваныч, тебе скидка выйдет!»

«Наполни небо добротой!»

На двери: «Далась им эта бронированная», «Остановите землю, я выйду».

9 августа. Еще о встрече с Берлином:

— Мои родители, я помню, считали, что Троцкий — негодяй, а Ленин — фанатик, но честный, искренний. Такая была разница.

Конец советского времени

19 августа. Объявлено чрезвычайное положение. (Позвонила в 7.20 Т. В. Громова). [Добавлю — разбудила она меня следующими замечательными словами: «Ну, что вы теперь скажете, М. О.?!»]

«Эхо Москвы». В перерывах между чтением обращения Янаева и др. — песенка:

... — Займите, сударь, место на костре!..
...А э-ти трое,
 как ни старались,
Но не вошли в историю, хоть плачь,
Навеки бе-
 зы-мянными остались
Доносчик, инквизитор и палач!..

21 августа. В 7.30 вернулась с ночного патрулирования российского парламента.

Накануне в 23.10 вышла из метро «Баррикадная» — в 10 — 15 минутах от «Белого дома». Уже были сотни тысяч — под проливным дождем.

24 августа. Алик Р-т 20 августа [встретила, когда расходились с митинга]: «Понимаете, раньше у меня был страх, причем не смерти, а пыток. За последние два-три года у меня исчез всякий страх».

Сегодняшняя панихида на площади. Нельзя поверить, что я это вижу! Под стенами Кремля раввин читает по-древнееврейски молитву по еврею, погибшему за свободу России!

...Этот народ — те, кто чувствует себя его частью... Где границы России и других народов? ...Воевавший в Афганистане, пришедший на чужую территорию по воле мерзавцев, которым не дороги ни свои, ни чужие страны, нашел свою смерть на поле брани России — под танками своих.

[В толпе на Манежной площади и во время траурного шествия.]

Все в голос — что Горбачев ничего не понял.

— Почему он на дачу поехал? Люди ждали его слова. — (Действительно — как истый номенклатурщик милостиво пошутил: «Потерпите!») [Так получилось, что любовь к жене, жалость к ней, перенесшей в Форосе удар, погубила в тот день политическое будущее того, кто первым повел Россию к свободе.]

...Девочка и мальчик из Тулы:

— Как быть, чтобы они архивы не уничтожили?

4 сентября. Вчера — таксист: «Я, знаете, о чем еще переживал в тот день? Вот, думаю, сколько умных людей уже уехало, теперь и последние как-нибудь выберутся — не будут же они жить вот так или в наручниках! И мы останемся совсем уж с дураками — и тогда, конечно, уже наша страна не поднимется».

Начало последнего заседания [Верховный Совет СССР]. Горбачев, по-прежнему председательствующий: «Я должен с вами посоветоваться». Смех в зале, причем несколько секунд не утихающий. Он слегка покраснел. (Не помнит о пародистах!)

4 октября. Позавчера, едучи из института, почувствовала вдруг, что на такси ехать неохота (!), и пошла в метро. И далее это смутное ощущение проявилось — да, исчезла тяжесть — иные, просветленные, спокойные, хоть и усталые, но какой-то иной, не свинцовой усталостью лица. Да — мне *легко* стало ехать среди них!

В такси я спасалась иногда именно от утомления созерцания *тех* ужасных лиц.

20 октября. Из «Мертвых душ»: эх, русский народец! Не любит умирать своей смертью!

— Я решил, Вася, проездиться вместе с Павлом Ивановичем по Святой Руси. Авань-либо это размычет хандру мою.

21 октября. Социопсихологи и политологи расплетут со временем это мрачное действо на составляющие — сколько было здесь темного и злобного желания вытеснить за ворота страны быстроумных и предприимчивых конкурентов, облегчая себе (облегчая ли?..) вхождение в новое конкурентное время, сколько — неосознанного желания людей незлых остаться с более удобными для жизни соплеменниками («Почему я должна в своей стране все время участвовать в гонке, где меня все равно обставят гораздо более сообразительные по своей природе?» — наивно, незлобно и короткомысленно сказала мне молодая еще русская женщина) и сколько — совершенно искреннего, тысячелетиями укрепленного, впитанного всей плотью в страшном опыте истекающего века нерассуждающего, слепящего страха тех, кто решался в конце концов на отъезд.

— Скажите — ехать ли мне за детьми на дачу? — Зачем? — Боюсь, что начнутся погромы, а наш сосед давно грозил: «Вот погодите! Недолго вам осталось жить!»

Был и расчет.

Но главное — это привычка к тревоге.

«Здесь жить нельзя!» — это не то что «Так жить нельзя!».

25 октября. Вчера — из аэропорта в Мурманск, потом по городу. Белесые, припорошенные до кончиков ветвей леса. Их еще рубят — на экспорт, тогда как совсем бы уже не должны рубить.

«Алеша» — огромный памятник, печальный солдат в каске, смотрит вдаль, щекой к долине Смерти, где гибли осенью 1941 года тысячами...

— Пока доходили до позиции, — рассказывает шофер, Михаил Егорович Семенов, — половина уже не годилась для боевых действий, обмораживались — большинство было в летнем обмундировании, а уже холода шли. Ох и погибло же здесь народу! Массой взяли. В некоторых местах удержали немцев на границе — дальше не пустили.

Суровое полярное солнышко стоит над горизонтом.

В порту — изящный черно-белый теплоход «Алла Тарасова».

Черная, как масляная, северная вода. И тяжело же было в ней тонуть в войну.

Михаил Егорович, как оказалось, — 18 лет в лагерях.

— Я люблю Мурманск. Я его помню деревянным, который весь немцы сожгли; помню, как восстанавливали, застраивали. — (Ухитрился сохранить умение испытывать удовлетворение, нечто даже вроде гордости и радости.) — ...Мой отец был в РКИ; его в 1929 году арестовали — вроде он был против коллективизации — и сослали сюда. Мать наша умерла, он женился на женщине на 18 лет его моложе — она вместе с моей сестрой на танцплощадку бегала. В 1937 году его взяли — и все. Мы два письма получили. Его, видимо, в сорок первом году расстреляли.

В 1941-м нас, мальчишек, на причале морские офицеры спросили:

— У кого семилетнее образование — два шага вперед, кто языки знает — три шага вперед.

А я знал финский, татарский. И нас стали готовить для особого назначения — офицеры разведки. А потом, за месяц до окончания, — комиссовали: докопались до отца.

Потом все же был на войне, контузили... Попал в лагерь. Там одному человеку я жизнью обязан. Мы были с ним в побеге. Нас взяли, спросили — кто Якушев? Он повернулся — я! И его тут же пристрелили. Я его тело в лагерь волок. И взял его имя.

3 ноября, воскресенье. 9 вечера с лишним. Еду из «Эха Москвы», выступив в прямом эфире.

На Кремлевском дворце за Кремлевской стеной — неизвестно какого цвета флаг. Я помню его приспущенным в марте 1953 года.

В подземном переходе — в полшубке с высоким воротником, прикрывающим горло, сероглазый мужик поет русские романсы.

Детям:

— Не надо, ребята, не кладите мне денег — мне бизнесмены помогут, а вы оставьте себе на мороженое, и так государство вас обирает.

Поет Фета — «На заре ты ее не буди».

Дальше в переходе женщина с плакатом — что она жертва МВД, КГБ и всех других. Здоровая, толстая, неприятная баба. Большинство проходящих бросает ей.

Тут же рядом тем же почерком плакат: «Мы первыми пришли защищать „Белый дом“... Мама и сестра заболели и умерли...»

Юная девушка стесняется, отходит в сторону. Мать упорно стоит.

В метро — несмотря на поздний вечер, читают книги, газеты.

Пьяных нет.

Совершенно не похоже на прежние воскресные вечера.

6 ноября, среда; в метро — 7 с лишним вечера.

Что-то легкое, оживленное в переходе с «Кировской» на «Тургеневскую». Квартет играет негромко «Подмосковные вечера» (которые не терплю). Полно мальчишек — продают газеты. Один, с лицом дебила, лет шестнадцати, продающий одну из «рабочих газет», убеждал меня, что «все продались», а в этой газете пишут правду, что квартиры продадут, а деньги «они» положат в карман.

...В «Курантах» описано, как один в метро прыгнул на рельсы — вслед за упавшей сумкой с продуктами [теперь уже мало кто помнит, как трудно было до гайдарино-ельцинских реформ раздобыть полную сумку продуктов...] и погиб.

1993

17 апреля. Уезжаю на машине в Мариинск.

Семь с лишним вечера. Прощай, краснокирпичное, розово-желтое (водитель: «Это в последние годы сами раскрашивают» — по этажам), скучно-блочное и девятиэтажно-башенно-пепельное Кемерово.

Садящееся солнце сзади. Едем на восток и поворачиваем к Тóми.
Кусок черноземного поля. Плакат объявляет — «Рудничный район».

Близятся неторопливые резкоконтинентальные сумерки.

Пошли худосочные березы, лягушачьего цвета осины. Поселок имени Михаила Волкова. (Водитель Миша: «Ну — Волков! Ну — кто уголь нашел!»)

И вдруг — наряднейшие беловетвье березы.

...Высокий косогор с елками сползает. Обваливается на дорогу. Ручейки прорезают глинистый карьер — это с далеких гор бежит вода. «50 — 70 лет назад тут вообще болото было».

Деревня Глухаринка — в низинке, и никто в ней не живет.

Вот и поселок «Красный яр». Сколько их по Сибири?

Поселок Чебула́.

Снег по перелескам. (А вокруг Кемерова — все стояло.)

Вдруг в свете фар — бабочка! И водитель говорит — уже неделю летает.

Мариинск. [В сидячем ночном поезде — в Красноярск.]

24 апреля. Новосибирск, накануне референдума.

[Проехала на машине 250 км — до Оби: проверяла готовность участков для голосования.]

Строитель на дороге — в строительном шлеме-буденовке. Остановили на дороге, вручили удостоверение.

— А сам *как* ты будешь голосовать, если доверяешь Ельцину?

Долго думал напряжившись, вперив взор в агитку-бюллетень, где уже все отмечено.

Еле-еле выговорил:

— Эта... «нет» зачеркну...

А молодой, не пьяный.

Старый Порóс — деревня.

Белыми ляпками нарисованные в холодном воздухе березы.

Ищем столовую. Суббота — середина дня. За всю дорогу одну столовую встретили — и та закрыта.

Все видевший дробный мужичонка Григорий Ефимович, твердо вцепившись в руль, на большой скорости ведет машину — под наши жаркие разговоры о Ельцине — Съезде.

Село вдоль Оби. Изба с заколоченными досками окнами. Табличка: «Здесь *жил* ветеран войны».

Ни звука, ни души в селе.

Только вдруг пропел петух. И где-то далеко откликнулся другой.

Заброшенные, захламленные дворы.

Распутица. Чудом не сваливается вниз, в глубокую часть дороги, наш экипаж.

25 апреля. Новосибирск.

[Голосование на большом участке в Институте водного транспорта.]

Старая женщина с одним зубом, заплакав, сказала:

— Трудно жить... Но мы к нему привыкли.

Другая, положив бюллетени, перекрестила урну.

Одна пожилая пара на мое «спасибо, что пришли»:

— Ну как же было не прийти?

И, засмеявшись:

— Мы вообще против советской власти.

Еще один. На мое «спасибо»:

— Не ошибётесь.

— Самое важное, что пришли.

— Считаете, что дураки, что ли?

[По виду — форменная фабричная девчонка; на бегу — видно, в обеденный перерыв — прямо на урне черкала бюллетени, приговаривая:]

— Шас я Хасбулатова этого вычеркну! Этот Совет Верховный!

...«Президент Российской Федерации» она поняла как должность Хасбулатова.

— Депутаты? Да я совсем не хочу, чтоб они были! Видеть их не могу!.. *Со своим-то [Ельциным] мы разберемся! А эти нам не нужны!*

1994

26 июня. В поезде Венеция — Милан.

...Теперь, когда мы вступили (или еще пробуем ногой?) в мировую историю капитализма, — мы коснулись и его *бренности*. Стало труднее за границей: все дышит этой бренностью.

За последние месяцы стало вдруг вспухать сознание, что мы что-то теряем.

Только сейчас поняла, что сидящие напротив крупные, с крупными шеями, ляжками, коленями молодожены — это и есть те итальянцы, которых писал Тициан. Это именно особая порода людей, в основном исчезающая.

Настоящая матрона — выразительная лепка губ, подбородка; разлет бровей; прямой (и некрупный) нос, темные крупные кольца волос.

При крупности плеч, рук — красивая маленькая кисть. Молодая — но подбородок слегка подплывает.

У парня — тоже совсем молодого — такой же точно крупной лепки (как на мраморных головах!) губы, выпуклые круглые сильные икры (он в шортах) — как у предков его, широко шагающих на картинах в чулках и туфлях, в широких своих камзолах: сильные кисти — и вены, перетягивающие руки и ноги.

1996

Конец июня. Самара.

Учителя еще помнят, как выезжали летом с детьми собирать редиску.

— Наберут дети мешок, а его забирают и рассыпают на соседнем поле, для следующей группы. Сначала делали это прямо на наших глазах. Но я стала протестовать: «Вы хоть на глазах детей-то это не делайте! Хоть отъехать нам дайте!»

— А что — такой урожай, что ли, большой был, что девать некуда?

— Да нет — обычная неорганизованность. Просто не готовили для нас заранее фронт работ, а надо было чем-то занять школьников, раз приехали.

Не где-нибудь, а в бассейне Аэрокосмического университета в коридорчике возле сауны и душа надпись, в синтаксисе которой за попыткой мужской твердости просвечивает женская беспомощность: «Выгираться в душе, голыми не выходить, здесь работают женщины. Нецензурными словами не выражаться».

Спустя час езды от Самары на северо-восток дорога начинает нырять и взмывать. Мягкие холмы и всхолмия начинают накатывать на равнину, но еще не понимаешь, что это.

Длинные гривки леса на холмах — снегозадержание, чтоб не выдувался сильными здешними ветрами снег полей.

Какие дали развернулись вдруг за поворотом на Клявлино! Какие бескрайние нежно зеленеющие луга у горизонта! Справа от дороги солнце заливало эту ярко зелень. Слева умрачно, все придвинуто близко. Время от времени выделялся из огромного пространства будто рамкой очерченный классический тургеневский пейзаж.

Холмы, луга, кудрявые дубравы. И, проехав слева поворот на Новые Со-сны, а справа — на Новый Маклауш, мы въехали в Клявлино и стали озирать-ся в поисках дома под трехцветным флажком.

— Я теленка посмотрю и покажу, — пообещал встречный мужичок, едва ли не веревкой подпоясанный.

Теленок жил своей телячьей жизнью, и, ловко уютившись на заднем сиденье «Волги», худо одетый мужичонка с ходу, без пересадки, по обычаю стал ругать Ельцина и все что ни есть нынче в России:

— Я водитель первого класса! У меня сорок пять лет стажа! Я на шестьде-сят рублей четверых детей кормил!

— Да ты бы, дядя, за сорок-то пять лет при другой власти уже какой бы дом имел! Не так бы ходил, как ходишь! И ругаться на нынешнюю власть не пришлось бы!

Но его, как всякого русского человека, уже было не остановить. Жажда выговориться преследует нас сильнее любой другой. Как ни пытались мы свернуть мысли мужичонки в сторону местонахождения здешней администра-ции, он искал лишь новые обозначения для смутно томившей его неудачи собственной жизни:

— Все распродали! Вывезли! Разворовали!..

В этот миг он не помнил, конечно, о том, как сам всю свою полусозна-тельную жизнь подворовывал по малости, потому что без этого ни в коем слу-чае не мог бы на 60 рублей поднимать своих четверых детей, как его первый водительский класс очень мало что давал ему реально в сравнении с неумехой и аварийщиком Колькой, да и многое-многое другое не в силах был он вспо-мнить, увязая постепенно в своих выкриках, забираемый все больше вчераш-ним хмелем и вступив уже в жаркий разговор с односельчанкой, позабывши напрочь и о нас, грешных. Но мы уже сами заметили вдали заветный флажок, и через пять минут я вошла в пустые, прохладные, со свежeweымытыми полами коридоры чего-то бывшего властно-советского, а теперь — районной админи-страции и заговорила с черноглазой и круглолицей уборщицей Варей.

Варя посадила меня в пустом кабинете главы и, разыскивая нужные теле-фоны, попутно объясняла бойко азы современной политграмоты:

— Вот я им и говорю — чего вам Зюганов даст? Щас хоть все-таки — и купить все можно, и подзаработать.

Бодрый и распорядительный Иван Николаевич Соловьев появился, как и обещал, через 8 минут. А вслед за ним с привычной энергией и громким голо-сом ведущей большие собрания появилась и Галина Николаевна Фазилова, за-нимающаяся образованием (теперь уже слово «народное» исчезло) Клявлин-ского района.

Мы выбрали для встречи Старый Маклауш и вновь помчались по дороге. Рыжие холмы и белеющее вдали село. Синеющие щетки дубрав. Выше взды-мались красноглинистые холмы, становились все круче и отвеснее, прореза-лись все глубже оврагами.

— Что это за кручи? — спросила я.

— Отрожья Урала, — гордо ответила Фазилова.

Как пастернаковская героиня, я не узнала, оказывается, Урала.

— Там, в тридцати километрах, Татарья.

Тут стало мне ясно, что я подъехала под самый Урал, — он начинался че-рез двести километров.

И снова встала задача — как подъехать к школе. Видно было по суровому лицу Сергея, что редко щеголеватой «Волге» из штаба поддержки президента приходилось пачкать свои колеса в топи блат приуральских сел. На откосе, будто раздумывая — сверзиться вниз или постоять чуток, застыла маклаушская средняя школа.

...Все было иначе, чем в соседнем районе, где Фазилова раздобыла компь-ютеры для 4-х школ из 9-ти, а в ее методическом кабинете имелись все совре-

менные пособия и видеомангитофон с нужными учителям материалами. Здешний район образовывал кто-то совсем другой. Нет ничего. Нет тетрадей — на них нет денег. Тетрадь стоит тысячу рублей. Некоторые ученики пишут на оборотах иллюстраций в книжках с картинками. Конечно же нет красок, нет цветной бумаги для рисования.

Завелась беседа с собравшимися учителями.

— Вот в девяти километрах нефтепровод «Дружба». Там мои ученики — бывшие троечники — ездят на «Жигулях», получают 3 — 4 миллиона в месяц. У них техничка получает 620 тысяч. А у нас учительница в начальных классах — 420. Это — справедливо?

Поникнув главой, не проронив за время разговора ни слова, смотрела в пол средних лет учительница с одухотворенным, интеллигентным и бесконечно печальным лицом.

А учитель рисования, замечательный, как все говорили, художник-график Иван Иванович Грачев, сказал, провожая меня, с трогательной какой-то, смущенной улыбкой:

— Вы там... скажите президенту... что мы — ничего!..

И слезы выступили у него на глаза.

Р. С. С концом советской эпохи и прошедшего в России под ее знаком столетия то, что писалось для себя, потеряло интимность, стало документом. Показалось, что пора уже напомнить кое-что из ушедшего. То, что напечатано, — не дневник (только несколько отрывков перенесены из него — для хронологической связности). Это именно то, что обозначено в подзаголовке, — беглые записи (малая, конечно, и без особого разбора выбранная их часть), делавшиеся часто в пути (только заметки, сделанные во время поездки к Уралу, привела в связную форму, уже вернувшись домой); вешки и метки. Видно, между прочим, как послесоветское время вымывало созерцание — замещало его действиями. Я не считала возможным — и нужным — сегодня что-то переписывать. (Все позднейшие замечания — в квадратных скобках.)



О П Ы Т Ы

АНДРЕЙ СЕРЕГИН



ПРЕДИСЛОВИЕ К БУДУЩЕМУ

Заметки на полях двадцатого века

Монолог созерцателя

«**И** ossoyeur, il est beau de contempler les ruines des cités; mais il est plus beau de contempler les ruines des humains!» Городские руины — прекрасное зрелище, но человеческие руины — еще прекраснее. Даже если вы умудрились сохранить непробиваемо здоровую психику и зрелища такого рода вызывают у вас лишь отвращение, пора начинать переучиваться, менять вкусы, шагать, как говорится, в ногу со временем. Ибо поводов для столь специфических удовольствий со временем будет предоставляться все больше и больше. «Руины»... Печальное, сладострастное мурлыканье этого слова есть не только отголосок отшумевших полвека назад катастроф, о которых большинство старательно заучивало: «Это не должно повториться никогда», — как-то забыв уточнить, почему не должно и есть ли вообще в этом мире хоть какие-то реальные предпосылки, чтобы «это» не повторилось. Нет, речь идет вовсе не о прошлом. Уже и сейчас, бывает, посмотришь с холодным вниманием вокруг: на первый взгляд вроде бы и люди, а приглядишься — руины. По крайней мере, нет в них ничего, что помешало бы неуклонно и незаметно надвигающемуся разрушению. А уж что касается будущего, тут для созерцателя открываются самые что ни на есть радужные перспективы. Признаюсь как на духу — ибо у автора этих маргиналий, несмотря на его эфемерность, неуловимость и хроническую тягу окончательно и бесследно раствориться в предгрозовой атмосфере, тоже в свое время были детство, отрочество и юность и впечатления от них, окрашенные подобающей человеческой сентиментальностью, — так вот, признаюсь как на духу: больше всего меня потрясло в свое время не очень внимательно прочитанное мною сочинение, называвшееся, если мне память не изменяет, Новый Завет. Если кто не знает, это добрая-предобрая книжка — детям можно на ночь читать как сказку, — где объясняется, что людей нужно любить, и говорится еще много очень правильных вещей, на которых мир стоит и с которыми не поспоришь, не осрамившись. Так вот, особенно мне запомнилась финальная часть под названием Откровение Иоанна Богослова. Прочитав ее, я понял одно: я хочу это увидеть. Прошу понять меня правильно, я не сказал: «Хочу принять в этом участие». Последнее все-таки страшновато как-то. Чисто по-человечески. Но инстинкт созерцателя работает независимо от его же человеческих опасений. Более великолепного зрелища, чем обещанное всем нам в этой книге, не могу себе представить.

Эти маргиналии пишутся на полях двадцатого века, а поля эти стремительно сокращаются, места остается все меньше и меньше. К тому же бумага осно-

Серегин Андрей Владимирович родился в Москве в 1975 году. Окончил классическое отделение МГУ. Аспирант МГУ, тема диссертации: «Космологическая терминология Оригена и гипотеза множественности миров». Сфера научных интересов — доникейское христианство и эллинистическая философия. Печатался в журналах «Знание — сила» и «Новое литературное обозрение», в «Новом мире» публикуется впервые.

вательно пожелтела за сто лет, она крошится и рвется под скрипящим пером, а кое-где проступают полузатертые кровавые отпечатки чьих-то незнакомых пальцев. Но если я завожу здесь речь о великолепии Апокалипсиса, то вовсе не для того, чтобы отдать дань пресловутым апокалиптическим настроениям, якобы возобновляющимся с угрюмой регулярностью в конце каждого сколь-нибудь значительного исторического отрезка. Не стоит, господа, принимать собственный ужас перед повышением цен с начала следующего квартала за апокалиптические настроения. Справьтесь у Иоанна Богослова — он не то имел в виду. Не страшит меня ни экологическая, ни техногенная катастрофа; не просыпаюсь я по ночам в холодном поту от пригрезившегося мне ядерного гриба. Более того, даже предсказания Нострадамуса не производят на меня ровным счетом никакого впечатления. Признаться честно, я толком и не знаю, кто это такой — Нострадамус. Постструктуралист? Постмодернист? Это он пишет под псевдонимом «Деррида»? Как бы то ни было, все это мнимые пугала. В лучшем случае — всего лишь последствия причин совсем иного порядка. Каковы же причины? Вот в этот вопрос и углубимся, пока еще остается место на пожелтевших полях, пока еще не распахнута новая тетрадь, пугающая своей свежей белизной. Предварительно же и в общих чертах в качестве ответа могут сгодиться слова, сказанные Заратустре в самый тихий час не кем-нибудь, а самой тишиной: «Самые тихие слова — те, что приносят бурю. Мысли, ступающие голубиными шагами, управляют миром». Разве нужно бояться чего-то внешнего, что грянет неизвестно откуда и неизвестно почему? Самой большой опасностью человека до сих пор остается он сам. И то, что он может сделать с собой в тиши своих мыслей. Какие только метаморфозы и мутации не таятся здесь. Если кто не понял, это намек. Никто из нас не безобиден. Все возможные катастрофы каждый носит в себе.

И все же предстоящее нам зрелище, при всем его неизбежном размахе, кажется мне сравнительно убогим и тусклым. В самом деле, разве это похоже на вселенскую мистерию с ангелами и небом, свернувшимся в свиток? В том Апокалипсисе был дремучий уют страшной сказки. Действительно можно на ночь детям читать. А что предстоит увидеть нам? Эту осточертевшую нам же самим цивилизацию, захлебнувшуюся в луже собственной крови. Так ведь видели уже, сколько можно повторять одно и то же. Заранее было бы скучно и подкатывала бы зевота, если бы не то обстоятельство, что в этом зрелище нам отведена роль не только зрителей, но и участников. Должен также предупредить возможное недоумение: никогда не мечтал выступить на сцене в роли Кассандры. Несмотря на это, пророчества мои верны абсолютно. И непогрешимость их почти равняется непогрешимости высказываний Папы Римского *ex cathedra*. Открою секрет: непогрешимость эта построена на одном очень банальном, но все же безукоризненно надежном соображении. Просто ничем другим история цивилизаций не заканчивается. Не знаю уж, почему так заведено на белом свете, но рано или поздно цивилизация, пережив так называемый расцвет, вступает в полосу так называемого упадка и постепенно исчезает с лица земли. Причем для живых людей, которым выпало жить во времена так называемого упадка, процесс этот оказывается необыкновенно болезненным. Луи крови и т. п. Примеры из истории можете подобрать сами. Так что же, вы и в самом деле верите, что либеральная демократия должна наступить на земле раз и навсегда? И что это значит — навсегда? Вопрос, стало быть, сводится к одному: рано или поздно? Знаю, знаю, что ни о каком «навсегда» никто и не задумывается. На наш бы век хватило, а после нас известно что. Ведь как хорошо: права человека, свобода слова, никто тебя не пытается, не расстреливает, не насилует... Правда, вот сексуальных маньяков что-то чересчур много развелось, так что возникает подозрение, случайно ли это. Но это издержки прогресса, не бывает системы без сбоев. Как говорится, лес рубят — щепки летят. А в целом — тишь, гладь, божья благодать. Конечно, «кто выдумал, что мирные пейзажи не могут стать ареной катастроф?». Но все же почему именно рано, а не поздно?

Отчасти, вероятно, именно потому, что никто не задумывается о том, что — «навсегда», и о том, что будет потом. Это я не в том смысле, что наше будущее в наших руках и если мы о нем вовремя задумаемся, то сможем все-таки спасти вождельную либеральную демократию. Это я в том смысле, что надо перестать принимать условия комфорта за смысл существования, чтобы, утратив первые, не потерять последний. Когда жизнь, упорно не желающая становиться теплицей, в которую ее упорно пытаются переделать где-то с начала Нового времени, вновь превратится в пространство для неизбежной встречи с Богом и смертью, страданием и вечностью, одиночеством и тайной, жестокостью и чудом, не считаясь при этом ни с Декларацией прав человека, ни со священным принципом политкорректности, она не станет от этого хуже, она станет нормальнее, она станет тем, чем и должна быть. И еще потому скорее рано, чем поздно, что на самом деле усилия для недопущения катастрофы уже предпринимаются, некоторые совестливые люди спохватываются раньше других, озабоченные неусыпным благородным порывом, как бы сделать общество еще гуманнее, а жизнь людей еще лучше и приятнее. И вот тут срабатывает безошибочная логика декаданса, которую большой знаток этого вопроса сформулировал следующим образом: «Это самообман со стороны философов и моралистов, будто они уже тем выходят из *decadance*, что объявляют ему войну. Выйти из него — выше их сил; то, что они выбирают как средство, как спасение, само опять-таки является выражением *decadance* — они *изменяют* его выражение, они не устраняют его самого». Занятно видеть, как, требуя отменить смертную казнь или прекратить истребление морских котиков, они лишь усугубляют ситуацию и работают на ту самую катастрофу, которой боятся больше всего на свете. Вы думаете, Адольф Гитлер или Чарльз Мэнсон — самые страшные враги «общечеловеческих ценностей»? Ничуть не бывало: академик Сахаров куда опаснее...

Вот так, бывало, зарাপортуешься, договоришься бог знает до чего, и тут-то тебя и одернут: «Вы что же, действительно хотите, чтобы люди страдали, или прикидываетесь?» И тогда уж, отрекомендовавшись антигуманистом, изволь соответствовать. Готов предстать перед Международным трибуналом за призывы и разжигание. Готов наконец принять на свою голову миротворческий бомбовый удар. Вышеупомянутый знаток вопроса тоже недоумевал: «О братья мои, разве я жесток?» Но не было у него никаких братьев, даже в переносном смысле. И вопроса никто не услышал. Тогда он продолжил: «Но я говорю: что падает, то нужно еще толкнуть!» Это услышали все. Признаюсь как на духу: хоть мне в силу занимаемой должности штатного маргинала и полагается пить стаканами детскую кровь и почему-то дым из ноздрей валит и серой вокруг пахнет, все же и у меня еще бывают редкие моменты, когда хочется милые глупости говорить и людей по головкам гладить. Но как замечал еще один знаток вопроса, который тоже плохо кончил: «А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-гм, — должность адски трудная!» И вообще — невежливо задавать такие вопросы. Хочу ли я, чтобы люди страдали?! Если бы я еще мог что-то хотеть, если бы моя эфемерность не подразумевалась в каждой букве этих маргиналий, испаряющихся в неизвестном направлении вместе с тем, на чем я пытаюсь их накропать (разумею: на времени, на его непонятной, непредсказуемой, пугающей ткани), — я бы, пожалуй, ответил, что чувствую себя скорее в положении жертвы, чем палача. За некоторыми исключениями, как же без них. Если верно припоминаю, быть человеком — это и значит быть жертвой и палачом в одном лице. Беспомощность и беспощадность — удел каждого. Не стоит ни противопоставлять в себе жертву и палача, ни переоценивать одного из них в ущерб другому. Я справился у Шопенгауэра («Мир как воля и представление», т. 1, кн. 4, § 63), он тоже так думает: «Мучитель и мученик — это одно и то же. Первый заблуждается, думая, что он не причастен мучениям; второй заблуждается, думая, что он не причастен вине». Вот что я, пожалуй, сказал бы в ответ.

Но я продолжаю настаивать на необратимости процесса собственной дематериализации, так что с меня взятки гладки. Сажу на чемоданах, уже пристегнул новые крылышки, осталось лишь подобрать нимб помоднее — и в путь! Но перед отправлением, так уж и быть, объясню подробно и популярно, почему слово «гуманность» застревает у меня костью в горле.

Жизнь продолжается

Не помню, где я слышал эти исполненные глубокой, оригинальной правды слова: «Жизнь продолжается». Возможно, мои антенны были настроены на телевизионную частоту, а там как раз в этот момент передавали латиноамериканский сериал. Но, может быть, это сказал Лазарь, выглядывая из гроба. Маловеры воображают, что воскресение мертвых — дело далекого, мрачного прошлого, лишеного благ современной цивилизации. У людей, живших в диких, нечеловеческих условиях, среди варварства и антисанитарии, от отчаяния и безысходности не оставалось другого выхода, как творить чудеса, ходить по воде и воскресать из мертвых. Между тем вот уже лет пятьдесят, как по земле разгуливает живой мертвец, причем воскрешенный нашими общими усилиями. И никто не удивляется этому чуду. Наоборот, все принимают это как должное, как будто он и не умирал никогда и останется теперь с нами навечно. Мертвец ежедневно посещает тренажерный зал, занимается тем, что у вас, людей, почему-то называется любовью, заплевывает впитавшие столько крови и слез мостовые древних городов оптимистической жвачкой и всеми своими гальваническими силами пыжится, дабы показать, как много в нем еще нерастроченной, неподдельной энергии. Только не подводите его к зеркалу, потому что в зеркале ничего не отразится. Да и тени он не отбрасывает. Кроме того, никто почему-то не видел, чем он питается. То есть никто из уцелевших. Но если учесть, что он побаивается дневного света и заметно волнуется при виде крови, то нельзя не согласиться с теми, кто находит в его наружности нечто вампирическое. Что, узнали старого знакомца? Ну, вспоминайте, вспоминайте, кого мы все так дружно хоронили полвека назад?! Ну конечно же *гуманизм!* Напрягите память, ведь было такое: Освенцим, ГУЛАГ, две мировых войны, «Бог умер», «После Освенцима нельзя писать стихов» и т. п. Вроде бы похоронили как полагается, помянули всем миром и разошлись, а он откуда ни возьмись нас же на пороге встречает и посмеивается: «Вечные ценности, того, нетленны». И облизывается. Отчего же вышел такой занятный казус и так ли уж нетленен наш давний знакомый? Или это было мнимое воскресение и пора браться за осинный кол?

Есть у меня друг — одинокий философ, лет пятьсот назад забросивший неплохо складывавшуюся научную карьеру. Его тоже крайне интересуют упомянутые вопросы. Иногда он пишет мне на эту тему длинные и довольно занудные письма, отрывки из которых я и позволю себе привести здесь, ибо, несмотря на места хромающий слог, его старая научная закваска еще время от времени сказывается в гораздо лучших, чем у меня, способностях все на свете анализировать, классифицировать и раскладывать по полочкам, словно это поможет. Итак:

...Признаюсь тебе, Мефисто, рассуждая на такую тему, как крах гуманизма, испытываешь некоторую неловкость. Настоящий крах не может превратиться в традиционную тему для культурологических дискуссий. Настоящая катастрофа лишает дара речи. А у нас как взбредет в голову образованному, изнеженному интеллектуалу мазохистски пощекотать себе нервы, так он и начинает лопотать о крахе гуманизма, о кризисе культуры и заводит все в какую-то тьму и беспросветность, в которой якобы только подышать остается. Сам, однако, живет как-то. Поистине, *this is the way the world ends — not with a*

bang, but a whimper. Прости, запамятовал, что ты терпеть не можешь поэзии. Недавно побывал на научном симпозиуме, посвященном детальному рассмотрению генезиса и разновидностей все той же окружающей нас беспросветности. Хотел объяснить им, дуракам, что к чему, почему их хваленый гуманизм умер. Как-никак пятьсот лет ничего другого не делал, а все наблюдал процесс распада во всех стадиях. Но мне доказали, что я — мракобес, что таких, как я, нельзя пускать в порядочное общество и по мне нюрнбергская виселица плачет. А помнишь, мы с тобой пролетали над славным городом Нюрнбергом, и еще приятно пахло дымком, то ли церковь горела, то ли ведьму жгли? Ведьмы, поверь мне, встречаются и сегодня. Вот и на этом симпозиуме одна такая стриженная, и через слово у нее то Леви-Строс, то Леви-Брюль... Все наседала на меня и вопрошала, как будто ее жизнь от этого зависит: «А как вы понимаете гуманизм? Дайте определение гуманизма! Может быть, это гуманизм Помпонации или Гельвеция? Или Достоевского?» Это она мне, стоявшему у истоков! «А вы читали слова и вещи?» Я и говорю: «Барышня, слова я читал, когда на вас еще и намека не было, и тогда же делал такие вещи, о которых вы и сейчас понятия не имеете». А она презрительно хмыкнула и заявила, что лишь полуграмотные пни, утратившие последние остатки научной совести, не читали гениального сочинения модного философа Фуко, умершего от очередной модной болезни. «Она недавно им подарена...» — пронеслось у меня в голове, и, нащупывая в кармане... (Эту болтовню пора прекратить. Философ не торопится перейти к существу вопроса. Поэтому опускаю перебранку с обоюдными обвинениями в профессиональной несостоятельности и несколько совсем уж непристойных сцен.) ...и мне стоило некоторого труда вспомнить старое заклинание, к которому не приходилось прибегать уже пару столетий. Я наспех пробормотал его, боясь, не ошибся ли в чем, сплунул — и суккуб к моему удовольствию задрожал, покрылся испариной и, выкрикивая загадочные французские имена: «Лиотар! Бодрийяр! Вельзевул!» — растворился в притихшем пространстве. Если же перейти к существу вопроса (ну наконец-то!), то коллега была не так уж и не права. Гуманизм и в самом деле явление многостороннее, и, если навскидку припомнить основные его этапы: ренессансный гуманизм (уже он один интерпретируется то как имморалистический титанизм, то, наоборот, как скромное поприще для узких филологических штудий, то как разновидность магического эзотеризма), гуманизм просветительский, классический либерализм в духе Локка, позитивистски и сциентистски ориентированный гуманизм XIX века, христианский гуманизм, «экзистенциализм — это гуманизм» и т. д., — если все это вспомнить, то глаза разбегаются и становится не ясно, о чем же конкретно вести речь. Но я думаю, тут нам может помочь обыденное словоупотребление. Не грех обратиться к нему, чтобы понять, что мы все обыкновенно имеем в виду под гуманизмом, когда употребляем это слово не задумываясь и не в пылу ученой дискуссии. А в этих случаях под гуманизмом подразумевается *принцип гуманности* в отношении ко всем людям без разбора, просто потому, что они — люди. Конечно, если взглянуть на этот принцип с исторической точки зрения, не составит труда заметить, что он вовсе не присущ всем многообразным вариантам многовековой культуры гуманизма. Например, Макиавелли (помнишь его, Мефисто?) — крайне характерная для возрожденческого гуманизма фигура, однако никакой гуманностью и филантропией здесь еще и не пахнет. Так что, исходя из принципа гуманности, нам не удастся объяснить единство гуманистической традиции. Для этого надо было бы найти общий при-

знак, общее основание всех ее форм. Таким основанием признают обычно идею *самоценности человека*, эмансипированного от Бога и, хоть тебе это и не по душе, от черта тоже. Это, однако, не отменяет того, что я сказал о принципе гуманности как самоочевидном и даже решающем в глазах современных людей атрибуте гуманизма. Напомню тебе в этой связи историю, несколько лет назад немало меня повеселившую. В той стране, где мне выпало удовольствие гостить последние сто лет, есть редящая порода граждан, прозываемых «шестидесятниками». В последнее время они, правда, что-то не в чести, но не в этом дело. Замечательны они были главным образом потому, что долгие годы противопоставляли хорошего Ленина плохому Сталину. Помнишь этих двоих? Что касается меня, то я их еще долго не забуду. Они как раз начинали свою деятельность, когда я сюда прибыл. Причем тебе, наверное, интересно, по какой причине Ленин казался «шестидесятникам» хорошим, а Сталин плохим. Дело, видишь ли, не в том, что Ленин слушал Бетховена, а Сталин все как-то больше тяготел к Дунаевскому. Причина в ней же — в гуманности. Мол, Ленин — хороший, потому что был гуманистом, а Сталин — плохой, потому что гуманистом не был. Но тут как-то некие злонамеренные личности вытащили на свет божий целый ворох старых, забытых бумажек, и на каждой резолюция: «Расстрелять», поставленная с детства знакомым и родным каждому «шестидесятнику» почерком. И что ты думаешь? Все они сразу заголосили, что Ленин не был гуманистом, что он и Сталин — два сапога пара, что они сами всегда это подозревали, только не умели внятно сформулировать. И что Ленин вообще — некрофил, голову святого Николая Кровавого в банке хранил в заспиртованном виде. Вот и суди теперь после этого, осталась ли еще на белом свете верность. Эту историю я рассказал тебе, чтобы обратить твое внимание на то, что слово «гуманист» в данном случае равнозначно представлению о гуманном человеке, и вот такое словоупотребление стало по нынешним временам доминирующим. А согласно современным философским теориям, за которыми я, хоть и с некоторою ленью, все же слежу по старой привычке, философ не должен проходить мимо обыденной речи с ее оборотами, или, как на их тарбарском наречии принято говорить, узусами. Вот я и не прохожу. Так что отведем идее самоценности человека роль основополагающего принципа гуманистической традиции, а идею гуманности признаем ее закономерным, органичным итогом. Можно даже показать, что гуманность в собственном смысле и не могла бы стать осознанной задачей культуры, если бы сперва человек не пришел к убеждению в собственной самоценности. Мы с тобой еще помним те времена, когда в мире господствовало учение любви, но никто и не задумывался ни о какой гуманности. Позднее это стало вызывать недоумение. Как же, мол, совместить с любовью костры инквизиции или религиозные войны? Они почему-то думают, что под любовью имеется в виду соблюдение прав человека, а Бога нужно представлять на манер либерального правозащитника. Схожие мысли я высказал, между прочим, и коллеге-суккубу накануне ее скоропостижного исчезновения. На все это мне было замечено, что я пренебрегаю общеизвестными открытиями в области деконструктивистской критики истории. Нет, мол, в истории никакого органического развития, а если кому-то кажется, что есть, то это лишь результат им же самим накладываемых на беспорядочную реальность сюжетобразующих схем, а в мотивации этих схем надо еще покопаться, хотя, впрочем, и так заранее виден весь их гнусный мифологический характер и подлая претензия интерпретации выступить в роли истины как таковой. И вообще (это она

провозгласила как лозунг), история есть миф прометеевских обеществ! Я сперва от этого всего несколько опешил. Мне вообще было непонятно, при чем здесь этот недотепа Прометей. Я как-то привык к тому, что нашу культуру называют «фаустовской». По-моему, это точнее всего, и дальше надо продолжать в том же духе. Я уважаю Шпенглера, один из немногих достойных людей среди всех этих слуг беспорядка. Но вскоре я оправился и заметил суккубу, что, пошла б она с мое, тогда бы поняла, миф история или не миф. И потом, что же, может, она думает, раз все вокруг — миф и интерпретация, можно не учитывать реальность происходящего? Может, она действительно думает, что, будучи после теоретической смерти человека ходячим пересечением дискурсов во всеобщей интертекстуальности, она застрахована от перспективы смерти практической? Или и это тоже миф? Но как ни внушал я ей, что даже сам Деррида помирать будет на самом деле, по-настоящему, реально, что реальность вообще существует, даже и под видом мифа и интерпретации, да еще как существует, коллега лишь улыбалась хищной, кокетливой улыбкой и называла меня недобитым фаллологоцентристом. Тогда я потянулся... (Тут философ снова несколько отклонился от темы.) ...возвращаясь к прерванной нити изложения, замечу, что указанный принцип гуманности, например, в форме провозглашенного права каждого человека на счастье и прочих не менее фантастических прав, которыми каждый из них якобы обладает от рождения, — что этот принцип уже в XVIII веке был зафиксирован в ряде общеизвестных документов. Что это может означать на практике, тогда мало кто задумывался, но почти на два столетия среди них воцарилось убеждение, что реальность можно сделать гуманной и человеческой. Поэтому, когда в итоге разразился пресловутый крах гуманизма, все были очень удивлены, можно даже сказать — шокированы, и стали искать виноватых. Между тем беспристрастному наблюдателю, каковым я являюсь не только по долгу службы, но и по сердечной склонности, в чем ты имел неоднократную возможность убедиться сам, читая это письмо, ясно и очевидно, что крушение теории социального прогресса и вообще крах всего проекта гуманизации реальности — вовсе не результат *отклонения* от норм гуманистической культуры, но естественный результат их *развития*, точнее — *разложения*. Гуманизм просто достиг собственных пределов, исчерпал свои возможности. Фашизм и коммунизм, последние судороги гуманистической культуры, выявили несовершенство и уязвимость, присущие *самим* гуманистическим ценностям, и окончательно подорвали веру в их реализуемость. Меня вообще крайне раздражают все эти разговоры об отклонении от «общечеловеческих ценностей», за которое все якобы и поплатились, и о необходимости возвращения к ним, которое якобы может кого-то гарантированно спасти. Как будто спасение достигается механическим воспроизводством общих мест и прописных истин! И что за наивный дуализм добра и зла, что за детская теория «упадка морали»? Если упомянутые ценности настолько хороши и спасительны, почему они никого не спасли с самого начала? Почему вообще оказался возможным отход от них? Одно из двух: либо ценности сами терпят кризис, но тогда они, очевидно, никого спасти уже не могут, ибо сами вопиют о спасении; либо мы изображаем дело так, как будто все происходит в детском саду: вот были у нас ценности, добрые и хорошие, а потом пришли какие-то злые люди и все ценности забрали. Тогда все дело в индивидуальной порочности и случайной субъективной злонамеренности какой-то категории людей, и вроде бы все еще можно поправить, вовремя приняв соответствующую резолюцию ООН. Если же вдуматься, этот по-

следний вариант имеет более плачевные последствия для репутации многострадальных ценностей. В первом случае речь шла о кризисе самих ценностей, поэтому и источник сложившейся ситуации как-то еще коренился в них, был от них зависим, и все это можно было рассматривать как своеобразную игру блага с самим собой — популярная схема рассуждения, привитая нам теологией и гегельянством. Но во втором случае оказывается возможным спонтанный и никак не детерминированный самими ценностями отказ от них. При этом эти ценности, конечно, сохраняют девственную непорочность и заставляют учащенно пульсировать сердца либеральных интеллигентов, но в то же время преспокойно игнорируются злыми людьми, продолжающими разворовывать имущество пришедшего в запустение детского сада. А если их можно игнорировать, то чего они стоят? Все это, скажу я тебе, Мефисто, чистейшее манихейство, а я, если помнишь, в юности провел некоторое время в монастыре августинцев одновременно с неким припадочным чудачком по имени Мартин Лютер, и там, изучая творения блаженного покровителя этого почтенного монашеского ордена, я на всю оставшуюся жизнь проникаю глубочайшей теологической идеей: зла как такового не существует, есть лишь отсутствие должного быть блага. Так что долой манихейство и всяческий упрощенческий дуализм! Предпочитаю игры блага с самим собой. Люди почему-то воображают, что непременно необходимо зло, чтобы превратить реальность в кошмар. Но мы-то с тобой знаем, что и одного так называемого добра вполне достаточно. «Я — часть той силы...» — как ты, бывало, говаривал, и неспроста. Предвижу твое требование указать конкретную причину, по которой «общечеловеческие ценности» столь роковым образом заигрались сами с собой, и спешу это требование исполнить.

Если бы меня просили определить гуманизм одним словом, я бы сказал, что гуманизм — это *недомыслие*. Это, пожалуй, и делает его столь живучим. Мысль еще можно опровергнуть, но недомыслие неопровержимо. Причем недомыслие это двоякого рода. Во-первых, это недомыслие о человеке. Человек принимается за самоценность, причем делается это совершенно бездоказательно. Как будто само собой разумеется, что если ты являешься двуногим без перьев и с ногтями в соответствии с единственно безошибочной антропологической теорией Платона, то этого незамысловатого факта самого по себе уже достаточно, чтобы все вокруг с тебя пылинки сдували. Человек превратился в некую расплывчатую, но непременно позитивную самопонятность, о которой зачем же задаваться неуместным вопросом: «Кто это?» — ведь все мы нормальные люди, обладаем естественным правом на счастье и самовыражение, и нечего воду мутить. Если и есть какая проблема, то она, конечно, в том, как сделать, чтобы человеку отныне и навсегда хорошо было. Но разве с самого начала так уж и очевидно, что к этому вообще стремиться нужно? Вон в Книге Иова, например, сказано: «Человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх». Гуманист же ко всем подобным религиозным и философским спекуляциям о тщете счастья и необходимости сосуществовать со страданием относится с поверхностным реалистическим цинизмом пожившего на свете человека, предполагающим, что навязывая в зубах мудрость тысячелетий не должна помешать ему и дальше жить в свое удовольствие. И опрометчиво. Собственно, почему не должна? Вскоре обнаружили первые трудности. Казалось бы, гарантированное естественным правом счастье само должно свалиться на голову — иначе какое же оно естественное? Но оказалось, что окружающая реальность пылинки ни с кого сдувать не собирается, поэтому ее и нужно подвергнуть пред-

варительной гуманизации. «Вы хотите, пожалуй, — и нет более безумного „пожалуй”, — *устранить страдание*», — пронизательно беспокоился по этому поводу твой любимый автор. Пронизательно, ибо они действительно хотели этого, но все же зря, ибо подобная затея заведомо обречена на поражение. Если попытаться продумать пафос гуманизма в его чистейшей, радикальнейшей форме, то окажется, что он весь устремлен к невозможной, а для людей с извращенными вкусами даже и нежелательной *идиллии*. Как писал Максим Горький о Ленине: «Для меня исключительно велико в Ленине именно это его чувство непримиримой, неугасимой вражды к несчастьям людей, его яркая вера в то, что несчастье не есть неустранимая основа бытия, а — мерзость, которую люди должны и могут отместить прочь от себя». Это — не пропаганда, а повод лишний раз задуматься, действительно ли Ленин не был гуманистом. По-моему, был. Но вот здесь и вскрывается, в каком еще смысле гуманизм оказывается недомыслием — не только в антропологическом, но и в метафизическом. «Несчастье не есть неустранимая основа бытия» — что это, собственно, значит? Вы думаете, переустройство самой метафизики, устранение смерти, зла, страдания как таковых вообще, целиком и полностью? Ничуть не бывало. Всего лишь максимально достижимое социальное благополучие, что-то вроде *the most possible happiness of the most possible number* в соответствии с критерием Бентама — Милля. А как же смерть и проч.? А так как-то, побоку. В крайнем случае можно, позевывая, выразить надежду, что эти мелкие неприятности будут со временем устранены научно-техническим прогрессом. Но, положа руку на сердце, зачем вообще думать об этих малоинтересных вещах, зачем впадать в это древнее ошибочное занудство? Нужно решать практические задачи, а не отговариваться неизбывностью смерти. Поймите, так ведь это же — несчастье, а оно есть мерзость, которую люди должны и могут... Не могут. И вот, начав с того, что любое человеческое страдание и несчастье объявляется абсолютным злом, не имеющей никаких оправданий бессмыслицей, с которой ни в коем случае нельзя примиряться, гуманизм заканчивает вынужденным компромиссом с антигуманностью. Все дело в непродуманности собственного пафоса, собственных границ. Ибо в чем еще заключается так называемый крах гуманизма, как не в обнаружении той давным-давно известной любому христианину, стоику, буддисту азбучной истины, что реальность, оказывается, негуманна и гуманной быть не умеет? Метафизика человеческого бытия негуманна. Вот и весь крах. Нужно было забыть метафизику, гнать ее взащей с помощью позитивистской и неопозитивистской критики, а она все равно незаметно просачивалась, хотя бы под видом подловатого словечка *possible*. «Ибо метафизика, — как сказал вдогонку позитивистской эпохе Сартр, — не чисто теоретическая дискуссия об абстрактных понятиях, уходящая от опыта, а живое усилие объять изнутри удел человеческий во всей его полноте». И вот гуманистическое недомыслие предполагает неполноту такого объятия. Проповедовать идеал, окончательного достижения которого не можешь обеспечить, порождать в людях потребности, которые в конечном счете не можешь удовлетворить, — что это, как не формула идеологической импотенции, как не заранее заложенная в самой основе гуманизма, куда он сам, понятное дело, старается не заглядывать, гарантия грядущего коллапса? И эти же люди потом еще жалуются на эксцессы жестокости и преступления против человечности. Я всегда недоумевал, вроде бы грамотные все, в университетах учились. Откройте Геродота, перечитайте Ветхий Завет. Что такого особенного вы нашли в этом Освенциме? Если

дело не в масштабе и не в способе, то ведь решительно ничего нового не произошло. А ведь с вашей же, гуманистической, точки зрения дело не в масштабе и не в способе. Вам каждая личность важна и абсолютно ценна. Так что же вы не устраиваете истерики по поводу тех, в прошлом. Почему это они и в Бога могли верить, и стихи сочинять, несмотря на всегда бывшие ужас и жестокость, а вы, стоите вас прижать, только одно и повторяете: «Бог умер! После Освенцима нельзя сочинять стихов!» Может быть, дело не в том, *что* происходит, а в том, *с кем* происходит? Может быть, верно то, что я вычитал у Августина, сидя в старой монастырской библиотеке, еще задолго до всего этого недоразумения с гуманизмом: «Важность не в том, каково то, что терпят, а только в том, каков тот, кто терпит, ибо одинаковым движением взболтанные — навоз смердит невыносимо, а благовонное пахнет приятно».

Квентин Тарантино и «Гринпис»

Ты, должно быть, находишь, что в предыдущем письме я слишком долго пинал мертвеца, но ведь в том-то и казус, что он и поныне живее всех живых. Однако в новых исторических условиях у воскресшего появились новые особенности. Я, как тебе известно, всегда страдал слабостью к изобретению всевозможных терминов. Вот и новую форму гуманизма, гуманизм после Освенцима, мне хочется окрестить *неогуманизмом*. По содержанию он вроде бы ничем таким оригинальным не отличается. Все те же избитые идейки: либеральная демократия, свобода совести, права человека. Появились, правда, кое-какие пикантные обертоны. Имею в виду сексуальную революцию. Но главное ведь не в механически заучиваемом содержании, не в букве, а в духе. Основное отличие неогуманизма от его предшественников заключается в том, что он не подкрепляется решительно никаким правдоподобным метафизическим или социальным проектом, говоря популярно — ни Богом, ни прогрессом. Скажем, христианский гуманизм обосновывал возможность гуманизации реальности, интерпретируя христианскую догматику на гуманистический лад и самого Бога наделял титулом главного гуманиста. Позитивистский и социальный гуманизм уповал то на научно-технический прогресс, то на социальную революцию. Лет через двести — триста, говаривали чеховские интеллигенты, увидим небо в алмазах. Пусть это была иллюзия, но обоснование она все же имела. У нынешних-то гуманистов нет и этого. После так называемого краха, несмотря на все недомыслие, даже им вроде бы стало понятно, что их идеал экзистенциально и метафизически не обеспечен. Никто не верит ни в какой прогресс, да и по поводу Бога они все как-то больше недоумевают: «Как допустил?», хоть и тянет их время от времени неумело перекреститься. Но что значит сохранять гуманистические ценности, не имея никакой, даже иллюзорной надежды на возможность окончательной гуманизации реальности, пусть и не тотальной, а максимально возможной в соответствии с их принципом посильной подлости? Это значит, что гуманизм превращается в судорожную и заведомо неудачную защитную реакцию на все равно неустранимую антигуманность реальности. Он становится вторичен и пассивен по отношению к антигуманности. Он лишается перспектив и вырождается в лелеемую из страха условность, имеющую сугубо охранительную, сдерживающую функцию. «Нельзя допустить, чтобы *это* повторилось, это так страшно. Мы боимся...» Как будто страх — это аргумент или святыня. Как будто они действительно *могут* сделать так, чтобы «это» не повторилось. На деле все их усилия приводят к

прямо противоположному результату. Интересно, какой умник или шутник прописал им в качестве панацеи от кризиса возвращение к тем самым ценностям, которые этот кризис и породили? Ведь тем самым ситуация просто воспроизводится на новом витке. Чем радикальнее усилия по гуманизации реальности сегодня, тем чудовищнее будет грядущая расплата. Чтобы пояснить этот занятный парадокс, я бы ввел такое понятие, как *норма жестокости*, разумея под этим не просто количество жестокости, допускаясь в ту или иную эпоху, — это-то вряд ли поддается учету, — а ту степень жестокости, которая считается официально приемлемой, так сказать, культурологически легитимной в рамках каждой отдельной культуры. Например, как ты помнишь, пытки применялись в Европе не только в период господства бесчеловечных тоталитарных режимов, но и в средние века, под неусыпным патронажем христианской религии. Вся разница в том, что тогда это считалось нормой, самоочевидным элементом следственного процесса, а в двадцатом веке даже упомянутые тоталитарные режимы не осмеливались открыто заявить о применении пыток как о чем-то совершенно нормальном, но при случае все отрицали и старались замести следы, что, по-моему, и демонстрирует их скрытую гуманистическую сущность. Вот это и есть конкретный пример общего понижения нормы жестокости в современной культуре. Что, однако, достигается таким понижением? Жестокость не столько устраняется из жизни, сколько начинает переживаться как нечто даже интеллектуально невыносимое. В результате, как метко подмечал твой любимый автор, «даже *саму мысль* о боли находят уже едва выносимой и делают отсюда вопрос совести и *упрек* всему существованию». Усиливается восприимчивость к жестокости. И благодаря этому жестокость как таковая как раз усугубляется и интенсифицируется. «Важность не в том, каково то, что терпят, а только в том, каков тот, кто терпит».

Справедливости ради должен заметить, что изредка мне все же попадались более честные экземпляры гуманистов, например, тот французский писатель, который перед тем, как разбиться в автомобильной катастрофе, все твердил про сизифов труд да «нескончаемое поражение». Он убеждал меня, что, прекрасно сознавая всю обреченность ценностей гуманизма, лично для себя все равно считает более благородным оставаться на их стороне несмотря ни на что. Мол, подло становиться на сторону силы. Ты, Мефисто, может быть, думаешь, что, когда в прошлом письме я писал тебе о кризисе ценностей, я не предвидел возможного возражения с твоей стороны: мол, я хочу прийти на все готовенькое, между тем как только безоглядная личная самоотдача и есть правильное отношение к ценностям, а вовсе не потребительский позыв использовать предоставляемые ими выгоды, ничем ради этого не пожертвовав? Конечно, предвидел, и заранее спешу с тобой согласиться, хоть все это слегка напоминает мне старый лозунг насчет милостей природы, которых мы не должны ждать, взять же их — наша задача. Но тут есть одна загвоздка, как я и пытался втолковать упомянутому писателю. Наверное, в этом сказывается моя наивная платоническая закваска, но я никак не могу понять: если пресловутые ценности не укоренены в метафизической структуре бытия, если у них нет никакого объективного основания, никакой экзистенциальной поддержки, то откуда же тогда берется критерий, исходя из которого я мог бы утверждать, что быть Камю или Шелером и в самом деле благороднее и правильнее, чем быть Адольфом Гитлером? По-моему, при таком раскладе это всего лишь дело вкуса и по большому счету благородство тут ни при чем. Примерно это и имел в

виду Коплстон, спрашивая у Рассела, почему тот сам никогда не стал бы вести себя как комендант концлагеря. Ответ же Рассела, что он не собирается имитировать поведение бешеной собаки, уже тогда показался мне неубедительным, поскольку к этому-то в конечном счете и сводится вопрос: почему лучше быть Бертраном Расселом, а не бешеной собакой? Так мы тогда с тем писателем ни до чего и не договорились, каждый остался, как водится, при своем.

Вообще же подобное отчаяние для гуманиста — крайне редкий случай. Все они страдают каким-то непробиваемым, самоуверенным благодушием. Упрекают меня, что я нагнетаю и драматизирую. А посмотреть на них самих: с одной стороны, скоро все из любви к животным забудут вкус мясной пищи, перестанут носить меховую одежду, запретят корриду и китобойный промысел и поголовно запишутся в «Гринпис»; с другой стороны, эти же примерно люди услаждаются кинематографом в духе Тарантино и, плюралистически ценя маркиза де Сада, читают его своим деткам на ночь. Что бы это значило? Они закатывают истерику по поводу малейшей жестокости в жизни, но обожают стерилизованную жестокость в культуре и ежедневно поглощают ее в неимоверных количествах. Я думаю, тут даже никаких логических доводов не надо, элементарного здравого смысла должно хватить, чтобы понять, что это напряжение, это противоречие должно же наконец прорваться потоками уже не бутафорской крови. А все их хваленая толерантность. Эти люди разучились понимать, что культура не безобидна и не стерильна и что в жизни нужно выбирать. Они хотят совмещать Тарантино и «Гринпис». Они обречены.

Весь этот теперешний неогуманизм я бы мог еще определить как гуманизм эпохи постмодерна. Ты, должно быть, удивишься, что я сам же употребляю это слово, заслышав которое прежде, бывало, плевался. Но в последнее время я стал пересматривать свое отношение к нему. И знаешь, под чьим влиянием? Забыл тебе сообщить, что суккуб, вроде бы подвергшийся процедуре безвозвратной диссоциации в атмосфере, вскоре вновь обрисовался в похолодавшем воздухе, обрел убедительную материальность и не отстает от меня ни на шаг. Вероятно, я и в самом деле перепутал заклинание, либо магические формулы выдыхаются со временем. Но теперь я даже уже и не возражаю, ибо при более близком знакомстве суккуб оказался довольно привлекательной девушкой по имени Маргарита. Я был несправедлив к ней. У нее в голове есть мысли, а не только термины. Например, на днях она сказала мне: «Быть человеком — это значит быть палачом и жертвой в одном лице, но не стоит переоценивать в себе ни того, ни другого». Откуда только что берется! Мне иногда кажется, что в нее словно бес вселился. Я даже подозреваю, что это не суккуб, а загримированный инкуб. Такая у них тут сейчас неразбериха с половой идентификацией! Но в целом суккуб довольно мил, то есть мила. Она-то и открыла мне глаза на правоту постмодернизма. Ну, может быть, «правота» — это и сильно сказано, но что-то в этом есть. Нельзя не заметить, что идиллические «истины» гуманизма (права человека, интеллектуальная терпимость, свобода и абсолютная ценность личности) как-то поразительно легко уживаются в современности с так называемой постмодернистской ситуацией, которая, как известно сегодня любому мало-мальски просвещенному человеку, предполагает как раз активное нигилистическое недоверие ко всем перечисленным «истинам», ценностям, самоочевидностям и, как тут подсказывает Маргарита, заглядывая мне через плечо, метарассказам. Странная беспроblemность такого соседства отчасти объясняется разделом сфер влияния: постмодернизм есть господствующая тенденция в современной гуманитарной культуре, а неогуманизм пытается навязать себя в

качестве официальной идеологии в области социальной и политической практики. Суть современности в целом я бы и определил как *коллизия постмодернизма и неогуманизма*. Именно эта коллизия порождает вышеописанное двоедушие современных людей — вегетарианство читателей де Сада, в котором они сами не видят ни малейшей непоследовательности. С одной стороны, постмодернизм приучает человека воспринимать себя как дегуманизованное существо в дегуманизованном мире; с другой же стороны, неогуманизм хочет заставить того же человека вести себя в социальной и политической сфере так, как если бы он был гуманным существом в гуманном мире. Ясно, что коллизия эта должна как-то разрешиться. Но она не может быть разрешена средствами неогуманизма, так как у него, по сути дела, никогда не было никаких средств. Что же касается постмодернизма, то, пока Маргарита на минуту отлучилась, могу тебе сказать, что я думаю о нем на самом деле. По-моему, его единственная корысть во всей этой истории сводится к лозунгу: «Давайте бесстрашно заведем самих себя в тупик, честно создадим себе невыносимые условия и откровенно признаем, что выхода нет и не может быть!» Стало быть, коллизия разрешится, но разрешится катастрофически.

Герой нашего времени

В последнем письме, Мефисто, я забыл упомянуть об одном крайне важном последствии описанной мною коллизии постмодернизма и неогуманизма, но все более частые визиты Маргариты заставляют меня мысленно снова и снова возвращаться к нему. Я имею в виду феномен, приобретший в последние десятилетия чрезвычайный размах. С мыслью о нем любой обыватель начинает свой день, пролистывая утреннюю газету, с мыслями о нем же он и засыпает после просмотра очередного триллера по телевизору. Я имею в виду маниакальную сексуальность и маньяка как подлинного и общепризнанного героя нашего времени. Ты, может быть, возразишь: и прежние эпохи знали, что существуют люди, в убийстве находящие приятность, и вообще это скорее явление биологического порядка. Так-то оно так, но все же, согласись, никогда это явление не играло такой роли в культуре. И вот эта его неожиданная культурологическая значимость и нуждается в объяснении. Почему для современного человека в несравнимо большей степени, чем для человека любой другой культуры или эпохи, оказывается и привычным, и актуальным постоянное возвращение к проблеме маниакальной сексуальности? Почему она вообще по большому счету впервые, как принято говорить, тематизируется именно в современной культуре? Не берусь судить о биологической неизбежности подобного феномена, но не прибавляется ли к вероятной биологической неизбежности и некая социальная стратегия, способствующая его массовости? Называя вещи своими именами, не *продуцирует* ли нынешняя неогуманистическая культура массовый поведенческий и психологический тип сексуального маньяка, не предлагает ли она его всем и каждому в качестве вполне допустимой и законной в ее рамках идентичности, пусть официально и осуждаемой? А если продуцирует и предлагает, то каким именно образом и почему?

Прежде всего тут нельзя недооценивать фактор сексуальной революции. Я, конечно, не то хочу сказать, что последняя привела к беспрепятственному распространению всяческого непотребства вообще и маньячества — в частности. То есть по жизни это, вероятно, так и есть. Я и сам, несмотря на более чем пятисотлетний опыт, время от

времени узнаю от Маргариты такие подробности, от которых волосы дыбом на голове становятся и во всех отношениях повышается жизненный тонус. Что же, есть в этом и свои приятные стороны. Но культурологическое значение сексуальной революции искать надо не в них. Ты еще помнишь, должно быть, старые, добрые времена, когда, говоря о любви, люди имели в виду многообразные эмоциональные состояния и моральные феномены. «Страсть», «честь», «падение», «чистота», «разврат» — куда ушла вся эта мифология, казавшаяся столь естественным достоянием человечества? Нынче, говоря о любви, говорят об «оргазме», «эрекции», «половой ориентации», «оральном сексе». По их мнению, они просто называют вещи своими именами. Пожалуй, в этом и заключается главный культурологический результат сексуальной революции — в формировании господствующей в качестве самоочевидной нормы идеи *адекватно вербализуемой* сексуальности. Причем это относится именно к сфере социальной коммуникации, к публичным формам сознания и культуры. Прокладки, презервативы — все напоказ! Я не возражаю — я осмысляю. Уступлю лишний раз всеобщей страсти к терминологизации, назвав происходящее *экстериоризацией интимного*. Весь этот процесс сопровождается присущим феноменам массовой психологии ощущением собственной позитивности и беспроблемности. Его эмоциональный тон может быть обозначен как плебейское веселье. Это всеобщее переживание фамильярного единства, которому причастны все люди как свободные сексуальные существа, основная функция которых заключается в поиске ничем не ограниченного сексуального наслаждения. Нынешние люди не видят причин сдерживать или преодолевать самих себя, а все, что их к этому призывает, например, традиционные аскетические ценности, представляется в этой перспективе нарушением их самоочевидных прав, фанатичным, неумным насилием, а с интеллектуальной точки зрения — абсурдным недоразумением, унаследованным из прошлого. Подоплекой здесь является как раз *принцип аутентичности, адекватности* человеческого бытия. Гуманистические истоки этого принципа очевидны. Якобы свободный и самоценный, человек якобы имеет право быть тем, чем он на самом деле является, и, в частности, переживать, мыслить и переводить в речь собственную сексуальность так, как она есть на самом деле. Единственное ограничение — нельзя причинять боли другому, поскольку неогуманизм и в данном случае воспроизводит общегуманистическое представление о страдании человека как единственно понятной и самоочевидной форме зла.

Тут Маргарита подняла меня на смех. Я, мол, не учитываю, что никакой сексуальной революции, может, еще и не было. Нельзя же в самом деле принимать на веру старые фрейд-марксистские стереотипы в духе Вильгельма Райха, когда ежу понятно, что Мишель Фуко в своей работе «Воля к знанию» убедительно доказал их неубедительность и основательно продемонстрировал их неосновательность. Тогда я ее огорошил: «Да читал я твоего Фуко, Гретхен!» Кстати, я и в самом деле его читал. Так себе впечатленище. Но если по существу, он, пожалуй, прав. На самом деле я не сказал ничего, что противоречило бы его мнительной теории. Для меня сейчас не важно, подавлялась ли сексуальность в буржуазном обществе еще век назад или уже с XVII века пресловутый диспозитив сексуальности начал свою коварную работу, подталкивая всех и каждого выговаривать мельчайшие подробности собственной сексуальной жизни. Результат-то все равно таков, каким я его описал. Но Фуко полезно читать, дабы понять, насколько это двусмысленная и чреватая затея — говорить обо всем, что есть в реальности, и так, как оно есть. Он помогает понять основопо-

лагающее заблуждение такого подхода: якобы есть готовая реальность, которую надо только адекватным образом обнаружить, выявить, «тематизировать», — тогда как на деле реальность не есть нечто готовое, а скорее она впервые формируется в процессе такой тематизации. Реальность становится тем, в качестве чего мы ее усматриваем, причем очевидно, что процесс этот вполне бессознателен, что сам агент культуры, производящий подобные операции, именно не ощущает себя интерпретатором, по-новому формирующим картину реальности, а скорее пассивным реципиентом, беспристрастно оценивающим «истинный» характер реальности как таковой. Как видишь, я заделался завзятым постструктуралистом. Это не так уж и сложно, могу научить.

Думаю, то, что я выше наговорил тебе о сексуальной революции, не оставляет никаких сомнений в неогуманистическом характере этого сомнительного феномена. Некритичная к самой себе позитивность, тяготение к идиллической беспроблемности в сексуальной сфере суть первые признаки того же дефицита внутренней обоснованности, что свойствен и всему неогуманизму как таковому. Ты знаешь, я не так уж люблю монахов, но если выбирать... Не знаю, вернее ли аскетизм, но он глубже, ибо, во всяком случае, он видит в сексуальности метафизическую проблему: чтобы обосновать аскетические ценности, нужно проделать недюжинную интеллектуальную и духовную работу, создать сложную мировоззренческую систему. Чтобы обосновать противоположное, никакой работы не надо. С противоположным каждый и так готов согласиться. Так что я уважаю монахов. Но обрати внимание, как проявляется упомянутая внутренняя необеспеченность господствующего сексуального оптимизма. В своей сознательной, официальной реакции на маниакальную сексуальность неогуманизм, разумеется, бескомпромиссен. Я читал их газеты, там до сих пор маньяков за что-то именуют подонками, и это те же люди, которые потирают ладшки, усаживаясь для просмотра какого-нибудь нового «Молчания ягнят». Конечно, маньяки — подонки, раз они причиняют людям боль. Людская боль — это табу. «Люди хотят прежде всего, чтобы их щадили». Но тут уже есть пикантный нюанс. Если агрессивная сексуальность является предметом обоюдного, добровольного согласия существ, именующих друг друга сексуальными партнерами, как это заведено, например, у садомазохистских пар, то в ней не усматривают ничего недопустимого. Поскольку в этом случае боль субъективно воспринимается как удовольствие. А если человек получает от жизни удовольствие и ему хорошо, то разве против этого есть что возразить? То-то и оно, что вроде бы нечего, по крайней мере — гуманисту. Дальше — больше. Как понимается маниакальная сексуальность? Самым общим образом она трактуется как неустранимый феномен, мотивированный биологическими и психологическими факторами. Маньяк мыслится как невеняемый и по большому счету невинный проводник этого феномена. Естественно, неогуманизму, в силу его сугубо реактивного и бесперспективного характера, просто нечего на это ответить. Он не может этого ни устранить, ни активно осмыслить, подчинить своей логике, позитивно интерпретировать. Маниакальная сексуальность есть лишь конкретное проявление неустранимой антигуманности бытия, по отношению к которой неогуманизм занимает позицию бесплодной констатации. Если ему случается очухаться от оптимистического угара, он способен лишь тупо повторять: «Такова жизнь», созерцать кошмар и хлопать глазами. Кое-кто даже находит в этом своеобразную честность. Но тут-то и видна вся фальшь теперешнего сексуального оптимизма. Он ведь был основан на принципе адекватности, на

уверенности в праве переживать и мыслить собственную сексуальность «как она есть». Теперь же обнаружилось, что искомая сексуальность «как она есть» в одном из своих существенных проявлений оказывается радикально негуманной. И если последовательно настаивать на принципе адекватности, то надо признать право маньяка быть негуманным. Ведь, например, в случае с прочими сексуальными извращениями, переименованными ныне в ориентации, полная свобода была достигнута только потому, что они были интерпретированы как неустрашимый психобиологический феномен. Но, как ты помнишь, и маниакальная сексуальность понимается точно так же. Отчего же одно следует разрешать, а другое запрещать? Если бы не традиционное гуманистическое недомыслие, здесь бы давно был усмотрен двойной стандарт. И дело, видишь ли, не в том, что, например, гомосексуалисты и лесбиянки, в отличие от маньяков, никого не обижают. Принцип адекватности, если его логически развивать, должен привести к тому, что пускай и не официальное культурное сознание, цепляющееся за гуманность, но масса отдельных индивидов, приученных воспринимать свою сексуальность «как она есть» и осознавших, что она агрессивна и негуманна, при случае позволяют себе «адекватную» сексуальную реализацию, особенно если учесть необеспеченность навязываемых им неогуманистических ценностей, табуирующих человеческую боль. Два фундаментальных элемента неогуманистического мирозерцания, принцип адекватности и *табу на боль*, вступают в неразрешимое противоречие. Может быть, предпочитаешь отказаться от принципа адекватности, дабы спасти табу на боль? Если бы это и решалось в порядке свободного волеизъявления, пришлось бы пожертвовать головами многострадальных извращенцев. Отсутствует этот принцип, не было бы никаких оснований разрешать им жить в свое удовольствие. Не было бы вообще никаких причин допускать сексуальную раскрепощенность даже у людей с традиционными пристрастиями.

Вся эта катавасия, несомненно, способствует популярности фигуры сексуального маньяка в современной культуре. Завороженное отчетливо не сознаваемым, но смутно ощущаемым противоречием, сознание нынешнего человека снова и снова проецирует образы собственных недоумений, ужасов, соблазнов на киноэкраны и газетные полосы. Да и в жизни маньяки плодятся как грибы после дождя. Каждый заплеванный подъезд почитает за дело принципа обзавестись собственным сексуально озабоченным психопатом. Но если ты думаешь, что вышеописанным исчерпывается механизм продуцирования сексуальных маньяков, то ты ошибаешься. Есть еще один, не менее важный, фактор.

Моя Гретхен на прошлой неделе посещала психоаналитика с намерением посредством терапевтической болтовни на диване и погружения в непробудный гипноз излечиться от навязчивой идеи раздвоения ее собственной личности. Она, видишь ли, и сама, оказывается, повседневно недоумевает, кто же она все-таки в глубине души — просвещенная постструктуралистом дама или ведьма на помеле. Но психоаналитик вместо того, чтобы всю эту чертовщину сублимировать, почему-то долго говорил с нею о сексуальных маньяках, стараясь не смотреть в глаза. Из этих разговоров она почерпнула идею, что маниакальная сексуальность есть бессознательная месть за комплекс неполноценности. На это я ей заметил, что неполноценность — понятие относительное и тут следовало бы сперва задуматься о критерии полноценности. Если под таким критерием иметь в виду навязываемый сегодня на каждом шагу социальный долг сексуальной удачности или даже скорее — сексуального совершенства, то ведь он есть

результат определенной стратегии культуры, а следовательно, то же самое можно сказать и о коррелирующем с ним представлении о неполноценности. Это я в том смысле, что если сознание человека забито и поработано аскетическими ценностями, то вряд ли это способствует озабоченности собственной сексуальной неполноценностью, и стало быть, такому человеку и мстить-то не за что. Но вопрос надо поставить шире. Гретхен сбьяснила мне, что речь не идет непременно о сексуальной неполноценности. Например, человека обижали в детстве, травмировали в собственной семье и т. п. Разумеется, он вырастает и тоже начинает всех обижать и травмировать. Я не возражаю, так оно, наверно, и есть. Наука доказала. Но тут я вновь перескочил на постмодернистское помело и заметил Гретхен, что в этом-то и заключается двусмысленность любой, даже научной, констатации истины. Науке, может быть, представляется, что она просто описывает реальное положение вещей, просто констатирует: «Так есть». А на деле во всем этом скрыто работает императив, подталкиваемый анонимным импульсом власти: «Так должно быть». И поскольку мое рассуждение напомнило ей некоторые пассажи у Фуко, Гретхен со мной согласилась. Но если ты не понял, объясняю на пальцах и в последний раз. Отныне, благодаря растиражированным массовой культурой «научным» стереотипам, всякому известно, что, если тебя обижали в детстве, станешь маньяком. Но кого не обижали в детстве? И вот при воспоминании о полученных им от матери подзатыльниках человек убеждается в собственной предопределенности к тому, чтобы кромсать всех направо и налево. Я, может быть, и утрирую. Но с другой стороны — вдумайся: человек мстит за страдание, только если он убежден, что ни в коем случае не должен был страдать. Если бы он воспринимал страдание как естественный, допустимый, нормальный элемент существования, то этим предполагаемый механизм мести был бы в значительной степени блокирован. Именно в такой блокировке и заключалась, в частности, функция догуманистических религиозно-философских традиций. Они принципиально не стремились «устранить страдание», но превосходно умели вырабатывать способы истолкования, объяснения, использования, оправдания страдания в *своих* целях, к примеру, обращая месть на самого страдающего посредством понятия вины, как это интерпретировал Ницше. Только гуманизм отнесся к страданию как к радикальной бессмыслице и пожелал ее устранить. Но на практике это оборачивается тем, что сперва человеку прививаются гуманистические потребности, даже скорее — *претензии*, а потом он ставится лицом к лицу с неустранимой антигуманностью реальности. И это не блокирует, а провоцирует механизм мести: ибо вовсе не привычка к жестокости порождает жестокость, как раз наоборот — непривычка к ней. Месть в данном случае есть лишь изнанка утрированной чувствительности, ответная реакция сознания, переживающего собственное страдание преувеличенно интенсивно как раз потому, что оно изначально приучено к мысли о принципиальной недопустимости страдания как такового. А в сущности, все очень просто: не надо давать обещаний, которых не можешь исполнить.

Я слышал, тут в преддверии празднования милл... миллениума некоторые люди рыскают по белу свету в поисках жизнеутверждающей идеи, с которой можно, смело зажмурив глаза, переступить порог нового тысячелетия. И у меня есть такая идея! Господа, а не объявить ли нам садизм идеологией будущего, идеологией двадцать первого века? Заранее, чтобы потом не мучиться? Главное, видите ли, не в том, хотим ли мы этого на самом деле. Главное — найти лозунг, слово, способное сплотить миллионы. А коли слово найдено, можно не

сомневаться, что все в соответствии с ним и выйдет. Слово, видите ли, и вообще не какой-нибудь воробей, вылетит — и не поймаетшь, а в Евангелие от Иоанна сказано, что слово — это Бог. Я от всех этих мыслей пришел в душевное расстройство. С одной стороны, боязно на улицу выходить. С другой — поневоле открываешь в себе скрытые прежде возможности, неожиданные интересы. И пока Грехен мирно посапывает, почему-то обратив свое личико в одну сторону, а копы... я хотел сказать, ступни своих стройных ножек направив в другую, словно она насмотрелась на традиционную позу девушек с гравюр Харунобу, от которых я получал немалое удовольствие в бытность свою японским императором (то есть в данном случае я имею в виду — от гравюр), — я, облизывая раздвоенным языком прорезавшиеся клыки, хожу поблизости кругами, чешу когтями за ухом, и глаза мои мерцают недобрым блеском...

Постмодернист на дыбе

Качество корреспонденции, получаемой мною от завравшегося философа, в последнее время перестало удовлетворять моим высоким нравственным и эстетическим запросам. Пагубное влияние продажного агента мирового постмодернизма и по совместительству демона-суккуба под кодовой кличкой «Грехен» наложило свой непоправимый отпечаток на и прежде не особенно чистый и далекий от практичности разум оплакиваемого мною приятеля, а также на его угасающую способность суждения. Врет он все, не был он никаким японским императором. Парируя приступ неоправданного снобизма и неуместное упоминание гравюр некоего Хабунору, можно в дидактических целях сделать вывод о верности древней японской пословицы: «Красавица — меч, подрубающий жизнь». Что в переводе на наш родной язык подразумевает: баба — тот же черт, только без сердца. Мужчина в глубине души всего лишь зол, а женщина еще и дурна. Это не я сказал. Это не я повторяю чужих слов — я говорю их заново. Вдумайтесь, есть разница.

В нервном возбуждении я выскочил на улицу, намереваясь стряхнуть с утомленных антенн приставшую к ним ветошь «диспозитивов», хлам «вербализации» и комариное дребезжание какого-то там «реципиента». Стояло раннее прохладное утро. Всю ночь сильный ветер стремительно гнал по бездонному небу косматые, прореженные звездами облака, и теперь небо очистилось, умытое, притихшее, живое, и незаметно мне подмигивало. Я помню, прежде оно часто не только подмигивало, но и улыбалось мне, а иногда даже и разговаривало. Я помню это с самого детства — странное чувство: узнавание чего-то томительно своего, родного в, казалось бы, безразличной к тебе, случайной природной обстановке. Когда приближалась гроза, небо лиловело, деревья изо всех сил хлестали друг друга ветвями, ошалевшие птицы металась среди молний и камешки дождевых капель загнанно бились о крышу, — я знал: это мое. Когда мне случалось подыматься спозаранку, и я заставал в самой природе что-то непроснувшееся, дремлющее, ленивое, а пространство было пронизано легчайшим невидимым золотом, — я знал: это мое. И когда в сыром небе сгущались сумерки, и вороны цеплялись за крючья голых ветвей, бесприютно и зло отпечатавшихся на облаках, и уютный, шершавый крик этих птиц превращал мир в гулкую, загадочную воронку, где скрыты чудеса и шевелится непонятная жизнь, — я снова знал: это мое. «Родина», — произносил я доверчиво и без волнения. Это было чувство нерасторжимого союза с бытием, заключенного мною в каком-то незапамятном прошлом, наверное, в том самом, когда меня еще и на свете не было. Не понаслышке и не из курса патрулогии выучил я слово «вечность» и потому до сих пор произношу его не как высокопарный раритет, неуместный на постмодернистской оргии, а как собственный адрес. «Вечность» — это отзывается в моей голове приветливой фразой из обихода повседневности: «Проходите, устраивайтесь поудобнее, вот здесь я

живу». И я скачу злым, восторженным мячиком по исстрадавшейся земле. Denn ich liebe dich, o Ewigkeit!

Погруженный в воспоминания, я и сам не заметил, как очутился в старом, грязном парке. Мне сразу понравилось, что он старый и грязный. Я узнал место своих первых мистических экстазов. Я влюбленно глазел на плавающий в лужах мусор. Но вдруг мои расслабившиеся антенны уловили тревожную пульсацию чьих-то мыслей. «В присутствии матери, — услышал я, — трех маленьких девочек раздели догола и подвергли изощренным пыткам. Их поджаривали на раскаленной решетке, видимо — той, что называлась *catasta*, а потом еще бросали в печь и окунали в кипящую смолу. Самую маленькую привязали к колесу и долго били палками, пока она не превратилась в окровавленный кусок мяса. Девочкам было двенадцать, десять и девять лет. Звали девочек Вера, Надежда, Любовь». Все еще находясь под впечатлением последнего письма моего друга-философа, я сперва подумал, что стал невольным свидетелем фантазий местного сексуального маньяка, вспоминающего содержание одного из тех фильмов, на обложке которых пишут в качестве рекламы: «Сцены беспредельной жестокости!» «Пора уносить ноги», — решил я про себя, чувствуя холодок в спине, и огляделся. Но никого не заметил, кроме какого-то невзрачного хлюпика с печальными глазами, своим внешним видом не внушавшего никаких особенных опасений, а разве что некоторую брезгливость. Знаю я эту декадентскую породу — этакий «стареющий юноша», поэт, наверное. Ох, люблю я поэтов. Забавный народ. Мол, устал я шататься, промозглым туманом дышать, в чужих зеркалах отражаться и женщин чужих целовать. Ударение на слове «чужих». Я почувствовал себя в безопасности — тем более, что хлюпик почему-то упорно не замечал моего присутствия, хотя и сверлил воздух своим проникнутым вельтшмерцем взглядом прямо в моем направлении. Как будто я — пустое место или бесплотный дух! Ко всему прочему выяснилось, что его интерес к сценам беспредельной жестокости носит сугубо профессиональный характер, ибо по профессии молодой человек оказался филологом-классиком. Упоминанная сцена с тремя девочками разыгралась не в каком-нибудь Дахау, а в сравнительно цивилизованный период правления императора Адриана. Девочки эти — святые мученицы Вера, Надежда, Любовь, а мать их — святая София. Я наострил антенны и стал слушать дальше.

Что с сегодняшней точки зрения представляется в этих людях совершенно невероятным, но все же завидным? Их *неуязвимость*. У них и в самом деле получалось вынести такое и не сломаться. Ни христианские мученики, ни античные мудрецы, подвергавшиеся не менее чудовищным пыткам, чем заключенные концлагерей, не подымали шумихи по поводу нарушения прав человека или преступлений против человечности, не бежали жаловаться правозащитникам из хельсинкских групп. Да и не было у них никаких правозащитников. Им вообще было несвойственно, неведомо нынешнее истерически-сентиментальное отношение к собственному страданию. Античный философ реагировал на страдание апатично, про себя думая, что мудрец будет счастлив и в быке Фаларида. Что касается христианских мучеников, то они с точки зрения современности вообще выглядят какими-то мазохистами, страдающими суицидальным синдромом. Мученичество для них — не просто издержки избранного ремесла, а скорее наиболее достойное и очень желательное завершение карьеры. «Слава» — вот слово, применяемое ими по отношению к собственным мучениям. Конечно, поведение африканских циркумвеллионов, гонящихся с дубинами за римскими чиновниками в надежде подвергнуться мученической кончине, уже и тогда считалось дурным тоном, если не ересью. Но это при том, что за ортодоксальную норму шодил пафос Игнатия Богоносца: «Оставьте меня быть пищею зверей и по-

средством их достигнуть Бога. Я пшеница Божия: пусть измельют меня зубы зверей, чтоб я сделался чистым хлебом Христовым... Простите мне; я знаю, что мне полезно... Огонь и крест, толпы зверей, рассечения, расторжения, раздробления костей, отсечение членов, сокрушение всего тела, лютые муки дьявола придут на меня, — только бы достигнуть мне Христа». А попроще нельзя? Как-нибудь полиберальнее, поцивильнее, погуманнее? Такое впечатление, что та древняя культура вырабатывала в качестве наиболее популярной идентичности поведенческий тип неуязвимого, самодостаточного человека. А сегодня — не пришли ли мы к противоположному? Не кажется ли нам подобный экзистенциальный проект неуязвимости заведомо неправдоподобным? Все мы сызмальства прочитываем, к примеру, «Палату № 6» и убеждаемся, что неуязвимость хороша лишь в качестве умозрительной схемы и в сравнительно спокойной обстановке, а в мало-мальски пограничной ситуации реализовать эту схему не удастся, сразу ощутишь всю безысходную глубину собственной уязвимости. При сопоставлении с тогдашними мудрецами и мучениками не оказываемся ли все мы заведомыми пораженцами, знающими, что где-то в мире скрыта та самая оруэлловская комната 101, а в ней — то, на чем каждый из нас сломается? Разве мы не знаем, что любого человека можно раздавить, вопрос лишь в степени давления и в изощренности приемов? Разве мы не вызубрили «азбучную истину» по Брехту: «Азбучная истина звучит так: с тобой справятся»? И вот представим себе, — не из кровожадных наклонностей, а для сравнения, — постмодерниста на дыбе. Что он может противопоставить этому? Разве что расхожий стёб, это вечно преследующее его желание поприкалываться по поводу и без повода? Мол, нет в жизни ничего абсолютно серьезного, вообще само противопоставление серьезности и игры умерло для современности. Но почему-то мне кажется, что на дыбе ему будет не до приколов. Потому что к собственной боли, как правило, относится абсолютно серьезно. Боль ведь не миф и не интерпретация, а неустранимая самоочевидность, по крайней мере — в тот момент, когда ее испытываешь. И вот тут в голову закрадывается сомнение: а не честнее ли мы, чем те мудрецы и мученики? Может быть, остаться беспомощными, лишеными надежды, не уметь ничего противопоставить истине нашего поражения, превратиться в утратившее достоинство, захлебнувшееся собственной позорностью существо и есть наиболее адекватный способ до конца исчерпать человеческий удел? Может быть, и в самом деле лишь тому дано понять и эту «глиняную жизнь», и нынешнее «умиранье века», «в ком беспомощная улыбка человека, который потерял себя»? Когда к скованному титану ежедневно возвращается попахивающий падалью и гнилью орел и разрывает приученную к боли печень, не утрачивает ли титан свою титаническую мощь и не усыхает ли до гораздо более скромных размеров? Сколько можно прикидываться. Как ни скрывай тузы, на стол ложатся валеты неизвестной масти. Я ведь говорю о самом себе. Мне недостает легкомыслия, чтобы стать палачом. Я проникнут серьезностью жертвы. Каждую минуту я жду какого-то удара, после которого все, что мне было до сих пор известно, утратит значение. Я стану чем-то новым. Трусливой, воющей тварью. Блаженны вы, еще верящие в свое достоинство, позволяющие своим связкам все звуки, помимо воя. Разве вой *позволяют*? Он вырывается сам, не спрашивая позволения. Требуя гуманности и соблюдения прав, не расписывается ли современный человек как раз в том, что больше не может сам быть основанием собственного достоинства? Потребность во внешних правах есть лишь симптом внутреннего краха. Абсолютная ценность каждой

личности проповедуется нынче именно потому, что в саму личность, в ее собственные, внутренние ресурсы, никто уже не верит. Именно разочарование, глубочайшее разочарование в личности заставляет изобретать внешние механизмы, придающие ей вид чего-то «абсолютно» ценного. Если бы не иллюзии и истерика, две вечных уловки человеческой поверхности, человечество осталось бы лицом к лицу с простой и очевидной правдой своего поражения.

Тут, конечно, можно возразить, что и в древности человек мог сломаться, и у стойков был свой Дионисий Перебежчик, а с другой стороны, и современный человек умеет порой проявить неожиданную стойкость. Но вопрос не столько в том, каков набор потенциально мыслимых в любую эпоху ситуаций, сколько в том, какая ситуация наиболее значима для данной культуры и почему. То есть какова скрытая стратегия культуры, способствующая этой значимости. Не является ли сегодня такой стратегией то, что постмодернист назовет недоверием к метарассказам, и не способствует ли как раз такая стратегия значимости и типичности ситуации поражения? С точки зрения этой тотальной подозрительности ко всем возможным объяснительным схемам, всем «самоочевидным» сценариям, вчитываемым прежней культурной традицией в бытие, не оказывается ли не только христианин или стоик, но и, скажем, участник Сопrotивления в экзистенциалистской интерпретации Сартра все еще втянутым в какую-то символическую игру, где есть свои «за» и «против», альтернативы, выбор между «гибелью» и «спасением» или «нравственным падением» и «героизмом», варианты ходов, а главное — заинтересованность в игре? И подобная интерпретация пограничной ситуации мешает разглядеть в ней поражение, даже способна истолковать поражение как победу? Но вот представим себе положение жертвы сексуального маньяка, которой не предлагается никакой альтернативы, никакого предательства или отречения, которая просто последовательно и неуклонно подвергается разрушению как самоцели. «Человека надо изобретать заново каждый день», — говорит Сартр. И вот мне интересно, в каком смысле такой жертве остается изобретать в себе человека? В какой позитивный сценарий она может встроить этот опыт собственного уничтожения, причем до конца убедительно для самой себя? И не есть ли маньяк в этом случае своего рода орудие истины, беспощадно вскрывающее тот чистый проигрыш, в который *может* быть превращено бытие любого из нас? Мешает нам главным образом то, что мы, как ни странно, всякий раз оказываемся незаинтересованными в игре, от которой зависит наше спасение. «Недоверие к метарассказам» заключается не в произвольной интеллектуальной придирчивости, а в неспособности поверить в них даже при желании и даже чтобы выжить. «Бог умер» — это ведь не значит, что Бога нет. Как известно, это значит совсем другое: даже если бы Бог и был, это бы ничего для нас не изменило.

Если задуматься, почему это так, то тут в голову приходит известный каждому, хотя, в сущности, очень странный, психологический опыт. Полагаю, всякий поймет, что такое *неубедительность правильного*. Почему-то в новоевропейской культуре господствует презрительное отношение к прописным истинам и общим местам. Это не значит, что с ними обязательно спорят, не значит даже, что с ними всякий раз не соглашаются по сути. Но, заслыв их, скучают. И вот это чисто эмоциональное состояние скуки как расхожая реакция на все заведомо правильное показательнее всего. Когда Бодлер говорит, что нет ничего прекраснее общих мест, то это само по себе звучит как раз как некий парадокс, а вовсе не общее место. Но чтобы действительно вообразить себе неподдельное удовольствие и живой восторг от про-

писных истин, нужно представить себе человека древних культур, например — античного человека. Я долго силился понять, почему такого автора, как Ксенофонт, в котором нет ничего, кроме искренней назидательной тягомотины, называли «аттической пчелой». Ни меда, ни жала я у этой пчелы не находил. Ну конечно, образцовость стиля, но не в том ли дело, что в античной культуре, насквозь риторической, насквозь пропитанной пафосом убедительности и потребностью убедить, человек испытывал восторг при возвращении ко всему, что казалось ему неопровержимым, аксиоматически правильным, ведь именно это и могло быть фундаментом всякого убеждения, всякой риторической деятельности? И собственной задачей в культуре он считал не создание чего-то абсолютно нового, оригинального, неповторимого, как это происходит уже в Новое время с его страстью к новаторству и индивидуальности. Тогда задачей было «своеобразно говорить общепринятое», согласно формуле Горация, воспроизводить традиционные стереотипы культуры, может быть — по-разному их комбинировать, исчерпывая возможное число их сочетаний, но вовсе не стремиться постоянно надстраивать над ними уходящую в бесконечность череду все новых открытий и достижений в области духа. Дело тут еще и в первоначальной наивной рациональности, в самоочевидном *авторитете разумности*. Это черта не только греко-римской культуры, но и индийской или китайской. Во всех указанных традициях можно встретить описания совершенно немислимых и нелепо выглядящих для современного человека ситуаций, когда простое логическое доказательство меняет жизненную позицию человека, заставляет его даже чувствовать иначе. Например, у человека умирает близкий родственник, мать, жена, ребенок. Естественно, он предается горю. Но тут появляется философ и начинает читать ему рацеи о том, что ничего особенного не случилось, все люди смертны и горевать тут нечего, ибо горе абсолютно неразумно, не приносит практических результатов, не воскрешает мертвого. Ведь для наивной рациональности даже в этой области самоочевидным является критерий практической пользы. Как говорится в буддийской «Сутте о стреле»: «Если бы тот, кто скорбит как безумный, себя терзая, выигрывал этим хоть что-то, то же делал бы мудрый». Как будто человек решает, скорбеть ему или нет. Так сказали бы мы. Для нас подобные нотации прозвучали бы как издевка. Но в упомянутой истории все заканчивается ровным счетом наоборот. Философу удается переубедить и успокоить страдающего человека. Потому что если задуматься, то философ говорит на самом деле логично и разумно. Вроде бы он прав. Но на нас это все равно не подействовало бы. И вот это и есть неубедительность правильного. Мы предпочитаем отстоять неразумность своих подлинных чувств даже ценой безутешности.

Дело тут в упомянутом стремлении человека новоевропейской культуры адекватно пережить всю неповторимость и уникальность своего собственного существования. Стремление это усугубляется на протяжении новоевропейской истории и в конечном счете приводит к тому, что индивидуальность эмансипируется от всех мыслимых и немислимых связей и уже не только не хочет, но и не может воспринимать себя как часть какого-то общего экзистенциального сценария или метарассказа. Это совершенно отчетливо видно не только в пафосе собственной единичности, свойственном Кьеркегору и экзистенциалистам, но и в бунте Белинского против Гегеля или стремлении Ивана Карамазова «вернуть билетик». Индивид считает оскорбительным, если его воспринимают как какой-нибудь винтик, пускай даже в самой совершенной мясорубке, и требует у Бога и вселенной

оправданий. Впрочем, только затем, чтобы тут же их с негодованием вернуть отправителю как заведомо неубедительные. Это ситуация, противоположная той, при которой возможной и эффективной оказывается стоическая схема теодицеи, усвоенная Августином, где частное зло оправдывается интересами мирового целого и только способствует общей гармоничности миропорядка. Сегодня же вообще любая интеллектуальная схема ощущается как нечто заведомо недостаточное. Реальность, мол, всегда богаче и всю ее в схему не втиснешь. Но в прошлом существовали целые культуры, которым все же удавалось втиснуть реальность в схему и таким образом какое-то время терпеть ее, не устраивая скандалов. Для нас это невозможно, но это еще не значит, что это невозможно вообще. Если помимо этого вспомнить о психологизме, присущем новоевропейской индивидуальности, то становится ясно, почему, например, стоицизм кажется современному человеку неправдоподобным. В пограничной ситуации для него совершенно естественно задуматься о том, что *именно* он на самом деле *чувствует*. И тут обнаруживается, что на самом деле ему больно и страшно. Стоическую апатию он мог бы лишь симулировать. Стоик же ничего не симулировал и по следующим причинам: во-первых, эллинистический индивидуализм был, можно сказать, типологичен, то есть личностная реализация воспринималась как воспроизводство некоего общего поведенческого типа, ради чего нужно было безоглядно жертвовать несоответствующими этому типу непосредственными чертами собственной индивидуальности, так что вопроса *именно* о своем «я» в принципе и не возникало, что, кстати, есть лишний пример вышеупомянутой античной тяги к «общепринятому», а не к уникальному и новаторскому, как у нас; во-вторых, не возникало и вопроса о подлинных *чувствах*, ибо задачей стоика было не осознание своего эмоционального состояния, не новоевропейская рефлексия, а сохранение убедительной для всего окружающего враждебного мира невозмутимой позы, означавшей победу над ним. То есть это была *риторическая* по своему существу задача. Не стоит недооценивать и тот факт, что и христианство формировалось в недрах античности...

Тут мои антенны затрещали, зацепившись за электропровода, и я не уловил дальнейших размышлений филолога. Пока я выпутывался, он и вовсе исчез из виду. Невдалеке, на облупившейся скамейке, я заметил забытую им книгу. Я взял ее в руки и, открыв, прочитал заглавие: «Прометей Прикованный».

Молчание ягнят

Вернувшись домой, я вновь просмотрел корреспонденцию, полученную мною от философа-антигуманиста, и заметил в его рассуждениях если и не промах, то, во всяком случае, недоговоренность. В самом деле, он как-то мимоходом упоминает христианский гуманизм, не давая себе труда разобраться его подробнее, а ведь именно эта форма гуманистической идеологии оказывается решительно неуязвимой для его критики. Ибо христианский гуманизм не страдает тем самым недомыслием о метафизике, которое опрометчивый философ инкриминирует гуманизму как таковому. Стоит только допустить, что гуманистические ценности укоренены в метафизической структуре бытия, что Бог собственной персоной стоит на их стороне и после Второго Пришествия начнет активней внедрять их в преобразенные массы, как все построения моего друга рушатся, словно карточный домик. Но вопрос, который он должен был бы поставить сам, а теперь я делаю это за него, звучит так: а действительно ли этот гуманизм *христианский*? Нет ли и здесь того недоразумения, о ко-

тором Розанов написал по поводу православных попов: «Им христианство просто представляется добрым явлением»? И не стоит ли здесь поразмыслить над словами, сказанными не помню кем — всех ведь не упомнишь, — но имеющими самое непосредственное отношение к проблеме: «Христианство может обойтись без гуманизма, но гуманизм не может обойтись без христианства»? Причем, если не ошибаюсь, слова эти говорились даже *за* гуманизм, мол, давайте прибавим к гуманизму христианство, то-то будет хорошо. Но стоит просто повторить первую половину этой же фразы, чтобы понять, почему это невозможно. Может быть, гуманизм и заинтересован в таком союзе, но вот христианство — нет. Поскольку христианская догматика предполагает возможность и даже неизбежность окончательной победы над злом и устранения его из миропорядка, возникает искушение истолковать такую победу на гуманистический лад, ведь для гуманизма злом является всякое человеческое страдание как таковое. И тогда неизбежная мечта гуманистов «устранить страдание» получает надежду на осуществление. Вся загвоздка в том, что возможность такой интерпретации христианства еще не означает ее адекватности, ибо изначально христианство не рассматривало всякое страдание как зло. Поэтому победить зло не означало для аутентичного христианства устранить страдание. Можно сказать, как раз наоборот, если вспомнить о функции *ада* в христианском мировоззрении.

Невозможно понять происхождение идеи ада, если рассматривать ее как прискорбный симптом забитого и запуганного сознания. В том-то и дело, что, если посмотреть на этот вопрос, например, с позиций ницшеанской методологии, обнаружится, что идеи, как и прочие духовные феномены, выражают неосознанные витальные потребности. В данном случае это означает, что христианин догуманистической эпохи чаще всего *нуждался* в идее ада для *удовлетворения* собственного нравственного чувства. В раннехристианской литературе то и дело натыкаешься на впечатляющие описания страданий грешников, сопровождаемые одобрением со стороны праведников и советом поддать жару. Из подробного реестра адских пыток в «Апокалипсисе Петра» процитирую лишь один отрывок, показательный именно в этом отношении: «И я увидел убийц и их сообщников, брошенных в некоторое узилище, полное злых гадов; те звери кусали их, извивающихся там в этой муке, и черви их облепили, как тучи мрака. *А души убитых, стоя и наблюдая наказание убийц, говорили: „Боже, справедлив твой суд“*». Насколько типична такая реакция, можно убедиться, лишний раз перечитав дышащий неподдельным палаческим ликованием финал тертуллиановского трактата «О зрелищах» либо заглянув в исполненный самой что ни на есть святой простоты диалог Гермы с «ангелом покаяния»: «Я сказал ему: — „Столько ли времени мучатся оставившие страх Божий, сколько наслаждались удовольствиями?“ — „Столько же времени и мучатся“, — сказал он. *„Мало они мучатся, — говорю я, — должно бы предавшимся удовольствиям и забывшим Бога терпеть наказания в семь раз более“*» («Пастырь», 3, 6, 4). Между тем в данном случае речь идет лишь о земных страданиях. Но это «мало они мучатся», кажется, что-то проясняет в христианской любви к врагам. Собственно, что такое чувство справедливости, как не *бескорыстная* месть, ведь эти «предавшиеся удовольствиям» люди даже и не были личными врагами Гермы? Но обратимся наконец непосредственно к Писанию. Восхитительна сцена из Откровения (6: 9 — 11): «И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и *не мстишь живущим на земле за кровь нашу?*» Но ответ еще хлеще: «И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудики их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Такое впечатление, что речь идет о выполнении производственного плана по заготовлению праведников. Эти простаки из-под жертвенника интересуются, когда отомстят за *их* убийство, а им в ответ: по-

ждите, мол, пока и братьев ваших убьют. В том-то и фокус, что по тем временам здесь не могло быть усмотрено ничего циничного. Что касается безоглядной любви к врагам и чистосердечного прощения, то здесь пищу для размышлений может дать рассуждение апостола Павла (Рим. 12: 17 — 21). Оно раскрывает мотивы, по которым не должно «мстить за себя», но, напротив, «не воздавать злом за зло» и «быть в мире со всеми людьми». Казалось бы, тут и не надо никаких мотивов, одной безграничной любви достаточно. Ан нет. «Итак, если враг твой голоден, — цитирует в альтруистическом порыве апостол, — накорми его; если жаждет, напои его...» Ведь какой добрый человек, так весь и лучится святостью! Однако после того, как врага напоили и накормили, пришел черед, как в той детской сказке, напугать его. «Ибо, делая сие, — раскрывает свои секреты апостол, — ты соберешь ему на голову горящие уголья». Вот те на! Мы-то думали, что христианство есть нечто простодушное, голубоглазое, пушистое, а оно как ощерится всякими там «горящими угольями»! Вот тебе и «молчание ягнят»! Рассуждая простодушно и голубоглазо, следовало бы прийти к каким выводам? Если я действительно люблю своего врага, если я действительно его прощаю, от всего сердца желаю ему только добра, не хочу, чтобы он страдал, я уж лучше не стану ни поить его, ни кормить, лишь бы этими жалкими земными благодеяниями не усугублять его мук в вечности. Не видно ли здесь, что христианское прощение есть в собственном смысле лишь опосредованная форма мести, что христианин отказывается от личного участия в возмездии врагу, передоверяя все Богу, но не от *желания*, чтобы враг все же был наказан? Но в том-то и состоит изумительный нюанс, абсолютно непостижимый для современного сознания, что как раз такому желанию приписывается статус нравственно правильного, не только оправданного и допустимого, но должного, справедливого. Когда читаешься разглагольствований Ницше о *ressentiment* в христианстве, скажем, по поводу вышеупомянутого пассажа из Тертуллиана, создается превратное впечатление, что христиане были какими-то подпольными людьми, дышавшими плохо скрываемой злобой на весь мир. Но все как раз наоборот. Все описанные только что чувства следует мыслить переживавшимися с чистой совестью, с легкой душой, с радостным сознанием собственной правоты. Это-то и было *нравственно* для тогдашних людей.

И тут становится ясно, почему христианство нельзя гуманизировать и почему так называемое христианство гуманистической эпохи всякий раз спотыкается на идее ада. Сегодня при допущении существования ада нужно искать оправдания для Бога, потому что это кажется несовместимым с его благостью. Под благостью-то понимают гуманность. Но ранний христианин скорее почувствовал бы необходимость в оправдании Бога, если бы убедился, что ада нет. Ибо этим был бы нарушен фундаментальный баланс в нравственном миропорядке. А по нынешним временам Жорж Санд заявляет, что истинные христиане не верят в ад, Бердяев где-то пишет, что не желает очутиться в раю, если там же не будет Пушкина и Ницше, — кстати, это желание можно было бы и удовлетворить, отправив всю троицу *не* в рай, — а уж Достоевский, Достоевский, этот светоч христианского гуманизма! Ну конечно же, зачем думать, что ад есть какой-то вульгарный застенок, трансцендентный концлагерь с надписью над воротами: «И меня сотворила вечная любовь»? Конечно же ад надобно трактовать духовно — как «страдание от невозможности больше любить», как муки совести и т. п.! Мне, может, возразят, что так понимал ад уже Ориген («О началах», 2, 10, 4), да и у некоторых более поздних мистиков можно найти схожие идеи. Про Оригена я вообще молчал бы, настолько это во всех отношениях нестандартная фигура. Но, конечно, надо признать, что сперва у отдельных представителей христианского сознания, слишком обогнавших свое время, появляется психологическое истолкование ада и мечты о всепрощении, а в гуманистическую эпоху это оказывается уже единственно терпимой, приемлемой формой, под которой идея ада вообще может быть допущена. Но надо признать и то, что

такое толкование не подразумевалось христианством изначально, что оно есть лишь результат развития христианской традиции и что оно набирает мощь как раз тогда, когда христианство ее утрачивает. Достоевский же поистине гениален, ибо он ухитрился не просто совместить идею ада с идеей всепрощения, но фактически их отождествить! У него Тихон (где-то в набросках к «Бесам») уверяет, что раскаявшаяся грешная душа на том свете как раз оттого и мучится, что Бог ее прощает и отворяет ей объятия. То есть Бог наказывает именно тем, что прощает, прощение и есть ад. Я от такого неожиданного оборота дела прихожу в восторг, но в то же время невольно задумываюсь, а не лучше ли концлагерь, по крайней мере — определеннее, честнее. Что за удовольствие Богу мучить, благодетельствуя, и благодетельствовать, мучая? Достоевский — это вообще образец христианства во всех отношениях. Сдается мне, осадок от петрашевства и чтения Шиллера он протащил с собой на самые вершины религиозного умозрения. Чего стоит, к примеру, этот перл христианской мысли: «Если Бога нет, то все дозволено», высказанный, правда, Иваном Карамазовым, но одобренный старцем Зосимой! В перле ко всему прочему нет ничего, что не было бы сказано Ницше в полемике с английскими утилитаристами. Если же по существу, то я не могу понять: его что больше пугает — то, что Бога нет, или то, что все дозволено? Вседозволенность — разве это некая ужасная возможность, разве это не простой факт? И не демонстрирует ли эта фраза суть компромисса под названием «христианский гуманизм»: им не столько нужен Бог как таковой, сколько некая трансцендентная гарантия того, что не все дозволено? И вот для того, чтобы такая гарантия существовала, они импортируют в свой гуманистический космос Бога, но только в нужных им количествах. И потом еще выдумывается убедительнейший критерий, с точки зрения которого инквизиция лишняя раз клеймится в глазах заранее согласного прогрессивного человечества. Мол, нужно только представить, поступил бы так Христос или нет, и сразу все станет на свои места. Я недоумеваю, он что — не читал про Второе Пришествие, Страшный Суд, геенну огненную? Геенна — это ведь пострашнее костра инквизиции. Костер скоро догорит, а геенна — навсегда, навечно. Стоит вспомнить, как смачно и проникновенно расписывали ее средневековые теологи, например, Дионисий Каргузианец: «Вообразим, что пред глазами нашими жаром пышущая, раскаленная печь и в ней человек нагой, и от таковой муки он никогда не будет избавлен. Не сочтем ли мы и мучения его, и даже одно только зрелище их невыносимыми? Сколь жалким покажется нам сей несчастный! Так помыслим же, как, попавши в печь, метался он туда и сюда, каково было ему выть и вопить, каково *жить*, как сжимал его страх, какая боль пронзала его, доколе не понял он, что невыносимой сей казни его не будет конца!» Вот это гораздо больше, чем страдания жертвы сексуального маньяка, напоминает мне ситуацию чистого проигрыша. На таком фоне костры инквизиции не то же ли самое, что свечка по сравнению с солнцем? И не в том ли единственная ошибка инквизиторов, что они брали на себя божественные функции, как раз не следуя в этом заповеди апостола: «Дайте место гневу *Божью*»?

И если догматическое христианство сегодня утратило прежнюю монополию над культурой, то не потому ли, в частности, что оно не соответствует гуманистическим потребностям нынешнего человека, что оно предполагает прямо антигуманистические потребности в аде и апокалипсисе? Способен ли сегодня кто-нибудь всерьез желать ада и апокалипсиса как условия собственного нравственного удовлетворения? Не заявляют ли Федоров и Бердяев, что апокалипсис — это лишь предупреждение, а не фатум? Не признается ли тот же Бердяев, что испытывает кошмар при мысли, что ортодоксы правы? Не целует ли Христос Великого Инквизитора у Достоевского? А у Блейка не целуется ли Бог с дьяволом, да еще дарит ему выпивку и новую одежду? Не слишком ли мы сентиментальны и чувствительны для настоящего христианства? Нам все хотелось бы, чтобы истина вела себя с нами как-то либеральнее и во-

обще по большому счету просто была бы тем, что нам нужно. Между тем истина является человеку как некая фатальная данность, и он обречен на нее, как обречен на смерть. Если современный человек хочет гуманности и доброты к себе, а не пылающих печей концлагеря любви, то это его проблемы, а христианство здесь ни при чем. В религии вообще нет доброты. Может быть, добро, благо, совершенство, любовь там и есть, а доброты — нет.

Человеческое страдание как таковое не было для первоначального христианства камнем преткновения. Люди ведь грешники, им и полагается страдать. Страдание объяснялось посредством понятия вины. Проблемой могло показаться страдание праведника. Уже в иудейской традиции это видно совершенно отчетливо, скажем, на классическом примере Иова, который ведь возмущается не просто потому, что страдает, а потому, что страдает, будучи праведным. Позже Августин деловито обсуждает, по каким именно причинам Бог допускает изнасилования монахинь. И между прочим — много причин находит. В конечном счете и праведники ведь не безгрешны, «едва спасутся», так что всегда можно сослаться на первородный грех. Страдание — это то, что человек всегда уже заранее заслужил. Если представить себе человечество в эсхатологической перспективе, в окончательной поляризации на праведников и грешников, то не окажется ли, что решительно *все* человеческое страдание оправдывается и утверждается христианством, раз оно предполагает потребность в вечных мучениях грешников, а с другой стороны, способно удовлетворительно для самого себя объяснить временное страдание праведников, более того — разглядеть в нем «славу» и вдохновить их на неподдельный пафос мученичества? И не есть ли это противоположность гуманизма, который хотел бы, если бы это было возможно, устранить из бытия всякое человеческое страдание? Например, проблема теодицеи, сегодня прежде всего подразумевающая вопрос: «Слезинка ребенка или мировая гармония?» — тогда ставилась вовсе не в отношении к страданию человека. Не чья-то боль, а возможный ущерб для благости Бога интересовал тогдашних теологов, и они подробно, в эпическом тоне разбирали этот вопрос наряду в вопросах, касающихся ангельской иерархии и т. п. Если Бог допустил зло, рассуждали они, то Он либо не абсолютно благ, либо не всемогущ. И решали этот интеллектуальный ребус во всех возможных комбинациях. Страдание при этом могло вообще не иметься в виду, ибо гораздо более очевидной формой зла, злом как таковым был *грех*, а вовсе не страдание.

Ныне проблема теодицеи обрела ореол неразрешимости. Мол, «вечный», «проклятый» вопрос, на который разум человеческий никогда не сможет дать ответа. И вот чем больше говорят о проклятой вечности этого вопроса, тем больше такие разговоры звучат как заезженная пластинка, тем сильнее чувство мутной скуки, а вовсе не духовной встревоженности. Проблема теодицеи превращается в предлог для банальных вариаций одних и тех же ходов размышления, благополучно приводящихся к одному и тому же предвкусшаемому тупику. Как правило, все заканчивается совершенно пустым недоумением. Иногда ему придается оттенок возвышенного, но тоже вполне банального бунтарства. Что касается меня, то я эту проблему решил. Единственно возможное оправдание Господа Бога заключается вовсе не в том, что Его не существует, согласно убийственно остроумной теодицее Стендаля. Единственно возможное оправдание Бога заключается в нас самих. Проблема теодицеи подразумевает неизбежный конфликт между Богом и моралью. Но нельзя разрешить эту проблему, пытаясь затушевать снова и снова проступающие пятна на моральной репутации Бога. Нужно пойти противоречию навстречу, радикализировать его. И потом попытаться осознать, что для нас важнее — Бог или мораль. Только *личным выбором* эта проблема и решается. Кто-то выберет мораль, подобно Миллю. Тот, помнится, заявлял как-то, что если бы убедился в несогласии Бога со своими собственными моральными убеждениями, то послал бы Бога на все четыре стороны. Но кое-кто поступит противоположным образом. Я вспоминаю при этом о неврастенике, с которым мой друг-философ проходил

совместную стажировку в монастыре августинцев. Впоследствии он научился сдерживать свои припадки, стал знаменитостью, написал несколько страстных теологических трактатов и пролил немало крови. До сих пор незрячий дух этого кряжистого теолога витает под куполом Св. Петра и то восклицает: «Папа — чертова свинья!», то бьет себя в грудь: «Это я, Мартин Лютер, убил этих крестьян! Их кровь — на моей шее!» И вот он-то, сдается мне, сделал противоположный выбор, когда в одном из своих неистовых сочинений написал: «...разум хочет ощупать, увидеть, понять, каким это образом Бог добр, а не жесток. А понятно это было бы ему только в том случае, если о Боге говорили бы вот так: Он никого не ожесточает, никого не осуждает, а всех милует и спасает, и уничтожена будет преисподняя и отброшен страх перед смертью, никто не станет бояться никакого возмездия! Оттого-то разум так и спорит, чтобы оправдать Бога и отстоять Его справедливость и доброту. Но вера и дух судят иначе; они верят, что Бог добр, даже если Он погубил всех людей». Подобная постановка проблемы теодицеи противоположна традиционной. Обычно Бог оценивается с точки зрения моральных критериев, и этим скрыто подразумевается, что существуют некие моральные критерии, *автономные* от Бога. То есть существует автономная мораль, которой всякий должен соответствовать, будь то Бог или человек. Но у лютеровской позиции противоположная подоплека. Бог делает что-либо не потому, что это — благо само по себе, то есть санкционированное автономной от Него моралью; наоборот, то, что Он делает, в любом случае является благом, потому что это делает Бог. Ибо, если Бог существует, — а в противном случае ставить проблему теодицеи бессмысленно, некого оправдывать, — то Он есть некое во всех отношениях преимущественное бытие и Сам является единственным критерием блага. Тогда тезис: «Бог не может сделать зла», — означает, например, не то, что Бог не может причинить боли человеку, но что, если Бог это делает, то боль — благо. Гуманность Бога подобным сценарием не предполагается. Но Его благодать остается в неприкосновенности. Непросто жить в таком мире, но кто сказал, что это должно быть просто? Вот и сам Лютер соглашается: «Кого это не поражало? Я и сам не раз бывал поражен до глубины, до бездны отчаяния и думал, что лучше бы мне никогда не родиться, пока не узнал, сколь близко это к благодати». Помню, однажды, потрясенный невыносимостью всей этой ситуации, я сидел за обеденным столом вместе с меланхолическим теологом по фамилии Шварцерд и пропускал мимо ушей бравурные шуточки уже поседевшего к тому времени Лютера. «А что бы вы сделали, учитель, — вдруг спросил кто-то, — если бы наверняка знали, что завтра наступит Конец Света?» Лютер исподлобья взглянул на небо и пробормотал: «Я бы посадил в своем саду дерево». Тогда я не понял, что он хочет этим сказать. Но сейчас мне слышится в этих словах человечность. Не избитая и слащавая человечность, умиляющаяся собственному почину «посадить дерево, вырастить ребенка и написать книгу», но элементарная, простая человечность — понимание того, что ты обречен оставаться самим собой, что бы вокруг ни происходило.



ИРИНА СУРАТ



ПУШКИНСКИЙ ЮБИЛЕЙ КАК ЗАКЛИНАНИЕ ИСТОРИИ

...и русская литература... и Россия — все это, так или иначе, ПУШКИНСКИЙ ДОМ без его курчавого постояльца...

А. Битов, «Пушкинский дом».

Пушкинский юбилей позади. По миновении года отгремели его последние залпы, и в наступившей тишине хочется спросить: а что, собственно, мы праздновали? в чем суть грандиозных торжеств, которые по своей помпезности могут сравниться разве что с юбилеем 1937 года? Нисколько не подвергая сомнению солидный культурный навар от этого общегосударственного мероприятия, в ходе которого многое было профинансировано, издано и отреставрировано, смею все-таки поделиться ощущением, что патологическая надсадность последних пушкинских торжеств прямо свидетельствует о какой-то серьезной общественной болезни.

Каждое пушкинское празднование в нашей истории имело свой особый стиль и свое содержание — соответственно стилю и содержанию эпохи. Открытие опекушинского памятника в Москве в 1880 году, положившее начало традиции пушкинских дней, обернулось важнейшим событием для русской общественной мысли и для русской литературы — прежде всего благодаря речи Достоевского. К ней по-разному можно относиться — как к откровению о значении Пушкина для России или как к «агрессии идеологической» (А. Битов), но важно вспомнить, какое действие имела она тогда, в непосредственном ходе общественной и литературной жизни. Присутствовавший при всем Н. Н. Страхов описал впоследствии торжества с их содержательной стороны, описал, как он выразился, «внутренний ход той драмы»¹, которая на них разыгралась, — идейной драмы самого высокого накала, в которой имя Пушкина сопрягалось с исторической судьбой России. Описание Страхова позволяет почувствовать, что пушкинский праздник 1880 года был исполнен для его участников животрепещущего смысла, что происходившее переживалось ими как событие поистине историческое и одновременно личное. Как сформулировал позже Борис Зайцев, «будто русские просвещенные люди того времени ощутили, что созрел Пушкин для духовного представительства России»². Произнесенные в те дни речи И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, И. С. Аксакова, А. Н. Островского, при всем различии позиций, объединялись двумя свойствами — силой и насыщенностью мысли и реальной духовной связью с Пушкиным.

Сурат Ирина Захаровна — литературовед, пушкинист. В 1981 году окончила филологический факультет МГУ; кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН. Автор более семидесяти работ, в том числе книг «Жил на свете рыцарь бедный...» (1990), «Пушкинист Владислав Ходасевич» (1994), сбораний статей о Пушкине «Жизнь и лира» (1995), «Пушкин: биография и лирика» (1999), значительная часть которых публиковалась на страницах «Нового мира». Из числа последних см. ее статью о гибели Пушкина «Да приступлю ко смерти смело...» («Новый мир», 1999, № 2).

¹ Страхов Н. Н. Литературная критика. М., 1984, стр. 168.

² Зайцев Б. Памятник Пушкину. — В кн.: «Пушкин в эмиграции. 1937». М., 1999, стр. 271.

Вот этой-то реальной духовной связи и вообще какой бы то ни было содержательности не наблюдалось в процессе нынешнего юбилея. То, что происходило в Москве 5 июня 1999 года, во время ударных мероприятий у опекушинского памятника, воспринимается как печальная пародия событий 1880-го. «Уважаемые москвичи!» — обращался мэр с трибуны для почетных гостей. Обращался неизвестно к кому, поскольку улицы, прилежащие к памятнику, были перекрыты и потому пустынные, а «народная тропа» изображалась ковровой дорожкой через Тверскую, по которой шествовали мэр с премьером, чтобы «возложить цветы» руками курсантов, замедленно чеканящих шаг. Гремели оркестры и пели хоры, и все-таки это действие сильно напоминало возложение венков к Мавзолею или к могиле Неизвестного солдата и уж во всяком случае не имело отношения к Пушкину (не случайно и дату его рождения диктор провозгласил на всю страну с ошибкой). Русская литература была представлена поэтом Владимиром Костровым — комментировать его выступление, как и другие официальные речи, не хочется. Достоевского с Тургеневым не было. Камера то и дело наезжала на памятник и давала вид сверху. Боюсь, что сверху Пушкину все это было видно в истинном свете; впрочем, и «грозных часовых», и кое-что еще он предсказал незадолго до смерти: «И, чтоб не потеснить гуляющих господ, пускать не велено сюда простой народ...»

Кажется, что история памятника, а вместе с нею история нашего отношения к Пушкину прошла свой круг — событие 1880 года было подлинным обращением к Пушкину интеллигенции и всего народа, собравшего деньги на памятник, а сам Пушкин был еще источником живых смыслов и субъектом настоящего общения, он был живой частью духовного тела нации. Теперь же происходило что-то вроде закрытия памятника, его окончательного превращения в мертвый медный монумент, под которым хоронили с почестями все, что некогда с именем Пушкина связывалось.

Главной особенностью минувшего юбилея стала его формальность, бессодержательность, пустошество, отрыв имени от сущности. Наверное, все советские юбилеи носили такой же формальный характер, но это легко списывается на тогдашнюю тоталитарную идеологию. Теперь вроде как свобода — отчего ж мы не слышим осмысленного слова о Пушкине? Сразу оговариваюсь: из круга предлагаемых здесь рассуждений и выводов сознательно исключаются профессиональные литературоведы, среди которых еще остаются люди читающие и понимающие. Я говорю не о них, не о пушкинистике, а о месте Пушкина в современной культуре, в общественном сознании, о его соответствии или несоответствии сегодняшним тенденциям нашего развития.

И тут надо сказать совершенно определенно: грандиозность официального пушкинского праздника 1999 года не отражает реального интереса к Пушкину как художнику в российском обществе. Как и других классиков, Пушкина не читают или читают мало. Опросы в Москве — повторяю: в Москве, где полгорода составляют студенты, — показали, что более 60 процентов не открывали Пушкина после школы (среди остальных, надо думать, много тех, кто не хочет признаться). Невозможно себе представить, чтобы сегодня повторилась ситуация 1887 года, когда толпа снесла книжные прилавки и раскупила весь тираж нового собрания сочинений Пушкина в течение часа. Это относится не только к Пушкину. Это — всем очевидная черта новой культурной эпохи, в которую «читателя плавно сменяет зритель официозных церемоний, юбилейных молебствий, театральных шоу, телевизионных затей — и все это вокруг славных имен, украшающих переплеты непрочитанных или уж точно неперечитанных книг. Имя все больше отрывается от своего означаемого, то есть от корпуса сочинений, и становится этикеткой на кадавре, которого можно загримировать по-разному³. «Этикетка на кадавре» — сказано резко, но уж очень похоже на правду, во всяком случае — в отношении Пушкина.

³ Роднянская И. Наши экзорцисты. — «Новый мир», 1999, № 6, стр. 210.

Новые поколения, generations 'П', рожденные теле- и компьютерной революцией и воспитанные в рекламно-клиповой эстетике, смотрят, конечно, не в сторону Пушкина. Они создают собственную, очень далекую от Пушкина, субкультуру, а если и читают что-то, то своим писателем выбирают в лучшем случае Виктора Пелевина. Беру на себя смелость утверждать, что поколение, выбравшее Пелевина, ни Пушкина, ни Толстого читать никогда не будет. То, что теперь называется «мейнстрим», идет в какую-то неведомую сторону, а Пушкин, и вместе с ним вся великая русская литература, остаются уделом очень тонкой и все более истончающейся (попросту вымирающей) прослойки, которой только и остается, что аукаться именем Пушкина в надвигающемся мраке, как сказал об этом Владислав Ходасевич еще в 1921 году.

Этих процессов не чувствуешь, пока находишься внутри профессионального круга и читаешь разнообразные пушкиноведческие издания, которые в прошедшем году взошли как на дрожжах на юбилейных дотациях и грантах и явили нам картину почти отрадную. Другую картину отражают средства массовой информации, чутко реагирующие на потребительский спрос, и в частности — спрос на Пушкина. Так, представитель постмодернистского мейнстрима Владимир Сорокин сообщил в юбилейные дни по ТВ, что Пушкина никогда не посещало вдохновение, а его более добропорядочный коллега, тоже флагман современной литературы Дмитрий Александрович Пригов, называющий Пушкина поп-героем, признался в газетном интервью: «Я никогда с особой дотошностью не вникал ни в его творения, ни в его жизненные перипетии»⁴. В том же интервью он обобщил свой личный опыт: «Хочу заметить, что всенародная любовь к Пушкину — несколько инсинуированное явление. Эта любовь скорее общегосударственная. Пушкин внедрялся в народное сознание образованием и большими государственными кампаниями, сопровождаемыми слоганами типа: „Ленин — Сталин, Пушкин — Лермонтов — Толстой”. Как только культура в своем тоталитарном и государственном значении ослабла, Пушкин в народном восприятии занял свое вполне нормальное место в пределах развивающейся культуры». О том, что такое «вполне нормальное место», и, в частности, о том, как Пушкин питает современную литературу, можно судить по проекту «лермонтизации» «Евгения Онегина», реализованному Приговым: еще в период самиздата он перепечатал пушкинский роман на машинке, заменив все прилагательные на «безумный» и «неземной». Как и любой постмодернистский эксперимент с классикой, этот опыт говорит о том, что сам по себе текст «Евгения Онегина» уже не является для современного литератора источником смыслов.

Еще один пример юбилейного писательского слова о Пушкине — чисто-сердечное признание поэта Льва Рубинштейна в журнале «Итоги»: «Сказать о нем что-нибудь не сказанное раньше практически невозможно. „Что я могу еще сказать?” Да ничего»⁵. О Пушкине в статье действительно — ничего, зато верно определена отличительная черта последнего юбилея: «Как здоровая реакция на грозящие госюбилейные пушкинские „мероприятия” возникает, растет и набирает силу альтернативная „Пушкиниана”. Мучительно не хочется хоронить хорошего человека в душных объятиях „властных структур” <...>. Мы несем ему свои подарки, будучи уверенными, что умнице, непоседе, насмешнику и ходоку, каковым наше всё и было, они пришлись бы по душе куда больше, чем торжественное заседание в Большом театре, не менее торжественный молебен в ХСС и целая свора монументальных кучерявых страшилищ, безумным взором озирающих „племя младое, незнакомое”. Здравствуй, мол, племя, Новый год!»⁶ Сам Лев Рубинштейн внес вклад в альтернативную пушкиниану, нарисовав образ «огромного, надутого горячим воздухом

⁴ «Фигуры и лица». Приложение к «Независимой газете». 1999, № 11, июнь.

⁵ Рубинштейн Л. Чье всё? — «Итоги», 1999, № 21, 25 мая, стр. 57.

⁶ Там же.

поэта, парящего над столицей», и предложив переименовать Пушкинскую площадь в Страстную, а через сутки — опять в Пушкинскую⁷.

Подобное остроумное, забавное или просто легкое пушкинианство пыльным цветом расцвело в юбилейном году в эфире, на телеэкране, на страницах газет и глянцевого журналов. И это, как говорит кукла Немцова, «совершенно понятно». Нагнетаемая всей тяжестью государственного прессы, официальная «клевета обожания» (так в 1899 году публицист Михаил Меньшиков озаглавил свою полемическую статью о Пушкине) вызвала общенародную тошноту, которую можно словесно оформить выкриком Эдуарда Лимонова: «Нельзя превращать когда-то живого и, очевидно, крайне обаятельного человека в такое тяжеловесное мурло <...>. Лучшее, чего хотел бы сам Пушкин, наверное, чтобы его памятник тоже взорвали. Поскольку это не он!»⁸ Беда только в том, что альтернативный юбилейный Пушкин тоже оказался — «не он».

Яркий образец такого альтернативного Пушкина дан в фильме Александра Гордона из цикла «Собрание заблуждений», показанном на ОРТ 17 июня: история гибели поэта в нем представлена по-новому, в свете свежей догадки о его гомосексуальных наклонностях и не сложившихся соответствующих отношениях с Геккерном. Добро бы это было в шутку — но нет, больше всего фильм раздражает своей невыносимо претенциозной серьезностью и глубокомыслием. Уж и не знаю, что лучше — официальный медный Пушкин или гордоновский голубой. Оба хуже.

По другому пути оживления медного истукана пошло радио «Эхо Москвы», построившее свой долгосрочный пушкинский проект на анекдотах и забавных историях из жизни юбиляра. Все это было изящно и довольно симпатично и сопровождалось народной викториной. Викторина не знаю чем закончилась, но думаю, что слушатели не сильно обогатили свои знания о настоящей — творческой — жизни Пушкина и не приблизились к пониманию его судьбы. Впрочем, такая задача не ставилась, что само по себе показательно.

Опорным слогом альтернативной пушкинианы стали многострадальные слова Аполлона Григорьева «Пушкин — наше всё», каламбуры на эту тему вошли в большую моду. Выборочные примеры из прессы: «Пушкин <...> наше всё что ни попадя» (Павел Белицкий, Григорий Заславский), «Пушкин — наше всеу» (Ольга Кучкина), «Он стерпел наше всё» (Дмитрий Абаулин), «Пушкин — наше ничто» (Борис Парамонов) и т. п. Совсем не чураясь таких языковых игр (без них и наш «великий и могучий» закоснеет, и сами мы завянем от тоски), я хочу напомнить себе и читателям, что имел в виду Аполлон Григорьев — бьюсь об заклад, что ни один из поименованных острословов в его статью 1859 года не заглянул: «А Пушкин — наше всё: Пушкин — представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим *душевым, особенным* после всех столкновений с чужим, с другими мирами. *Пушкин* — пока единственный полный очерк нашей народной личности <...> Сфера душевных сочувствий Пушкина не исключает ничего до него бывшего и ничего, что после него было и будет правильного и органически нашего»⁹. Вот эта «сфера душевных сочувствий» Пушкина, по-моему, не вызывает никакого интереса у наших молодых современников. Да и осталось ли у нас «наше душевное, особенное» после всех столкновений с чужими мирами, или эти столкновения оказались роковыми и «всё наше душевное, особенное» поглотили?

Из всей альтернативной пушкинианы я бы выделила примечательный опыт журналистов газеты «Ex libris НГ»¹⁰ — они отрецензировали ряд пушкинских произведений как если бы эти произведения были написаны сегодня (и только что изданы издательством «Наше всё»), прочитали их в контексте современной литературы, гуманитарной науки, театра и кино. Пушкин у них

⁷ Рубинштейн Л. Операция «Юбилей». — «Итоги», 1999, № 21, 25 мая, стр. 49.

⁸ «Почему я (не) Пушкин». — «Ex libris НГ», 1999, № 21, июнь.

⁹ Григорьев А. А. Искусство и нравственность. М., 1986, стр. 78.

¹⁰ «Ex libris НГ», 1999, № 21, июнь.

знает не только Джона Фаулза и Умберто Эко, но и Титуса Советологова; в «Дубровском» он развивает мотивы песни Гребенщикова, а в «Медном всаднике», испытавшем сильное влияние мирового кинематографа (Медный всадник — Годзилла), Пушкину «удалось перенести на бумагу этот чудный и неповторимый опыт человека, у которого в руках камера». «Сказка о рыбаке и рыбке» прочитывается как притча об августовском кризисе 1998 года, а также о финансовых пирамидах и обманутых вкладчиках, а образ синего моря моделирует колебания финансовых рынков и одновременно, вместе с золотой рыбкой, символизирует Международный Валютный Фонд («Долго у моря ждал он ответа...»). Но особенно повезло «Истории Пугачевского бунта», поданной так, как ее предположительно будут читать еще через двести лет: в этом «историческом плазмоиде» Пушкин «свободно сканирует, артикулирует, квантует и голографирует бывший некогда запретным мир исторических резервуаров „бунта“». В целом перевод Пушкина на язык современной и будущей культуры получился очень выразительным, а пародия — вполне серьезной. Этот несомненно удавшийся проект показал, что для современных, продвинутых, бойко пишущих молодых людей пушкинский мир с его ценностями оказывается безнадежным анахронизмом. Чтоб этот мир хоть как-то воспринять, приходится с ним что-то делать, модернизировать, пристраивать его к собственной системе культурных ценностей. Так остроумно играть можно только с мертвыми текстами. Уж не знаю, хотели того или нет журналисты «Ex libris'a», но они реально продемонстрировали пропасть между текстами Пушкина и сегодняшним культурным сознанием.

То же показал, по-моему, и проект ОРТ по всенародному построчному чтению «Евгения Онегина». По поводу этой акции с удовольствием приведу два противоположных мнения двух моих равно уважаемых коллег. Андрей Зорин: «Безусловно, одним из самых ярких проектов всего юбилея стало коллективное телечтение „Евгения Онегина“, когда сотням людей, а в некотором символическом измерении и каждому носителю русского языка дали возможность побыть с Пушкиным на дружеской ноге. <...> Смотреть это зрелище было захватывающе интересно — сегодняшняя Россия говорила о себе пушкинскими словами. И Александр Сергеевич снова не подкачал, в который раз дав возможность своей стране выглядеть достойно»¹¹. Татьяна Чередниченко: «Телеканал помечил красивыми латинскими цифрами онегинских строф собственный эфирный календарь. Об этом свидетельствовали лица читающих, каникулярно-радостные, но принципиально далекие от „Вдовы Клико или Моэта / Благословенного вина / В бутылке мерзлой для поэта...“, а близкие бутылкам „пепси“ или „фанты“, сопровождаемым рекламным слоганом „Вливайся!“». Оказавшиеся под руками чтецы произносят доставшиеся строчки без особого старания попасть в нужный тон, напротив — „отвязанно“ демонстрируя свободу от пьетета и собственную праздную стильность. „Евгений Онегин“ в проекте ОРТ слился с опорным жанром телевидения — рекламным роликом. „Фишка“ — в том, что в обычном рекламном ролике обыватели ласкают себя пылесосами, стиральными порошками и подгузниками. К. Эрнст придумал ролик необычный. В нем потребители пылесоса дополнительно обласканы (самообласканы) аристократической по генезису „культурой“. Но в телеконтексте эта «культура» становится бытовым предметом. <...> Текст встраивается в ряд с не сходящими с телеэкранов „звездами“ наших дней. Так „демократически“ съедается дистанция между духовным аристократизмом пушкинского мира и консуматорными радостями / политической суетой современной культуры. Но одновременно обнажается и пропасть, их разделяющая»¹².

¹¹ Зорин А. День рождения Александра Сергеевича. — «Неприкосновенный запас», 1999, № 5(7), стр. 61.

¹² Чередниченко Т. Брэнд-эстетика. — «Неприкосновенный запас», 1999, № 5(7), стр. 78 — 79. См. также отрицательный отзыв об этом телепроекте в эссе Сергея Костырко «Синдром Курилова» («Новый мир», 2000, № 3).

Читатель, наверное, догадался, что видение Татьяны Чередниченко мне ближе и в данном случае я к ней присоединяюсь. Именно поэтому отношение Андрея Зорина к этой телеакции и вообще к юбилейному Пушкину мне более интересно, и я остановлюсь на нем подробнее. В противовес общеинтеллигентскому вою Андрей Зорин находит, что юбилей «удался сверх всякого разумного ожидания» и дал нам «Пушкина конца второго тысячелетия. Он получился веселым, домашним, ярким, нарядным, избыточным, назойливым, чуть пошловатым. <...> Из тех Пушкиных, которых видела Россия, этот далеко не худший»¹³. Может, и не худший, может, и прав Андрей Зорин, что «дистиллированного бессмертия не бывает»... Да только бессмертие ли это? А может, смерть? Уж больно далек этот профанированный и оторванный от пушкинских творений образ от того, например, каким он предстает в статьях Гоголя или в серьезных профессиональных исследованиях. Наша эпоха потребовала такого Пушкина — «яркого, нарядного, чуть пошловатого». А еще Пушкина-гея, Пушкина-гастронома, Пушкина-картежника — такой образ ей, эпохе, внятен. Это не новый миф о Пушкине — в мифе живет глубокая правда, а это больше похоже на смену грима на кадавре. И приходится признать, что «русский человек в его развитии» не приблизился к Пушкину через двести лет, как пророчил Гоголь, а ушел от него далеко в сторону.

Понятно, что в массовом восприятии культурных явлений неизбежна их аберрация. Но сегодняшняя проблема в другом. Никогда еще в России между небольшим культурным сообществом и всеми остальными не пролегла такая бездна. Касается это и филологии. Раньше молодое поколение было вольно или невольно к ней причастно, хотя бы через школу, теперь — полностью от нее отрезано. Двадцать лет назад для литературоведческих книг нормальным был тираж от 20 000 до 50 000, они широко продавались и автоматически поступали во все библиотеки. И столичные и провинциальные учителя литературы могли по ним преподавать. Тиражи пушкинианы были выше средних: в 1984 — 1985 годах книга П. В. Анненкова «Материалы для биографии А. С. Пушкина» и двухтомник «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников» были переизданы тиражом соответственно 75 000 и 100 000 экземпляров, а книги Ю. М. Лотмана в издательстве «Просвещение» печатались тиражом 300 000 — 600 000, и все это прекрасно расходилось. Сейчас хорошие литературоведческие книги выходят тиражом 1000 — 2000 экземпляров на всю страну, а значит, филологи пишут теперь друг для друга. Но и эти ничтожные тиражи не очень-то расходятся. Единственный литературовед, кому удается сейчас доносить свое слово до массовой аудитории через радио и телевидение, — это В. С. Непомнящий. В целом же литературные и литературоведческие передачи, некогда столь популярные, ушли в прошлое. Изменился сам статус филологии, которая, при всей ее неоднородности, была в советское время средоточием интеллектуальной и духовной жизни нации, а теперь вместе со своим предметом отодвинулась в тень. Фигура писателя, будь то Пушкин или какой-то современный гений (впрочем, я таких не знаю), уже не может вызвать такого энтузиазма и восторга, от какого в 1880 году рыдали слушатели Пушкинской речи Достоевского, а один студент даже лишился чувств у его ног.

Жив или мертв Пушкин сегодня? Эта острая коллизия символически выражена перекликающимися названиями двух телесобытий юбилейной недели — фильма «Медный Пушкин. Семь юбилеев, или Страстная седмица» (авторы — Андрей Битов, Игорь Клех, Максим Гуреев) на канале «Культура» и пятисерийного фильма «Живой Пушкин» Леонида Парфенова на канале НТВ. В «Медном Пушкине» живой классик Андрей Битов грустно поведал о том, что юбилейные славословия вызывают у него «ощущение постоянного убийства, постоянного распятия». Сюжет этого убийства и сюжет фильма — это

¹³ Зорин А. День рождения Александра Сергеевича. — «Неприкосновенный запас», 1999, № 5(7), стр. 59, 61.

история пушкинских праздников начиная с 1880 года и до 1999-го. «Медному Пушкину» противостоит в фильме Пушкин Андрея Битова — «какой он был свободный!». «Живой Пушкин» Леонида Парфенова тоже внутренне полемичен по отношению к «медному Пушкину» — встроенные в рассказ ведущего сценки в эстетике немного кино в большинстве своем носят эпатирующий характер: Пушкин с идиотским выражением лица надевает на невероятно длинный ноготь защитный золотой футляр; Пушкин примеряет отцовские башмаки, хохочет, от хохота валится на пол; Пушкин в темном коридоре пристает к престарелой фрейлине, приняв ее за горничную; Пушкин безобразничает в бильярдной, и его выбрасывают в окно; Пушкин в красной рубашке неумеренно поглощает апельсины, разбрасывая кожуру; Пушкин, лежа на подоконнике, развлекается с Калипсо Полихрони и т. п. Как видно, Парфенов хорошо знает, какой Пушкин сегодня востребован широкой телеаудиторией. Вообще фильм талантливый, динамичный, стильный, красивый, он изобилует роскошными видами (Эфиопия, Париж, Петербург, Москва, Крым, Кавказ, Молдавия, Одесса, Михайловское, Болдино, Оренбургские степи) и не менее роскошными интерьерами. Парфенова консультировали хорошие специалисты, обеспечившие его надежными биографическими сведениями и массой бытовых подробностей: боливар, брегет, шампанское «Вдова Клико»... Но я очень сомневаюсь, что после парфеновского фильма удовлетворенный зритель пойдет Пушкина **читать**. Этого импульса там не заложено. Пушкин Парфенова — это не творческий Пушкин, и нет в его жизни трагизма и тайны гения. Беглые слова о творчестве проходят как дополнение к биографическому ряду, а временами можно и забыть, о **ком**, собственно, речь. Ожидать от такого фильма серьезного анализа пути и судьбы поэта и не следует, и все же нельзя оставлять зрителя с уверенностью, что экстравагантные привычки и многочисленные романы с барышнями — это и есть настоящая жизнь Пушкина.

Впрочем, в самый юбилейный день, 6 июня, в программе «Итоги» Парфенов наконец сказал о феномене Пушкина нечто весьма существенное, «изронил золотое слово», к которому мы еще обратимся.

Расхождение российского читателя с Пушкиным началось не сегодня и не вчера. Об этом заговорили хором сто лет назад, под юбилей 1899 года, который, пожалуй, был самым содержательным в истории пушкинских круглых дат. В канун нового века и новой культурной эпохи работами сначала Д. С. Мережковского и В. С. Соловьева, а затем и В. В. Розанова, Вяч. Иванова, М. О. Гершензона был осуществлен подлинный прорыв в философском осмыслении Пушкина. Но в недрах той же нарождающейся традиции оформилась и мысль о начавшемся умирании Пушкина в русской культуре. Кажется, первым сказал об этом Мережковский в статье «Пушкин» 1896 года: «Слава Пушкина становится все академичнее и глуше, все непонятнее для толпы. Кто спорит с Пушкиным, кто знает Пушкина в Европе не только по имени? У нас со школьной скамьи его твердят наизусть, и стихи его кажутся такими же холодными и ненужными для действительной русской жизни, как хоры греческих трагедий или формулы высшей математики. Все готовы почтить его мертвыми устами, мертвыми лаврами, — кто почтит его духом и сердцем?»¹⁴ Мережковский говорил не просто об отдалении, но о «смерти Пушкина в самом сердце, в самом духе русской литературы»¹⁵ и видел в этом знак оскудения русского духа. Иначе объяснял охлаждение к Пушкину Розанов в «Заметке о Пушкине», напечатанной в 1899 году в юбилейном пушкинском номере «Мира искусства»: «Пушкин по много-гранности, по *все*-гранности своей — вечный для нас и во всем наставник. Но он слишком строг. Слишком серьезен. Это — во-первых. Но и далее, тут уже начинается наша правота: его грани суть всего менее длинные и тонкие корни, и прямо не могут следовать и

¹⁴ «Пушкин в русской философской критике». М., 1990, стр. 158.

¹⁵ Там же, стр. 159.

ни в чем не могут помочь нашей душе, которая растет глубже, чем возможно было в его время, в землю, и особенно растет живее и жизненнее, чем опять же возможно было в его время и чем как он сам рос. Есть множество тем у нашего времени, на которые он, и зная даже об них, не мог бы *никак* отозваться; есть много болей у нас, которым он уже не сможет дать *утешения*; он слеп, „как старец Гомер”, — для множества случаев. О, как зорче... Эврипид, даже Софокл; конечно, зорче и нашего Гомера Достоевский, Толстой, Гоголь. Они нам *нужнее*, как ночью в лесу — умелые провожатые. И вот эта практическая нужность создает обильное им чтение, как ее же отсутствие есть главная причина удаленности от нас Пушкина в какую-то академическую пустыньность и обожание. Мы его „обожили”: так поступали и древние с людьми, „которых нет больше”. „Ромул умер”; на небо вознесся „бог Квири́н”¹⁶.

Рассуждали Мережковский и Розанов по-разному, и даже противоположным образом, но ощущения у них были общие: Пушкин перестает соответствовать «действительной русской жизни» и меняющейся душевной жизни русского человека. В том же юбилейном году те же ощущения выразил Ф. Сологуб: «Дух века настолько далек от того, чем жил Пушкин, что почти радостно думать о его недоступности для толпы, которой с ним нечего делить»¹⁷. Вступая в новую, переломную эпоху, Россия обнаруживала себя в новых отношениях с Пушкиным. Еще острее это чувствовалось в первые пореволюционные годы, когда случившийся исторический разлом провел резкую границу между пушкинской Россией и современностью — похороны пушкинского солнца у Мандельштама («Сестры тяжесть и нежность...», 1920), прощание с Пушкиным у Блока («Пушкинскому Дому», 1921), затмение пушкинского солнца в «Колелемом треножнике» Ходасевича (1921). Ходасевич говорил в своей знаменитой пушкинской речи о наступлении внекультурной эпохи, которую отделяет от прошлого «какая-то пустота, психологически болезненная, как раскрытая рана», об органической неспособности нового, пореволюционного человека «слышать Пушкина, как мы его слышим», о неизбежном расхождении российской истории с Пушкиным: «Может случиться так, что общие сумерки культуры нашей рассеются, но их частность, то, что я назвал затмением Пушкина, затянется дольше — и не пройдет бесследно. Исторический разрыв с предыдущей, пушкинской эпохой навсегда отодвинет Пушкина в глубину истории. Та близость к Пушкину, в которой выросли мы, уже не повторится никогда... <...> Отодвинутый в „дым столетий”, Пушкин восстанет там гигантским образом. Национальная гордость им выльется в несокрушимые, медные формы, — но той непосредственной близости, той задушевной нежности, с какою любили Пушкина мы, — грядущие поколения знать не будут. Этого счастья им не будет дано»¹⁸.

В перспективе уходящего столетия видно, что предсказание Ходасевича сбывается — и в отношении близости к Пушкину, и в отношении «несокрушимых, медных форм». Если подряд почитать речи видных деятелей культуры XIX века о Пушкине и юбилейные речи советские, можно наглядно увидеть обвал русской мысли о Пушкине. Как сформулировал при анализе этих речей В. С. Непомнящий, открывается «зрелище исторически мгновенного в своей радикальности падения уровня культуры, какой-то мутации сознания и духа»¹⁹. В махрово советские времена пушкиниана, конечно, существовала и процветала — в художественной форме (литература о Пушкине, живопись, кино, театр, музыка), в форме литературоведческой науки в основном позитивистского толка, однако на какую глубину человек новой формации воспри-

¹⁶ «Мир искусства», 1899, № 13-14, стр. 10.

¹⁷ Сологуб Ф. К всероссийскому торжеству. — «Мир искусства», 1899, № 13-14, стр. 38.

¹⁸ Ходасевич Вл. Собр. соч. в 4-х томах. Т. 2. М., 1996, стр. 80, 81, 83 — 84.

¹⁹ Непомнящий В. Да укрепимся. — В сб.: «Речи о Пушкине. 1880 — 1960-е годы». М., 1999, стр. 378.

нимал Пушкина, и Пушкина ли, а не его советскую идеологему? Об этом мне судить трудно. Но сегодняшний итог вполне очевиден.

Процесс отчуждения от культурных ценностей прошлого связан не только с перипетиями исторической судьбы России. В этом отношении Россия пошла общим путем — общим для Европы, а может быть, и для всего мира. Вторая половина XX века показала справедливость всех пророчеств о грядущем умирании искусства и вытеснении культуры цивилизацией, которыми были так обильны 1910 — 1930-е годы. Одновременно со знаменитой книгой Освальда Шпенглера «Закат Европы» (1918 — 1922) и в России появились тогда работы о кризисе культуры, и в частности искусства. «Мы присутствуем при кризисе искусства вообще, при глубочайших потрясениях в тысячелетних его основах», — писал в 1918 году Николай Бердяев²⁰. К чему приведет этот кризис, было еще не ясно; так, Блок завершил статью «Крушение гуманизма» (1919) упованиями на грядущую победу «духа музыки» над цивилизацией. Но если в начале века о судьбе искусства в развивающемся мире можно было спорить, то сегодня мы реально наблюдаем стремительный процесс вытеснения искусства из жизни современного человека.

В последние два-три десятилетия технократическая цивилизация приобрела такие черты, какие и во сне не могли присниться ни Шпенглеру, ни Бердяеву. На наших глазах меняются параметры существования человека в мире, и соответственно, меняется сам человек, состав его крови. Скорость, шум, информационный вал оказывают на него страшное давление, и он все больше выталкивается на поверхность жизни, лишается возможностей углубленного существования. Цивилизация предлагает человеку бесконечное разнообразие материальных ценностей, неумеренное потребление которых заполняет индивидуальную жизнь. Противостоять этому трудно. Средства поддержания и усовершенствования жизни превращаются в ее содержание. Как существо духовное человек сейчас под угрозой больше, чем когда бы то ни было.

Неслыханное доселе расширение информационного поля способствует не установлению связей между людьми, а, напротив, их разъединению. Как сформулировал недавно Александр Неклесса, «техногенная коммуникация активно вытесняет и подменяет прямое человеческое общение»²¹. Эмоциональные запросы современного человека тоже меняются: теперь их формируют и удовлетворяют СМИ. Искусству остается все меньше места в жизни, а его питательная среда постепенно сходит на нет. В самом искусстве, в таких его первичных органических формах, как музыка, живопись, литература, идут процессы дегуманизации: человек становится все менее интересен сам себе. Корень всех этих процессов залегает глубоко. В книге «Умирание искусства», впервые вышедшей в 1936 году (по-русски — в 1937-м), Владимир Вейдле, проанализировав состояние различных видов искусств, пришел к выводу, что причина умирания искусства в XX веке состоит в иссякновении религиозных источников творчества, в отсутствии у современного художника религиозного отношения к миру. В последние полвека худшие прогнозы развития искусства оправдываются: внутри его все сильнее дают себя знать разрушительные тенденции, а само оно смещается на периферию и в общественной жизни, и в индивидуальной жизни личности.

Россия втянута в эти процессы, и на таком общем фоне вряд ли можно ожидать глубокой и осмысленной любви к Пушкину. Но что же отразил столь широко отпразднованный юбилей, если не всенародную любовь к поэту? Думаю, что литература здесь, в общем-то, ни при чем.

Прежде всего он отразил общенациональный комплекс неполноценности. Мы переживаем такой период в русской истории, когда у многих, если не у подавляющего большинства мыслящих людей в России, нарастает ощущение,

²⁰ Бердяев Н. Кризис искусства. М., 1918, стр. 3.

²¹ Неклесса А. Пакс экономикана, или Эпилог истории. — «Новый мир», 1999, № 9.

что великая Россия уходит в небытие, превращаясь в одну из стран третьего мира, в почти банановую республику, политическая жизнь и международная роль которой зависят от случайных факторов, а не проистекают из логики ее внутреннего развития и многовековых традиций. Россия теряет вектор развития и отрывается от своего славного прошлого, одним из символов которого является великая русская культура и ее центральная фигура — Пушкин. Все мы видим, сколь безуспешно в последние годы идет нащупывание национальной идеи, поиск опор в дальнейшем движении по не вполне ясному пути.

Весной 1999 года этот общенациональный комплекс неполноценности обострился в результате натовской агрессии на Балканах, в цели которой входило оттеснить Россию с европейской политической сцены. Меня мало удивляло тогда постоянное соседство балканской темы с Пушкиным в юбилейных статьях. Пушкин вообще как никакой другой русский писатель императивно выводит думающих о нем на историко-публицистические и политические темы. И не только потому, что сам он был и публицистом, и историком и оставил глубочайшие мысли об особенностях исторической судьбы России, а главным образом потому, что в Пушкина, по сути, упирается вопрос, жива ли Россия и как она будет жить дальше.

Прошедшей весной власти было как никогда важно заявить, что Россия жива, что она была и остается великой державой. А поскольку и то и другое под вопросом, то приходилось об этом кричать. И соответственно кричать о Пушкине, потому что он — «наша слава перед миром», «одно из наших главных прав на имя великого народа» (А. Незеленов, 1887) и при этом — единственная твердая валюта, оставшаяся у России после дефолта (Б. Парамонов, 1999). Власть и так называемая «политическая элита» в ходе юбилея присвоили Пушкина²² — не собственно Пушкина, а опять же этикетку, символ, способствующий их самоутверждению. Пушкина декламировали все: Степашин, Лужков, Примаков, Зюганов... Но полный апофеоз юбилея, самый показательный для него эпизод — это Александр Лебедь, сбивчиво читающий «Из Пиндемонти»: «Я не ропщу о том, что отказали боги / Мне в сладкой участи оспоривать налоги / Или мешать царям друг с другом воевать; / И мало горя мне, свободно ли печать / Морочит олухов, иль чуткая цензура / В журнальных замыслах стесняет балагура...» Дело не в том, насколько эти стихи подходят сенатору, облеченному правом «оспоривать налоги» и объявлять или не объявлять войну. Дело в том, что Пушкин остался Пушкиным, а Лебедь — Лебедем, и звучало это так, что хоть святых выноси.

Как точно заметил Леонид Парфенов, Пушкина в 1999 году раскручивали по всем правилам рекламной кампании и как будто выбирали в президенты. И вот в разгар этой кампании случилось поистине невероятное событие: 5 июня в парижском пригороде Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» российская сборная по футболу под руководством Олега Романцева выиграла со счетом 3:2 отборочный матч чемпионата Европы у чемпиона мира — сборной Франции. По меньшей мере у половины населения России национальный комплекс неполноценности мгновенно сменился «национальной гордостью великороссов». Евгений Киселев открыл свою воскресную передачу «Итоги» 6 июня, в главный день пушкинских торжеств, возбужденным сообщением об этой славной победе; радио «Эхо Москвы» предложило сделать футбол нашей национальной идеей; газеты вышли с заголовками «Романцева — в президенты!».

Думаю, что при альтернативе «Пушкин — Романцев» выбрали бы, конечно, Олега Романцева. Сразу хочу сказать, что ничего не имею против футбола и Олега Романцева, более того — считаю его замечательной личностью. Но дело не в нем. Этот футбольный эпизод в процессе лихорадочных поисков национальной идеи продемонстрировал, что гигантскую брешь в нашем национальном самосознании мы готовы закрыть чем угодно. Пушкин для этого

²² Об этом как всегда красноречиво написал Максим Соколов в статье «Их Пушкин» («Известия», 1999, 5 июня).

тоже подходит. А 12 июня 1999 года случилось еще одно невероятное событие — стремительный бросок наших десантников на Приштину, сделавший неизбежным участие России в миротворческой операции в Косове. Многие тогда высказывали недоумение по поводу этой эскапады, а по-моему, она понятна: мы хотим показать всем, что мы мировая держава, но у нас почти не осталось способов это доказать.

На открытии пушкинского праздника в Москве Лужков говорил о том, что Пушкин «признан в мировой культуре и мировом сообществе», что «весь цивилизованный мир отмечает эту великую дату», что Пушкин «доходит до каждого гражданина вселенной», что «память о Пушкине будет жить <...> до тех пор, пока на планете существует хотя бы один культурный человек». Увы! Это совсем не так. За пределами России Пушкина не признают и, в общем-то, не понимают. Пушкин — явление чисто национальное, он практически непереволим и может быть понят только в стихии национального языка. Он как будто табуирован для других народов, как бывает табуирована национальная или религиозная святыня. Шекспир не имеет национальности, а Пушкин имеет. В этом нет ничего унижительного для нашего гения — в этом его особенность и ценность для нас. И с этим же связан вопрос о жизни Пушкина в веках. На эту тему и высказался Леонид Парфенов 6 июня 1999 года в сюжете программы «Итоги», к которому я обещала вернуться. Обрисовав роль Пушкина как «основателя русской цивилизации», он заключил: «Пушкин, признаемся, величина не международная. В мире с ним скорее принято считаться как со святыней на исключительном пространстве от Германии до Китая. И в силу этого Пушкин не вечен. Вот было великое государство Урарту — и нет его, и нет его великих поэтов. Пушкин будет жить столько, сколько Россия и понимание того, что значит быть русским». Не хотелось бы с этим соглашаться, а приходится.

Пушкин настолько тесно связан с исторической судьбой России, что нынешний ее упадок не мог на нем не сказаться. Пушкина родила молодая империя, только что победившая Наполеона, воевавшая за порты на Черном море и влияние на Балканах — бодрая страна, уже не только прорубившая окно, но и распахнувшая дверь в Европу, страна, в которой кипела энергия внутренних преобразований. Сегодня российская история прошла свой круг — и вот мы, кажется, теряем Пушкина, а с ним — основные устои нашего общенационального бытия. Историчен Пушкин или вечен? Этот вопрос зависит от того, как мы видим Россию — вечной или исторически конечной, как государство Урарту.

В статьях последних лет В. С. Непомнящий развивает мысли о том, что именно Пушкин удержит Россию на краю бездны и что Россия призвана всему миру указать путь спасения²³. Прав ли он — не знаю. Может или не может Россия что-то еще предложить миру — это вопрос веры. А значит, и Пушкин, и его будущая судьба — тоже вопрос веры. По вере нам и воздастся.

²³ Непомнящий В. Пушкин через двести лет. — «Литературная газета», 1999, № 22, 2 июня; Непомнящий В. Удерживающий теперь. — В его кн.: «Пушкин. Русская картина мира». М., 1999, стр. 443 — 494.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ТАТЬЯНА КАСАТКИНА



ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ КОНЦА ВРЕМЕН

Приступая к этой статье, я вовсе не предполагала отклоняться от принятого критически-литературоведческого, с академическим налетом (насколько он может налететь на статью о литературе постмодерна), линейного и даже последовательного дискурса. Я собиралась разобраться с несколькими текстами, рассмотренными с некой обобщающей точки зрения, которая отчасти и излагается в начале статьи. Должна констатировать, что тексты весьма эффективно разобрались со мной, разобрав мой «линейный и последовательный» на те клочки и фрагменты, из которых, по общему признанию, и состоит вся нынешняя литература. Вообще надо сказать, что критики все больше напоминают мне stalkеров. Литература (и это соотносится с той разницей в ощущении времен, которая будет описана далее), кроме всех прочих разделений, может быть разделена на произведения, чтение которых есть событие реальной жизни человека, не удающее его от этой жизни, но соучаствующее в ней определенным образом (здесь может быть выстроена своя классификация); на произведения, из которых не хочется возвращаться в реальную жизнь, причем это их принципиальное, конститутивное (и вовсе не положительное) свойство (например, Толкиен; впрочем, он-то, наверное, имел в виду создать убежище, предложить вариант эмиграции на крайний случай, который, как будет видно из дальнейшего, имеет все шансы случиться); на произведения, в которые не хочется возвращаться, даже если осознаешь их ценность, в которые тяжело входить по второму разу, которые обладают всеми свойствами зоны с эффектом накапливающегося облучения. Таковы в большинстве своем тексты нынешней литературы. Если читателю еще удастся проскочить их с минимальной дозой, то честный критик, обреченный на повторное (как минимум) чтение, претерпевает сильнейшее воздействие на сознание и психику. Попытавшись вжиться во фрагментарность и дискретность времени современных литературных произведений, я потеряла способность описывать, анализировать и интерпретировать целое и целостно. Представшая за ними картина оказалась настолько однородной, что дезориентированное сознание могло лишь вылавливать фрагмент за фрагментом, но ему уже ничто не указывало на наличие хоть какого-нибудь порядка, в котором эти медузы должны были бы быть расположены. Различной структуры и фактуры (и все же так похожие друг на друга) лабиринты закружили меня. И все звенели в голове строчки Данта (в переводе Лозинского), которые, наверно, при всей создаваемой мной неадекватности, остается только выставить эпиграфом к следующему:

Как время, в этот погружаясь сосуд
Корнями, в остальных живет вершиной,
Теперь понять тебе уже не в труд¹.

Касаткина Татьяна Александровна (род. в 1963) — литературовед, критик. Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН. Автор книги «Характерология Достоевского» (1996). Постоянный автор «Нового мира».

¹ Данте. Рай. Песнь 27, ст. 118 — 120. Перевод М. Лозинского.

В этой статье, неизбежно неполной и отрывочной, я буду говорить о слове и времени в их соотношенности, в их — как все более и более выясняется — жесткой взаимообусловленности. Состояние слова как такового, равно как и конструкция того *слова*, каковым является всякое истинно художественное произведение, определяется временем, пульсирующим в них, создающим их наполнение (как — наполнение пульса) или образующим пустоты и каверны. То, как ощущает (может быть, даже не вполне осознавая) писатель время, в котором движется (или застывает, или тонет — можно продолжить), сказывается не только на сюжетной стороне его созданий (даже можно сказать, что, когда это сказывается на сюжетной стороне, мы имеем дело с наименее интересным случаем), но на самой структуре создаваемого, и часто исключительно по структуре произведения можно заключить, что его автор находится уже в постэсхатологическом пространстве², после конца времен.

Исследователями истории и теории культуры было отмечено, что некоторым образом само наше положение по отношению ко времени способно меняться достаточно радикально. Тот оптимистический разворот, который свойствен вере в прогресс, человечество, как известно, приобрело очень недавно и достаточно быстро утратило — что требует своего объяснения не с идеологической точки зрения, но исходя из непосредственного ощущения, в котором вовсе не всегда отдается отчет. Я склонна допустить, что те «конфликты поколений», которые в 60-е годы описывались в русской советской литературе (скажем, в пьесах Розова), и появление нового «лишнего человека» как героя времени (скажем, в пьесах Вампилова) объяснялись вовсе не идеологическими мотивами, но тем, что именно там пролегла между поколениями граница интуитивного ощущения «течения» времени и соотношения с ним себя. Там — как доминирующее в поколении чувство — стало возникать ощущение выброшенности на берег и растерянности перед мчащимся потоком, в котором остальные (как казалось — по памяти об ощущении времени у непосредственных предшественников) как-то помещались, и лишь ты неизбежно не вписывался, а при попытке тебя протаскивало по камням и вновь вышвыривало. Впоследствии выяснилось, что неблагоприятно не только положение субъекта, но и с самим «потоком» происходят странные вещи.

Попробуем, однако, взглянуть на то, что замечается на гораздо большей протяженности. Вот как кратко описывает взаимоотношения человечества со временем на довольно большом временном отрезке А. В. Михайлов, цитируя книгу И. С. Клочкова «Духовная культура Вавилонии»:

«„Обращенность к прошлому свойственна культурам древности и Средневековья. Психологический поворот лицом к будущему начался, очевидно, в середине первого тысячелетия до нашей эры, под влиянием мессианских учений и эсхатологических ожиданий, благодаря которым и высшая значимость, и главное внимание людей были перенесены с прошлого на будущее. Завершился же он лишь в Новое время...”

Мы говорили об этом: в истории культуры существует большой переходный период, продолжавшийся примерно два тысячелетия, в течение которого изменилось отношение людей к направленности времени. Поворот лицом к будущему произошел за это время. Причем **в принципе** этот поворот лицом к будущему осуществился в середине первого тысячелетия до нашей эры, но тем не менее — как бы немножко недоосуществился и окончательно произошел уже в Новое время — в XVIII, в XIX веках»³.

Суть же отношений со временем человека, глядящего в прошлое, характеризуется следующим образом:

² Для того чтобы достигнуть эффекта «вечности» (в данном случае точнее будет сказать — «вневременности»; как будет видно из дальнейшего — это не одно и то же), время традиционно переструктурировалось по законам пространства, что наиболее очевидно и наглядно в иконе.

³ Михайлов А. В. «Ангел истории изумлен...». — В его кн.: «Языки культур». М., 1997, стр. 872.

«Клочков пишет так: „Вавилонянин жил, оглядываясь в будущее, взвешивая время на весах и ведя ему счет по прошедшим поколениям или по годам правления царя. Его восприятие и представление о времени, безусловно, не могло не отличаться самым радикальным образом от современного европейского понимания, на формирование которого оказали влияние концепции точных наук Нового и новейшего времени...»

Вавилонское время... очень вещественно. Это не чистая длительность, а в первую очередь сам поток событий и цепь поколений. Даже язык вавилонской науки, астрономии и астрологии, обходился без специального термина времени, хотя мы и допускаем, что ученые воспринимали время не совсем так, как рядовые горожане, земледельцы и пастухи. При таком восприятии времени, возможно, лучше вообще не употреблять этот термин, а говорить просто о будущем, настоящем и прошлом. Прошлое для вавилонянина — это не бездна единиц вроде тысячелетий или веков, а конкретные события, деяния определенных людей, предков, прожитая ими жизнь. Почти то же самое можно сказать и о будущем. Будущее воспринималось, по-видимому, не в качестве абстрактных дней или лет, а как то, что непременно случится, как дальнейшее развертывание божественных предначертаний, неукоснительное исполнение божественных планов. Будущее для вавилонянина — это не все то богатство возможностей, из которых может реализоваться та или другая, а именно то, что позднее воплотится и станет прошлым по прошествии какого-то времени...»

Вавилонянин идет в будущее, но взор его устремлен в прошлое. Будущее не становится реальным, пока не станет прошлым...»⁴

Из сказанного можно извлечь чрезвычайно интересное положение: оказывается, будущее определено и *линейно*, то есть поступательно, прогрессивно и т. д., лишь при условии прошлого, взятого как базовое время, как точка отсчета; будущее можно понять как целестремительное движение лишь при условии взгляда, обращенного в прошлое. В противном случае (вне своей однозначной воплощенности в качестве «будущего *прошлого*») будущее ветвится возможностями и вариантами, теряет поступательность, растекаясь в невоплощенной равнозначности, болотом обступает человека, теряя качество всякого пути (а не только ведущего к светлым вершинам). Мало этого, как уже известно из нашего недавнего опыта, при базовом будущем само прошлое становится вариативно, неопределенно и недостоверно.

Таким образом, вера в прогресс была возможна лишь при *полуповороте* человека в сторону будущего, когда сохраняется память о линейности воплощенного прошлого. Как только этот поворот был завершен, будущее пало и растеклось по равнине возможностей, сзади нахлынули воды прошлого, и человек очутился в том обстании времен, в котором находит себя сейчас. Река времен, увиденная именно как река времени будущего, оказалась перегороджена некой плотиной, и в эту стену уткнулся лицом человек, и в нее же ударились, разбившись, линейность прошлых времен, оказалось, что он не ушел от них, но они вместе с ним пришли к этой стене.

На мысль о том, какова природа этой «плотины», навело меня высказывание Ю. Б. Борева, который в ответ на изложенное представление о современном состоянии чувства времени заметил, что любой футуролог может указать на тот факт, что представления о *будущем* формируются путем комбинации картин, сюжетов и т. д. *прошлого*. Действительно, на это может указать любой футуролог. Но это означает очень простую вещь. Видеть что-либо в какой-либо перспективе (даже в перспективе болота) мы вообще можем только глядя в прошлое. Повернувшись лицом к будущему, мы оказываемся *перед концом*, и это ощущение завершенности, *эсхатологичности* (от греч. — крайний, последний, самый отдаленный) оказывалось свойственно любой культуре, довершившей

⁴ Михайлов А. В. «Ангел истории изумлен...». — В его кн.: «Языки культуры», стр. 873.

этот поворот. Взгляд в будущее, если он действительно взгляд в будущее, а не в маскируемое под будущее прошлое, — это неизбежно взгляд за *пределы наличествующего бытия*. В пустоту. (Можно возразить, что христианская эсхатология — это, уж конечно, не взгляд в пустоту; но это и не взгляд в будущее: в вечность глядят и входят через настоящее — вот, пожалуй, и разъяснение «недоосуществившемуся» повороту в сторону будущего во время веков христианского, досекулярного существования культуры. Именно и только в секулярном сознании возникает идея *поступательного движения во времени* — прогресса. Для христианина любое проживаемое время — последнее потому, что с момента Воплощения с любым временем соприкасается вечность, и любое «прогрессивное», условно говоря, движение будет движением не во времени, а *из времени*⁵. Всякое реальное поступательное движение христианина высвобождает его из-под власти времени. Однако для секулярного сознания такое движение невозможно и непредставимо, оно располагает исключительно временем, и именно о таком сознании дальше и идет речь.) Вот этот предел наличествующего бытия и есть та плотина, о которую разбивается время.

При таком понимании ситуации времени становится понятен и процесс «опустошения» слова. Слово полнозначно в миг Творения, Слово⁶ есть Источник жизни, но — вообще двинувшись во времени, запустивши этот механизм ухода самим фактом нашего отпадения от Источника всякой жизни — мы вынуждены были все дальше и дальше от Него отступать, все же не теряя из виду до тех пор, пока сохраняли «базовое прошлое»⁷. Начавшийся поворот совпадает с замечаемым всякий раз «опустошением» слова, то есть творимая словом реальность начинает при таком повороте не просто отдаляться во времени, но и частично исчезать из нашего поля зрения. Упершись взглядом в стену «предела наличествующего бытия», мы завершаем процесс, полностью отворачиваемся от наличной реальности, от сущего и даже существующего. Мы остаемся с «нагими именами», ибо вся сотворенная ими реальность отныне располагается за нашей спиной. Мы оказываемся в мире миража, «пустословия» (недаром почтительного тяжким грехом), в ситуации сплошной и полной неверифицируемости,

⁵ Христианское понимание времени отчетливо выражено митрополитом Сурожским Антонием в следующих строках: «И в Вознесении Господнем, когда Сын Человеческий сел одесную Бога и Отца, мы видим человека, плотью вошедшего в самые недра и глубины Троицы тайны. Все, вся история в каком-то смысле завершена уже Воплощением и Вознесением Христовыми. Она завершена тем, что Бог в истории является *внутри-историческим* двигателем и силой, и Человек Иисус Христос восседает на престоле славы. И в этом отношении наше положение, наше понимание истории очень своеобразно: мы ждем конца времен, мы ждем второго пришествия Христова; мы ждем момента, когда все будет завершено; Дух и Церковь говорят: Гряди, Господи, и гряди скоро (Откр. 22: 17, 20)... Но вместе с этим мы знаем — и не понаслышке: мы знаем тем, что называют опытом веры, что уже *все завершено*. В каком-то принципиальном, основном смысле все уже случилось». Указывая на то, что Иоанн Богослов в Апокалипсисе всегда употребляет слово «конец» в мужском роде, тогда как по-гречески это слово среднего рода, митрополит Антоний поясняет: «Для Иоанна конец — это не какое-то мгновение во времени, куда мы стремимся, до которого мы доходим и которое является как бы пределом истории; конец — это Некто, конец — это Тот, Который придет. Но с другой стороны, это цель, это завершение, это Тот, Который является *Омегой* во всех отношениях, то есть концом времени, завершением твари, явлением победы Божией. И мы знаем то, чего никто не знает: что конец не только впереди, но что конец уже пришел Воплощением Христовым, одержанной Им победой... Конец нам не страшен, потому что он позади нас» (Митрополит Сурожский Антоний. Беседы о вере и Церкви. М., 1991, стр. 66 — 67).

⁶ Не поднимая здесь всего комплекса проблем, связанных с очень человеческим желанием радикально разделить *Слово и слово*, напомним — для тех, кто желает слышать, — о как минимум типологическом *функциональном* их сходстве. И второе Лицо Троицы, и самое наше бедное «опустошенное» слово являются по сути своей *посредниками* — теми, без кого (Кого) контакт невозможен. Человека с человеком или человека с Богом. Об этом свидетельствует Иов в жалобе своей: «Ибо Он не человек, как я, чтоб я мог отвечать Ему и идти вместе с Ним на суд! Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас» (Иов, 9: 32 — 33) — акт, который и будет осуществлен Богом Словом.

⁷ Поскольку речь идет о секулярном сознании, то есть сознании, существующем вне Божественного присутствия, современное сознание такого типа оказывается гораздо сопоставимее с сознанием древних вавилонян, чем с сознанием христиан.

ласково называемой «плюрализмом», ибо уже и головы не хотим (или — не можем) повернуть, чтобы хоть взглядом вернуться к Истоку.

Время (приобретающее качества пространства) становится постэсхатологическим, причем граница преодолевается незаметно и безболезненно (если боль при этом и ощущается, ее относят на счет чего-нибудь другого), без знамений на перевале, без рева труб (или мы все прослушали, полагая, что просто включился динамик в соседнем месте культуры и отдыха?). Но те, кто работает в слове, ощущая его жизнь и биение, не могут «пройти мимо» происходящих изменений. И с текстами начинают твориться странные вещи, раздражающие тех, кто не хочет замечать поворота в сторону будущего, справедливо почитая его за болезнь современного сознания и не желая признавать, что болезнь давно уже приобрела пандемический характер; принимаемые за игрушки теми, кто в силу цинической мироориентации⁸ счастливо пребывает на отведенном ему временном отрезке, замкнутом в своих границах лозунгом «После нас хоть потоп», и кого уже поэтому не могут смутить никакая плотина и никакое болото. Наиболее адекватный времени ироник замыкается в капсуле выдернутого из течения времени «остановленного мгновения», разбивая всю жизнь на приключения, а время на «миги», вычлняя для себя «вечность» внутри структуры времени, пускай при ближайшем осмотре эта вечность и походит на баню с пауками («вечность» Свидригайлова оказалась — как и ожидалось — расположена на линии времени как *превращение* мгновения: мгновение теряет свойство выхода, как в *нормальных* взаимоотношениях вечности и времени, и замыкается, без возможности перехода в следующее мгновение, внутри себя самого; такое превращение мгновения хорошо известно современным авторам — например, Михаилу Бутову).

Но интересно понять, что происходит в произведениях тех, кто кровно и больно связан с теперешней жизнью слова.

Текст, скажем, может исчезнуть вообще, оставив после себя лишь примечания, которых, впрочем, набирается на огромный том, — примечания к когда-то, не здесь и не с нами, происшедшей жизни. Я говорю о книге Дмитрия Галковского «Бесконечный тупик».

Или из текста, при сохранении его грамматической структуры, исчезают значимые слова, слово разлагается в самой сердцевине — в корне, при сохранении видимости жизни в суффиксах и флексиях, как это происходит в текстах Л. Петрушевской, создаваемых вскоре после декларации Апокалипсиса в ее произведениях, опубликованных в конце 80-х — начале 90-х годов. Глоссология этих ее текстов как бы прямо противоположна обретенной апостолами в день сошествия Святого Духа способности говорить на всех языках — здесь умирающий язык, сохранивший еще способность говорить, утрачивает возможность — сказать.

Интересна в связи с этим уже отмеченная рецензентами «провальность» ее с формальной точки зрения «традиционных» текстов «постэсхатологического» периода. «Маленькую Грозную» («Знамя», 1998, № 2) действительно можно назвать (как и было сделано) неудачным перепевом старых мотивов, прежде всего, конечно, мотивов одного из пронзительнейших произведений Петрушевской «Время ночь». Но так новую повесть можно назвать только в том случае, если не учитывается контекст всего творчества автора, в частности, не учитывается упомянутый выше языковой сбой, многими воспринятый как прихотливый извив пути мастера, не имеющий отношения к столбовой дорожке развития ее творчества. Появление «Маленькой Грозной» доказывает, что сбой не был языковым в узком смысле слова. Смена точки зрения рассказчика, перемещение его изнутри текста во внетекстовое, внешнее по отношению ко

⁸ Это в моих устах не оценочное, во всяком случае, не прежде всего оценочное суждение: см. типологию эмоционально-ценностных ориентаций в моей книге «Характерология Достоевского» (М., 1996).

всем описываемым событиям, *объективное* пространство есть точное повторение исчезновения смысла слова, души слова при сохранении его грамматической структуры. Ведь нельзя сказать, что стремление к некоторой объективности, даже объектности изображения, не было свойственно произведению Петрушевской ранее. Но в прежних ее текстах напряженно обыгрывалось как раз противостояние объективности, отстраненности взгляда рассказчика тому факту, что именно рассказчик, как правило, и оказывался центральным действующим и, главное, страдающим лицом излагаемых событий. Сокрушительный эффект ее прежних лучших творений как раз и рождался из отстраненного рассказа о повседневном ужасе существования рассказчика (главным образом, конечно, — рассказчиц). Ужасе, как бы и не сознаваемом, то есть не осознаваемом как именно *ужас*, воспринимаемом почти как норма (рассказчицы даже *настаивают* на том, что это норма), и именно поэтому становящемся для читателя стократ ужаснее. Такие рассказчицы, создавая форму произведений Петрушевской, в качестве героинь собственных рассказов являли душу этих произведений. В этом смысле типологически (да, в сущности, и исторически) «эйдосом» творений Петрушевской является драма, где кто-либо, кроме участников, просто лишен голоса. Ведь даже если повествование в прежних рассказах велось как бы от лица безличного повествователя, этот повествователь на поверку оказывался неким «общим» (хотя и далеко не единым!) голосом всех героев, это была подвижная «точка зрения», переходящая от участника к участнику, в которую вплетались все их голоса, иногда бесконечно жестокие друг к другу, иногда безразличные — но даже безразличие было там формой *отношения*, а не его отсутствия.

«Маленькая Грозная» — текст, из которого, при сохранении внешней формы, ушла душа. Формально все компоненты на своем месте, нам говорится о тех же ужасах быта, переходящего в бытие, которые потрясали нас в прежних вещах автора. Но теперь это все говорит закадровый механический голос, не принадлежащий ни одному из действующих лиц, в силу этой своей механичности и внеположенности лишенный возможности что-либо сказать нашей душе, с недоумением глядящей на комментируемое им копошение в сплошь застекленном террариуме. «Маленькая Грозная» Петрушевской наглядно демонстрирует процесс возникновения «картонных» героев постмодерна, с которыми мы уже в готовом виде столкнулись в текстах, пришедших к нам с Запада. Случается нечто, что окончательно прерывает связь между автором и героями, понятие «вторичной реальности» оказывается наконец абсолютно адекватно себе — и реальность начинает исчезать и из «вторичной», и из «первичной» ее разорванных половин. Ведь, странным образом, параллельно с опустошением текстов опустошается и наша жизнь, ее покидает что-то, что наши соотечественники пытаются ныне возместить просмотром телесериалов. Эмоции в реальную жизнь вовлекаются из виртуальной реальности (недаром же получившей это парадоксальное название «виртуальная», то есть — дословно — подлинная). Право, уже непонятно, кто здесь вампир, а кто донор...

По видимости сходный эффект (говорения без сказывания) иными средствами достигается Дмитрием Галковским, для которого все содержание его «примечаний» оказывается лишь формой — формой бесконечного говорения, посредством которого создается «книга молчания». «Тысяча страниц» интереснейших текстов — лишь форма для констатации глухого одиночества героя. Как я писала в свое время в рецензии на книгу Галковского, все эти тексты могли бы быть заменены на другие без изменения содержания книги.

(На то, *что* исчезает из текстов, опустошая их, может быть, намекнет одно замечание итальянского священника, автора книги о Достоевском, о Диво Барсотти: «Девятая глава Евангелия от Иоанна является своего рода ключом к подлинному смыслу романа „Преступление и наказание” и его верному истолкованию. Без этого слова Божия роман потерял бы соль; повествование не стало бы менее искусным, но словно бы утратило дар речи»⁹.)

⁹ Барсотти Диво. Достоевский. Христос — страсть жизни. М., 1999, стр. 168.

Писатели, которым, в отличие от Петрушевской, удалось не разлучиться (или — не удалось разлучиться?) со своими героями, так или иначе отмечают свершившийся факт «перехода», начала существования своих героев «за краем», то есть — в постэсхатологическом пространстве. Галковский, описывая, как Одинокова, как раз в то время, когда умирал, медленно и неотвратимо, его отец, повесили за шиворот на вешалку в школьной раздевалке (место между землей и небом, не принадлежащее ни земле, ни небу, за краем бытия и вне Бытия), заставляет героя осознать: «Здесь произошла идентификация с отцом. Я как бы вобрал в себя его предсмертный опыт. И тем самым выломился, выпал из этого мира. Я понял, что в этом мире я всегда буду никчемным дураком, и все у меня будет из рук валиться, и меня всю жизнь будут раскачивать на вешалке, как раскачивали моего отца»¹⁰.

Герои, существующие в постэсхатологическом пространстве, оказываются за пределами бытия, во всяком случае, за пределами линейного, «реального» бытия, привычно предполагающего одно событие в определенном пространстве в один момент времени. События начинают сбиваться в комок или сквозить друг сквозь друга, вся жизнь как бы вмещается в одно мгновение (а у Галковского в это мгновение вмещается еще и вся русская история последних полутора веков), утрачивают значение причинно-следственные связи, поэтому события, даже при сохранении традиционного вида текста, не располагаются во временной последовательности (и это не является приемом ретроспективного изображения, например, или традиционного начала «in medias res», с тем, чтобы потом досказать пропущенное), на первый план выходят совершенно иные связи между обстоятельствами. Но существование за краем реальности, за пределами бытия вовсе не означает непременно встречу с Бытием. Более того, никто из героев произведений, взятых здесь для анализа, с Бытием так и не встречается. Намечается какое-то срединное пространство, выясняется, что, покинув время, субъект вовсе не обязательно попадает в вечность.

В сущности, сказанное героем Галковского предельно адекватно происходящему: герой вбирает в себя именно *предсмертный* опыт (не смертный и не посмертный), застывая в пограничной зоне, вернее — в за-граничной, но и до-граничной зоне, на нейтральной полосе, на мертвой земле. Причем это состояние не приобретает им, но лишь осознается, задаваемое изначально — не тем или иным опытом героя, но самим положением его во времени, в череде поколений. Взаимоотношения Одинокова с действительностью до «подвешивания» описываются следующим образом: «Я был в школе. Это время я очень плохо помню. Даже времена года для меня слились в серую монотонную мглу. „Мрак и туман“. Большая перемена. В ушах все время гул, вообще оглушенность во всем теле, ощущение замедления времени и неестественности бытия. Похоже на гриппозную хандру. Тягучая истома и оцепенение, а внешний мир кажется нарисованным аляповатой и бездарной кистью»¹¹.

В романе Михаила Бутова «Свобода» существование героя за пределами наличествующего бытия в результате нисхождения поколений становится отправной точкой повествования. Сообщив о том, что прадед его был членом «Народной воли», дед — писателем, сведенным с ума словами, а отец не хватал звезд с неба, герой-повествователь резюмирует: «Времени с тех пор отсчиталось немало, и чем дальше, тем больше я видел оснований подозревать, что фамильными касаниями к искусству, подполью и безумию мера участия в жизни, определенная нашей семье, исчерпана без остатка. И если отец вышел здесь на уровень твердого нуля, то мне, хотевшему быть всем, существовать оставлено в областях отрицательных, если не мнимых»¹².

¹⁰ Галковский Дмитрий. Бесконечный тупик. М., 1997, стр. 150.

¹¹ Там же.

¹² Бутов Михаил. Свобода. — «Новый мир», 1999, № 1 — 2, № 1, стр. 12.

Западная литература давно освоила эту мертвую зону, сделав ее магистралью лабиринта времен, где блуждают герои постмодерна и где каждая ветвь заканчивается тупиком. Ведь поменять время, как утверждает Милорад Павич, можно, только сменив язык (а вместе с ним — имя и судьбу)¹³. И значит, времена не сообщаются между собой, не перетекают одно в другое, но, движущиеся в русле одного языка, приходят вместе с ним к той плотине, о которой говорилось выше. Но и язык, и имя, и судьба, поскольку их можно сменить, оставляют впечатление неистинности, какого-то утраченного присутствия в реальности, чего-то вроде сна, или череды снов, или, еще ближе по ощущению, — череды музейных экспонатов. Так и времена располагаются, как залы вдоль галереи, хранящие и предлагающие идущему язык, имя, судьбу — как исторический или этнографический костюм. Каким образом сохраняется при этом личностная целостность и сохраняется ли она все-таки — вопрос даже еще более неочевидный, чем вопрос о единстве личности внутри концепции переселения душ.

Как опустошается слово, так опустошается и «художественное произведение» в ситуации «конца времен». Остается и предлагается вниманию читателей оболочка, скорлупа, шелуха, shell, с очевидностью (проявившейся хотя бы в полотнах Иеронима Босха) связанная с «шеолом» Ветхого завета — *местом Божьего отсутствия*. Бумажные герои постмодерна начисто лишены и телесности (реальность телесной жизни несводима к ее формальной, «оберточной» имитации) — иначе, помимо всего прочего, было бы совершенно невозможно себе представить ту сексуальную навязчивость, которая характерна для их авторов. Та степень сексуальной насыщенности, которая присутствует, скажем, в «Химере» Дж. Барта, есть не более чем попытка сто раз сказать «сахар», чтобы во рту стало хоть чуть-чуть сладко.

Чтобы имеющее место в постмодернизме опустошение, обескровливание текста не воспринималось как неожиданное или непонятное, надо правильно осмыслить тот длительный процесс секуляризации культуры, который идеологами ее представляется как отважное (и триумфальное в конечном итоге) движение человечества к неведомым и недостижимым прежде границам. Нельзя не согласиться с тем, что это действительно движение к границам — в том смысле, что это удаление от центра. Это движение к периферии мира, к тем областям тьмы, которая не может объять светящийся Свет, но охотно раскрывает свои объятия всем желающим. Это есть область смерти, и она представляет собой предел наличествующего бытия. О том, что это есть в то же время «поворот в сторону будущего», утверждение будущего в качестве базового времени, свидетельствуют лозунги соответствующей эпохи — скажем, установка Брюсова: не живи настоящим, только грядущее — область поэта. Источение реальности (и в жизни, и в текстах) и вампиризация культуры и происходят по мере продвижения к этим границам. Вампиризация же проявляется в том числе и в попытках текста втянуть в себя читателя или как-либо внедриться в окружающую его реальность (такое устремление является конститутивным признаком «мыльных опер»). Это действие текста — совсем не то, что прежде участие литературы в жизни в качестве ее составляющей, неизменной части. Это внедрение в жизнь *чего-то*, что уже манифестировано как принципиально иное, как «вторичная» реальность, самостоятельная и обособленная, отдельный мир. Текстам Милорада Павича, пожалуй, это внедрение удается в самой большой мере, причем, что характерно, Павич воздействует на чувство вины и долга, напоминая читателям о том, что они якобы долгое время были «потребителями», «вампирами» литературы и литературных героев. В этом смысле замечательной притчей *начинается конец* его романа «Пейзаж, нарисованный

¹³ Павич Милорад. Пейзаж, нарисованный чаем. СПб., 1999. См., например, стр. 69 — 70.

чаем», где главная героиня, Витача Милут, влюбляется в читателя романа «Пейзаж, нарисованный чаем» и узнает, кто он, по странной способности обретать то, что потеряла она. И она пытается ворваться (или — вырваться) в мир своего возлюбленного. Так пишет Павич. Но на самом деле героиня совершает иное действие, она не настаивает на своей реальности, она берется отрицать реальность читателя: «Неужели ты полагаешь, что только ты имеешь право на книгу, а у книги нет права на тебя? Почему ты так уверен, что не можешь быть чьей-то мечтой? Ты уверен, что твоя жизнь не просто вымысел?»¹⁴ Литература постмодерна не настаивает на собственном воплощении — скорее она стремится развоплотить весь мир.

Вяч. Океанский закончил свою статью о Пушкине¹⁵ впечатляющими словами о времени: «И в самом опыте христианского летоисчисления время становится величиною метафизической, качественной, трансцендирующей природу и направляющей Все по волнам бытийной зыбкости в пространство Божьего невода». «Срединное пространство», создаваемое нынешней литературой, позволяет ей этого невода избежать.

Картинка, способная описать наше положение во времени, представляется мне следующим образом. В бочку укладывают шланг. Он ложится кольцами, на коротком отрезке создающими впечатление поступательного развития, на длинном — известную диалектическую модель развития по спирали. Это и есть время. Объем закрытой бочки пока не принимается во внимание, не принимается во внимание даже и само наличие бочки. Каждый отрезок шланга пущенной струей воды проходит без всякого даже намека на возможность возвратного или иного, кроме поступательного, движения. В какой-то момент шланг заполнит все пространство, позволяющее укладывать его аккуратно, спиралью. Однако остается еще пустая середина. Шланг продолжают засовывать, и он комкается внутри себя самого, собранного в спираль, произвольно заполняя срединное пространство, неожиданно оказываясь вблизи разных, произвольно взятых своих витков. Шланг прозрачен. Вода может наблюдать самые неожиданные стадии уже пройденного ею пути. Но вот бочка заполнена. Вода выплескивается из шланга в пространство самой бочки и заполняет ее до конца. Время остановило свое течение, пребывая в неких границах, природа которых для нас все еще плохо представима. Однако вода, находясь в пространстве бочки, получила доступ к любой точке пройденного ею пути — хотя и лишь как к музейному экспонату, ибо шланг хотя и прозрачен, но, по условию, водонепроницаем. Во всяком случае, без специальных усилий самой воды. Несмотря на то что перед нами единая конструкция, человек, находящийся во времени шланга, укладываемого кольцами, времени шланга, запикиваемого во внутреннее пространство, и в ситуации (это уже не совсем время) воды, изливающейся внутрь бочки, будет чувствовать себя в качественно различных состояниях.

Может быть, роль прозрачных стенок шланга, у которых мы пучим глаза, как рыбы, давно уже выполняет та грань, которая разделяет «первичную» и «вторичную» реальность и которая наиболее наглядно предстает нам как театральная рампа. Искусство, скорее всего именно секуляризовавшееся театральное искусство, положив предел участию всех собравшихся в действие, разделив всех бесповоротно и безапелляционно на актеров и зрителей, положило начало истощению сострадания, вырождению сострадания (о чем-то подобном говорит Аврелий Августин в «Исповеди»: «Но какое тут милосердие, когда события выдуманы и происходят на сцене? Слушателя приглашают здесь не на помощь спешить, а лишь скорбеть, и чем сильнее он скорбит, тем больший успех встре-

¹⁴ Павич Милорад. Пейзаж, нарисованный чаем, стр. 239.

¹⁵ Сб. «Пушкин и... 2000 год». Газ. «Иваново ПРЕСС», 1999, № 49 (105), 21 декабря.

часть творца этих картин»¹⁶), и истощение и вырождение сострадания стало одновременно истощением и вырождением реальности. Сострадание, в своем истинном виде — самое деятельное действие, которое вообще может осуществить человек, как свое внешнее выражение предполагающее всю деятельную помощь, которая может быть оказана одним другому — вплоть до «душу свою положить за други своя», искусством превращается в принципиально бездейственное эмоциональное слежение за судьбами героев, отделенных от зрителей непроницаемой прозрачной стеной. Сострадание начинает выражаться не в действии, но в эмоции, и надо ли доказывать, что перенесение этого типа сочувствия в жизнь неизбежно кладет начало истощению всякой жизни. Невидимые стекла начинают рассекать освоенное нами пространство, жизнь каждого начинает быть отделена от всякой другой жизни непроницаемой стеной (о чем так пронзительно писал Битов: «И мне кажется: в жестком прозрачном камне прорублены узкие каналы для каждого. У каждого неумолимый и одинокий путь, и только можно взглянуть с грустью и сожалением, как за прозрачной стенкой проходит другой один-человек и тоже смотрит на тебя с грустью и сожалением, и даже не останавливаемся, ни ты, ни она, не стучим в стенку и не пишем пальцем и не делаем знаков — проходим мимо, и столько в этом горького опыта невозможности») — стеной, которую в конце концов вовсе и не хочется «проникать», ведь так удобно ахать и охать над бедой ближнего с тем воспитанным искусством (или, вернее, «эстетическим» отношением к искусству — ибо иное к нему отношение может служить накоплению потенциала деятельного сочувствия в человеке; тут есть свои опасности и свой особый сюжет) уверенным ощущением, что осуществлено все, что нужно и что возможно. Секуляризованный «катарсис» становится медицинским средством¹⁷, средством психологической компенсации личности, развивается сентиментальность, для которой всякое чувство направлено в конце концов не на окружающий мир, но на саму чувствующую личность (своего рода психологический солипсизм: не «мне жаль, что он так страдает», но — «мне так жаль, что он страдает, я так страдаю оттого, что он страдает»).

Я не о нравственных проблемах говорю, я о том, что такое изолирующее деление реальности на «первичную» и «вторичную» неизбежно приводит к опустошению любой реальности — вовсе не только «вторичной». И я не только о сострадании — то есть не только о соучастии в другой жизни, — но и об участии в жизни собственной. Отмеченный впервые в прошлом веке как начало новой и редкой еще болезни тип мечтателя стал в наше время явлением повальным. Все больше и больше людей предпочитают мечтать о своей жизни, а не проживать ее.

Тем, что я говорю, я вовсе не хотела бы «отменить» (тем более «запретить») секуляризованное искусство. Просто мы всегда замечаем последствия эволюции какой-либо вещи, когда они приобрели уже катастрофический характер, и склонны их относить за счет неправильного развития этой вещи в последнее, непосредственно предшествующее катастрофе, время. Я просто — как мне кажется, небезосновательно — предполагаю, что эти последствия были заложены изначально в самой вещи — то есть в данном случае в самом искусстве — с того момента, когда оно объявляет себя своей собственной целью. Секулярное искусство — если считать его самостоятельным явлением, а не отклонением — при рождении своем обладает свойством, неизбежным следствием которого является нынешнее состояние этого самого искусства.

Интересно, что на русской почве первым романом, который рассказал о крушении сострадания из-за обнаружившейся странной преграды между людь-

¹⁶ Цит. по кн.: «Памятники средневековой латинской литературы IV — VII веков». М., 1998, стр. 156.

¹⁷ Об этом писал, например, Вяч. Иванов (Ivanov V. Freedom and the Tragic Life. A Study in Dostoevsky. N. Y., 1957, p. 12).

ми, стал роман, традиционно почитаемый как гимн именно состраданию. Я имею в виду роман Ф. М. Достоевского «Идиот». Почти павичевская сцена, описывая невидимую, но непроницаемую стену, разделяющую героев, констатирует (что начинает быть понятным читателю после опыта общения с современной литературой) существование героев в двух различных реальностях: «Князь даже и не замечал того, что другие разговаривают и любезничают с Аглаей, даже чуть не забывал минутами, что и сам сидит подле нее. Иногда ему хотелось уйти куда-нибудь, совсем исчезнуть отсюда, и даже ему бы нравилось мрачное, пустынное место, только чтобы быть одному с своими мыслями и чтобы никто не знал, где он находится... И пусть, пусть здесь совсем забудут его. О, это даже нужно, даже лучше, если б и совсем не знали его и все это видение было бы в одном только сне. Да и не все ли равно, что во сне, что наяву! Иногда вдруг он начинал приглядываться к Аглае и по пяти минут не отрывался взглядом от ее лица; но взгляд его был слишком странен: казалось, он глядел на нее как на предмет, находящийся от него за две версты, или как бы на *портрет ее*, а не на нее самое (курсив мой. — Т. К.)»¹⁸. Герой Достоевского стремится отодвинуть героиню в ту самую «вторичную» реальность, в которую затем героиня Павича попытается вовлечь читателя. Герой Достоевского (и, наверное, это более всего роднит его с нами) предпочитает иметь дело не с людьми, но с их отображениями в искусстве, — так наши современники уродняют себе героев «мыльных опер». В конце концов, гораздо менее хлопотно находиться с предметом своей любви в разных реальностях. Помимо всего прочего, это придает ему ту законченность и определенность — определенность, — которой никогда нельзя достигнуть, находясь с ним в одной реальности.

«Вторичная» реальность была освоена искусством постмодерна в качестве возможного центра лабиринта, из которого открывается выход в разные точки «первичной» реальности, иногда минимально друг от друга отличимые, но непременно свидетельствующие о некотором сдвиге в ней. Может быть, один из самых наглядных примеров — картина в пространстве романа Роб-Грийе «В лабиринте». Картина написана на сюжет того же события (солдаты разгромленной армии в городе после поражения французских войск под Рейхенфельсом), которое определяет время и место романной действительности. Картина становится срединным пространством, вырвав из потока времени, остановив мгновение, зафиксировав его, образовав некую «вечность» непосредственно на оси времени, и благодаря присутствию этой «вечности» время утрачивает свою линейность, вновь и вновь возвращаясь в пространство остановленного мгновения. Взаимодействие времени и такого рода вечности довольно интересно прослеживается в романе, но здесь не место это разбирать. Мне важно констатировать, что «вторичная» реальность способна и склонна брать на себя функцию вечности на оси времен.

Наш опыт, однако, по сравнению с западным как-то даже навскидку гораздо более тяжеловесен, отягощен присутствием реальности, трением о реальность, ибо не выдуманных и отдельных героев посылают в лабиринты авторы, но — очень мало отличимых от себя самих, носящих то же имя, что и автор (самый известный здесь, конечно, Веня Ерофеев), лишь иногда прикрытое прозрачным псевдонимом (по главному свойству героя и автора — Одинокое).

Имя героя-рассказчика «Свободы» нам не сообщают. Но отгадать его не сложно, и оно опять-таки повторяет имя автора — Михаил. В сущности, оно оформляет все пространство романа, хотя истинная свобода наступает лишь тогда, когда герой отказывается от этого оформления, от вольного или невольного захватывания мира в клещи формируемого собственным «я» универсума, границами, полюсами которого грозит стать «арктосу» (как напоминает автор,

¹⁸ Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 30-ти томах. Т. 8. Л., 1973, стр. 286 — 287.

по-гречески это значит «медведь») и «антарктиде» (свою вторую половину в романе естественным образом можно обрести только там). Истинная свобода наступает тогда, когда герой отказывается от своей «антарктиды» — позаимствованной им из другой семьи, что, может быть, и предопределяет неудержимый люфт мироздания, мерцания вселенных, отличающихся друг от друга незначительными деталями. Ведь здесь тоже полюсом («антарктидой») соприкасаются очень похожие друг на друга миры, так как герой и муж героини, по признанию самого героя, — однотипны. И здесь становится ясно, что некая свобода (не та, до которой герой добирается на последних страницах) дана ему изначально, ибо не он определяется миром, но мир, его окружающий, творится по законам, им выбранным в качестве законов собственного существования. Воистину каждый получает, что хочет, но не всякий этим доволен.

Но эта свобода предоставлена ему обстоятельствами его рождения, положением в семье, историей развития которой было ему оставлено существовать в областях отрицательных, если не мнимых. Это свобода молекулы воды в полости бочки — прибиться к любому месту шланга, притулиться к любому времени, но снаружи, снаружи, с другой стороны прозрачной стены. Истинное существование осталось в бесконечно далеком прошлом, на которое нам предоставлено пялиться, как рыбам, с умопомрачительным, непререкаемым чувством, что до него — рукой подать... Когда я опубликовала своих «Сверстников Ноя» («Новый мир», 1998, № 8), Михаил Бутов сказал: «Подождала бы до выхода моего романа — у тебя был бы материал для „критики“». Действительно, моей «критической статье» тогда не на что было опереться в отечественной литературе. Получилось, что я написала о романе до того, как появился роман.

Истинное существование обнаруживается за границами замкнутых временных вселенных, череды остановленных мгновений, там, где герою внезапно удается выбраться в область настоящего времени, где краснеют на белой тарелке дольки помидора и жена измеряет штангенциркулем уши подрастающему младенцу, пытаюсь определить свойства его характера. Отличие этого отрывка от основного текста аналогично различию между «первичной» и «вторичной» реальностью.

Надо заметить, что прозвучавшее скрыто (а иногда и открыто) недоумение — о какой такой свободе написан роман «Свобода» — связано с нашим застарелым неумением обращаться с категорией жанра. Мы неверно ставим вопрос (даже грамматически неверно). Роман — он все же не «о ком», он — «с кем», в крайнем случае (последнее время — все более часто), «с чем». И если предположить, что перед нами не «роман автора о свободе», а роман героя-рассказчика *со* свободой, очень многое встанет на свои места. А что касается проблемы обретения-необретения этой самой свободы — так у нас еще со времен «Евгения Онегина» модны романы с открытым концом. (Если кто-нибудь ехидно поинтересуется, у кого ж это роман с Евгением Онегиным, — так ответ общий для того типа романов, которые появились в XVIII — XIX веках в Европе, а потом и у нас, и назывались по имени главного действующего лица: роман у действительности с новым типом героя. Ну а что действительность у Пушкина — полноправная героиня, заметил еще Белинский, произнеся свое знаменитое «энциклопедия русской жизни». Тогда действительность робкой влюбленной девочкой следовала за героем, который ее и знать не хотел. Нынешние герои и авторы, искренно пытаюсь завязать роман с действительностью, быстро обнаруживают, что эту строптивую принцессу теперь надо искать где-то за глубокими морями, за высокими горами, в Кошчевом царстве.)

Роман Бутова, согласно содержащейся в тексте декларации, должен сочетать два противоречащих друг другу принципа: принцип непрерывности, заявленный в рассуждениях друга рассказчика, ставящего пантомиму, и принцип дискретности, описанный в той структуре мироздания, которую вычитывает из брошюры издательства «Наука» укрывшийся ото всех с неясным намерением эту самую структуру осмыслить рассказчик. Вырывание движения из контек-

ста, остановка мгновения, предостерегает режиссер пантомимы, чреватые неоправданным сгущением смыслов, смысловой перегрузкой того, что должно скромно проплыть в потоке, может быть — незамеченным. Но, кажется, конечная цель рассказчика и состоит в поиске абсолютного значения каждого пережитого мгновения, неизбежно этой смысловой перегрузкой приравнивающегося к целому, оформляющегося в отдельную вселенную, которые перекачиваются в романе, как глобусы в бабушкиной комнате. Нестандартные глобусы со свалки, похожие и непременно различные. Это предельно честный вариант лабиринта — ведь всякая вселенная проживается до «полной гибели всерьез», хотя гибель и становится лишь вариантом перехода в другую вселенную. А от предыдущей остается какая-нибудь черепашка под окнами — не по сезону — на белом снегу; черепаха — основа и держательница вселенной, покоящейся на ее огромной тяжелой спине. Ее, не признанную за своего героем-рассказчиком, заберет девушка с иконописным лицом, увидев которую он смутно почувствует, почует, куда надо двигаться, чтобы обрести свободу.

При этом, однако, тяга героя-рассказчика к непрерывности такова, что даже записи свои он иногда делает бустрофедоном — это не «система написания фраз в обратном порядке», как расшифровал один из критиков, но письмо «воловыми бороздами»¹⁹, когда одна строка пишется в одном направлении, следующая же — в обратном, то есть сохраняется непрерывность записи, тогда как при обычном письме всякая строка оказывается как бы оторгнутой от предыдущей.

В этом романе четко просматривается принцип «нелинейного» расположения событий, о котором было сказано выше. Первое место в романе, куда мы попадаем, — это квартира, где поселяется герой, почти освободившийся (и завершающий на наших глазах это освобождение) от всех социальных связей, от всей паутины жизни, которую тщательно сплетает человек, воображающий себя хозяином этой сети и всегда с опозданием обнаруживающий, что он — ее бессильная жертва. (Так и паук Урсус — не медведь, но Михаил — оказывается жертвой образовавшейся связи, привязанности, жертвой любви и доверия — жертвой попытки героя спасти своего друга и тезку, другого — и в то же время — себя самого, от голодной смерти.) Из этой «срединной зоны», организованной вечности на оси времен, сохраняющей все признаки такой вечности — даже пауков, мы вместе с героем выходим в разные времена его жизни, завершающиеся в себе и не связанные между собой (ничем, кроме срединного пространства) и в этой завершенности обретшие свой абсолютный смысл. Сказанное вовсе не значит, что герой (это было бы как раз весьма привычно) уединяется в квартире для воспоминаний, то есть «выходит» из нее лишь в прошедшее время. Нет, он попадает и в текущее время (как-то язык не поворачивается назвать его «настоящим»), и во время будущее, но каждый такой «выход» оформляется как законченное в себе «приключение» — будь это поездка в Хибины («прошлое») или поездки к матери, на базу («текущее»).

Непонятно, однако, что происходит с бомбой, заложенной в недрах последней осваиваемой героем вселенной, с бомбой, которую он должен был извлечь на пару со своим предельно сейсмически чутким приятелем. Оказывается ли она заложенной в фундамент того мироздания, где родится его ребенок и герой обретет наконец дом, о котором грезил всю жизнь, дом в смысле английского home, «крышу с аистовым гнездом»? Где он выйдет в область настоящего времени, линейного течения своей жизни? Символ той каверны, чреватой взрывом, которую «вторичная» реальность образует в недрах «первичной»? Не из-за этой ли каверны вещи теряют свою терпкость, предстают отчужденными — и это в мире, который должен бы был явить нам идиллию? Или они утрачивают нечто, пlying в потоке, нечто, чем обладали, будучи выделенными

¹⁹ См., напр.: Зелинский Ф. Ф. История античной культуры. СПб., 1995, стр. 86.

из него, пусть это «нечто» называется по-другому — «принудительным накачиванием смыслов»?..

Или бомба осталась в основании того рухнувшего мира, «срединного пространства», где арктос не отказывается от своей антарктиды? В основании мира, уложенного в свою горизонталь, замкнутого своими полюсами, мира «превращенного» мгновенья (а попытка «остановить мгновение», как известно хотя бы из «Фауста», по условию отдает человека в руки дьявола, как, кстати, и попытка самоубийства: так что большой вопрос, куда и с каким спутником выходит герой в «текущем» времени за пределы «срединного пространства»), мира, где не произрастает ростков, тянущихся вверх и задающих вертикаль, где всякая вертикаль сводится на «вивимахер», этакое общее принудительное означающее, позволяющее горизонтали изображать из себя «поле тотальных значимостей»? Самой впечатляющей вертикалью этого мира становится груда мусора, забившего мусоропровод, гордой колонной поднимающаяся к небу. С большим трудом с ней справляется дворник, на пару со своей безумной дочерью обреченный (и — облеченный) следить за чистотой мира. Остается ли бомба в основании мира, который исчезает, когда любимая героя уходит от окна — как от люка улетающей в неизвестность ракеты, глухого окна, через которое можно говорить только знаками? Потому и отменяется поездка друзей, что они уже — в другом мире? В мире, где наконец можно вздохнуть полной грудью, где любовь не тaitся от глаз безумной дочери дворника и выражает себя танцем, а не привычным и ожидаемым действием, где она становится не смертоносной для того, на кого направлена, как прежде. И не смертельной, а целительной для глаз выздоравливающей Офелии, прильнувшей к стеклу с молчаливой рыбьей улыбкой.

Пространство романа Юрия Малецкого «Проза поэта»²⁰ полностью интeриоризовано. Его лабиринт выстраивается во внутреннем пространстве героя-рассказчика (одновременно — автора?), ветвящегося вариантами своих обличков и биографий. Вопреки известной формуле «ад — это другие», прочитав этот текст, можно сказать, что ад — это когда весь мир — только ты сам. Все герои являются двойниками друг друга, все героини, в той степени, в какой они вообще представляют собой нечто большее, чем обстоятельства жизни героев, — лишь их «анимы». Впрочем, такая героиня всего одна. В отличие от женщин, являющихся «обстоятельствами», эта героиня лишена каких-либо внешних черт (если они и были, и даже указаны, они все равно максимально безличны и бесцветны и их требуется немедленно забыть), появляясь лишь как «улыбка Чеширского кота» перед внутренним взором героя. Судя по тому, что герой оказывается отвергнут своей «анимой», внутреннюю расколотость ему преодолеть не удастся. Впрочем, роман назван романом-завязкой. Не удалось интeриоризовать непослушную аниму одному «мне» — авось удастся другому «мне». Автор пытается удержаться в пространстве, из которого он может выходить в существование любого из героев-двойников.

В сущности, в этом и состоит суть лабиринта, суть нелинейности. Она — нелинейность — предполагает не то свое формальное определение, следуя которому Михаилу Бутову в его статье²¹ не удалось обнаружить в современной литературе ни одного по-настоящему нелинейного текста; нелинейность — это не отсутствие последовательности событий (той или иной: даже и временной), это отсутствие их неотменимости. В нелинейном тексте, пространстве, существовании ничего не происходит, потому что ничего не происходит окончательно, без вариантов, без возможности вернуться в ту же точку лабиринта и пройти другой путь. Без возможности переиграть раз сыгранную игру. Вот в линейном времени даже играют очень всерьез — стоит вспомнить «Пиковую

²⁰ Малецкий Юрий. Проза поэта. Роман-завязка? — «Континент», 1999, № 99.

²¹ Бутов Михаил. Отчуждение славой. — «Новый мир», 2000, № 2.

даму». Как вневременность (или — всевременность) постмодерна — пародия на вечность, так нелинейность — пародия на покаяние как на возможность очищения и *отмены* греха. Но если вечность трансцендентна времени и покаяние возводит человека к вечности, к его неповрежденному в ней образу, то имманентная «вечность» тысячекратно (если понадобится) проводит человека через один и тот же порог, через одно и то же событие — до тех пор, пока он не совершит этот переход удовлетворительно. Сейчас любят слово «инициация» — оно адекватно выражает это состояние: не жизни, но посвящения в жизнь. Все как по правде. И все, в принципе, подлежит переигрыванию. Концепция жизни как игры, в сущности, идентична концепции жизни как непрерывной инициации. Боюсь, что скорее в нынешней литературе нет ни одного линейного текста.

...Пожалуй, слово «инициация» действительно нечто проясняет в природе «срединного пространства» лабиринта времен. «Обряды перехода» по самой своей природе предназначены к созданию такого пространства — в которое можно было бы выйти из жизни по завершении одного ее этапа, по завершении «одного себя», и по которому можно с успехом добраться до входа в другой этап жизни; пройдя определенным путем, обрести «другого себя». Но те, кто имеет дело с инициацией всерьез, никогда не обманывались касательно ее природы, описывая обряды перехода в терминах умирания и возрождения. Пространство инициации — это пространство смерти, и становится понятен пафос доклада В. Подороги на конференции, прошедшей в октябре 1999 года в ИМЛИ и посвященной «пограничным эпохам», состоявший в стремлении заставить слушателей почувствовать, что смерть как большое и однократное событие перестала существовать, что смерть расплылась, растеклась по всей жизни человека, что все мы уже в каком-то смысле умерли — и ничего особенного не произошло, и значит, все это вообще не очень важно и ничего страшного.

Авторы упоминавшихся здесь текстов ничего не придумали: наша жизнь существует в зоне, которая задумывающимся над этим вопросом современными философами опознается как мертвая. Литература *пост*-модерна оказалась именно там, где и должна была оказаться согласно заявке, в соответствии со своим именованием.

Текст Владимира Маканина²² отличается тем, что вместо временного лабиринта в нем создается лабиринт нравственный. Нравственные ситуации, поставленные русской литературой, разрешавшей их трудом, потом и кровью — то есть так, как их только и можно разрешать в линейном, последовательном пространстве-времени текста, осваивающего опыт мира, у которого на месте еще и горизонталь и вертикаль (как бы на последнюю ни восставали), — эти нравственные ситуации оказываются здесь, подобно временам в других текстах постмодерна, изолированными, дискретными тупичками вдоль какого-то не затрагиваемого нравственными проблемами, без-нравственного (как в других случаях — без-временного) пространства героя. Он не проходит *через* них, как приходилось прежде, — измененный совершённым, с печатью греха, от которой можно избавиться, только миновав, осилив соответствующий круг Чистилища (см. «Божественную комедию»), но входит в них и... выходит: тем же путем, не преобразованный происшедшим, но лишь удостоверенный им в чем-то, в чем, впрочем, и прежде был убежден.

Отчасти это напоминает ситуацию Николая Ставрогина (Ф. М. Достоевский, «Бесы»), сразу, с детства оказавшегося во власти «мрачного демона иронии» и потому не познающего мир в общении с ним, не говорящего с миром, чтобы понять его и себя, но — *экспериментирующего* над ним, используя себя в качестве инструмента, орудия эксперимента. Экспериментирование характерно и для героя Маканина.

²² Маканин Владимир. Андеграунд, или Герой нашего времени. — «Знамя», 1998, № 1 — 4.

Именно поэтому в романе Маканина отсутствует *неожиданность* — ведь эксперимент проводится по подготовленным разработкам и имеет заранее ожидаемые результаты. А еще эксперимент не предполагает вмешательства неучтенных «обстоятельств» — поэтому все вертикальные связи обрезаны и терриум надежно упакован — *under ground*. Поэтому же не важно, было или не было какое-то событие реально в романной реальности. Мысленный эксперимент не сильно отличается от поставленного «на самом деле» — к жизни это все равно отношения не имеет.

Разделившись на «первичную» и «вторичную», половинки прежней целостности все больше утрачивают свойства собственно реальности. Литература не может этого игнорировать и констатирует это, хотя и по-разному относится к процессу. «Вторичная» реальность, согласившаяся со своим статусом, мстя за однажды допущенную по отношению к ней неучтливость, громко и задорно объявляет ныне «первичную» реальность лишь одним из не самых заслуживающих внимания вариантов «вторичной». Но есть литература, смутно и с тоской вспоминающая о том, что она — часть, а значит — о своей причастности. И вот в этом-то и заключается надежда — в тоске литературы, некоторых ее героев и авторов (а значит, и некоторых из нас) по действию вместо мечты, по жизни вместо приключения и «инициации», по настоящему времени и истинной вечности, а значит — по ответственности и свободе.



Р Е Щ Е Н З И И . О Ъ З О Р Ы

МАКСИМ СОКОЛОВ И ЕГО МНЕМОЗИНА

Максим Соколов. Поэтические воззрения россиян на историю. В 2-х книгах. М., «SPSL» — «Русская панорама», 1999. (Очерки новейшей истории). [Кн. 1]. Разыскания. 503 стр. [Кн. 2]. Дневники. 439 стр.

Издательство «Русская панорама» выпустило двухтомник известного публициста-обозревателя Максима Соколова, оформив его примерно в той же монументальной стилистике, в какой издательство «Наука» оформляло в свое время столь любимую интеллигенцией серию «Литературные памятники». Сегодня, когда читатель приучен к гораздо более лихому дизайну источника знаний (присутствие в эстетических слоях обложки компьютерных технологий как бы намекает на наличие у автора современного мышления), консервативность данного издания вызывает даже некоторый шок. «Это что за Максим Соколов — *тот самый* Максим Соколов?» — спрашивает покупатель, выдернувший памятникомподобный том из тугого книжного пресса на уличном прилавке. «Тот самый, тот самый, — уверяет расторопный книгопродавец, распростершийся над прилавком будто птичка над гнездом и, возможно, никогда не читавший ни „Коммерсантъ“, ни „Русский телеграф“». — А вот еще и Саша Соколов, тоже двухтомник. Тоже очень хороший писатель!»

В чем тут пуанта? Видимо, в том, что тексты, которые в условном историческом и даже в буквальном «вчера» еще были газетой, ныне предстают не просто в виде легковесного сборника, но в виде капитального труда, упакованного в такую же точно торжественно-надгробную обложку, под которой находим труды почтенные, давно упокоенные и, сказать по правде, существующие в сознании читателя скорее номинально, нежели актуально. Максим же Соколов — более чем актуален. Ликование граждан при чтении его особо язвительных статей таково, как если бы вольные писания касательно монстров текущей политики все еще были под запретом. Сладкий вкус запретного плода, который иные литераторы пытаются сохранять путем перегрева материала и добавления в него как можно больше сахара, у Максима Соколова почему-то присутствует как натуральный ингредиент злободневного текста. Плоды политического и экономического злонравия урожая 1991 — 1999 годов содержатся во втором томе сочинений — «Дневники», — так сказать, в календарном порядке, а первый том — «Разыскания» — систематизирует их в плане генетическом, то есть по части наследования признаков от тех не слабых сюжетов, что произрастали прежде в отечественной и — шире — мировой истории.

Расстояние между газетой и книгой можно уподобить условному, но всегда ощущаемому зрителем пустотному перепаду между ближним и дальним планами любого пейзажа: бег газетных полос являет нам движение событий и вещей, тогда как хорошая книга всегда *стоит на месте*. Ближний план пейзажа — это, собственно говоря, и есть реальная жизнь, где мы пребываем физически, тогда как обобщенная область у горизонта уже потому может считаться литературой, что наличие там строений, растений и людей (похожих или не похожих на то, что около нас) нами домысливается. Последнее десятилетие российской истории, ставшее объектом «Разысканий» и «Дневников» Максима Соколова, характеризуется тем, что связность житейского пейзажа оказалась полностью утрачена. Год теперь считается не то за два, не то за десять: наш паровоз рванул вперед со скоростью, неопределимой в силу отсутствия системы мер, но по ощущениям такой, какая и не снилась строителям коммунизма. Когда-то советская власть активно имитировала движение реальности к светлому будущему. «Вечная спешка (вспомним название романа Катаева „Время, вперед!“) объяснялась тем, что любая остановка — от простоя до застоя — это предательство будущего. Время торопили все — от Маяковского, обещавшего „загнать клячу истории“, до Горбачева, начавшего перестройку призывом к „ускорению“. Чтобы время прошло быстрее, его как бы уплотняли,

укладывая в пятилетки, которые потом еще и выполнялись досрочно, в четыре года, что позволяло на год сокращать путь в вечность», — так Александр Генис в «Беседах о новой словесности» описал один из частных советских способов выдавать желаемое за действительное. Ныне, когда, наоборот, действительное выдается за желаемое (не нами, естественно, а некими тайными врагами россиян — демократами, сионистами, МВФ и т. д.), события замелькали так, что реальный план существования, видимый как бы из окна несущегося поезда, действительно напоминает сумасшедшую газетную гладь, ускоряемую вращением печатных машин. Память пассажира сделалась неимоверно коротка: попытка выхватить из пестрой ленты что-нибудь конкретное приводит к секундному обрыву зрения и к потере ориентации в обвально набегающих вещах. Эта утрата мнимой связности мнимо жестикулирующих фигур плюс помрачения от кризисов (никогда не знаешь, не хапнет ли тебя вот-вот неожиданный, черным ветерком щекочущий туннель) естественным образом порождают в обеспамятевших гражданах тягу ко всему фантастическому. Мифологизация событий и персоналий, не достигая советской эпичности, достигает, однако, необычайной частотности. Очень может быть, что свободные СМИ врут не только потому, что это выгодно (богатый дядя платит), но потому, что это творчески проще: когда не можешь толком ничего связать, а отписаться надо, выручает кустарное мифохудожество.

Что же касается литературы в виде статичной книги, то она помещается теперь как бы на другом берегу пустоты. Пассажиру, наблюдающему подозрительно истончившийся горизонт, уже не верится, что там все такое же, как здесь. Александр Генис, обосновывая возникший после 1991 года новый писательский выбор между литературой как «игрушечной вселенной» и литературой как «голой, обнаженной до болезненного неприличия правдой», видит причину разрыва в следующем: «Реальность взяла реванш у влиятельного миража, учившего тому, что только описанное художественным методом явление заслуживает доверия и осмысления». Если первая часть высказывания примерно отражает образовавшийся в нашем пейзаже метафизический разрыв, то вторая бьет мимо: о каком «реванше реальности» можно говорить, если связь времен распалась не на уровне веков, а на уровне буквально месяцев? Где, спрашивается в задаче, эту реальность теперь разместить? Фрагменты «правды» отменяют друг друга с такой быстротой, что цельную, сколько-нибудь пригодную для написания «нетленки» картину сложить невозможно. Кажется, что «голая правда» может существовать только как частная правда автора, как его субъективный мираж, претендующий на влиятельность ровно постольку, поскольку автор как таковой способен заинтересовать собою более чем трех читателей. Можно ли нынче вообще создать на базе «правды» книгу достаточно просторную, чтобы она могла вместить, помимо автора, хоть что-то еще?

Тем не менее — факт: публикации Максима Соколова, преодолев удельную раздробленность постсоветского десятилетия и собственную неизбежную частичность, встали в книгу. Уже одно то, что политический журналист собрал под книжную обложку свои выступления от разных лет и при этом не утратил единства собственного «я» — то есть не утратил лица, — заслуживает ныне почтительного удивления. Видимо, пребывание в периодике для *писателя* Максима Соколова органично: частое сравнение разваливающейся страны с мокрой разлезавшейся газетой косвенно свидетельствует о прочной эмоциональной связи между профессией и бытием. Однако, оказавшись в двухтомнике, тексты газетно-журнального происхождения сами установили между собой «дипломатические связи», которых не было прежде: возможно, они сами «нашли» друг друга, когда «Разыскания» составлялись по разделам «Империя», «Умы», «Герои» и т. д. Помимо «Поэтических воззрений россиян на историю» я знаю только один пример подобной трансформации газеты в книгу и в литературу: это «Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е» Андрея Немзера. Но тут чистота эксперимента несколько нарушена: рецензия известного критика на известных и малоизвестных прозаиков изначально были «литературным приложением» к политико-экономической части «Независимой» и «Сегодня»: здесь информационный повод — публикация, скажем, романа в одном из толстых ежемесячников — сам по себе незначительней излагаемого материала. Так что газетная критика Немзера, ставшая книгой, просто вернулась к себе до-

мой, тогда как Максим Соколов по специализации — как раз изготовитель главного газетного блюда. Тем не менее тексты Максима Соколова вместе оказались выразительнее и явно литературнее, чем были по отдельности; «созрев» и избавившись от притяжения реального события, к которому первоначально служили комментарием, они сделались интересны сами по себе. Так из сварившегося супа удаляют топор, и суп оказывается неплох.

Что же сделал Максим Соколов для того, чтобы так заметно выделиться в широком поле новой российской периодики и наличествующих там персон? Почему читающая публика настолько к нему благосклонна, что с удовольствием фольклоризирует размеры его гонораров?

Издатели представляют автора двухтомника «одним из создателей нового стиля постсоветской журналистики» — но вряд ли дело в собственно стиле. Письмо Максима Соколова средним, конечно, не назовешь (хотя бы потому, что уровень образованности данного автора избыточно превышает среднегазетный, что не может не сказаться на богатстве как словарного запаса, так и литературных, культурных, исторических и прочих аллюзий). Но примерно так, как он, работают многие: бойко писать сегодня не штука, политик, доведенный до абсурда, ныне персонаж распространенный (тем более его и доводить не надо, сам себя доведет). Мне представляется, что постсоветская журналистика породила не столько стиль, сколько идеальный образ Продвинутого Обозревателя (этакого новейшего Супермена, бегом обгоняющего наш поезд и паровоз). Этот образ и является источником неидеальных имиджей ряда реальных персон, от Курицына до Доренко. Супермен, он же податель универсального Стиля, воплотился и в творчестве Максима Соколова — при том, что Соколов как раз из тех, кто пытается его преодолеть.

Художественность работ этого, без сомнения, писателя лично для меня очевидна тогда, когда Максим Соколов видит и показывает мне некоторые явления на иррациональной подкладке, они же загадочные элементы политического пейзажа. К таковым относится, например, РСФСР в составе СССР — сиамский близнец Империи, на пространстве которого обитатель никогда ясно себе не представлял, гражданином чего он, собственно говоря, является. Также и новейшее московское строительство с его «Обкомом Христа Спасителя» — самым большим белым грибом на грибнице финансовых структур, «правильно понимающих столичные нужды». К явлениям не менее удивительным относятся и праздники-мутанты: годовщины Октября, оставленные «пиблу» в качестве государственных выходных и являющиеся в действительности «красными пробелами» сегодняшнего российского календаря; 80-летие безбожной комсомолии с торжественным молебном; многочисленные юбилеи — Пушкина, Москвы, — ставшие способом «приватизации истории» в пользу новой российской элиты, немедленно наложившей на приобретение густой налет собственной пошлости. И, наконец, самый жуткий образ, то и дело всплывающий на страницах двухтомника: тот летаргический сон, в который должно погрузиться все население страны, чтобы программы реформ, провозглашаемые тем или иным политиком, сделались осуществимы. То есть мы должны не есть, не пить и временно не жить; реформы могут пройти только по ту сторону нашей действительности, в какой-то всеобщей загробности. Получается, что народ и его спасители не только обитают в разных мирах — они не могут больше существовать *одновременно*. Это значит, что постсоветское время оказалось не только дискретным, то есть разорванным на мелкие части, но и разделенным на властный «день» и электоральную «ночь». Народ и политики встали друг против друга как бы не впрямую, а в шахматном порядке: возможность диалога, таким образом, сделалась проблематичной. Если обратиться — в духе всего творчества Максима Соколова — к литературным аналогиям, то здесь воспроизводится одна из моделей «Хазарского словаря»: деятельность реформаторов есть сон народа, жизнь народа есть сновидение реформаторов. Но если ПМ-литература, освещенная присутствием в ней Милорада Павича, может себе позволить роскошь не ставить вопрос, что же есть действительная и подлинная реальность, то вне *этой* литературы так не получится. И потому вдвойне отраднo, что автор рецензируемого двухтомника мыслит не только образами, но и головой.

У Максима Соколова хорошая память. И это не только память «газеты», то есть тогда-то и тогда-то опубликованных текстов, зафиксировавших те-то и те-то события. То есть живая и грамотная хроника десятилетия тоже имеет сегодня мировоззренческое значение. Читая «Дневники», внезапно обнаруживаешь, что уже совершенно забыл такие, например, острые сюжеты, как скоростной обмен пятидесяти- и старублевых купюр, вылившийся некогда в народные столкновения возле почтовых отделений и касс «Аэрофлота», или межбюджетную войну между СССР и РСФСР, ставшую прообразом сегодняшних соревнований между любыми административно сопряженными частью и целым за перетягивание финансового каната. Память рядового читателя (в данном случае и моя) обычно работает в режиме реставрационном: добираясь до того красочного слоя, где находится интересный меня сюжет, я как бы снимаю (то есть забываю) позднейшие слои. Эта странная регрессия, быть может, объясняется тем, что, как бы разительно ни менялась окружающая россиянина действительность, россиянин менялся еще больше, хотя и не всегда сам это замечал. Политический писатель класса Максима Соколова отличается от своего читателя, видимо, тем, что помнит события особой творческой памятью — не столько как бывшее, сколько как *хорошо (самому понравилась!) описанное*. Это позволяет автору полноценно восстанавливать утраченный нами контекст.

Мнемозина политического писателя не такова, какова она у автора прозы. Она не кутается в цветной туман и не пересоставляет прошлое в угоду поэтическому чувству. Ее удача — это не сошедшийся пасьянс, но хорошо составленная карта политической местности. Мнемозина Максима Соколова, несмотря на вьющуюся иронию, что оплетает каждую авторскую мысль, обладает глубинной серьезностью, формирующей, в частности, интонацию текстов. Ее специальность — установление утраченных связей замифологизированной реальности и прояснение тем самым читательских мозгов. Ее любимый инструмент — аналогия. Образованность плюс интегрирующий взгляд на суть предмета, которыми обладает автор, расширяют для Мнемозины оперативный простор как исторически, так и географически. Отнюдь не пренебрегая внешней оболочкой явления и охотно вступая с ней в пластическую игру, Максим Соколов рассматривает прежде всего законы, по которым явление существует. Так, сопоставление сегодняшней России с Веймарской республикой активно демистифицирует нынешние злосчастные русские обстоятельства, показывая: а) подобные политические и экономические «исходные данные» уже порождали примерно такие же, как у нас, результаты, б) причины и следствия связаны здесь не мистическим, но естественным, хотя и неблагоприятным, образом, в) «...когда это вообще было, чтобы новоявленные демократии представляли собой возвышающее душу или, по крайней мере, относительно пристойное зрелище? Этап становления либеральной республики практически всегда выглядит необычайно похабно, а надлежащие гражданственные мифы о героической поре становления приходят существенно позднее».

Работа с «надлежащими мифами» — одна из примечательных сторон «Расследований» Максима Соколова. Воззрения россиян на историю, наверное, потому и названы здесь (вослед этнографическому труду Афанасьева) «поэтическими», что сформированы они не столько подлинными фактами, сколько образными представлениями о них — тоже в каком-то смысле *подлинными* продуктами эпохи. Конечно, о «поэтичности» этих протезированных реальностей, создатели которых меньше всего заботились о художественных качествах своего продукта, можно говорить только в том смысле, в каком протез утраченной ноги является скульптурой. Однако сам момент «снятия» миража и то неожиданное, что открывается за сдернутой занавеской, вместе порой производят эффект именно художественного открытия. Наверное, дело тут в том, что, сокрушая миф, умный Максим Соколов демонстрирует читателю парадоксальную многослойность его же собственного сознания. Сегодня мы уже не удивляемся тому, что у целого поколения россиян, пребывающих в здравом уме и юридически твердой памяти, застойные семидесятые сохранились не в образах личного опыта, но в представлениях «развитого социализма». Брежневская бутафория оказалась на поверку крепче безобразной реальности, отмененной последующими, гораздо злейшими, как теперь мнится,

безобразиями. Еще более витальным предстает перед нами миф о «сталинском избытии», сохранившемся в умах в виде картинок из монументальной «Книги о вкусной и здоровой пище», — причем неукоснительное «избытие» якобы сопровождалось не менее неукоснительным сталинским порядком. Однако подлинная картина выглядит следующим образом: «В части скудости, нищеты и отсутствия всякого слюнявого либерализма и гуманизма — все как надо. В части порядка — все совершенно как не надо, ибо по степени бессмысленной бардачности та героическая эпоха не только не уступала нынешней, но по многим параметрам даже существенно ее превосходила. Дело даже не в том, что карточная система — это голод, грязь и убожество, дело в том, что она еще и никогда толком не работала». По истечении некоторого времени (год, не забудем, идет за три) любая реальность, побывавшая под игом мифа, становится фантастичнее, чем миф. Потому так увлекательно предложенное Максимом Соколовым достойное занятие: перечитать реальность на трезвую голову.

Если говорить о преодолении стиля, задаваемого Продвинутым Обозревателем, то в случае Максима Соколова механизмом преодоления окажется, как это ни занудно звучит, ответственность автора за написанное пером. Соколову отнюдь не чужда интеллектуально-цитатная игра, которую многие продвинутые обозреватели почитают самоценной и не подлежащей обсуждению в плане обратной связи с действительностью. Но персонажи Максима Соколова, конечно, не «куклы». Так, накладывая образ Григория Явлинского на образ «душки Керенского», Соколов добивается не столько комического эффекта (хотя и его тоже), сколько понимания простого факта, что оппозиция «выдающихся общественных деятелей» реально опасна для общества. Опыт Февральской революции оказался опытом провальным: «При искренней убежденности в своем несомненном праве, заварив чрезмерно крутую кашу, с торжественным видом уйти в сторону и умыть руки — каких еще результатов можно было ждать?» Нынешняя «яблочная стратегия», нацеленная на то, чтобы быть исключительно в белом, сильно напоминает поведение февральского «ответственного правительства», на что Максим Соколов не устает указывать во многих статьях. Вообще все его наложения реалий сегодняшних на реалии прошлого оказываются удивительно экономными: конфигурации совпадают почти без остатка.

Прагматичный и серьезный взгляд на положение дел — это нынче будто маслом по сердцу. Собственно, автор не щадит читателя и его иллюзий: показывает, каков у общества реальный коридор возможностей — а именно тесный, грязный, страшноватый и отнюдь не предполагающий тех чудес благоустройства России, коих общественность ожидала немедленно после разрушения совка. При рассмотрении разных заманчивых преобразовательных идей Соколов задает себе и читателям трезвый буржуазный вопрос: во что нам, собственно, это обойдется? Конечно, и сам популярный аналитик не чужд некоторым романтическим представлений о некоторых грубых вещах. Он, похоже, искренне верит в блага монархии, которая вряд ли может быть сегодня чем-то иным, кроме как дорогостоящей оперной постановкой. Любопытна также его непоследовательность по части введения имущественного избирательного ценза как меры, направленной на вменяемость властей. «Средством к необходимому видоизменению могло бы быть учреждение такого порядка, когда обязательным условием регистрации в качестве избирателя служило бы предъявление справки об уплате налогов с дохода, превышающего 500 у. е. в месяц», — пишет Максим Соколов. И далее: «Ничего более подходящего, чем избирательный ценз, допускающий до выборов ту часть населения, *которой не нужно чужого* (курсив мой. — О. С.), но которая чрезвычайно дорожит своим, пока не придумано»¹. Забавно, что образ бескорыстных состоятельных граждан, починающих примуса, лелеет в уме тот самый публицист, который в других своих очерках являет читателю механизм «расширенного воспроизводства денег» именно как си-

¹ О невозможности введения имущественного ценза в современных условиях см. в статье Александра Якобсона «Разговор о демократии: от Протагора до 19 декабря». — «Новый мир», 1999, № 12. (Примеч. ред.)

стему сравнительно честных способов отъема чужого — поскольку не-чужого, которое можно было бы по большому счету взять себе, в сегодняшней России, занятой делением, но отнюдь не умножением, попросту нет. Разумеется, 500 у. е. невелика зарплата: по сравнению с доходами олигарха — просто кулек жареных семечек, — но все мы знаем, насколько условны сегодня любые цифры, обозначающие деньги, и знаем также, насколько силен в финансово накаченных структурах корпоративный принцип. Так что вменяемость парламента, избранного «верхами», одержимыми, однако, чисто шариковской идеей: «Взять все да и поделить», — вещь более чем сомнительная. Тут, мне кажется, у Максима Соколова прорезалась по-человечески понятная тоска по положительным героям и сущностям — по царю и среднему классу. Что ж, надо и язвительному публицисту чем-то дышать. Ахилла, чтобы он не утонул, приходилось держать за пятку.

Мы сегодня живем в России будто в разбегающейся Вселенной. По инерции, заданной взрывом всего, неотвратимо возрастает расстояние между богатыми и бедными, между населением и властью, между поэзией и правдой, между элитарной и массовой литературой, между «нетленкой» и текстом сегодняшнего дня, между днем сегодняшним и днем вчерашним. От грандиозности трудов, необходимых, чтобы заполнить этот незапланированный и почти непосильный простор, голова идет кругом. Поэтому любой единичный факт если не заполнения, то хотя бы пересечения пустоты, например, тот, что газета стала книгой, вызывает сдержанный, но приятный оптимизм. Возникает вопрос: какова дальнейшая вероятная судьба двухтомника Максима Соколова? Иначе говоря, какое тут возможно переиздание лет через несколько (ведь книге, чтобы *стоять на месте*, надо переиздаваться)? Я представляю, как по мере удаления от нас описанных событий эти книги разбухают, обрастают комментариями, которые — в духе ПМ-литературы — перевешивают исходный корпус текстов: все это вместе начинает напоминать «Подлинную историю „Зеленых музыкантов»» Евгения Попова. Однако же видится и иной, более натуральный путь развития: новейшая российская история, по-прежнему богатая чудесами, уже заготовила Максиму Соколову много интересного материала на третий том.

Ольга СЛАВНИКОВА.

Екатеринбург.



РЕДКАЯ ПТИЦА ДОЛЕТИТ ДО СЕРЕДИНЫ ДНЕПРА...

Александра Васильева. *Моя Марусечка*. — «Знамя», 1999, № 4.
Виктория Платова. *Берег*. — «Время и мы», № 141 (1999).

Как угадать эту редкую птицу? Раньше ГБ отмечало для нас, какие книги надо добывать и прочитывать. Мы носили потрепанные копии из дома в дом, мы тратили глаза по ночам — и по большей части не зря. Теперь эта организация пустила все на самотек. Приходится ориентироваться на премии: Букер, Антибукер, Пушкинская, Аполлона Григорьева... «Лонг-лист», «шорт-лист»... Днепр уж за кордоном. Перелетят ли эти птицы через Москву-реку? Заметят ли их в городах и весях, не говоря уж о том, вспомнят ли в XXI веке, то есть через год после публикации?

«Шорт-лист» — это все-таки какая-никакая надежда. В «шорт-листе» Букера-99 были два женских имени, оба на тот момент не многим знакомые. «Новый мир» вроде бы упустил случай их отметить. Но присутствие в «шорт-листе» обещает и книжные воспроизведения. В их преддверии воспользуюсь возможностью отклика.

С самого начала становится ясно, что А. Васильева пишет очень хорошую прозу. У нее проработан ритм и звук, и напор, и чувство равновесия.

«Когда-то мы жили с Марусей на самой окраине города в одном дворе все вместе: папа, брат, Маруся и я. Наши дома стояли рядом, под двумя старыми тутовниками, отвернувшись от солнца...

Маруся жила в левую. Заложила кирпичами дыры, выбила два окна во двор и одно на улицу, пристроила сени и воткнула кронштейн для света. Хатенка получила малюсенькая, беленькая, испуганная: „Ой, ой, ой, ну что я вам сделала?..” На окошках висели тюлевые занавесочки, в углу притулилась этажерка, на ней стояли горшок с геранью для красоты и горшок с алоэ для желудка...

Маруся меня любила.

Мы вместе белили дом, красили полы и передвигали... сундук со смертным. Только для меня она отпирала его...

„За неделю до Пасхи придешь на кладбище и выдернешь сорняки. Принесешь с собой щепок, подожжешь ладан и обкуришь могилку три раза. А на помин души раздашь то же, что и всегда: по крашеному яичку, по куску кулича и по конфетке”.

Так она говорила. А я улыбалась, потому что знала: Маруся никогда не умрет!.. Маруся меня любила.

Она... пекла в печурке в глубине двора молочную кукурузу. Никогда не ешьте вареную кукурузу, пеките ее на тлеющих углях: дождитесь вечера, чтобы поужжи-вали комары, садитесь на мячик или на собственные ладошки и смотрите в огонь, пока Маруся переворачивает початки, и не бойтесь — ловите кукурузу прямо руками... Подбрасывайте ее вверх, она быстро остывает, и не убегайте на улицу играть в штандер, слепую бабу, замри или энэ-бэнэ-шваки, сидите рядом с Марусей: она так интересно рассказывает сказку про лису со скалкой.

Маруся меня любила.

Конечно, не так, как своего Митю. Но Митя сидел в тюрьме, и, кроме меня, некому было писать ему письма...»

Это вступление.

«Маруся умерла на следующий год в марте... Маруся, я все помню. Твою пертертую фасоль... твой покрытый выцветшей клеенкой столик...

Ладно, возьмите карпа, хорошо упитанного карпа... Ладно, не надо карпа, возьмите карасей. Пожарьте их во дворе на решетке до хрустящей корочки, но сначала поперчите красным перцем. Сварите компот... Не забудьте позвать Тонечку, она живет на Старой Почте... Наполните стопки и помяните Марусю. Мою Марусечку...»

Это эпилог. А между ними собственно рассказ, который точнее всего было бы назвать «Один день Марии Христофоровны» (году этак в 1985-м). Смелое решение — вы не находите? Мария Христофоровна — Марусечка — уборщица в рыбном отделе гастронома. Маруся живет на окраине. А магазин в центре города — напротив здания с каменными львами, где Галина Брежнева как-то однажды играла на органе. А потом ночевала в парке в гамаке. Шестьдесят милиционеров охраняли ее сон и посыпали ее дустом от комаров. А когда сам Брежнев приезжал в этот город, то Маруся была среди встречающих. Со шваброй и в сатиновом халате. А когда приезжал Фидель Кастро, то он обнял зав. отделом бакалеи Аллу Николаевну, и ей дали потом за это холодильник «Днепро». И так далее. Нет, не простой это город. Может быть, это город N, где многие верили в капитана Копейкина — Наполеона? Но нет, это явно южный город, тут орехи растут грецкие, абрикосов полно...

Персонажи и страсти по-южному яркие.

Виталька — директор магазина, за сорок лет, всеобщий благодетель и дамский кумир: «Маруся! Как надену канареечный пиджак, песочные штаны, кожаные сандалеты да как пойду на Комсомольское озеро кататься на лодке...»

Женюра (жена его) — «меццо-сопрано», оранжевое бархатное платье, серебряный пояс на бедрах, синие бумажные цветы в волосах, лежит на полу в истерике, изо рта пена (застала мужа в бендежке с балериной и вкатила ему пощечину). — «Нежная женщина жена директора». И таковы-то все любовные коллизии в этой повести. Почти «одесская школа». Почти, да не совсем...

К обозначенному дню дождь шел третий месяц, вокзал, как утверждает Марусечка перед святыми на иконах (не пойдут же проверять), залило до третьего этажа. Стены домов поросли мхом.

На подоконниках поднялся камыш, какая-то толстая трава, росшая прямо из асфальта, брызнула на стену и добралась аж до седьмого этажа, — может, это в нашей, уже советской Колумбии джунгли захватывают город («Сто лет одиночества»).

Во дворе магазина растет толстовский дуб. В бендежке (в чулане) Маруся собирает венником шаровые молнии.

Бурая крыса прогрызла дырку в знамени торга (опять тебе Гоголь!).

В подсобке бакалеи (что может быть прозаичнее?) «кот в мешок с сахаром ссыт». А «санписстанция» не дремлет. Смотри: Чехов, рассказ «Надлежащие меры».

И даже неудачливый сладострастник Митя (приемный сын Марусечки) — одно покушение на любовь, и уже на каторгу — в недалеком детстве своем более всего походит на маленького Гаргантюа — отогнул пожарную лестницу со второго до четвертого этажа своей школы (да возможно ли?), вылил «десять ячеек»(!) разбитых яиц на головы завуча и директора (надо же!).

А очередь — какая раблезианская (или гомерическая?) очередь осаждала Марусин магазин! «Что осталось после очереди. Битый камень, пуговицы, презервативы, портсигары, бомба, торт с кремом, выкидыш, сундук, полсвиньи в мешке, двадцать долларов...» (*Я список кораблей прочел до середины.*) «Отсортируй, что куда: что в урну, а что в кабинет Витальке снеси...»

А привилегированные искатели пищи — «бархатные дамочки», писатели, артисты, музыканты...

И в мелькании этого карнавала автор напоминает: Митя в тюрьме, у Маруси тоска, Маруся не может есть от тоски, и с равномерностью капель из крана звучит воспоминание-восклик: Митя... Митя... Митя.

Она не может ему помочь, она не может смириться с тем, что случилось. И уже под конец безразмерного дня она видит на задворках мальчишек, напавших втроем на слабака, спасает его «как Митю», и ей становится легче.

И погибла ненароком она от такого же случая, пытаясь защитить какого-то чужого мальчишку.

Перетертая фасоль, выцветшая клеенка (см. цитату выше) — это прощание автора с Марусей. А как же карнавал? А пиршество плоти в рыбном магазине и вокруг, как же из него-то выйти, чем заключить? Ведь Маруся тоже его участница, пусть на скромных ролях, но в эпоху всеобщего дефицита уборщица рыбного магазина не последний человек. Это многим в предместье завидная участь.

И вот в середине эпилога-прощания автор добавила два абзаца. Первый — какую раньше привозили рыбу: балатонский судак, форель, белуга, осетр, стерлядка. И как готовить уху из четырех сортов рыбы (со стерлядкой), и как жарить форель «колечком».

И второй. «Все было. Привозили омаров, лангустов, угрей, крабов, живых и копченых, сардины, лососей... Маруся всего покушала. И икру черную со взбитыми сливками или с растертым луком и хоро-ошим оливковым маслом. И вареники, фаршированные легкими, и клецки из мозга, и раковое масло, и суп из абрикосов, и зажаренную, откормленную орехами индейку, и пончики, тающие во рту, легкие, как пена».

Вот, оказывается, какие изысканно сытные праздники были в советской Марусиной жизни. А нас, теперешних, автор приглашает на жареных карасиков. «Маленькая рыбка, жареный карась, где твоя улыбка, что была вчерась?»

Это где же теперь надо работать, чтобы уху из стерляди варить? Опять у «бабаев». Поди попади.

Есть в этом прошитом литературными аллюзиями тексте еще один намек. Выйти в финал повести с рецептами изысканных блюд необычно. Но что-то знакомое брезжит в этой необычности. Заглядываю в текст, и от слова «возьмите» вдруг падает луч в совсем другой сюжет, из другой жизни.

Лежит на койке почти слепая колченогая старуха и не очень надеется выйти живой из больницы. Она рассказывает свою жизнь. И встает перед нами город Чириков в Белоруссии, не менее мифический, чем тот южный, у Васильевой. Женщина эта прожила крупную сложную жизнь. Ее не отразишь в зеркале одного дня. Она как бы сама с помощью автора рассказывает свои новеллы, язык ее богат, сентенции ее стоит заметить и пустить в оборот.

По ремеслу и по искусству она кухарка, царица кухарок. То есть тоже вроде как Маруся — из простых и около богатых. Но в отличие от Маруси она полноправный и яркий участник действия жизни. В том числе и сакрального действия. Ей есть что оставить миру. И поэтому долгие ее рассказы заканчиваются рецептом пасхального кулича: «И берем сорок яиц! Меньше нельзя — число такое — сорок!.. А это рецепт понятно, что кулича. На что еще сорок яиц не жалко?.. А печется в Чистый Четверг...» И еще на страницу, как печь с «чистой душой и мыслями тихими». Ну и последний абзац: «Блаженной памяти Натальи-кухарки и Мити-музыканта, их друзей и сродников... сопутствовавших им во дни их в этой последней юдоли скорби и веселия».

Так кончается «Разновразие» Ирины Поволоцкой, напечатанное в «Новом мире» в 1997 году и потом, в 1998-м, в ее книге. Удивительные бывают совпадения. Может, рецепты русской еды носятся в воздухе как женский протест против йогуртов и «Макдоналдсов», умаляющих значение женщины в доме? Может, изображение этих не ангажированных властью судеб пришлось в масть нашему времени? И самое это изображение несет отблеск нашего времени? А может, новизна приема соблазнительна для восприимчивого человека? Предоставляю это решить читателям обеих повестей. Конечно, я согласна с Андреем Немзером: «Моя Марусечка» — по-настоящему новая, свободная, «хорошо сделанная» проза. Встречаются отдельные огрехи: то вдруг «*нервные* крестьянки» ждут у ворот пакетов с селедкой по двойной, «черной» цене, то Маруся якобы угощает Витальку (директора) оливками, не домашним чем, — или удивить хотела?

Но это мелочи. Повесть читается легко и с увлечением. И еще есть — тоже у Немзера («Замечательное десятилетие» — «Новый мир», 2000, № 1) — меткое определение: «певучая повесть».

Определение понятно. «Моя Марусечка» — это название песенки прошедших годов. Бойкой, забавной, сентиментальной, прилипчивой. Одним словом — шлягер. И как всякий шлягер, «Моя Марусечка» находит поклонников и награды. В любом случае для читателя это приятная встреча.

Берег. Что такое берег?

Часть суши, окаймляющая водоем или водный поток. Место, откуда отправляются в путь и куда возвращаются моряки, морские путешественники, рыбаки и контрабандисты. Участок у воды, у которого нет названия, потому что нет на нем пристани или поселка, где живут люди. Берег, в каком-то смысле это — край, край тверди земной, за которую мы все держимся.

На этом самом берегу, на азовской стороне Крыма, когда-то не слишком давно был поселок. Но со временем жизнь в нем показалась людям чересчур суровой: в сырую погоду ни пройти ни проехать по липкому солончаку, электричество вести по такой земле дорого, речка почти пересохла, вода пресная только привозная и — что страшнее всего — в гулкие шквальные и штормовые зимние ночи ломаются строения, сползают оползни и море отгрызает куски суши. Жители разобрали дома и перенесли поселок в другое место.

На «берегу» остались два близко стоящих дома, две семьи. Живут они по-прежнему, да иначе и нельзя в этой долине: держат скотину и живность, ловят рыбу для стола и для продажи, в том числе добывают сами и с «клиентами» запрещенного к лову осетра, идущего на нерест. Двадцать или тридцать лет послевоенного времени соседние семьи люто ненавидят друг друга.

В одном доме живут Леня, сын инженера из Харбина, юношей угодивший в лагерь, и его жена Надя — «чеченская княжна», случайностью войны попавшая в трудовую армию. После войны они сбежали с Севера и, вынужденные укрыться здесь (беспаспортные), постепено сумели встроиться в здешнюю жизнь.

В другом доме местные: Харлампыч, Савельевна, их дочка Любочка (а впоследствии, ко времени рассказа, уже одна Савельевна), всю жизнь тяжело работавшие, жившие в нищете ради будущего богатства, вороватые, завистливые, не брезгающие и к оккупантам подольститься, и донос на соседа написать. Сезонная соседка, дачница Анна Петровна, пытается их помирить.

«Вы же интеллигентный человек, Леня, — доказывала ему Анна Петровна свою правоту. — Вы должны понять: Савельевна — женщина темная, неграмотная, откуда она может знать о репрессиях, о культе личности? Я же хочу, чтобы она изменила свое отношение к вам...»

Но Савельевна ей отвечала: «Ну шо ты буровишь до меня всяку дурь? Ну власть, она и есть власть: та была власть — она и была правая, другая пришла — теперь она правая».

Раньше Савельевна говорила про Леню, что он уголовник-убийца, а Надя — «баржомка» (?). «Того только и добилась Петровна, что ее „лучшего друга“ Савельевна иначе как „шпиеном“ теперь не звала». И приезжим рекомендовала «шпиеном с Китаю...» и «и женка евонная, видать, шпиенка».

Подробности взаимоотношений соседей и составляют живую плоть повествования, которое начинается сценой смерти Нади, описывает период натужного привыкания к горю, какие-то ростки человечности в отношениях друг к другу одиноких всю зиму Лени и Савельевны, смерть Савельевны следующим летом и, наконец, полное одиночество Лени на страшном зимнем берегу. И самоубийство Лени в финале.

Отчего «дядька Леня» выстрелил себе в сердце из ружья? Оттого ли, что во время его одинокой болезни кто-то обокрал два соседних дома и теперь это ляжет на него и станет он вором или пособником воров в глазах людей? Оттого ли, что любил Надю и нет сил пожелать найти «кого-то» и потерять себя с этой находкой? Оттого ли, что «степь» наступала на обустройство одинокого человека в этой долине, то хищницей лаской, разоряющей курятник, то змеей в хлеву. То одичанием собак, готовых загрызть кого угодно.

Самое печальное в Ленином одиночестве — отчуждение, удивительное отсутствие понимания того, как живут другие люди. И хорошо ему знакомые в соседней деревне. И в городе, где бывал не раз, и во всем мире. О жизни он пытается судить по передачам телевизора. И ему не нравится, кажется лживым или неинтересным телевизионный мир 80-х годов. Что ж, он многим не нравился. В том числе его врагине Савельевне, но зато она любила свой дом, свою корову Зою, степь, горы на краю долины. А Леня... «Отпущенные ему на целую жизнь страсти все ушли на что-то другое...» (Вот бы знать, на что?) «И теперь, бегая, растираясь, он делал это не для того, для чего могли это делать люди с экрана, а только чтобы еще чувствовать себя живым». Череда деталей влечет нас к закономерному финалу. Случаен только час и повод.

Но по прочтении остается некая неудовлетворенность.

Савельевна и Петровна, гости на поминках, летние курортники на берегу — все изображено точно и занятно: жанровые сценки, «физиологический очерк», как определил М. Эдельштейн, автор «букеровского» обзора в «Русской мысли». Но все это орнамент к основному сюжету. А в чем главный смысл прочитанного?

Противостояние «инакого» чужака, доброжелательного и честного, циничным, вороватым, недоверчивым местным жителям? Коллизия, не раз описанная в русской литературе в XIX и в XX веках. Смерть одного из «старосветских супругов» — деградация, безразличие к жизни и, наконец, гибель оставшегося без пары неразлучника? Исчезновение поколения, которое рушится в забвение, как подмытый волнами уступ на берегу?

Много тропинок можно протоптать в степи у моря...

Хотелось бы увидеть в новом неожиданном материале («берег») и какой-то новый неожиданный смысл. Но как-то он не возник. Платова оказалась не в состоянии *отрефлексировать* «случай на берегу». Изобразила — и только. Хватает вопросов и к изображению.

Когда описываются события, происходившие вне рамок летней жизни в бухте (вероятно, непосредственно наблюдавшейся автором), неточность, приблизительность подробностей ломает смысл эпизодов, а вслед за ними — всей повести. Заглянем еще раз в финальную сцену.

Леня — впервые после одинокой болезни — выходит на зимний берег и вдруг замечает, что пустые дома, стоявшие поблизости, остались без кровли. В гневе на собак — почему не лаяли на воров, не звали его? — он мгновенно решает их при-

стрелить, а потом, тоже мигом, прощает их и стреляет в себя. А почему, собственно говоря, псы не лаяли на чужаков? Верится ли в это? Смешно доискиваться, как именно могли происходить в жизни сцены из сочиненной (пусть на основе реальных впечатлений) повести. Однако куда ни кинь — выстрел в конце если и не нелеп, то недостоверен.

В итоге безызысканного чтения обнаружилось также, что автор так и не смог оживить своих основных героев, Надю и «дядю Леню», внушить рельефное представление об истории жизни и внутреннем мире этих людей.

Речи Лени не колоритны, да мы почти и не слышим его. Мысли его в решающие моменты жизни даются в авторской речи, притом неправдиво и с аффектацией.

Больной, одинокий в доме на берегу, он слушает вой собак и спрашивает себя: «Почему так отзывается в нем собачья тоска?.. И вдруг нашелся ответ: да потому, что это его вой, это не псы, а он сам сидит там на бугре за колючей проволокой и, вздернув лохматую голову к небу, кричит о своем одиночестве, о своей никому не нужной жизни, к которой нет сочувствия ни в ком, как нет в нем сочувствия к их собачьей доле! О любви кричит и ненависти, и у него и у них, унесенных смертью. О том, что ему так же невозможно уйти с этого берега, как им, хотя ни его, ни их никто и ничто здесь не держит — но только они одни знают, почему он не ушел. Вот то-то и ужасно, что он не ушел, по тому же самому, почему и они остались. И они, так же как и он, ничего не умеют, ни забыть, ни простить...»

Как много восклицательных знаков в подтексте! А если собак покормить? приласкать? Анна Петровна вот кормила — и не выли? Но это из области здравого смысла.

Леня пробыл в лагере непонятно сколько — год, два или пять. Да, конечно, остался след на всю жизнь. И от лагеря, и от трудармии, и от беглой беспаспортной жизни. Но ему ли не знать, что именно его поколение гибло или было покалечено на войне, в плену, в лагерях, в оккупации, едва успев повзрослеть. В некотором смысле Лене и Наде как раз повезло. Они любили и поддерживали друг друга лет тридцать пять — сорок. Они устроили себе в конце концов дом и безбедную жизнь. Они — победители. А «берег» — что ж. Это и был их выбор. Внешне он казался удачным. Многих из бывших зеков, кто в конце сороковых «засветился» в городах, даже и с паспортом, сажали повторно.

По словам Анны Петровны, Леня «интеллигентный человек». А какой он вообще человек? Что он любил, кроме контрабандной ловли? как жил в Харбине? чему научился в тюрьме? Если бы автор что-то проигрывал в «затекстовом» воображении, оно бы аукнулось. «Его мать Фрося» — вот и вся память. Интересно было только показать, как человек шел к «шалюному одинокому выстрелу».

Но если герой для автора *некто*, то для читателя он никто, и знать о нем не обязательно.

Может быть, мой приговор излишне суров. Быт, разговоры, география бухточки, места встреч, направление обзора — все сделано отчетливо, быстро, ярко. И огрехи, тут и там мелькающие в этом стремительном рассказе, поначалу остаются незаметны.

Любопытно колористическое решение повести — более всего она походит на серию черно-белых рисунков пером. Такою «графичностью» усиливается значительность нарочито сдержанного рассказа о том, как жил и как обезлюдел «берег». Жаль, что эта повесть, написанная уверенной и словно бы не женской рукой, так и осталась серией жанровых картинок.

Когда читаешь подряд, как у меня получилось, эти две южные (по месту действия), две «женские» повести о восьмидесятых годах, их противоположность поражает.

И разностью слога — «питерская» сдержанность Платовой и «южная» цветистость Васильевой. Но более всего жизненным выбором их одиноких героев. Маруся, которая приручала (и выручала) столь многих, и в том числе соседскую девочку, написавшую повесть в память о ней. Маруся, которая разговаривала не только с козой, собакой и петухом, но и с ручьем, и с репродуктором на стене.

И Лена, не сумевший (или не нужно было ему?) за долгую жизнь, кроме своей Нади, никого приручить и ни к кому привязаться. О нем, вероятнее всего, написала курортница из «ленинградского семейства с двумя детьми», мимоходом упомянутого в повести. (Через какое-то время курортница усилием интеллектуального и творческого воображения попыталась понять «дядю Леню», но не совсем получилось.)

Пожалуй, в этом сопоставлении есть свой отдельный сюжет — для «реальной критики».

Вернемся, однако, к началу — к «шорт-листу». Как попали две небольшие, сюжетно однолинейные повести в этот почетный список?¹

Ну, во-первых. Радует хороший чистый, даже изящный русский слог. Он совсем не так часто встречается в расхристанной современной литературе, разукрашенной «фенечками», матерком и иноязычными рок-прибамбасами.

Во-вторых. Недавно Андрон Кончаловский напомнил нам определение Толстого: «Искусство есть сообщение чувства»². Каждая из этих повестей сообщает чувства добрые, и это не может не радовать.

В-третьих. Среди прав и свобод, свалившихся на нас с наступлением демократии, есть публично осознанные, едва ли не каждый день обсуждающиеся в печати, по телевизору, Интернету и просто между людьми (свобода информации, выезда за рубеж, свобода частного предпринимательства и проч.). Но кроме них появилась и в суматохе почти не осознается свобода быть *частным* человеком. Мы уже пользуемся ею не задумываясь, более занятые житейским устройством здесь и сейчас, а также изучением по СМИ тех сетей и пирамид, в которые нас собираются втянуть.

Так вот, осознавая или не осознавая, но фактически действуя как частный человек в море ангажированной информации, нынешний читатель заинтересовался литературой, описывающей именно частный опыт движения жизни в предлагаемых обстоятельствах. Поэтому наряду с мемуарами знаменитостей заметным успехом стали пользоваться воспоминания о жизненном опыте частных лиц — от Болотова (недавно еще раз переиздан; XVIII век) до Васильчиковой и Кривошеиной.

Герои А. Васильевой и В. Платовой живут при тотальном политическом режиме, но внутренне они не встроены в него, и мне кажется, такой выбор персонажей приближает обе повести к приватным воспоминаниям и добавляет им «читабельности»...

Анна ЦИТРИНА.

*

СИНДРОМ СИДИРОМОВА

Сидиринов и другая проза Алексея Цветкова. М., «Гилея», 1999, 112 стр.

Алексей Цветков — молодой московский прозаик, приобретший известность в среде представителей и ценителей так называемой контркультуры. В свое время резонанс вызвал сборник его рассказов «ТНЕ». И вот — «Сидиринов и другая проза...». Если сравнивать новый сборник с предыдущим, можно сказать, что в главном — в стиле, в образах, в подходах — Цветков остался прежним.

Как и прежде, после выхода книги Цветкова традиционно похвалили за эзотерическое мастерство, за шифровку и конспирологию. Однако, говоря объективно, эффект присутствия скрытого смысла достигается скорее не глубиной содержания, а оригинальностью формы. Парадоксальность словосочетаний, богатство лексики — отличительные черты цветковской прозы. В этом проявляется талант молодого писателя. Это же позволяет назвать прозу Цветкова «компьютерной», мертвенной, когда можно манипулировать целыми предложениями, переставляя их, отчет-

¹ После этого казуса Букеровский комитет ужесточил свои требования: отныне на премию должны выдвигаться *романы* — только жанрово несомненные! (Примеч. ред.)

² «Известия», 2000, 25 января.

го сам текст вроде бы и не пострадает. Этот же компьютерный эффект делает произведения Цветкова виртуальными, гладко причесанными. Есть рассказ, нет его — все одно.

Теперь Цветков перешел в атаку. В определенном смысле его последний сборник — это книга-признание. И это ново. Те особенности, которые ранее улавливались у писателя и даже ставились ему в вину, отныне выводятся самим Цветковым на первый план. То, что именно Сидиримов — фамилия главного героя одноименной цветковской повести, — уже декларативно, уже *экзотерично*. Когда фамилия героя — производное от компьютерного приспособления «Сидирум», уместно обозначить это как культивацию виртуальности. Но возрастает риск подделки, успешной имитации. Ведь виртуальность может быть уловкой слабака, его «последним прибежищем», так как авторское злоупотребление виртуальностью зачастую дезориентирует читателя в оценке качества произведения. Как правило, подделки — безжизненны. От них всегда клонит в забытьё, а от зевоты начинает сводить скулы.

Неверно утверждать, что эзотерика нынче начисто отсутствует у Цветкова. Например, не случаен фигурирующий практически во всех его рассказах образ воды (моря, океана). Цветков известен своей вовлеченностью в культурно-геополитические круги, где мыслят категориями: «вода — суша», «атлантизм — евразийство». Вода здесь понимается как нечто безусловно чуждое и враждебное. В этом свете особенно забавен пассаж из рассказа «ГАЗ». Открытое общество. Построено самое высокое здание на планете — тысяча этажей. «Богач», вложивший в возведение этой вавилонской башни огромные средства, поднимается вверх со своей спутницей, «вавилонской блудницей», проституткой по имени Лу. По словам «богача», с острия башни виден даже океан.

«— Но в нашей стране нет океана, — удивилась Лу.

— Зато он есть в соседней».

Намек понят. От врага не уйти. Трогательная эзотерика.

И все-таки вероятно, что Цветков разуверился в практическом воплощении революционных порывов. Даже враг призрачен. Это не следствие законов художественной литературы, а следствие «компьютерной игры» с игрушечной стрельбой. На этом фоне неестественно смотрится рассказ «Как становятся террористами?», выделяющийся подростковой прямолинейностью и непривычным реализмом. Персонаж, обиженный чванливыми барменами, убивает их из пистолета. Лично у меня эстетическую приязнь вызывают скорее бармены с «мягкими ртами» да посетители бара, нежели ничтожный террорист, ущемленный в своих правах потребителя. Локальные бредни о борьбе с буржуазией — смешны, когда нет ничего более гротескно-буржуазного по замашкам и вожделениям, чем сам пролетариат или подвешенный средний класс. «Ешь богатых!» — излюбленный лозунг Цветкова. Но его террорист, который «дожевывает сосиску и вытирает большим пальцем губы», — жалок и неактуален. И тошнотворен.

Тема сна и прежде была ключевой для Цветкова. Сон — это тоже виртуальность. Сон, заставляющий глаза слипаться, слепящий, как экран компьютера, сквозит сквозь цветковские строки, сквозь податливые фразы. В повести «Сидиримов» жизнь героя и его «жизнь во сне» как бы протекают параллельно. Вот Сидиримов шагает по улице, вокруг нарастают события. Вот он идет в «Гастроном», только во сне, — тоже события. «Его сегодняшний маршрут легко проследить, но можно ли подсмотреть подробности ночных экскурсий?» — задается вопросом герой. Сон оказывается значительней, а потому реальней яви.

«Сон о революции» — так называлось лимоновское предисловие к первой книге Цветкова — «ТНЕ». «После революции» — так озаглавлен последний рассказ в последнем сборнике Цветкова. Как следует из этого рассказа, оставшиеся в живых после революции «никогда не спали и, если видели приезжих спящими, считали это уродством, почти что трупным разложением». Но под конец все меняется. Умирает вождь. Новые поколения погружаются в дрему. Нужна новая революция? Нужна ли? И какая? Сон прошел, но, очнувшись от одного сна, не попадаем ли мы всего-навсего в другой? «Реальная жизнь начинается по ту сторону отчаяния», — говорил Сартр. По ту сторону экрана. Пока же есть эта сторона и есть молодой Алексей Цветков, склонившийся над клавиатурой. Безысходность. «Лу нажа-

ла всеми пальцами на десять кнопок сразу. Белый экран по-прежнему молчал и чего-то ждал от нее», — пишет Цветков. «Автоответчик пишет послания, CD поставлен на паузу...» — поется в песне, популярной у четырнадцатилетних девочек. Эти слова нужно было выбрать эпиграфом для вашей новой книги, Алексей.

Сергей ШАРГУНОВ.



БАВИЛОНСКАЯ АРКА

С. Файбисович. Русские новые и неновые. Эссе о главном. М.,
«Новое литературное обозрение», 1999, 284 стр.

«Сегодня [сталинская] арка „Большого стиля” говорит с нами скорее о прошлом. Или давайте сойдемся на том, что как тогда, так и сейчас, она безразлична к настоящему: любое конкретное историческое (а не мифологическое) время не приживается в ней, и холодный арочный сквозняк перманентно выдувает нас в одном из двух противоположных направлений» — этот архитектурный образ как бы резюмирует книгу Семена Файбисовича «Русские новые и неновые». Монументальная арка 30-х годов воспринимается автором как мрачный символ отечественной истории XX века, воплощение тоталитарной мифологии, соединившей государственную мощь и «перманентный духовный порыв русской души», образ, длинная тень которого, кажется, достигает и нашего времени. И как арка является некоторой вехой, организующей путь, рубежом, маркирующим историю, так и книга подводит итоги века, итоги его последнего десятилетия.

«Новые и неновые» представляет собой внешне довольно пестрый сборник публицистических статей, эссе и рецензий, описывающих сегодняшнюю действительность. Темы текстов, соответственно, разнообразны — проблемы современного искусства, особенности мировоззрения, полемика с критиками, исторические и биографические описания. Статьи, будучи каждая самостоятельным произведением, собраны в четыре главы, рядом с названиями которых в скобках условно обозначена сквозная тема («художник и власть», «искусство и жизнь»). Подобная организация объединяет книгу, и она воспринимается как единое целое, словно коллаж или альбом зарисовок. Эти общие формулы, заявленные в названиях глав, а также явная привязка к конкретному историческому моменту, обозначенная в названии всей книги, позволяют рассматривать ее как своеобразное культурологическое исследование, попытку запечатлеть указанные аспекты современной российской жизни на рубеже веков, сравнить их с предыдущей историей и проанализировать возможные перспективы.

Действительно, кажется не случайным, что книга издана накануне круглой даты двухтысячного года: датированные девяносто четвертым — девяносто девятым годами, тексты как бы уже вышли из возраста злободневных журнальных статей, но еще слишком свежи для исторических свидетельств: выстаивая перед читателем картину прошедшего десятилетия и связывая этот период с советским прошлым, автор пытается таким образом восстановить распавшуюся «связь времен», а заодно вписать Россию — или по крайней мере Москву — в общемировое время, из которого она, похоже, выпала — ведь, например, эмоциональный накал празднования не круглого юбилея столицы был во много раз больше, чем все восторги и страхи, вызванные магией трех нулей и компьютерным Армагеддоном. Может показаться, что Москва параллельно общепринятому ведет свое собственное летоисчисление, как и положено Третьему Риму, — от основания города.

Именно анализу подобных странностей проявлений коллективного сознания — мифов современности, которые, как считает автор, могут быть положены в основу новой идеологии, и посвящен этот сборник. Собственно, основной пафос книги — в демифологизации советского и постсоветского времени. Будучи человеком другого поколения — покинутого коммунизмом, я, конечно, не могу в полной мере

оценить несомненность авторских выкладок (у меня и некая «арка большого стиля» ассоциируется не со сталинской постройкой, а с еще не осуществленным проектом реконструкции Гагаринской площади Ю. Платонова — гигантской аркой, обещающей перекрыть Ленинский проспект), да и всю книгу я воспринимаю скорее как версию реальности, впрочем, весьма увлекательную и, кажется, многое объясняющую.

Первая глава — своеобразный физиологический очерк, анализирующий нравы, психологию и представления современного общества. Автор стремится четко определить понятия, которыми данное общество неловко оперирует, пытаясь как-то себя идентифицировать: например, «средний класс», «новые русские» (последние описаны подобно неизвестному науке виду, определена их роль в развитии социума, повадки, происхождение). Но, безусловно, «если есть потребность по возможности адекватно осмыслить любой сегодняшний феномен, необходимо вернуться в недавнее прошлое и покопаться там», поэтому далее следует развернутый анализ советской действительности, изяшно проиллюстрированный авторскими воспоминаниями, — который в свою очередь приводит читателя к неким глубинным чертам национального сознания. Так, страсть к всевозможным поучениям и советам, присущая типично советской модели поведения, объясняется не только привычкой все регламентировать, перенятой у государства, но и как проявление одного из свойств русской души — бескорыстного позыва проповедовать, помогать оступившемуся (другим проявлением этой бескорыстной потребности указывать истинный путь объявляется экспорт социалистического режима окружающим государствам). Похожим парадоксальным образом интерпретируется еще одна характерная черта упомянутой модели поведения — хамство, которое трактуется как протест против вялого течения жизни, презрение к земному уюту — и потому объявляется зеркальным отражением духовности, вечного стремления к высшим сферам, Истине, Идее. Сегодня с крушением идеологии это древнее стремление оказывается неудовлетворенным, поэтому, возвращаясь к нашему времени, автор определяет его как распутье, эпоху выбора между возвратом в привычное пространство больших идей и большого стиля и ситуацией, когда вековая тяга к высокому, будучи подавлена, компенсируется искусством, бросающим вызов обывательской пошлости. Яростно критикуя ностальгию по «золотому советскому веку» и вызванное ею желание возродить духовность (которая «от духов» и превращает мир «в призрачное царство с крепкими идолами на каждом шагу»), Файбисович в статье «Дракон» создает макет новой идеологии — по его мысли, восстающей из коммунизма, фашизма и адаптированного ими православия.

Осуществление такого мрачного прогноза кажется мне маловероятным, но гипотеза о глубинной жажде «мира горнего» (не исключаяющей возможности его осуществления на Земле), утопичности местного сознания, которая оборачивается невниманием ко всему материальному и частному, сомасштабному человеку, похоже, способна объяснить, например, размах современного строительства, брутальность новых форм. В главах, посвященных архитектурно-скульптурным эволюциям столицы, автор находит и обратную сторону этого «метафизического» влечения — он усматривает отголоски мощной языческой традиции в «идолище Петра», в новых скульптурных памятниках кичевым, «народным» кумирам (Есенину, Высоцкому, Жукову), в пластике Манежной. Действительно, привычка видеть на пьедестале конкретного героя (объект поистине языческого поклонения), оставшаяся в наследство от тоталитарного режима, не позволяет даже представить, что в качестве городской скульптуры могут выступать и нефигуративные образы как, например, во всех столицах цивилизованного мира. Это выпадение из общемирового контекста, обращение культуры вспять и привело к тотальному кичу Глазунова и Церетели, наследнику соцреализма. Но положительной стороной погруженности здешнего культурного сознания скорее в прошлый, а не нынешний век автор называет «наличие... прослойки достаточно образованных и заинтересованных зрителей, не превращенных пока ни в потребителей кича, ни в потребителей элитарного», способных по достоинству оценить актуальное искусство. Именно к этой категории, вероятно, и обращена книга, одной из целей которой является некоторая просветительская работа — экскурсы в историю Москвы, в область современного искус-

ства, многочисленные сравнения его развития на Западе и в России. Впрочем, легкий дидактический оттенок (может, тоже перманентное свойство местной литературы) совершенно растворяется в ироничной интонации текстов, занятом языке книги. И, наоборот, — за узором эффектных метафор часто оказываются простые истины.

С содержанием перекликается и оформление книги: фотографии О. Смирнова, на которых запечатлены ничем не примечательные на первый взгляд фрагменты окружающей действительности, но, взятые в рамку объектива, они вдруг обнажают странные противоречия, несуразности, которые мы уже не замечаем, — статуя Сталина в парке на Крымском валу, на фоне памятника Петру, который как бы дублирует ее контуры, или анахроническое буйство рекламы на мрачных высотках советской поры.

И сама книга напоминает фотопанораму — сборник заявлен как своеобразная зарисовка, попытка «оглядеть постсоветский ландшафт перед его новым затоплением» национальной идеей. Иногда кажется, что автор сам невольно поддается описанной в своих текстах подспудной жажде «горнего мира», увлекшись возможной идеологией будущего — пусть и с отрицательным знаком; но, как бы там ни было, повсеместное копирование «большого стиля» налицо, и даже Триумфальная арка вновь замаячила на горизонте. И если арка тридцатых годов предполагала переход в некоторое мифологическое пространство, то нынешняя будет обожествлять сам момент перехода — «переходный период», не вполне, правда, понятно, от чего, и совсем не ясно, к чему.

Владимир ЮЗБАШЕВ.



УМОМ РОССИЮ ПОНИМАЯ

Б. Н. Миронов. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX века). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х томах. Т. 1. 548 стр. Т. 2. 566 стр. СПб., Издательство «Дмитрий Буланин», 1999.

Очередной цикл коренного переустройства, настигший Россию на исходе XX столетия, привел к резкому усилению общественной потребности в объективном историческом знании, в трезвом и взвешенном осмыслении нелегких парадоксов российского исторического процесса. Эйфория, связанная с ликвидацией «белых пятен» или «черных дыр», отнюдь не способствовала преодолению методологического кризиса в наших общественных науках. Свобода от идеологии, публикации новых, ранее закрытых, источников никак не гарантировали появления позитивных исследований современного уровня. Поначалу провалы исторического сознания частично компенсировались интенсивным переизданием сочинений корифеев дореволюционной исторической науки. Однако охватывающее общество социальное уныние лишней раз убеждает, что без ясного представления о пройденном страной пути, об уровне социально-политического развития народа и его готовности принять нововведения трудно рассчитывать на понимание обществом проводимых преобразований. Общественная потребность во взвешенном, объективном обобщающем труде, раскрывающем магистральные линии развития российского общества и свойственных ему форм государственности, давно уже очевидна.

Книга петербургского историка Б. Н. Миронова впечатляет как масштабами поставленных задач, так и научной смелостью. Это действительно первое в отечественной исторической литературе обобщающее и фундаментальное исследование жизни российского общества за период империи. В первом томе исследуются развитие всех основных социальных слоев и групп в связи с действием важнейших объективных факторов: природы, климата, колонизации новых территорий, рождаемости и брачности, социальной мобильности и урбанизации. Во втором — раскрывается ключевая для понимания истории России картина специфических взаимодействий общества с правовыми и государственными институтами. Внимание

автора сосредоточено на эволюции российского самодержавия от народной монархии Московского государства к правомерной государственности периода империи и, наконец, к правовой конституционной монархии начала XX столетия.

Свой труд Миронов назвал «Социальной историей России». Понимая, конечно, что несочальной истории не бывает, автор тем самым подчеркивает, что главный объект его исследования — не конкретные политические события, а магистральное направление развития общества и государства на протяжении двух с половиной веков. В иные времена за создание работы подобного уровня могли приняться только научные коллективы. Теперь же автор широко использует современные информационные технологии, с помощью которых ему удалось отобрать и проанализировать огромные своды разнообразных свидетельств минувшего, от обширной статистики до публицистики и мемуаров.

Миронов — решительный противник любой иррациональности в истолковании прошлого и настоящего России. Он убежден в органичности, поступательности и «нормальности» российского исторического процесса. «Нормальность» при этом понимается как принципиальное сходство с историческим развитием европейских (точнее сказать, североатлантических) государств. Принципиальная позиция автора вполне понятна: изоляционизм нашему обществу противопоказан, движение по пути, проложенному развитыми странами, не остановить, потому адекватная интерпретация отечественной истории возможна лишь с помощью понятийного аппарата наиболее продвинутой части мировой исторической мысли. Тем самым автор заявляет о стремлении преодолеть возникший за годы советской власти разрыв между отечественной и западной исторической наукой. По-видимому, решение именно этой задачи Миронов считал для себя особенно важным. Свои суждения он неизменно подкрепляет ссылками на зарубежные (главным образом англо-американские) исследования, причем делает это даже тогда, когда вполне хватило бы аргументов отечественного происхождения. Автор вообще позаботился о том, чтобы его хорошо понял западный читатель: соответствующим образом подобрана терминология, а русские меры (пуды, версты, десятины) везде переведены в метрическую систему. Логикой своего анализа исследователь убеждает своих читателей, что история России вполне поддается рациональным интерпретациям, что ничего загадочного в ее судьбе нет, поэтому просвещенный ум вполне способен справиться с раскрытием ее тайных и явных пружин.

Дефицит исторической памяти Миронов обоснованно считает причиной и симптомом опасных социальных болезней. Поэтому важную задачу своего труда он видит в создании некоего социального «лекарства» для соотечественников, вынужденных переживать очередную кризисную эпоху. Хороший историк умеет утешить: движение нашего общества в сторону либеральных принципов, утверждает он, все равно необратимо. Кризисы же, как показывает опыт российской истории, дело временное, не более чем на пятнадцать — двадцать пять лет. Значит, большую часть смутного времени страна уже прошла и, надо полагать, скоро с удвоенной силой возобновит сближение с государствами Запада. Неплохо было бы для полного успокоения привести доказательства такой цикличности, но надо все же признать, что оптимизм автора не наигран. Он базируется на раскрытой в исследовании логике общественно-политического развития России, страны хоть и запоздалой, но молодой и полной сил.

Новаторство монографии очевидно. Автор повел решительную борьбу против мифотворчества, глубоко укоренившегося в трудах историков советского времени. Со многими сложившимися стереотипами в понимании ключевых проблем отечественной истории Миронов расстается решительно и без колебаний. Бесспорным достижением автора следует признать то, что он сумел выявить роль российского общества как главного субъекта исторического развития страны. В историографии советского времени тезис о народе как творце своей истории декларировался постоянно, но при этом тот же народ изображался безгрешным носителем всяческих добродетелей, неизменно страдавшим от чуждых ему правителей. В книге Миронова народ исследуется как живой и деятельный субъект, на плечах которого лежал груз главной ответственности за все, что происходило со страной, за все ее достижения и неудачи, за доблести и пороки. Не географические или природные факто-

ры, а именно состояние народа, его запросы, потребности и желания предопределяли характер развития России. Именно русское общество задавало основные параметры исторических действий, выйти за пределы которых не могли даже самые могущественные властители. Говоря конкретнее, народные потребности в конечном счете обеспечили быстрый рост Российской империи в XVIII — XIX веках. Эти же потребности обусловили и упрочение устоев самодержавия, в том числе крепостного права. Впрочем, без народной предрасположенности не обошлось и при ликвидации этого института.

Отведя основную часть своей работы анализу общественной жизни, Миронов в то же время показывает, что значительную долю своих потребностей народ мог реализовать только через политические действия государственной власти. В заданных обществом пределах у правящих сфер при принятии конкретных решений всегда сохранялся определенный выбор. Власть, таким образом, аккумулировала народную энергию, и именно это обстоятельство превращало ее в главного организатора необходимых стране перемен. Такой подход к проблеме взаимодействия общества и власти предопределил и композицию труда.

В первом томе автор развернул впечатляющую картину эволюции российского общества периода империи: положение всех сословий и страт раскрыто в монографии с редкой для нашей литературы объемностью и силой. Особое значение имеет, конечно, анализ жизни крестьянства, положение которого решающим образом определяло общее состояние государства. Посвященные этой проблематике разделы производят особенно сильное впечатление. Связь русского крестьянина со средой обитания, трудовые навыки и приоритеты, менталитет и культурные ценности народа, характер его воспроизводства, организация семьи и сельского самоуправления — все эти аспекты раскрыты с большой яркостью и убедительностью.

Отслеживая динамику социальных явлений, Миронов получает весомые основания для общего вывода о том, что на протяжении всего императорского периода шел процесс трансформации традиционных патриархально-общинных устоев народной жизни в сторону ее рационализации и демократизации. Процесс этот автор считает естественным и исторически неизбежным. Вместе с этим он показывает, что до начала промышленной революции патриархальные принципы русского крестьянства являлись важным стабилизирующим фактором в жизни общества и государства. Самодержавному политическому строю соответствовали быт и социальная организация крестьянства, включая общину и большую патриархальную семью. В свою очередь патриархально организованное крестьянство само испытывало острую потребность в сильной власти и руководстве. Представление о самодержавии как о наиболее стабильном режиме государственной власти, необходимом для обеспечения внутренней и внешней безопасности, лежало в основе искреннего монархизма, прочно вошедшего в сознание народных масс. Царизм без всяких натяжек можно назвать русской народной монархией. Ради своего государства русский человек много веков жертвовал личными правами. Вот почему крестьянство легко мирилось с принуждением и регламентацией. Крестьяне, подчеркивает автор, «ориентировались на устоявшиеся авторитеты, боялись нарушить многочисленные запреты, правила, требования и негативно относились ко всякого рода переменам и нововведениям». Отсюда идут корни народной нелюбви к плюрализму мнений и агрессивность по отношению к нарушителям общепринятых норм, в том числе, кстати говоря, и к интеллигенции. Таким был народ, и таким было его государство.

В исследовании много поразительно точных и метких зарисовок народной жизни. Но порой желание доказать «молодость» не слишком цивилизованной крестьянской массы приводит автора к весьма спорным обобщениям. Под пером Миронова русский крестьянин предстает скромным христианином, лишенным буржуазного духа наживы, чьи запросы вполне удовлетворялись достижением прожиточного минимума. По мнению автора, такой этикой можно объяснить слабую предприимчивость, низкую эффективность хозяйствования и даже склонность крестьян к подчинению жесткой власти и контролю над собой. Авторитарная власть над народом (помещичья в особенности) представляется в такой ситуации благом. Без нее народ мог просто разбаловаться и в конце концов потерять вкус к жизни. Спо-

ру нет, долготерпение и выносливость русского народа — значимый фактор в социальной истории страны. Однако подобная этика — скорее не причина, а следствие народной бедности. Выведение же относительно низкой эффективности труда крестьянства из его нравственных приоритетов, во всяком случае, нуждается в гораздо более развернутой аргументации. Парадоксальные суждения автора о том, что барщинные помещицы крестьяне трудились и жили гораздо лучше, чем более свободные и обеспеченные ресурсами крестьяне казенные, хороши, на мой взгляд, только своей экстравагантностью. Миронов сам признает, что приводимые им данные по тринадцати губерниям следует рассматривать «как весьма ориентировочные». Точно так же спорно суждение о том, что «дарственники» (крестьяне, получившие без выкупа четвертую часть предусмотренной для данной местности нормы надела) лучше приспособились к реалиям экономического развития пореформенного времени. Известно, что нашумевшая в начале XX века книга известного либерала А. И. Шингарева «Вымирающая деревня», при всех эмоциональных перехлестах автора, дала, в общем, достоверную картину экономической деградации крестьян, получивших в свое время дарственный надел. Совершенно очевидно, что многочисленные сведения о бедственном положении бывших «дарственников» автор просто не принял во внимание.

По оценкам Миронова, чем сильнее (до известных пределов, конечно) эксплуатировался русский крестьянин, тем эффективнее он трудился, а снижение контроля немедленно приводило к развитию народной праздности. Значит, крепостное право имело большой позитивный смысл, поскольку дисциплинировало не слишком организованный народ и приучало его к систематическому и напряженному труду. Элемент истины в этих построениях, безусловно, присутствует, но в аргументации этих тезисов автор не всегда аккуратен. Скажем, утверждения об увеличении числа праздничных дней к началу XX века до ста сорока в год и о непременном отказе крестьян от работы в эти дни страдают явным преувеличением. По свидетельствам, зафиксированным, например, в «Воронежских епархиальных ведомостях», крестьяне при необходимости легко отказывались от отдыха в праздничные дни: рисковать урожаем мог только непутевый работник. Еще одним примером чрезмерного увлечения может служить заявление автора о том, что даже в первые годы советской власти крестьяне оставались «глубоко религиозными». Увы, достаточно взглянуть на бесчисленные руины разрушенных церквей, чтобы усомниться в таком утверждении...

Конечно, выводы об уравнивательных и антисобственнических наклонностях крестьян можно подкрепить определенным рядом свидетельств. Но есть не меньше сведений и о прямо противоположных настроениях народа. Авторитетный (в том числе и для Миронова) знаток народной жизни А. Н. Энгельгардт с горечью фиксировал: «Известной долей кулачества обладает каждый крестьянин, за исключением недоумков да особенно добродушных людей и вообще „карасей”. Каждый мужик в известной степени кулак, шука, которая на то и в море, чтобы карась не дремал». У крестьян, сетовал Энгельгардт, «крайне развит индивидуализм, эгоизм, стремление к эксплуатации. Зависть, недоверие друг к другу, подкапывание одного под другого, унижение слабого перед сильным, высокомерие сильного, поклонение богатству — все это сильно развито в крестьянской среде... Каждый крестьянин, если обстоятельства тому благоприятствуют, будет самым отличнейшим образом эксплуатировать другого, все равно крестьянина или барина, будет выжимать из него сок, эксплуатировать его нужду». И дело вовсе не в расшатывании традиционной крестьянской морали: за десяток лет после эмансипации ничего радикального с нравственными устоями произойти не могло. Стремление к материальному благополучию всегда было в природе крестьянства. Просто оно или подавлялось (при крепостном праве), либо деформировалось общинными порядками и проявлялось не в форме товарного производства, а в ростовщичестве и мироедстве (то есть кулачестве).

Миронов абсолютно прав в стремлении преодолеть узость классового подхода в определении причин отмены крепостного права. Проблему революционной ситуации он даже не упоминает, очевидно считая ее совершенно надуманной. Убедительно выглядят и выводы об отсутствии экономического кризиса крепостнических

хозяйств накануне освобождения. Надо только иметь в виду, что кризиса не было и быть не могло в рыночном смысле этого понятия. Не случайно благосостояние помещичьих хозяйств измерялось чисто количественными показателями (считалось, что владелец пятисот душ богаче того, у кого их было триста), тогда как эффективность использования рабочей силы в расчет не принималась. Именно такая экономика и привела к политическому кризису системы, не выдержавшей к середине XIX века соперничества с промышленными странами Европы. Так что кризис в государстве, вообще-то говоря, был, важно лишь не определять его критериями современной экономики. К сожалению, причины ликвидации крепостного права сформулированы не очень внятно, хотя, как кажется, решающее значение отводится автором все-таки стремлению власти начать ускоренную модернизацию страны.

Говоря о характере аграрных реформ П. А. Столыпина, автор восстанавливает их оценку как «второго раскрепощения», поскольку без структурной перестройки социальных отношений в деревне нельзя было продвигаться в сторону правового государства и эффективной экономики. Между тем само это продвижение было исторически неотвратимым и составляло суть развернувшейся в стране модернизации. Больше того, столыпинские реформы, полагает автор, были подготовлены всем ходом происходивших перемен: не менее 30 процентов крестьян к концу XIX века начали тяготиться патриархальными ограничениями. Следовательно, новый аграрный курс соответствовал не только политическим расчетам правительства, но и магистральным тенденциям развития общества, в том числе и самого крестьянства.

Выступая безусловным сторонником модернизации (или, точнее, европеизации) России, Миронов несколько сглаживает остроту противоречий этого тяжелого для русского общества процесса. Сомнителен, в частности, вывод о том, что в пореформенное время, благодаря более интенсивному, чем прежде, развитию промышленности и торговли в сельской местности, «экономическая противоположность между городом и деревней стала смягчаться». Конечно, новые явления хозяйственной жизни проникали и в деревню, но при этом в большинстве регионов упомянутая противоположность не только не уменьшилась, а даже возросла. Впрочем, при курсе на форсированное развитие промышленности иначе и не могло быть. Политика протекционизма, правительственных гарантий и прямых субсидий, принятая в отношении отечественной индустрии, обернулась выражением земледельческого центра. Не зря дворянство центральных губерний выражало острое недовольство финансово-экономическими мероприятиями И. А. Вышнеградского и С. Ю. Витте. Дореволюционная Россия поражала невиданными темпами железнодорожного строительства и одновременно чрезвычайной дешевизной сельскохозяйственных продуктов. Скажем, пуд говядины в Воронеже в 1910 году стоил примерно 3 руб. 50 коп. В это же время квалифицированный рабочий железнодорожного депо получал около сорока рублей в месяц, а преподаватель гимназии — около ста. Но эта дешевизна оборачивалась истощением хозяйственных сил деревни. Экономическая противоположность между городом и деревней продолжала нарастать, создавая крайне опасное для исхода модернизации социальное напряжение. Ненависть к уходящему вперед городу не случайно обжигала сердца русских крестьян.

У русского общества всегда были особые отношения с властью, поэтому эволюция государственных институтов императорской России рассмотрена в монографии с повышенным вниманием. Во втором томе Миронов настойчиво и, в общем, убедительно раскрывает эволюцию государственного строя России в направлении правового режима. Самодержавие рассматривается им в качестве лидера в процессах хозяйственно-культурного и общественно-политического обновления страны. Именно оно инициировало все основные преобразования, и благодаря его руководству была обеспечена роль России как великой державы. Самодержавие при этом не противостояло обществу, а достаточно умело и эффективно руководило им, продвигая его по тернистому пути цивилизации. «На протяжении XVIII — начала XX в. верховная власть в целом проводила разумную, сбалансированную компромиссную в интересах общества политику как во внутренних делах, так и в меж-

дународных отношениях и выступала лидером государства и проводником модернизации». Поэтому революционная борьба с царизмом никакого сочувствия у Миронова не вызывает.

Нетерпеливая, жившая в мире западных идей интеллигенция, без оглядки на внутреннее состояние своего народа, пыталась накормить его плодами европейского развития. Она, полагает автор, глубоко заблуждалась в расчетах на то, что крушение самодержавия приведет к улучшению жизни общества. Он полностью соглашается с Н. А. Бердяевым, раньше других указавшим на иллюзорность политического мышления русской интеллигенции. Вполне уместна цитата из русского философа: «Слишком многое привыкли у нас относить на счет самодержавия, все зло и тьму нашей жизни хотели им объяснить. Но этим только сбрасывали русские люди бремя ответственности и приучили себя к безответственности. Нет уже самодержавия, а русская тьма и русское зло остались...»

Объективный анализ разносторонних функций самодержавной власти — крупнейшая заслуга исследователя. Активная и конструктивная деятельность государственного аппарата дореволюционной России давно нуждается в позитивном освещении. Однако с некоторыми обобщениями принципиального характера автор явно спешит. Нельзя забывать, что у самодержавной системы была обратная сторона. Конечно, неуклонное возвышение роли государственной власти позволяло стране выдерживать историческое соревнование с ушедшими вперед народами. Но у этого процесса имелся органический недостаток, о котором образно говорил еще В. О. Ключевский: «Государство пухло, а народ хирел». Политика традиционного патернализма (то есть отеческого самовластия и всеобщего опекуна) обернулась невиданным усилением роли административного аппарата. Свободное от общественного контроля российское чиновничество прибрало к рукам все отрасли управления страной. А несвободное общество теряло чувство ответственности, все свои достижения и неудачи оно привыкало связывать прежде всего с властью. Вот почему домохозяева, выливавшие без зазрения совести помой прямо на проезжую часть дороги, нередко тут же жаловались на то, что «начальство» плохо заботится о чистоте улиц. Видный политический деятель начала XX века С. И. Шидловский, хорошо знавший реальное положение дел в родной Воронежской губернии, с горечью писал: «Крестьянское население, вследствие темноты и несправности, чрезмерной опеки и круговой поруки, продолжает представлять из себя обезличенные и бессвязные толпы населения... Предприимчивость наша развивается туго, и необходимо приложить старания к тому, чтобы всеми мерами воспитать в населении самостоятельность и развить способность к самоуправлению».

Думается, Миронов не вполне корректно проводит вектор развития взаимоотношений самодержавия с обществом. Свое лидерство российская власть осуществляла не так, как на Западе. Скудость ресурсов, связанная с отсталостью экономических отношений, при высоких государственных потребностях побуждала самодержавие проводить жесткую регламентацию общественной жизни. Государственные интересы в России всегда доминировали над общественными, иначе власть просто не смогла бы сконцентрировать в своих руках необходимые средства. Западные государства в целом выдерживали формулу, в соответствии с которой путь к процветанию страны лежал через благополучие общества.

К середине XIX века Российское государство превратилось в гигантского опекуна, обремененного ответственностью даже за мелкие хозяйственные нужды. Именно поэтому самодержавие так усердно сохраняло патриархальные устои народной жизни. Реформаторы 1860-х годов хорошо понимали, какую опасность для судьбы модернизации представляет общественная апатия. Учреждение земств, между прочим, предполагало не только заметное сужение компетенции коронной администрации, но и воспитание у общества чувства причастности к местным заботам и нуждам. Надо признать при этом, что на самодержавии лежал груз исторической ответственности за дефицит предприимчивости и инициативы в русской общественной жизни.

Трудно избавиться от ощущения, что на оценках деятельности властных структур в монографии Миронова лежит отпечаток некоторой идеализации. Автор, на-

пример, решительно заявляет: после учреждения земств и городских дум «можно говорить о том, что деятельность и центральной и местной коронной администрации находилась под контролем со стороны общества и органов общественного самоуправления». Если предположить, что имеется в виду появление каналов общественного воздействия на власть, то принять его тезис с некоторыми оговорками было бы можно. Но историки пока не располагают информацией о контрольных функциях земств. Контроль продолжал осуществляться в прямо противоположном направлении, причем как по закону, так и на практике. То же самое можно сказать и о влиянии прессы. Здесь автор высказывает еще более категорические оценки. Александр II, отмечает он, в начале своего царствования допустил регулируемую гласность. И скоро утратил независимость как политик. «В результате все либеральные реформы, проведенные при Александре II, были продиктованы верховной властью либеральным общественным мнением через печать». Неплохо было бы вывести на свет Божий закулисных творцов преобразований и раскрыть их влияние на законотворческую деятельность. Но автор, конечно, поторопился: под диктовку либеральной прессы ни император, ни его сановники руководить государством не хотели, да и не могли. Любопытно, что Мионов даже не замечает противоречия таких оценок с его же определением самодержавия как подлинного лидера социально-политического развития страны. Можно отметить также, что власть в пореформенные годы скорее прислушивалась к редактору консервативных «Московских ведомостей» М. Н. Каткову.

Материалы, представленные в исследовании, решительно встают против представлений о российском самодержавии как о режиме произвола и неограниченной личной власти монарха. Легко обнаружить, что соответствующие разделы писались с особым воодушевлением. Однако склонность к чрезмерным обобщениям дала себя знать и здесь. Автор доказывает, что государственный строй России развивался нормально, а в начале XX века достиг стадии правовой монархии. После 1906 года перед Россией открывались благоприятные перспективы. Ставшее конституционным, самодержавие могло и должно было подвести общество к цивилизованным либеральным нормам жизни. Именно такие мотивации Мионов считает определяющими в политике верховной власти конца XIX — начала XX века. Даже пресловутые контрреформы Александра III автор предлагает рассматривать не как отход от преобразований 1860-х годов, а как необходимую меру для их неспешной, но зато и более прочной адаптации к реальным потребностям всего российского общества, «а не только его малочисленной образованной части». Рассуждения подобного рода можно было бы принять, если бы историк действительно показал наличие у высшей власти таких благородных стремлений. Научные наблюдения автора в данном случае явно сближаются с политическими позициями умеренных либералов той поры, отчасти октябристов, отчасти правых кадетов, а отчасти и самого П. А. Столыпина. Сохранение сильной исполнительной власти в руках императора расценивается как объективно целесообразное и обеспечивающее плавный переход «к полному конституционализму и правительству, ответственному перед парламентом и, следовательно, перед народом». Если с объективной целесообразностью сильной власти монарха в условиях России согласиться можно, то вот утверждение о гарантиях «плавного перехода» никаких конкретных доказательств не имеет. Гораздо проще доказать обратное — горячее желание верховной власти свернуть с дороги к демократическому конституционному строю. Мионов хорошо знает об искренних стремлениях Николая II ликвидировать Думу или по крайней мере резко ограничить ее политическое значение. Во всяком случае, ощутимый налет политических пристрастий на оценках роли «правовой монархии» делает позицию автора открытой для критики, острота и объективность которой могут зависеть от убеждений его возможных оппонентов. Очень жаль, что в обобщающей книге о жизни русского общества не нашлось специального места для анализа такой специфической «прослойки», какой была отечественная интеллигенция. Судя по всему, этот беспокойный социальный слой не очень симпатичен историку. Однако сыгранная интеллигенцией роль в судьбе России заслуживала большего внимания, чем несколько частных реплик по ее адресу.

При всем том Миронов создал произведение во всех отношениях незаурядное. На все замечания и на любую критику (а недостатка в ней, конечно, не будет) он вправе ответить предложением написать лучше. Сделать это будет невероятно трудно. Если оценивать представленный труд по достигнутым результатам, то надо признать, что это произведение — явление пока беспрецедентное. Колоссальная многокрасочная панорама народной жизни, исторические судьбы сословий, организация и функционирование власти в ее развитии и, наконец, объективная оценка характера российской истории — все эти компоненты обеспечивают за исследованием Миронова выдающееся место в современной отечественной историографии.

М. Д. КАРПАЧЕВ.

Воронеж

И. ВОЛЬФРАМ ЭГГЕЛИНГ. Политика и культура при Хрущеве и Брежневе. 1953 — 1970 гг. М., «АИРО-XX», 1999, 311 стр. (Серия «Первая публикация в России»).

Серия работ, посвященных взаимосвязям политики и культуры в СССР (1917 — 1991), была задумана профессором славистики Карлом Аймермахером, директором Института русской и советской культуры имени Ю. М. Лотмана в Рурском университете (г. Бохум). Старающимися Ассоциации историков российского общества отечественный читатель смог ознакомиться с тремя книгами из пяти. Общая их черта — бережное отношение к источнику, стремление непременно отразить задуманное von A bis Z, не отклоняясь ни на миллиметр от избранной темы, примерное «следование рамке», делающее устрашающими размеры примечаний — в них попадает все, что, по мнению авторов, напрямую не служит основной задаче. Еще одна особенность — честность исследователей: когда материала не хватает, они не гонятся за объемом; так, Аймермахер, рассматривая период 1917 — 1932 годов, уложился в тринадцать печатных листов¹; Дирку Кречмару, пишущему о периоде 1970 — 1985 годов, по понятным причинам потребовалось чуть больше двадцати². Те же качества присущи и книге Вольфрама Эггелинга, но есть и существенное

отличие — автор во многом смотрит на предмет исследования глазами советского человека: должно быть, оттого, что его жена — дочь Камила Икрамова — была не понаслышке знакома с Союзом нерушимым. Это придает работе Эггелинга изюминку — мы-то привыкли, что на нас смотрят как на загадочных пришельцев-марсиан.

Автор кропотливо анализирует причины причудливых изгибов партийной линии от съезда к съезду, от пленума к пленуму. Эггелинг свободно различает оттенки в тоне партийных директив, глядя на мир глазами советского интеллигента, читающего «между строк» газетные передовицы, нисколько не сомневаясь в том, кто является «подлинным организатором литературного процесса».

Эггелингу не всегда удается отойти от безоглядной схематизации, преследующей труды бохумских ученых: сквозь всю книгу проходит, например, неоправданное стремление провести четкую границу между черным (догматиками) и белым (антидогматиками-либералами) и определить тот или иной журнал (писателя) в соответствующую корзину. Зачастую это приводит автора к спорным утверждениям, как-то: объявление «Молодой гвардии» консервативным антиподом «Юности», хотя при редакторстве Котенко и Пришвина линия раздела проходила скорее в области формы, а «никоновский патристический» период вряд ли уместно награждать эпитетом «консервативный». Встречаются в книге и откровенно неудавшиеся места: так, упрощена история вокруг нашумевшей новомирской статьи А. Г. Дементьева «О традициях и народности» (неверно, например,

¹ Аймермахер К. Политика и культура при Ленине и Сталине. 1917 — 1932. М., «АИРО-XX», 1998.

² Кречмар Д. Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко. 1970 — 1985 гг. М., «АИРО-XX», 1997.

утверждение, что «новая дискуссия разгорелась в основном вокруг деревенской прозы и изображения русской деревни в современной литературе»).

Лучшими страницами книги выглядят не навороченные обобщения, а элементы живой конкретики, проникающие в канву анализа. Любопытна, например, оценка поездки Хрущева в Вешенскую к Шолохову: «Во-первых, эта встреча служила демонстрацией „подлинного демократизма“ („Такое возможно только у нас“), внутренней связи между руководителем партии и знаменитым писателем как „великими гуманистами“, а также миролюбия страны (в ней говорят не о вооружении, а об искусстве и литературе). Кроме того, включение в событие всей станицы внушает мысль о близости обоих главных действующих лиц к народу».

Взгляд «с той стороны» то и дело обнаруживает свои сильные стороны; внутренняя политико-литературная ситуация органично вписана в мировой контекст: речь идет не только о стремлении понравиться Западу, о дистанцировании с Китаем, но и о таких малоизвестных явлениях, как дискуссии о литературе в странах соцлагеря, в частности в Польше (1956 год). Вместе с тем удивительно простодушно развивает Эггелинг мысли Евгения Добренко об эпопеях кочетовского «Октября»: роман признается «хорошим жанром» в среде догматиков, повесть — у антидогматиков.

Выигрышно смотрятся факты, порой умалчиваемые отечественными авторами: так, Эггелинг напоминает о первом выступлении с трибуны в защиту окружающей среды (Шолохов), — или факты, на которых никто не акцентировал внимания ранее, как симптоматичное выступление в 1968 году со статьей в «Правде» («Литература, объединяющая людей») исключенного в свое время из Союза писателей за доноительство Якова Эльсберга. Автор не обходит стороной развитие нового момента культурной политики — награждения писателей: на примере присуждения премий и вручения орденов Эггелинг демонстрирует тактическую гибкость партии в национальном вопросе и в решении проблемы поколений.

Трезвая и взвешенная оценка дана быстроте появления в тамиздате писем

Твардовского и Каверина Федину: «Данные события могли бы считаться новым показателем роста инфраструктуры распространения неофициальной информации. Напротив... в этом случае не исключена целенаправленная, провокационная „засылка“ с целью дискредитации авторов...»

Как подытожить труд Эггелинга? Лучше всего — словами идейного вдохновителя проекта, Карла Аймермахера, о специфических коллизиях периода после смерти Сталина: «...писатели и художники хотели... используя инструменты центра власти, сохранить дирижерскую систему сталинской культурной политики или преобразовать ее в целях независимого выражения художественных стремлений, поставить ее под вопрос или полностью реструктурировать».

Что ж, хотя две последние книги проекта в русском переводе еще не вышли, на мой взгляд, можно «похвалить день до наступления вечера»³.

И. М. Р. ЗЕЗИНА. Советская художественная интеллигенция и власть в 1950 — 1960-е годы. М., «Диалог-МГУ», 1999, 398 стр.

Внимательному читателю бросится в глаза хронологическое соответствие между книгами Эггелинга и Зезиной. Волна литературы о 50 — 60-х, нахлынувшая с приходом гласности, окутала нас всевозможными, часто взаимоисключающими, версиями. Когда вода спала, вдруг выяснилось, что знаем мы вроде бы очень много, а в то же время почти ничего. Как выбрать из огромной массы материала наиболее достоверное, как обобщить разрозненные факты? Зезина решилась на эту смелую попытку.

Исследовательница со всей серьезностью подошла к истории термина («интеллигенция»), не обойдя стороной мнения Бердяева и Туган-Барановского; тщательно проанализировала историографию; но наибольший эффект производят привлеченные к работе источники: наряду с периодикой тех лет, воспоминаниями участников событий и т. д. это архивные материалы Российского Государственного архива новей-

³ «Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben — не хвалите день до наступления вечера (нем.).»

шей истории (РГАНИ), Центрального архива общественных движений Москвы (ЦАОДМ), Российского Государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), Российского Государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) и Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) (!). Умелое их использование делает чтение книги захватывающим, и даже вереница десятки раз описанных событий (XX съезд, травля Пастернака, посещение Хрущевым Манежа, письмо Солженицына IV Съезду писателей и т. д. и т. п.) воспринимается свежо; но только ли за счет удачного подбора источников добывается автор яркого впечатления от своей работы?

Придают динамику изложению и колоритные факты — такие, как история с директором Национального фонда искусства США Карлтоном Смитом, который сбил с толку советскую сторону громким названием своей малозначащей организации; как первое «неправильное интервью» за границей В. Коенцкого, обронившего фразу, что «когда-то советские литераторы жили под страхом, а сейчас действуют по велению совести»; как чистка библиотек после XXII съезда (среди новой крамолы — стихи Сергея Михалкова «В музее Ленина»). Впечатляет и горизонт охвата: здесь и политика — к примеру, жесткие оценки XX съезда в зарубежной прессе («Тоталитарная диктатура России остается диктатурой», а разница между «коллективным руководством» и одним человеком — второстепенна); и театральная жизнь — ограничение показа пьесы Назыма Хикмета «А был ли Иван Иванович?»; и кино — успехи советских фильмов на международных кинофестивалях; и изобразительное искусство — открытие в разгар борьбы с абстракционизмом выставок французских художников, далеких от реализма (на основании последнего примера автор констатирует двусмысленность борьбы с абстракционизмом ввиду прокоммунистической направленности левого искусства на Западе). Автор обстоятельно анализирует противостояние «Октября» и «Нового мира», отважно бросая термин «социальный реализм».

Не только богатство материала — лаконизм и меткость обобщений присущи книге. Вот как точно обрисовывает Зезина «ритуал покаяния», выработанный

еще при Сталине: «Своеобразная интерпретация христианской морали — раскаявшийся грешник становится праведником. Но в отличие от христианской партийная мораль ставила формальное публичное „разоружение перед партией“ выше внутреннего духовного перерождения, то есть толкала человека к лицемерию».

Зезина пишет о трагической противоречивости ситуации «признанного» художника в советском обществе: высокие гонорары, премии, звания — и пагубные для таланта условия творческой несвободы. Сложный вопрос о пределах компромисса также не обойден стороной.

Разная была интеллигенция — очень разная, а власть все время оставалась такой же, она лишь регулировала (как верно подметил Эггелинг) свои пороги терпимости...

III. Н. М. БАРАНСКАЯ. Странствие бездомных. Жизнеописание. Семейный архив. Старые альбомы. Письма разных лет. Документы. Воспоминания моих родителей, их друзей. Мои собственные воспоминания. М., 1999, 560 стр.

Имя Натальи Баранской стало известно благодаря публикациям в «Новом мире» Твардовского, которые как раз и упоминает в качестве примеров «антидогматической литературы» Эггелинг. Особенно много шума наделала ее маленькая повесть «Неделя как неделя» — о трудовых и семейных буднях молодой сотрудницы научной лаборатории (1969, № 11). Советский читатель, привыкший отождествлять героя с писателем (особенно если речь идет о женщине, а повествование ведется от первого лица), и не догадывался, что жизненный путь автора очень далек от описанного.

Книгу предварают посвящение детям и внукам и два эпиграфа: «Живите в доме — и не рухнет дом» (Арс. Тарковский); «И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечник, и светло будет всем в доме» (Евангелие от Матфея). Длинный перечень подзаголовков точно отражает жанровую пестроту книги, а однонаправленность посвящения и эпиграфов — единство ее замысла.

В центре повествования — родители Натальи Баранской. Мать, Любовь Баранская, с 1890-х годов — активный участник революционного движения.

С революционной деятельностью связана и жизнь отца, Владимира Розанова, чей любимый дядя — писатель Василий (тот самый) — придерживался совсем иных убеждений. Положение нелегалов, постоянная перемена места жительства — все это сопровождало их супружескую жизнь, все это в конечном итоге и развело их судьбы. Любовь к родителям стоит за каждой строчкой книги, вместе с тем искренняя их вера в Революцию (давно, признаться, не встретишь написания этого слова с прописной буквы), приоритет общего над частным в их жизни не вызывает восторга у Натальи Баранской. Ей, по прошествии многих десятков лет, кажется страшным (и это действительно так) обет подруг — Вари Кожевниковой и Любы Баранской — ради общей идеи не выходить замуж и не иметь детей; кажется жестоким разрушение семейного очага. Аресты и ссылки — вот что предьявила взамен жизнь. Стоило ли так стремиться к этому? При всем уважении к родителям вывод автора однозначен: нет, не стоило.

Круг известных лиц, встречающихся в книге, чрезвычайно широк: он охватывает таких разных людей, как Мартов, Дзержинский, Ленин, Мельгунов, Либбер, — все они так или иначе посвятили свою жизнь Революции, но переустройство несправедливого мира старой России обернулось для народа еще более тяжелыми испытаниями в России новой. Многие узники царских тюрем оказались в застенках, сооруженных их товарищами по борьбе, и, как справедливо заметил Солженицын, были они куда страшнее царских, описанных, между прочим, и в этой книге. Впечатляет Лукьяновская тюрьма в Киеве, куда попадает Любовь Баранская в 1902 году (справедливости ради — не самый тяжелый для арестантов год, не самая плохая тюрьма): «Камеры открыты, обитатели одного коридора ходят друг к другу, играют в шахматы и шашки, иногда даже с надзирателями, свободно общаются и беседуют между собой».

Страшное советское время меняет и жизнь маленькой Наташи — постепенно, но неотвратно. На смену пасхальным куличам детства приходит горький хлеб дочери двух меньшевиков. Наталья Баранская нашла в книге место для доброго словца Ленина о ее родителях. В записке Сталину о необходимости высылки меньшевиков Ильич пишет: «Розанов (врач, хитрый)... Любовь Николаевна Радченко и ее молодая дочь (понаслышке злейшие враги большевизма)... Всех их — вон из России. Делать это надо сразу. К концу процесса эсэров, не позже. Арестовать несколько сот, и без объявления мотивов — выезжайте, господа!..»

Учеба на литературных курсах, куда беспрепятственно брали социально чуждый элемент, сыграла в итоге главную роль в жизни Баранской — она стала писателем. Правда, прежде пришлось пройти через многие испытания (разве что от лагерей Бог миловал): от казахстанской ссылки — до гибели мужа на фронте. Характерно, что и у ее подруг судьба была совсем не безоблачной: у Нины Лурье расстреляли мужа, Муся Летник семь лет просидела в лагере, Ира Всехвятская прожила всю жизнь в бедности, нужде и заботе о больных детях.

В страданиях выкристаллизовывалась главная мысль — о приоритете своего Дома над общей Идеей.

В наше время, время беженцев и переселенцев, мысли Натальи Баранской о Доме наполняются новым смыслом. «Кто любит Жизнь и дорожит Жизнью на Земле, должен понять всю ценность, всю спасительность Дома. Уставший в странствиях путник устремляется к Дому, чтобы в нем жить», — этими словами, возвращающими к эпитафю, автор подводит итог своих размышлений — размышлений настоящего российского интеллигента, не готового идти на компромисс ни с бесчеловечной властью, ни со своей совестью.

Дмитрий ДМИТРИЕВ.



КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПОЛКА КИРИЛЛА КОБРИНА

+7

Жизнь и творчество Себастьяна Найта. Составитель В. П. Старк. Статья В. Кратс. Комментарии П. Кратс. СПб., Издательство журнала «Звезда», 1999, 72 стр.

Эта миниатюрная, с любовью и вкусом сделанная книжечка — последний аккорд в юбилейной набоковской сюите. В суматохе праздничных мероприятий, посвященных столетию автора «Лолиты», как-то забыли о несколько (быть может) менее талантливом, менее плодовитом и (несомненно) гораздо менее известном авторе, дар которого столь конгруэнтен набоковскому. Тем более, что Найт — почти ровесник Набокова; родился он всего на восемь с лишним месяцев позже. Издание «Жизни и творчества...» выстроено по традиционному принципу такого рода компиляций: библиография Себастьяна Найта, биографическая канва его (увы!) недолгой жизни, фрагменты из его сочинений (данные, как и положено уважающему себя изданию, на языке оригинала и в переводе), краткие комментарии и столь же краткое эссе, затрагивающее весьма важные для Найта этимолого-символические проблемы. Подобные книги обычно предшествуют более солидным изданиям, быть может, академическим. Надеюсь, Себастьян Найт не будет обойден вниманием прославленной отечественной филологии. Он того стоит.

Благоприятное впечатление от книги несколько омрачает не совсем удачная игра с псевдонимами. Известные найтоведы В. Кратс и П. Кратс могли бы придумать более подходящий коллективный псевдоним для мифического составителя сборника, нежели «В. П. Старк».

Петер Корнель. Пути к раю. Комментарии к потерянной рукописи. Предисловие М. Павича. Перевод со шведского Ю. Яхниной. СПб., Издательство «Азбука», 1999, 176 стр.

Когда-то давно, в юности, начитавшись Борхеса, а особенно после «Игры в классики» Кортасара, я мечтал сконструировать книгу из одних примечаний и комментариев. Было это году в 1984 — 1985-м. Не прошло и трех лет, как мечта моя реализовалась. В 1987-м в Стокгольме вышли в свет «Пути к раю» шведа Петера Корнеля.

Честно говоря, я до конца не уверен в существовании этого автора. Фамилия у него как у французского драматурга; имя — фактически то же. Предисловие к книге сочинил известный фокусник и затейник милорд Павич. С фотографии на задней стороне обложки на нас смотрит лицо, похожее скорее на фоторобот. И вообще: все, что проходит по ведомству «потерянных рукописей», вызывает неизбежные идентификационные проблемы.

Как бы то ни было, перед нами восхитительно написанная (точнее — составленная) книга прозы. Ей ничуть не мешает исчерпанность культурной эпохи, породившей всю эту расчетливую любовь к маргиналиям, комментариям, лабиринтам, тамплиерам, розенкрейцерам, наспех составленным схемам и затейливым аллегорическим гравюрам. Ни даже то, что магистральный сюжет ее уже изложен Борхесом в нескольких новеллах и эссе. Птицы ищут птичьего бога Симурга и осознают в конце концов, что они и есть — Симург. Прочитав комментарии к исчезнувшему роману, мы понимаем, что прочитали сам роман. Рай и есть пути к раю.

Виктор Шкловский. Ход коня. Книга статей. М., Книгоиздательство «Соль», 1999, 208 стр.

«Когда мне приходится писать заметки рецензионного характера, я чувствую себя, как государственная печать, которой Том, по воле Марка Твена сделавшийся

английским королем, колол орехи... Но нужно колоть и орехи. Нужно писать, хотя бы для того, чтобы за тебя не писал другой и не мучал тебя своим остроумием». Я, собственно говоря, сочиняю «Книжную полку» из тех же соображений, но без шкловского высокомерия и гордыни; не уверен, что мною можно было бы штамповать высочайшие указы. Пусть это будут орехи.

Статьи, рецензии и эссе, составившие книгу, написаны в голодном и холодном Петрограде 1919 — 1920 годов. Читая «Ход коня», постоянно отгоняешь от себя две незаконные мысли; первая из них — о том, что страдания и лишения способствуют расцвету изящных искусств и наук (довольно пошлая и подлая идея). Вторая — о благотворности русских революций 1917 года (и русской революции вообще) для все тех же изящных искусств и наук, а для словесности — и подавно. Не правда ли, странно, что на стороне революции, в той или иной форме, так или иначе, в то или иное время, были почти все лучшие русские писатели и поэты (кроме, пожалуй, Бунина)? Что, не будь революции, никакого бы Платонова с Зошечкой не было бы и в помине, даже В. В. Набоков так и остался бы дилетантом-барчуком, пописывающим стишки? Вот и Шкловского бы не было — автора «Сентиментального путешествия», «Zoo», «Хода коня»... Речь, конечно, не о полезности сотрясения основ, а о полнейшем несовпадении порывов муз и медленного хода жизни.

Как бы то ни было, книга — превосходная (я даже закрываю глаза на странный вид издания — пострепринт, недорепубликация). Обстоятельный, мастеровитый юмор Шкловского покоряет. Лучшая фраза «Хода коня» посвящена знаменитому татлиновскому проекту памятника Третьему Интернационалу: «Памятник сделан из железа, стекла и революции».

Елена Тахо-Годи. Константин Случевский. Портрет на пушкинском фоне. Монография. СПб., «Алетейя», 2000, 400 стр.

Приятно, что еще пишут такие книги — обстоятельные, не зараженные структуралистским хитроумием, постструктуралистской безответственной болтовней. Кажется, это — первая подробная биография «несуразнейшего и в то же время — одного из глубочайших русских поэтов» (Ходасевич), жившего не в слишком хорошее для поэзии время. Он родился в год смерти Пушкина, а умер через полгода после выхода в свет «Золота в лазури» Андрея Белого. Не удивительно поэтому, что биография Случевского — прежде всего история; история, сплетенная из истории словесности, общественной мысли, политической и социальной. Может, я ошибаюсь, но лучшие специалисты по истории России XIX века сейчас — историки литературы. И даже если вы никогда не читали таких, например, строк:

Ходит ветер избочась
Вдоль Невы широкой,
Снегом стелет калачи
Бабы кривобокой, —

но интересуетесь историей и культурой России прошлого (и начала нынешнего) века, непременно прочтите эту книгу.

Уильям Берроуз. Кот внутри. Перевод Дм. Волчека. «KOLONNA publications», 1999, 64 стр.

Это позднее сочинение известного бунтаря, хулигана, героя контркультурной Америки — весомый вклад в науку «котологию», представленную столь выдающимися именами, как Т.-С. Элиот и Х. Кортасар. Ненависть Берроуза к собакам, точнее, к «уродливому Собачьему Духу, с которым не может быть компромиссов», объясняется не только личными предпочтениями и прихотями автора, но и тем местом в биолого-социальной классификации, которое «друзья человека» получили в известной сказке Дж. Оруэлла. Честно говоря, и для русского человека «собака» ассоциируется скорее с тевтонскими «псами-рыцарями», с садистическими псами-опричниками Ивана Грозного, с помещицьею травлей детей собаками (см. «Братья

Карамазовы»), с фразой из советского учебника по новейшей истории стран Запада: «Носке — кровавая собака германского империализма», со сторожевыми собаками ГУЛАГа, наконец — с бедолагой Шариковым. Хотя бы поэтому «Кот внутри» должен понравиться отечественному читателю.

У этой книги Берроуза есть несомненные художественные достоинства. Писатель, сочинивший хаотический «Голый завтрак» и легендарного «Джанки», силен прежде всего в эмоциональных, на грани истерики, сентиментальности или галлюцинации, пассажах. Его фирменный знак — волнующие перечисления, в которые погружаешься, набрав побольше воздуха, а затем выныриваешь, изумленный. Посудите сами: «Это только один из экзотических видов, которые стоят головокружительные суммы на кошачьих рынках... кошки летающие и скользящие... кошки ярко-синей электрической масти, распространяющие аромат озона... водоплавающие кошки с перепончатыми лапами (они появляются на поверхности воды с задушенной форелью в зубах)... нежные, худые, невесомые болотные кошки с огромными плоскими лапами — они могут скользить по зыбучим пескам и тине с невероятной скоростью... крошечные лемуры с огромными глазами... алые, оранжевые и зеленые кошки, покрытые чешуей, с длинными мускулистыми шеями и ядовитыми клыками — яд, подобный тому, что извергает синий кольчатый осьминог: два шага, и вы валитесь наземь, час спустя вы мертвы... кошки-скупсы, выпускающие смертоносное вещество, которое убивает за секунды, как когти, запущенные в сердце... и кошки с ядовитыми когтями, выпускающие отраву из большой железы, скрытой в середине лапы». Ух!

Буратино. Первый выпуск, подготовленный издательством «Автохтон» в рамках проекта «Классика». «Кучков-град», 1999, 16 стр.

Нынешняя книгоиздательская оргия, единственная в своем роде за историю нашей страны, вызывает (помимо естественной гордости и восхищения) ощущение перенасыщения и легкой тошноты. Будто устриц переел и сабли перепил. Или икры с «Доном Периньоном» облопался. Книги есть такие и эдакие, хорошие, очень хорошие, плохие и очень плохие. И вот на этом фоне появляется весьма странное издание, аскетичное, уродливо оформленное, толщиной с методичку по научному коммунизму. Выпущено в рамках проекта «Классика». И действительно классика — Буратино. Советская классика. Альманах не альманах, просто подборка текстов трех молодых авторов (впрочем, известных в известных московских кругах), повествующих о сыне-нонконформисте конформистствующего отца Карла.

Поясню. Перед нами совсем иное поколение: и эстетически и социально. Владимир Сорокин на том же расстоянии от него, что и Василий Аксенов — от Владимира Сорокина. Им «Голубое сало» не впрок. Они серьезные (пожалуй, даже мрачны), саркастичны, иногда чувствительны. В отличие от дяденьки Яркевича, вся их молодость прошла при капитализме; в детстве они буржуев не в передаче «Международная панорама» видели. Иногда они напоминают мне героев левацких годаровских фильмов 60-х. Слава Богу, что они есть.

Тексты, представленные в «Буратино», неравноценны между собой и, увы, не дотягивают до истинного мастерства. Лучший из них — «Последняя речь Буратино» Алексея Цветкова¹, но и она не свободна от несколько графоманских мест. «Джатака о деревянном Бодхисатве» Дмитрия Гайдука эксплуатирует приемчики, изобретенные Вен. Ерофеевым и Сашей Соколовым и уютно обжитые плодовитыми митьками, — смешение «низкого» сленга с «высокими» реалиями буддически-ми, древнегреческими и проч. Отрывочки Павла Журавлева просто неудачны. И все же. Эта книга свежа, не закапана ни приторными ликерами постмодернистов, ни тошнотворной бодягой реалистов. Наконец, там есть истинно остроумные места. Вот что пишет Дм. Гайдук о встрече Буратино с Тортиллой: «А бодхисатва вышел из медитации, смотрит — а вокруг морские волны. Тут подплывает к нему Великая Черепаха и говорит: привет, деревянный бодхисатва». Последний штрих —

¹ См. рецензию на прозу Алексея Цветкова, написанную его младшим сверстником С. Шаргуновым, в этом номере «Нового мира». (Примеч. ред.)

из «буратиныаны» Ал. Цветкова: «У каждого есть шанс оказаться в постели с Мальвиной или по крайней мере посмотреть ее последнее шоу».

Филипп Минлос. Да нет: стихи, поэма, танки. М., «АРГО-РИСК», 1999, 40 стр. («Библиотека молодой литературы», вып. 13).

Мандельштам писал о Чаадаеве следующее: «Зияние пустоты между написанными известными отрывками — это отсутствующая мысль о России». И далее, через абзац: «Из „Философических писем” можно только узнать, что Россия была причиной мысли Чаадаева». Будто о Филиппе Минлосе написано, но вместо слова «Россия» нужно вставить слово «поэзия». Зияние пустоты (добавим от себя — огромной, объемной, завораживающей, наверно, бесконечной) между редкими словами в стихах Минлоса — это то, что традиционно называют поэзией. Поэзия была причиной его стихов.

Карманное издание, которое так и тянет назвать «цитатником» (только не Мао, а Минлоса; красиво звучит — «цитатник Минлоса»), удивительно всем — оформлением, макетом, графикой, стихами. Собственно, это не стихи, не тексты; скорее перед нами — «сегменты поэтической речи», редкие ноты минималистского опуса, немногословное, почти анонимное бормотание: «солдатики / раззвонились / по паркету / карамельные дни / медные всадники / ну оловянные / песочные часы / а потом опять / книга перемен». Олег Киреев, написавший послесловие к этой книге, считает стихи Минлоса вестниками новой поэзии, естественно (для этого поколения — см. выше) революционной: «Поэзия должна звучать на улице и провозглашаться с баррикады, так что поэзия может быть написана на знаменах новой эпохи». Если это верно, то нас ожидают такие примерно лозунги на знаменах: «Едем в концлагерь / отдохнуть летом / экзамены / Эдем дизайн». Что же, чем хуже хрестоматийных: «Будьте реалистами — требуйте невозможного!» — или: «Вся власть воображению!»?

-3

Ирина Шостаковская в представлении изд-ва «Автохтон». Б. г., б. м., страницы не пронумерованы.

Перед нами то же молодое поколение. В книге Ирины Шостаковской есть: неяршливости стихосложения, неточные рифмы (там, где таковые вообще присутствуют), псевдонаивное моралите (заставляющее вспоминать то вездесущих митьков, то Гребенщикова и Джорджа эпохи «Треугольника»), «приметы времени» («ворошиловский стрелок», «опиаты», «ни хуя мне не надо», «Берроуз», «Чапаев», «Кон-Бендит», «1968»), погрешности против родного языка (из тех, про которые сразу не скажешь — то ли намеренные, то ли нет), отсутствующие выходные данные и т. д. В этой книге нет: своего голоса, неповторимой интонации, энергии, экспериментов, отсутствия экспериментов, надсады, олимпийского спокойствия, погружения в язык, нулевой степени письма, слез. Есть две хорошие строчки: «Прощай, родная речь, выдохни мурку» и «Ремонт в ночи, на жопе патронташ». Но для книги стихов этого маловато.

София Парнок. Сверстники. Книга критических статей. М., «Глагол», 1999, 141 стр.

Малоизвестный, любимый лишь истинными знатоками поэт София Парнок оказалась довольно посредственной критикессой. «Независимость литературного положения Парнок отчетливо проявляется в ее критических работах. Читая ее статьи, мы получаем оценку „независимого эксперта”, оценку, не тронутую никакими литературными идеологиями и — почти никакими — личными пристрастиями», — читаем мы в предисловии издателя. Знакомство с книгой делает это утверждение сомнительным. Удивительно брюзгливый тон, чугунное полемизаторство, порой на грани самопародии («суетливый лепет „мыслителей”», «символист

спустился в себя с сетью, сплетенною не суровым художественным принципом, а рукою самодовольною и неразумною, и вот почему сеть его наполнилась недостойной лова плотвой»), трескучая и назойливая «духовность», выраженная почему-то ростовщицкой лексикой («Степенью духовной платежеспособности определяется на весах вечности мировая, национальная и индивидуальная ценность личности»); все это лишь изредка скрашивается остроумными и точными пассажами вроде: «Брюсов всю жизнь писал стихи, чтобы купить себе памятник на парнасском кладбище, „где Данте, где Вергилий, где Гёте, Пушкин где“. Булочница в надгробной надписи поминает баранки, Брюсов — строфы, страницы и т. п.». Удачно также определение основной, характернейшей черты Брюсова: «гениальная острервенность воли».

Слишком большое количество опечаток окончательно портит впечатление от этой книги. Последние лет двенадцать подарили нам «шедевры» издательского дела с рекордным числом опечаток. (Достаточно вспомнить загубленный в середине 90-х единственный пока в России сборник прозы Игоря Померанцева — его явно не касалась рука корректора. Да и редактора тоже.) «Сверстники» Софии Парнок до рекорда, конечно, не дотягивают, но по степени дикости корректорских оплошностей могли бы составить конкуренцию кому угодно. На стр. 31 читаем (далее следует текст, представленный именно так, как он напечатан в рецензируемой книге):

«Ибо

что значит усовершенствовать, „обработать“ художественную форму, как не усовершенство-вать свое содержание?»

Истинный авангард!

На стр. 36 Бориса Бугаева обзывают «Андреем белым», на стр. 80 бедный Брюсов «довит» метры, а на стр. 41 достается даже Пушкину, который просто-таки погрязает в тавтологии:

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чертит
И свой рисунок беззаконный
На ней бессмысленно чертит.

Стивен Спендер. Храм. Роман. Предисловие Е. Берштейна. Перевод с английского В. Когана. М., «Глагол», 1999, 272 стр.

В 80-е годы среди выживших писателей-модернистов стало модным доделывать и издавать свои ранние романы. Смертельно больной Кортасар печатает «Экзамен»; Стивен Спендер, английский поэт, прозаик, критик, друг Одена и Ишервуда, вдруг решает отдать на суд публики «Храм». Что это: старческое крохоборство, отчаянный жест вслед уходящей жизни, попытка преподать урок окружающей скептически-релятивистской культуре? Трудно сказать. В любом случае «Экзамен» еще можно серьезно рассматривать эстетически; «Храм» — вряд ли.

На обложке русского издания этого романа красуется купающийся арийский юноша. Над его головой, крупными буквами — СТИВЕН СПЕНДЕР. И еще крупнее: ХРАМ. «Храм» и есть этот полунагой немчик в его мышчатой телесности; роман Спендера есть описание паломничества в страну таких вот «храмов» — веймарскую Германию. Поначалу кажется, что перед нами — нечто вроде «романа с ключом», в котором под чужими именами выведены сам Спендер и его друзья Ишервуд с Оденом. Они живут себе поживают в Оксфорде, без конца треплются на разные темы, пописывают стихи и романы. В общем, ранний Хаксли. «Желтый Кром». Однако затем возникает некий немец Эрнст Штокман и приглашает главного героя в Германию, в Гамбург — естественно, не на луну смотреть, а «изучать немецкий для письменной работы по философии». Философия оказывается несколько греческого толка, с изрядной к тому же долей сенсуализма. Героя водят по гомосексуальным кабакам, буржуазным и богемным домам, бисексуальным тусовкам и живописным окрестностям Рейна. Много пива. Много доступных мальчиков. Много разговоров о разном. На дворе — лето 1929 года. До начала мирового

экономического кризиса остается еще несколько месяцев. Затем герой уезжает в Англию и навещает Германию уже в 1932 году. Красивые мальчики превращаются в красивых нацистов и женятся на краснощеких крестьянских девках. На некогда развеселых улицах штурмовики дерутся с тельмановцами. поголовно все обсуждают еврейскую проблему. Герой встречает своего друга Брэдшоу (читай — Ишервуда), который как раз сочиняет роман о происходящем (читай — «Прощай, Берлин»). Становится ясно, что лучше людей, чем писатели-англичане (к тому же — выпускники Оксфорда), на свете нет. И последнее: первая часть (о 1929 годе) называется «Дети солнца», вторая еще оригинальнее — «Во тьму».

По гамбургскому счету этого романа о Гамбурге нет. Просто «человеческий документ», из тех, которые так «обожал» Набоков. Несколько прелестных описательных пассажей, две-три живые реплики в диалогах — и все. Легко написанное, легко читающееся, вполне типичное сочинение 20-х — начала 30-х, которое дает довольно верное представление о головокружительной вольности нравов семнадцати европейских лет между подписанием Версальского договора и гражданской войной в Испании: отцовская мораль сгнила где-то во фландрских окопах, Бог давно умер, королева Виктория тоже. Как сказал бы Розанов: «Когда начальство ушло».



АЛЬФА-БАНК ПОМОГАЕТ ПИСАТЕЛЯМ

Альфа-банк совместно с Московским Литфондом продолжает благотворительную программу поддержки московских писателей, работающих над новыми произведениями.

15 писателей, представивших наиболее интересные проекты будущих произведений, будут получать от Альфа-банка ежемесячные стипендии в течение года — с 1 ноября 2000 по 31 октября 2001 года. Их размер по сравнению с прошлым годом увеличен более чем в два раза.

Проводимый новый конкурс — анонимный, заявки подаются под девизами. Их регистрацию проводит до 15 июля 2000 года Московский Литфонд. Рассматривать заявки будет Экспертный совет, состоящий из главных редакторов ведущих литературно-художественных журналов.

Благотворительная акция Альфа-банка при содействии Московского Литфонда, которая становится уже традицией, позволяет надеяться на рождение новых талантливых произведений и появление новых имен в литературе.

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

КНИГИ



Багряные пионы. Шедевры поэзии танка «серебряного» века (конец XIX — начало XX). Перевод с японского А. Долина. СПб., «Гиперион», 2000, 384 стр., 5000 экз.

Иосиф Бродский. Меньше единицы. Избранные эссе. М., Издательство «Независимая газета», 1999, 472 стр., 6500 экз.

Рэй Брэдбери. Марсианские хроники. Предисловие Х.-Л. Борхеса. Перевод с английского Л. Жданова. СПб., «Амфора», 1999, 349 стр., 8000 экз.

Нина Берберова. Без заката. Маленькая девочка. Рассказы не о любви. Стихи. М., Издательство им. Сабашниковых, 1999, 395 стр., 5000 экз.

Нина Берберова. Курсив мой. Автобиография. Вступительная статья Е. В. Витковского. М., «Согласие», 1999, 736 стр.

А. Бирс. Страж мертвеца. Рассказы. Перевод с английского Н. Волжиной и других. Составление Ф. Золотаревской, Н. Рахмановой. СПб., «Азбука», 1999, 346 стр., 10 000 экз.

Константин Вагинов. Полное собрание сочинений в прозе. Составление А. И. Вагиновой, Т. Л. Никольской, В. И. Эрля. Подготовка текста В. И. Эрля. Вступительная статья Т. Л. Никольской. СПб., «Академический проект», 1999, 590 стр., 2000 экз.

Кнут Гамсун. Виктория. Роман. Перевод с норвежского Ю. Яхниной. М., «Текст», 1999, 197 стр., 5000 экз.

Кнут Гамсун. Пан. Роман. Перевод с норвежского Е. Суриц. М., «Текст», 1999, 188 стр., 5000 экз.

Герман Гессе. Петер Каменцинд. Под колесами. Повести. Перевод с немецкого Вс. Розанова, Р. Эйвадаса. СПб., «Амфора», 1999, 365 стр., 10 000 экз.

Герман Гессе. Собрание сочинений. Том 6. Паломничество в Страну Востока. Рассказы. Составление М. Ю. Коренева. СПб., «Амфора», 1999, 397 стр., 10 000 экз.

Евгений Евтушенко. Медленная любовь. Стихотворения, поэмы. М., «ЭКМО-Пресс», «Яуза», 1999, 464 стр., 6100 экз.

Борис Житков. Виктор Вавич. Роман. М., Издательство «Независимая газета», 1999, 624 стр., 5000 экз.

Переиздание романа о революции, принадлежащего перу известнейшего в России писателя. Странная писательская судьба: будучи одним из самых издаваемых и читаемых на протяжении многих десятилетий в качестве детского писателя, Борис Житков так и не явился своим современникам в полный рост. Журнал намерен отрецензировать нынешнее издание романа, написанного еще до войны и впервые напечатанного в 1941 году. (Тираж был пущен под нож.)

Записные книжки П. А. Вяземского. Вступительная статья, подготовка текста, примечания С. Н. Искюля. СПб., «Политехника», 1999, 300 стр., 5000 экз.

И. Б. Зингер. Шоша. Роман. Перевод с английского Н. Р. Брумберг. СПб., «Амфора», 1999, 364 стр., 8000 экз.

Исландские саги. В 2-х томах. Том 1. Под общей редакцией О. А. Смирницкой. Вступительная статья М. И. Стеблин-Каменского. СПб., Журнал «Нева», «Летний сад», 1999, 831 стр., 3000 экз.

Нина Катерли. Тот свет. Роман. Красная шляпа. Повесть. СПб., Журнал «Нева», М., «ОЛМА-Пресс», 2000, 383 стр., 5000 экз.

Хулио Кортасар. Выигрыши. Роман. Перевод с испанского Р. Похлебкина. Предисловие В. Багно. СПб., «Амфора», 1999, 477 стр., 10 000 экз.

Хулио Кортасар. Собрание сочинений. В 10-ти томах. Том 3. Вне времени. Рассказы последних лет. Составление, предисловие В. Багно. Примечания В. Андреева. СПб., «Амфора», 1999, 616 стр., 10 000 экз.

Хулио Кортасар. Счастливики. Роман. Перевод с испанского Л. П. Синянской. М., «Аграф», 2000, 400 стр., 3000 экз.

Милан Кундера. Бессмертие. Роман. Перевод с чешского Н. Шульгиной. СПб., «Азбука», 1999, 374 стр., 10 000 экз.

Милан Кундера. Прощальный вальс. Бессмертие. Романы. Перевод с чешского Н. Шульгиной. СПб., «Амфора», 1999, 539 стр., 10 000 экз.

Юлия Латынина. Разбор полетов. Повести. М., «ОЛМА-Пресс», 2000, 415 стр., 15 000 экз.

Т. Линдгрэн. Вирсавия. Роман. Перевод со шведского Н. Федоровой. М., «Текст», 1999, 299 стр., 5000 экз.

Семен Липкин. Семь десятилетий. Стихотворения, поэмы. М., «Возвращение», 2000, 592 стр., 2000 экз. Читайте рецензию на эту книгу в следующем номере «Нового мира».

Лев Лосев. Стихотворения из четырех книг. СПб., «Пушкинский фонд», 1999, 181 стр.

Марио Варгас Льюса. Литума в Андах. Роман. Перевод с испанского Ю. Ванникова. СПб., «Амфора», 1999, 351 стр., 10 000 экз.

Г. Майринк. Ангел Западного окна. Роман. Перевод с немецкого В. Крюкова. Киев, «Ника-Центр», 1999, 412 стр., 3000 экз.

Г. Гарсиа Маркес. Недобрый час. Роман, рассказы. Перевод с испанского. Составление, примечания В. Андреева. СПб., «Симпозиум», 2000, 431 стр., 5000 экз.

Г. Гарсиа Маркес. Палая листва. Повести, рассказы. Составление, примечания В. Андреева, В. Литуса. Предисловие В. Багно. СПб., «Симпозиум», 2000, 527 стр., 5000 экз.

Д. С. Мережковский. Собрание стихотворений. Вступительная статья А. В. Успенской. Составление, подготовка текста Г. Г. Мартынова. Примечания Г. Г. Мартынова, А. В. Успенской. СПб., «Фолио-Пресс», 2000, 734 стр., 3000 экз.

Ю. Мисима. Исповедь маски. Роман. Перевод с японского, комментарии Г. Чхартишвили. СПб., «Азбука», 2000, 233 стр., 10 000 экз.

Роберт Музиль. Душевные смуты воспитанника Терлеса. Роман. Перевод с немецкого, послесловие С. Апта. СПб., «Азбука», 2000, 217 стр., 10 000 экз.

Ксения Некрасова. В деревянной сказке. Стихотворения. Послесловие, составление и подготовка текста И. И. Ростовцевой. М., «Художественная литература», 1999, 318 стр., 5000 экз.

О Ба'лу. Угаритские поэтические повествования. Перевод с угаритского, введение, комментарии И. Ш. Шифмана. М., Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999, 536 стр., 1000 экз.

Очень короткие тексты. В сторону антологии. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 400 стр.

Антология малой прозы, собрание рассказов современных писателей, не превышающих по объему машинописной страницы. Один из «элитарных» жанров, в котором текст повествования сгущается до уровня самой материи прозы. Удивительно, но при повседневном плаче по погибающей литературе испытание этим жанром выдерживают более ста работающих сегодня писателей. Антологию собрал Дмитрий Кузьмин. Обозначив в первом разделе антологии «На подступах» ретроспекцию новейшей истории жанра — короткая проза Баумволь, Битова, Вахтина, Голявкина, Кривина, Сергеева, —

составитель сосредоточился на современном состоянии прозы; временной охват антологии: последние два десятилетия.

Одновременно то же издательство выпустило почти аналогичное издание:

Жужукины дети, или Притча о недостойном соседе. Антология короткого рассказа. Россия, 2-я половина XX века. Составитель А. Кудрявицкий. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 640 стр.

Антология Кудрявицкого, в отличие от кузьминской, более объемная и ретроспективная, «историко-литературная», здесь представлены образцы жанра за полстолетия: Абрамов, Житинский, Куранов, оба Поповых, Петрушевская, Пелевин, Клех, Гаврилов и другие.

В текущем году журнал намерен продолжить разговор об этих изданиях.

М. Павич. Последняя любовь в Константинополе. Пособие по гаданию. Роман. Перевод с сербского Л. Савельевой. СПб., «Азбука», 1999, 203 стр., 15 000 экз.

И. И. Пущин. Сочинения и письма. В 2-х томах. Том 1. Записки о Пушкине. Письма 1816 — 1849 гг. М., «Наука», 1999, 551 стр., 2000 экз.

Эрих Мария Ремарк. Стихотворения. Перевод с немецкого Р. Чайковского. Магадан, «Кордис», 1999, 75 стр., 200 экз.

Неизвестная доселе русскому читателю сторона творчества Ремарка — его поэзия.

Дина Рубина. Последний кабан из лесов Понтеведро. Роман, повесть. СПб., «Симпозиум», 2000, 317 стр., 5000 экз.

См. рецензию на новую прозу писательницы в следующем номере журнала.

Светлана Сидуляр. На зеленом венике. М., «Рандеву-АМ», 2000, 288 стр., 1000 экз.

Дневниковая проза русской эмигрантки в США, начатая автором в 1993 году. Первоначальным местом публикации был Интернет. Журнал намерен отрецензировать эту книгу.

Алексей Слаповский. Книга для тех, кто не любит читать. М., «Грантъ», 1999, 528 стр.

Собрание рассказов, в которых «безысходный оптимизм сочетается... с испепеляюще светлым взглядом на жизнь» (цикл «Книга для тех, кто не любит читать»), краткая энциклопедия «Российские оригиналы» и хроника «Война балбесов» в сопровождении литературно-критического трактата не известного ни автору, ни издателю кинемеханика Н. Задеева «Не война, а мир».

Мишель Турнье. Пятница, или Тихоокеанский лимб. Роман. Послесловие Ж. Делёза. Перевод с французского И. Я. Волевич. СПб., «Амфора», 1999, 303 стр., 8000 экз.

Вернер фон Хейденстам. Воины Карла XII. Пер Лагерквист. Улыбка вечности. М., «Панорама», 1999, 446 стр., 5000 экз.

Произведения лауреатов Нобелевской премии за 1916 и 1951 годы, шведских поэтов и прозаиков Вернера фон Хейденстама (1859 — 1940) и Пера Лагерквиста (1891 — 1974).

Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. Предисловие, пояснения К. Чуковского. Составление, подготовка текста, примечания Е. Чуковской. М., «Премьера», 1999, 400 стр., 5000 экз.

Евгений Шварц. Позвонки минувших дней. Произведения 40 — 50-х гг. Дневники и письма. Составители М. О. Крыжановская, И. Л. Шершнева. Примечания К. М. Кириленко, И. Л. Шершневой, Е. М. Биневиц. М., «Корона-принт», 1999, 607 стр., 5000 экз.

Японская любовная лирика. Составление А. Садокова. М., «ЭКСМО-Пресс», 1999, 334 стр., 7000 экз.



Гастон Башляр. Грезы о воздухе. Опыт о воображении движения. Перевод с французского Б. М. Скуратова. М., Издательство гуманитарной литературы, 1999, 344 стр., 10 000 экз.

Третий том философских сочинений Гастона Башляра (1884 — 1962). На русском языке уже выходили «Психоанализ огня» (М., «Прогресс», 1993) и «Вода и грезы» (М., Издательство гуманитарной литературы, 1998).

Библиографический указатель литературы о Л. Н. Толстом. 1979 — 1984. Государственный музей Л. Н. Толстого. Составление Н. Г. Шеляпина и др. М., ИМЛИ РАН, «Наследие», 1999, 408 стр., 1000 экз.

Г. О. Винокур. Собрание трудов. М., «Лабиринт», «Брандес», 1999, 2000.

Книга 1. Введение в изучение филологических наук. Составление, сопроводительная статья С. И. Гиндина. 192 стр., 2000 экз.

Книга 2. Статьи о Пушкине. 256 стр., 3000 экз.

Книга 3. Комментарии к «Борису Годунову» А. С. Пушкина. 415 стр., 4000 экз.

ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои. Под редакцией И. В. Добровольского. Франкфурт/Майн — Москва, МОПЧ, 1999, 456 стр., 10 000 экз.

Второе, расширенное издание. Содержание первого издания (1998) вошло в новое в качестве двух разделов (первого и четвертого). Основной объем книги составили исследования: I. Как и почему стал возможен ГУЛАГ (Г. М. Иванова), II. Раскулачивание (Т. И. Славко), III. Гонения на православную церковь (В. Русак, протопресвитер М. Польский, протоиерей Владислав Цыпин).

А. Гуревич. Избранные труды. Том 1. Древние германцы. Викинги. М., ЦГНИИ ИНИОН РАН; СПб., «Университетская книга», 1999, 350 стр., 5000 экз.

А. Гуревич. Избранные труды. Том 2. Средневековый мир. М., СПб., «Университетская книга», 1999, 559 стр., 5000 экз.

Журнал предполагает отрецензировать издание трудов известного медиевиста.

Ж. Деррида. Голос и феномен и другие работы по теории знака Гуссерля. СПб., «Алетейя», 1999, 208 стр.

Борис Зайцев. Чехов. Литературная биография. М., «Дружба народов», 2000, 208 стр., 7000 экз.

Жизнеописание Чехова, принадлежащее одному из известнейших русских писателей первой половины века, большую часть жизни прожившему в эмиграции, Борису Зайцеву. Впервые было издано в 1951 году в США.

Д. Кеннан. Сибирь и ссылка. Путевые заметки. 1885—1886. Подготовка текста, вступительная статья, примечания Е. И. Меламеда. СПб., Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 1999, 2000 экз. Том 1 — 391 стр. Том 2 — 399 стр.

Евгений Леонов. Дневники, письма, воспоминания. Под редакцией Б. М. Пожоровского. Составитель В. Я. Дубровский. М., «Центрполиграф», 2000, 472 стр., 12 000 экз.

Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. В 4-х томах. Том IV. 1833 — 1837. Составитель Н. А. Тархова. М., «Слово/SLOVO», 1999, 752 стр., 5000 экз.

Завершающий том четырехтомного исследования (см. «Книжную полку» — 1999, № 9).

Надежда Мандельштам. Вторая книга. Предисловие, примечания А. Морозова. Подготовка текста С. Василенко. М., «Согласие», 1999, 750 стр.

Немецкая классическая философия. Составление, вступительная статья, комментарии В. Шкоды. М., «ЭКСМО-Пресс», Харьков, «Фолио», 2000.

Том 1. Право и Свобода. Кант, Гегель, Ф. Шеллинг. 782 стр.

Том 2. Разум и воля. И. Фихте, А. Шопенгауэр. 831 стр.

А. Овчинников. Символика христианского искусства. М., «Родник», 1999, 520 стр., 2000 экз.

Работа известного искусствоведа, специалиста по древнерусской и восточнохристианской культуре.

Б. Рассел. Искусство мыслить. Общая редакция, составление, предисловие О. А. Назаровой. 2-е издание, исправленное. М., «Идея-Пресс», «Дом интеллектуальной книги», 1999, 239 стр., 1500 экз.

В. В. Розанов. Литературные изгнанники. Воспоминания. Письма. М., «Аграф», 2000, 368 стр., 2000 экз.

Книга, в которой Розанов помянул двух «литературных изгнанников»: Николая Страхова и Юрия Говорухо-Отрока, — письма, воспоминания и статьи о писателях, мемуарные заметки, некрологи.

Даниил Хармс. Цирк Шардам. Собрание художественных произведений. Составление, подготовка текста, предисловие, примечания, общая редакция В. Н. Сажина. СПб., «Кристалл», 1999, 1120 стр., 10 000 экз.

Марк Туллий Цицерон. О государстве. О законах. О старости. О дружбе. Об обязанностях. Речи. Письма. Составление Е. В. Ляпустина. Предисловие Е. И. Темнова. М., «Мысль», 1999, 782 стр., 3000 экз.

Б. Н. Чичерин. Наука и религия. Вступительная статья В. Жукова. М., «Республика», 1999, 495 стр., 4000 экз.

Главная философская работа Бориса Николаевича Чичерина (1828 — 1904), не переиздававшаяся в России около ста лет.

В. Шилейко. Пометки на полях. Стихи. Подготовка текста, примечания А. Г. Мец. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 1999, 159 стр., 3000 экз.

М. Эрикссон. Стратегия психотерапии. Избранные работы. СПб., «Летний сад», 2000, 508 стр., 3000 экз.

Составитель **Сергей Костырко.**

«НОВЫЙ МИР» РЕКОМЕНДУЕТ:

Борис Житков. Виктор Бавич.
Очень короткие тексты. В сторону антологии.
Жужукины дети, или Притча о недостойном соседе.

ПЕРИОДИКА



«Антология мировой поэзии», «Вопросы литературы», «Время и мы», «День и ночь», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Завтра», «Звезда», «Зеркало», «Знамя», «Иностранная литература», «Искусство кино», «Книжное обозрение», «Коммерсантъ», «Кулиса НГ», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Москва», «Московские новости», «НГ-Наука», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Новое литературное обозрение», «Новый Журнал», «Огонек», «Октябрь», «Русская мысль», «Урал», «Фигуры и лица»

Николай Александров. Робкий Кибиров, или «Нотации». — «Дружба народов», 2000, № 2. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/druzhiba>

«В том-то и парадокс, что невозможен простой и наивный взгляд на вроде бы просто и наивно написанную книжку Кибирова („Нотации” — СПб., „Пушкинский фонд”, 1999. — А. В.)... Кибиров псевдодоступен. Это не опрощение, не руссоизм, не стилизация сказок и рассказов для детей графа Л. Н. Толстого, от которого Кибиров столь же далек, как Филиппок от Снусмумрика».

А. А. Ансельм. Теоретическая физика XX века — новая философия Природы. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 1. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/zvezda>

О необходимости описания Природы на новом языке, тесно связанном с математическим, и отказе от привлечения образов, которые мы черпаем из повседневной жизни. Физик Алексей Андреевич Ансельм (1934 — 1998) умер вскоре после написания этой статьи.

Джон Бакстер. Стенли Кубрик. Биография. Перевод с английского В. Кулагин-Ярцевой. — «Искусство кино», 1999, № 10, 11, 12; 2000, № 1. Электронная версия: <http://www.kinoart.ru>

О фильме С. Кубрика «2001 год: космическая одиссея» см. также статью Л. Карасева «Сквозь „Одиссею”» («Искусство кино», 1999, № 11). «Из „Одиссеи” взяли всё, что можно, кроме, может быть, самого основного. В фантастике 80 — 90-х годов на первое место вышли космические монстры, твари, киборги и прочие „чужие”. В „Одиссее” же главным был человек».

Павел Басинский. Коммунизм — это молодость мира. — «Литературная газета», 2000, № 8, 23 — 29 февраля.

О повести «Последний коммунист» («Новый мир», 2000, № 1, 2) известного кино-сценариста Валерия Золотухи, который, по мнению критика, «сумел в простом замысле соединить несколько классических сюжетов. Здесь „Отцы и дети” перекликаются с „Делом Артамоновых”... Мотивы русской классики здесь переплетаются с мифом о Павлике Морозове, „Как закалялась сталь” — с фрейдистскими мотивами. Все это вместе оставляет впечатление довольно виртуозной литературной игры». Но, как водится, есть и *но...* См. также революционную хронику В. Золотухи «Великий поход за освобождение Индии» («Новый мир», 1995, № 1).

Татьяна Бек. Отважная весть. — «Литературная газета», 2000, № 5, 2 — 8 февраля.

О поэтической книге Ларисы Миллер «Между облаком и ямой» (М., 1999), чей «строгий, чистый, совершенно *отдельный* голос талантливо противостоит массовке тупика, являясь вестью оглушающе внятной, насыщенной и отважной». Рецензируемая книга была выдвинута редакцией «Нового мира» на соискание Государственной премии России.

См. также очерк Татьяны Бек «„В этой книге я всего лишь добросовестный и прилежный писец”. („Волоколамское шоссе” как путь Александра Бека)» («Литературная газета», 2000, № 8, 23 — 29 февраля).

Сэмюэл Беккет. Составление, вступление, перевод с французского Бориса Дубина. — «Иностранная литература», 2000, № 1. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/inostran>

«Образ Беккета — вместе с его неповторимым лицом — настолько четко врезан в сознание русскоязычных читателей трех последних поколений, что может показаться, будто мы его вправду хорошо знаем. Увы, это иллюзия. И огорчительная» (от составителя). Сэмюэл Беккет, «Мир и пара брюк»; Морис Бланшо, «Где на этот раз? Кто на этот раз?»; Людовик Жанвьё, «Ключевые слова» и Эмиль Мишель Чоран, «Беккет» — в традиционной рубрике «Портрет в зеркалах».

Аркадий Белинков. Из архива. Задолго до столетнего юбилея. Публикация и предисловие Н. Белинковой-Яблоковой. — «Знамя», 2000, № 2. Сетевой журнал «Знамя»: <http://www.infoart.ru/magazine/znamia>

Страницы 60-х годов, не вошедшие в знаменитую книгу об Олеше.

Готфрид Бенн. Двойная жизнь. Главы из книги. Перевод с немецкого и вступление Игоря Большечева. — «Иностранная литература», 2000, № 2.

Фрагменты автобиографической книги 1950 года. Германия 30-х годов. Размышления о литературе.

Андрей Битов. «Текст — это расширительное, а не суженное к буквам понятие» Беседовал Владимир Сотников. — «Книжное обозрение», 2000, № 7, 14 февраля.

«Я не хочу больше писать. У меня есть то, что я должен дописать. Должен завершить „Преподавателя симметрии”, должен завершить своего Пушкина — такую биографию под названием „жил на свете Пушкин бедный”. И, может быть, еще какую-то эссеистику. Над этим я могу работать, так сказать, старея и слабее...»

Юрий Буйда. Три рассказа. — «Октябрь», 2000, № 2. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/october>

«...й этаж», «У портала», «На живодерне» — новые рассказы известного прозаика. См. также его повествование в рассказах «У кошки девять смертей» («Новый мир», 2000, № 5).

Булгарин и вокруг. Составитель А. И. Рейтблат. — «Новое литературное обозрение», № 40 (1999). Электронная версия: <http://www.nlo.magazine.ru> или <http://www.infoart.ru/magazine/nlo>

1999 год был второйю юбилейным: исполнилось 210 лет со дня рождения Ф. В. Булгарина, 140 лет со дня его смерти и 170 лет со дня выхода его знаменитого романа «Иван Выжигин». Составитель болгаринского номера «НЛО» А. Рейтблат считает, что в год, когда всю прессу заполнил юбилейный пушкинский сироп, подборка лишенных хрестоматийного глянца работ о важных сторонах истории русской литературы будет небесполезной. В подборку вошли бесполезные работы: Татьяна Головина, «Голос из публики. (Читатель-современник о Пушкине и Булгарине)», Рональд Лебланк, «„Русский Жилбаз“ Фаддея Булгарина»; А. И. Рейтблат, «Булгарин и Наполеон»; Н. И. Греч, «Письма к Ф. В. Булгарину»; Олег Проскурин, «Конец благих намерений („Благонамеренный“, „Московский телеграф“ и Александр Пушкин)» и др.

См. в «Новом мире» (1999, № 7) статьи Аллы Марченко «Фаддей (Тадеуш): супер-агент» и В. Э. Вацура «„Видок Фиглярин“». Заметки на полях „Писем и записок”»

Василь Быков. На черных полях. Рассказ. Перевод с белорусского Вл. Жиженко. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 1.

«В основу рассказа положен финальный фрагмент антибольшевистского Слуцкого восстания 1920 года в Белоруссии» (автор). См. также его притчи «Свобода» и «Маленький красный цветочек» в переводе с белорусского Ванкарема Никифоровича («Литературная газета», 2000, № 8, 23 — 29 февраля). В настоящее время Василь Быков живет и работает в Германии.

Д. Быков. Напрасной жизни не бывает. — «Искусство кино», 1999, № 11.

«Я сейчас выведу теорему, на которую навела меня эта удивительная по числу упущенных возможностей картина (фильм В. Манского и И. Яркевича „Частные хроники. Монолог”. — А. В.) *Жизнь страны может оказаться напрасной. Жизнь частного человека — никогда*». См. о фильме также статью Зары Абдуллаевой «Водобоязнь» («Искусство кино», 1999, № 12).

Петр Вайль. <Ответ на анкету «ИЛ»: «Мировая литература: круг мнений»>. — «Иностранная литература», 2000, № 2.

В частности, о том, что Шекспир, читаемый в оригинале, — неизмеримо более великий писатель, чем предлагает русский перевод, он — «эротичнее, резче, смешнее, „сегодняшнее”, чем нам казалось».

Марио Варгас Льюса. Рыба в воде. Главы из книги. Перевод с испанского Н. Малыхиной. — «Иностранная литература», 2000, № 1.

Автобиографический комментарий к романам знаменитого перуанского прозаика. В частности, о том, как девятнадцатилетний автор женился на своей тридцатидвухлетней тетке — см. роман Варгаса Льюсы «Тетушка Хулия и писака» (1977; русский перевод — «Иностранная литература», 1979, № 11).

Владимир Войнович. Монументальная пропаганда. Роман. — «Знамя», 2000, № 2, 3.

Сначала она любила Сталина, а потом — памятник Сталину.

Булат Галеев. «Я памятник воздвиг...». — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения. Красноярск, 1999, № 4, август — сентябрь. Электронная версия журнала: <http://www.infoart.ru/magazine>

Восторженный очерк о пионере *светового искусства* — репрессированном ленинградском художнике Григории Иосифовиче Гидони (1895 — 1937, возможно — 1942), который мечтал построить на Марсовом поле Световой Памятник Революции. Смотрю на реконструированное изображение этого революционного памятника и думаю: *какое счастье, что проект не осуществился...*

Татьяна Геворкян. Поэт с историей или поэт без истории? — «Вопросы литературы», 2000, № 1, январь — февраль. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/voplit>

Параллельное чтение мемуарной и эпистолярной прозы Марины Цветаевой, с одной стороны, и ее записей, перенесенных из разрозненных тетрадей разных лет в так называемые «Сводные тетради» (М., 1997). Кстати, 2000 год был выбран дочерью Цветаевой Ариадной Эфрон как время открытия материнского архива. Татьяна Геворкян считает, что любители сенсаций будут разочарованы, зато несуетный исследовательский интерес будет вознагражден материалами, дополняющими и оттеняющими уже известное.

Главное, каким образом ты пытаешься понравиться Всевышнему. Векторы Иосифа Бродского. Перевел с английского Глеб Шульпяков. — «Фигуры и лица». Приложение к «Независимой газете», 2000, № 3, 10 февраля. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

Фрагмент обширного интервью Иосифа Бродского, которое он дал в 1991 году профессору Дэвиду Бетеа. «У меня есть твердое убеждение, даже не убеждение, а... В общем, мне кажется, что моя работа по большому счету есть работа во славу Бога. Я не уверен, что Он обращает на нее внимание... что я Ему любопытен... но моя работа по крайней мере направлена не против Него. Не важно, что я там провозглашаю и насколько это Ему по душе. Главное, каким образом ты пытаешься понравиться Всевышнему и как ты считаешь свои возможности. Я думаю, именно это нам зачтется, и пусть меня изжарят на сковороде, но я уверен, что наша работа в наших областях куда больше значит, чем стандартная набожность. Однажды у меня состоялся любопытный разговор с Тони Хектом, это было в Миддлбери. Хотя нет, не в Миддлбери, а в Гриббле. Не важно. Так вот, мы ночевали в одном номере, и он сказал: „Не кажется ли вам, Иосиф, что наш труд — это в конечном итоге элементарное желание толковать Библию?“ Вот и все. И я с ним согласен. В конечном итоге так оно и есть». Другой фрагмент этого интервью см. в «Ex libris НГ» (2000, № 3, 27 января).

И. Голомшток. Пятое лицо Уинстона Черчилля. — «Время и мы». Демократический журнал литературы и общественных проблем. Москва — Нью-Йорк, № 146 (2000).

Сэр Уинстон был еще и живописец, но без амбиций.

Александр Гольдштейн. Контурная карта. — «Зеркало». Литературно-художественный журнал. Тель-Авив, № 11-12 (декабрь 1999 г.). Электронная версия: <http://members.tripod.com/~barashu/zerkalo>

Эссе на разные печальные темы сдвинутого налево лауреата Букеровской и Антибукеровской премий.

Гюнтер Грасс. Мое столетие. Фрагменты книги. Перевод с немецкого С. Фридланд. Послесловие Е. Кацевой. — «Иностранная литература», 2000, № 1.

Сто мемуарных новелл — по одной на каждый год XX века. Новое произведение нобелевского лауреата по литературе (и книга, и премия — 1999 год). *À propos*: Гюнтер Грасс — не такой хороший писатель, как Астрид Линдгрен, претендовавшая на Нобелевскую премию одновременно с Грассом.

Михаил Гробман. <Рецензия>. — «Зеркало». Литературно-художественный журнал. Тель-Авив, № 11-12 (декабрь 1999 г.).

О том, что выход *текстологически сомнительной* книги недавно умершего Игоря Холина «Избранное» (М., «Новое литературное обозрение», 1999) — важное событие в русской литературе, но будущим исследователям придется отнестись к ней с осторожностью. Об этой книге см. рецензию Алексея Смирнова в «Новом мире» (2000, № 4).

Лев Гумилев. «Или — адаптироваться, или — умереть...». Последнее интервью великого евразийца. — «Литературная Россия», 2000, № 8, 25 февраля.

«На смену калмыкам, как русским, как англичанам, как грекам и древним римлянам, придут новые народы, молодые, и проживут свой виток этногенеза...» — устало объясняет Лев Гумилев своему собеседнику — ученому-востоковеду, академику Джангару Пюрвееву. Мол, не надо бояться, «когда конец, то конец и приходит».

Олег Дарк. Письма темных людей. О тех, из кого состоял литературный андеграунд конца 80-х — начала 90-х. — «Кулиса НГ», 2000, № 2, 4 февраля. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

Персонажи: Руслан Марсович, самая комичная, по мнению автора, фигура в литературе конца 80 — начала 90-х, и Глеб Цвель, который, оказывается, более всего на свете хотел стать гомосексуалистом.

Игорь Ефимов. Сергей Довлатов как зеркало российского абсурда. — «Дружба народов», 2000, № 2.

Александр Генис как писатель глубоко *идейный*, ибо идейная борьба за полную безыдейность творчества и жизни вырастает в главную тему всего труда (речь идет о филологическом романе Александра Гениса «Довлатов и окрестности» — М., «Вагриус», 1999; фрагменты — «Новый мир», 1998, № 7). Остроумное замечание: мол, в книге Гениса «Найман удален из жизни Довлатова так же эффективно, как Троцкий был удален из истории русской революции».

Эта же, в сущности, статья под названием «Сергей Довлатов как зеркало Александра Гениса» напечатана в журнале «Звезда» (2000, № 1). В этом же номере «Звезды» см. статью А. Гениса «Хлеб и зрелище» — о *кулинарной прозе* Вильяма Похлебкина.

Михаил Золотосовос. Клонированное поколение. — «Московские новости», 2000, № 5, 8 — 14 февраля. Электронная версия: <http://www.mn.ru>

О том, почему романы Владимира Сорокина «Голубое сало» и Виктора Пелевина «Generation 'П'» — *самые плохие*, несмотря на то что самые знаменитые.

Тамара Иванова. Прожить долгую жизнь равнозначно многим жизням. Заметки о мемуарах. Предисловие Елены Папковой и Марии Черняк. — «Литературная газета», 2000, № 7, 16 — 22 февраля.

«Надежда Яковлевна <Мандельштам>, встав в позу всевышнего судии, обвиняет всех и каждого за то, что он дышал в тот момент, когда они — Мандельштамы — задыхались, но она забывает, что были и такие моменты, когда они дышали, а какие-то другие люди задыхались». Заметки о мемуарах написаны в 1972 году, отредактированы автором в 1988 году, печатаются к 100-летию со дня рождения Тамары Владимировны Ивановой.

Владимир Кантор. Срубленное древо жизни. Можно ли сегодня размышлять о Чернышевском? — «Октябрь», 2000, № 2.

«Чернышевского называют демо-кратическим мыслителем. Скорее можно его называть демо-критическим. И тут он резко противостоял опять-таки всем».

Александр Караджев. Дневник. 1916 — 1966. Предисловие и публикация Александра И. Брагинского. — «Дружба народов», 2000, № 2.

Рубрика «Частные воспоминания о XX веке». Остросюжетные записки белого эмигранта.

Анатолий Ким. Близнец. Роман. — «Октябрь», 2000, № 2.

«В тот день я попал в Дом писателей, увидел собственные похороны, и меня охватила мгновенная острая жалость, что жизнь прошла и я, оказывается, все прозевал...»

Бывают странные сближенья — см. в февральском же номере «Иностранной литературы» за этот год французский роман Дидье ван Ковелера «Запредельная жизнь» (1997): «В первую минуту я решил, что мне просто снится дурной сон, который кончится ровно в девять, когда, как каждое утро, включится „Радио Савойя” и вернет меня к повседневной реальности. Однако необычность этого сна — изображение не менялось, я постоянно видел со стороны, *извне*, собственное бездыханное тело крупным планом с наплывом — несколько смущала».

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Норма веры как норма жизни. Проблема соотношения между традиционными и либеральными ценностями в выборе личности и общества. — «Независимая газета», 2000, № 28, 16 февраля; № 29, 17 февраля. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

О том, что важнейшей богословской задачей является развитие социального учения Православной Церкви, которое, «будучи укорененным в Предании и отвечая на вопросы, стоящие перед современным обществом, служило бы руководством к действию для священников и мирян, а внешним давало бы отчетливое представление о позиции Церкви по наиболее важным проблемам современности».

Капитолина Кокшенова. Заколоченное окно. «Филологический роман» и художественный вымысел. — «Москва», 2000, № 1. Электронная версия: <http://www.moskva.cdru.com>

По мнению критика, *антифилологическое* «Приложение к фотоальбому» Владислава Отрошенко («Октябрь», 1999, № 2) и *филологическая* «Закрытая книга» Андрея Дмитриева («Знамя», 1999, № 4) соотносятся как живое дерево и телеграфный столб. «Телеграфный столб — он тоже, конечно, вещь полезная, но не вызывает никаких эстетических или исторических переживаний». О романе Андрея Дмитриева см. рецензию Евгения Ермолина в «Новом мире» (1999, № 9).

Станислав Красовицкий. Другие стихи. — «Зеркало». Литературно-художественный журнал. Тель-Авив, № 11-12 (декабрь 1999 г.).

От редакции: «Публикуемые стихи относятся к новому периоду творчества С. Красовицкого, когда после долгих лет молчания он снова вернулся к поэзии». О раннем, «лианозовском» периоде творчества С. Красовицкого (род. в 1935) см. в статье Владислава Кулакова «Стихи и время» («Новый мир», 1995, № 8). Станислав Красовицкий — священник Русской Зарубежной Церкви, живет в Подмоскowie.

Константин Кузьминский. Легальная проституция вполне древнейшей профессии (или курсив сугубо мой). — «Зеркало». Литературно-художественный журнал. Тель-Авив, № 11-12 (декабрь 1999 г.).

Читает разнообразные мемуары, рвет и мечет, рвет и мечет (и рубрика соответственная — «Гроздь гнева»).

Илья Кукулин. Когда качаются фонарики. Советское и неподцензурное в поэзии Глеба Горбовского. — «Независимая газета», 2000, № 24, 10 февраля.

Нераздельное и неслиянное в итоговой книге Глеба Горбовского «Окаянная головушка. Избранные стихи 1953 — 1998» (СПб., 1999): «Он известен и как официальный советский поэт, лауреат Государственной премии, и как один из самых ярких авторов неподцензурной и непубликуемой литературы Ленинграда 50 — 60-х годов. И наконец, известны его песни — одна из них стала народной: „Когда качаются фонарики ночью / И темной улицей опасно вам ходить...”»

Леонид Кукушкин. Sub specie aeternitatis. — «Русская мысль», Париж, 2000, № 4303, 3 — 9 февраля; № 4304, 10 — 16 февраля. Электронная версия: <http://www.rusmysl.ru>

О религиозных истоках творчества Бориса Чичибабина.

Александр Кушнер. «Гармонии таинственная власть...». К 200-летию со дня рождения Евгения Баратынского. — «Московские новости», 2000, № 6, 15 — 21 февраля.

«Нам только кажется, что все образованные люди знают Баратынского...»

См. также статью Олега Мраморнова «Истец, ставший ответчиком» («Ex libris НГ», 2000, № 6, 17 февраля), кроме юбилея Баратынского/Боратынского в ней идет речь о недавней философско-эстетической полемике по поводу Александра Кушнера: «Дискутировался „Отрывок” Баратынского: прочитывается ли здесь мятеж твари против своего Творца, может ли поэт призывать Творца к ответственности — так обозначена проблема в надзаголовке открытого письма Николая Славянского к Ирине Роднянской в „Кулисе НГ” от 27.11.99. (На смелом вызове настаивает Кушнер, Роднянская уточняет направление его прочтения, Славянский опровергает обоих)...» Олег Мраморнов дает свое прочтение «Отрывка».

Упоминаемая статья Ирины Роднянской «И Кушнер стал нам скучен...» («Новый мир», 1999, № 10) была в свою очередь направлена против полемической статьи Н. Славянского «Театр теней. Поэзия Александра Кушнера» («Москва», 1999, № 5).

С. Ломинадзе. Слезинка ребенка в канун XXI века. — «Вопросы литературы», 2000, № 1, январь — февраль.

Темпераментная полемика со статьей Карена Степаняна «„Борис Годунов” и „Братья Карамазовы”» («Знамя», 1999, № 2), а также с составителем «Периодики», который откликнулся на эту статью следующим образом: «Убитый в Угличе царевич Димитрий. Умерший в яacobинской тюрьме десятилетний Людовик XVII. Иван и Алеша Карамазовы беседуют в тракторе. Среди прочего исследователь обращает наше внимание на то, что известное и, как правило, некритически воспринимаемое высказывание о „слезинке ребенка” вложено Достоевским в уста персонажа (Ивана), обладающего своим специфическим мировоззрением, не тождественным авторскому» («Новый мир», 1999, № 6).

С. Ломинадзе утверждает, что А. Василевский *фактически* не прав, поскольку имеется *полное смысловое сходство* высказывания о слезинке ребенка, вложенного Достоевским в уста Ивана, с одним высказыванием самого Достоевского из его знаменитой Пушкинской речи 1880 года (правда, тут вместо ребеночка у Достоевского фигурирует старый генерал — муж Татьяны). С. Ломинадзе, торжествуя указывая на этот общеизвестный факт, конечно, прав — но только на уровне литературоведческой арифметики. Дважды два безусловно равняется четырем, но литературоведение, как и математика, к счастью, на этом не кончается. Приходится напомнить, что одно и то же на первый взгляд высказывание не равно само себе, если встречается в принципиально разных контекстах. В художественном произведении о братьях Карамазовых «слезинка ребенка» является частью умозрительной Ивановой конструкции, включающей в себя пресловутое «возвращение билета» и проч. А у Достоевского? Ломинадзе цитирует письмо Достоевского Н. А. Любимову, в котором романист так характеризует Ивана: «Мой герой берет тему, по-моему, неотразимую: бессмыслицу страдания детей — и выводит из нее абсурд всей исторической действительности» (XXX, кн. 1, 63). По этому поводу Ломинадзе замечает: «„Отрицание смысла исторической действительности” Достоевский на той же странице письма решительно отвергает, но в „неотразимости” темы „бессмыслицы страдания детей” убежден, как видим, безоговорочно».

Итак, мировоззрение, отрицающее смысл всей исторической действительности, и мировоззрение, такое отрицание отвергающее, это — *разные мировоззрения?* Думаю, сам Ломинадзе не сможет это отрицать. Так — *вложено высказывание о слезинке ребенка в уста персонажа, обладающего своим специфическим мировоззрением, не тождественным авторскому?* Да. Таким образом, прав все-таки составитель «Периодики».

Аркадий Львов. Разговоры с Симоновым. — «Время и мы». Демократический журнал литературы и общественных проблем. Москва — Нью-Йорк, № 146 (2000).

«Симонов, уловив, должно быть, мое недоумение, объяснил, что у Фадеева, как автора романа „Разгром“, где главным героем „человек с нездешними зелеными глазами“ по имени Левинсон, были в свое время очень близкие отношения с еврейской секцией Союза писателей. Ему не только доверяли в этой секции, но и любили его и избрали даже в руководство. И вот, как руководитель Союза писателей и как человек — так, по крайней мере, думали наверху — наиболее осведомленный по части настроения еврейских писателей, Фадеев в сорок восьмом году составил списки на аресты, которые были произведены тогда же, в сорок восьмом, и, частью, в сорок девятом году...»

Андрей Матвеев. Замок одиночества. Окончательная реконструкция текста. — «Урал», Екатеринбург, 1999, № 10. Электронная версия: <http://www.art.uralinfo.ru/literat/ural> или <http://www.infoart.ru/magazine/ural>

«Да и вообще, моя сегодняшняя точка зрения очень скептически по отношению к романам, ибо главное в любом романе — это история, то бишь сюжет, то бишь фабула, а истории и сюжеты моей жизни после девяносто первого года настолько фантастичны, что намного опережают по богатству интриги любой ненаписанный роман. Да и написанный тоже...»

Александр Михайлов. О «Чистой книге» Федора Абрамова. Деревенская проза ушла в историю литературы. Что мы потеряли от этого? — «Ex libris НГ», 2000, № 7, 24 февраля. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

«Не будем лукавить, выдавать опубликованную в журнале „Нева“ (1998, № 12) „Чистую книгу“ Федора Абрамова за „неоконченный роман“...» Однако и эти *наброски к роману* дают критику обильную пищу для размышления.

Василий Молодяков. Кто убил Александра Блока. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 217 (1999).

Поэта погубили петроградский диктатор Григорий Зиновьев, его свояк владыка Госиздата Илья Ионов, заведующая Театральным отделом Наркомпроса Ольга Каменева (жена Л. Б. Каменева и сестра Л. Д. Троцкого) и вообще большевики.

Славомир Мрожек. Прекрасный вид. Представление в двух действиях. Перевод с польского Л. Бухова. — «Иностранная литература», 2000, № 1.

Он и Она (террористы/антитеррористы) в южном городе. См. также пьесу С. Мрожека «Любовь в Крыму» («Иностранная литература», 1994, № 10).

Арсений Несмелов. Формула бессмертия. Публикация Ли Мэн (Чикаго) и Евгения Витковского (Москва). Предисловие Евгения Витковского. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 217 (1999).

Стихотворения, обнаруженные на страницах русской периодики Харбина и Шанхая (1933 — 1936 годы).

Николай Никонов. Стальные солдаты. (Страницы из жизни Сталина). Роман. — «Урал», Екатеринбург, 2000, № 3, 4, продолжение следует.

«Роман „Стальные солдаты“ входит в задуманную мной серию „Ледниковый период“ и является по замыслу первым, хотя уже опубликованы из этой же серии романы „Чаша Афродиты“ и „Весталка“. Моей целью было отнюдь не создание еще одной хронологической книги о Сталине и его злодеяниях — ни с позиции Прокурора, ни с позиции Адвоката, ни даже с позиции Судьи...» (автор).

Михаил Новиков. Награжден классик-мракобес. — «Коммерсантъ», 2000, № 33, 26 февраля. Электронная версия: <http://www.kommersant.ru>

Прозаику Юрию Мамлееву присуждена Пушкинская премия, учрежденная Гамбургским фондом Альфреда Тёпфера (DM 40 000). «Россия Мамлеева не столько грустна, сколько грязна и омерзительна — да, в общем, это никакая не Россия, а похмельный сон сорвавшегося в запой славянского йога», — резюмирует Михаил Новиков.

Евгений Носов. Памятная медаль. Рассказ. — «Москва», 2000, № 1. Война. Мир. Танкисты.

Олег Павлов. Русские письма. Очерки народного состояния. — «Москва», 2000, № 2, 3.

В основу работы положены письма, адресованные Александру Солженицыну и публикуемые с его согласия.

Александр Пеньковский. Загадки пушкинского текста и словаря. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 217 (1999).

Слово *квакер* в словесном ряду примериваемых к Онегину масок.

Переписка М. Горького и И. В. Сталина (1934 — 1936). Публикация и комментарии Т. Дубинской-Джалиловой, А. Чернева. Вступительная статья Т. Дубинской-Джалиловой. — «Новое литературное обозрение», № 40 (1999).

Свой среди своих. Начало переписки см. в «Новом мире» (1997, № 9; 1998, № 9).

Перспективы научной рациональности в XXI веке. — «НГ-Наука», 2000, № 2, 16 февраля.

Интереснейшая дискуссия научных работников: *будет ли в следующем столетии положен конец диктату естествознания?*

Письма Георгия Адамовича А. В. Бахраху (1952 — 1953). Публикация Вадима Крейда и Веры Крейд. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 217 (1999).

«Я читал все время два томика Бунина, недавно вышедшие, со всеми его шедеврами. Хорошо, — но плохо поддается перечитыванию: т. е. все сразу было понятно и оценено, нет подводных течений, нет той *pénombre*, за отсутствие которой Жид не любил Ан. Франса... Но это — строжайше между нами, даже для друзей и знакомых, которые таких еретических суждений знать не должны» (из письма от 10 мая 1953 года). См. также сорок два письма Георгия Адамовича 1955 — 1965 годов к Роману Гулю («Новый Журнал», № 214) — хроника его отношений с «Новым Журналом».

Письма Ильи Эренбурга Елизавете Полонской. 1922 — 1966. Вступительная статья, публикация и комментарий Бориса Фрезинского. — «Вопросы литературы», 2000, № 1, 2.

Публикуются все сохранившиеся письма и телеграммы Ильи Эренбурга Елизавете Григорьевне Полонской (1890 — 1969) за исключением четырех писем, уже «апечатанных» в «Вопросах литературы» (1987, № 12).

Письмо Л. Л. Пастернак-Слейтер. Вступление и примечание Э. Зальцберга (Торонто). — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 217 (1999).

Письмо Лидии Леонидовны Пастернак-Слейтер (сестры поэта) к русско-израильскому писателю Борису Гассу, автору книги о Л. О. Пастернаке, датированное ориентировочно 1985 годом.

Елизавета Плавинская. О художественной критике от первого лица. — «Неприкосновенный запас», 2000, № 1 (9). Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/nz>

«Я глубоко убеждена, что в сегодняшней Москве приоритет должен быть отдан не критике, а пропаганде изобразительного искусства, то есть развитию как можно более разветвленной и полной системы информации».

Дмитрий Александрович Пригов. Что делается? Что у нас делается? Что делать-то будем? — «Неприкосновенный запас», 2000, № 1 (9).

О том, что если наирадикальнейший кинорежиссер выскочит перед экраном, то публика его, конечно, выслушает, но потом все равно попросит показать фильм (появление режиссера будет актом социокультурным, но не культурно-эстетическим), а вот в изобразительном искусстве...

Мария Распутина. Мой отец. Мемуары дочери самого загадочного русского человека XX века. Послесловие Игоря Захарова. — «Огонек», 2000, № 3, 4. Электронная версия: <http://www.ropnet.ru/ogonyok>

«Я дочь Григория Ефимовича Распутина... Я очень люблю своего отца. Так же сильно, как другие его ненавидят». Матрена (Мария) Распутина умерла в Лос-Анджелесе в 1977 году.

А. И. Рейтблат. Русские писатели и III Отделение (1826 — 1855). — «Новое литературное обозрение», № 40 (1999).

«Приведенные в статье данные показывают, по нашему мнению, что связь ряда журналистов и литераторов с III Отделением — не досадное исключение, обусловленное низкими моральными качествами этих людей, а закономерное явление, демонстрирующее специфические черты российской литературной системы того времени...»

В подборку «Писатель и власть: аспекты сотрудничества» вошли также: А. А. Орлов, «Письмо министру народного просвещения С. С. Уварову»; Барбара Уокер, «Кружковая культура и становление советской интеллигенции: на примере Максимилиана Волошина и Максима Горького»; Роберт Бёрд, «Вяч. Иванов и советская власть (1919 — 1924)»; Моника Спивак, «„Социалистический реализм“ Андрея Белого: история ненаписанной статьи»; Наталья Иванова, «Libido dominandi. Писатели и власть в (пост)перестроечное время» и другие интересные материалы.

Алексей Ремизов. Неклужимый. Рассказ. Публикация Игоря Попова. — «Русская мысль», Париж, 2000, № 4303, 3 — 9 февраля; № 4304, 10 — 16 февраля.

Недатированный автограф рассказа сохранился в Отделе рукописей РГБ. По мнению публикатора, «Неклужимый» — своего рода эпилог, ироническое послесловие к повести «Пятая язва» (1912). Та же Кострома, герой тот же — следовательно, терзаемый навязчивой идеей и ведущий тайные записки.

Мария Ремизова. Генерация «П». — «Независимая газета», 2000, № 34, 24 февраля.

Философско-фантастический роман Юрия Козлова «Проситель» («Москва», 1999, № 11, 12; 2000, № 1), намечает, по мнению критика, тенденцию довольно занимательную, а именно — «обнаруживает известное структурное сходство с так называемой игровой литературой, и прежде всего с той, которая выходит из-под пера самого коммерчески выгодного из всех возможных в пределах художественной прозы авторов — то есть Виктора Пелевина. Но сходство это... остается внешним, сугубо формальным, наглядно демонстрирующим не только то, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды, но и то, что в одну и ту же реку вообще не стоит входить, особенно не зная броду».

Ален Роб-Грийе. Анжелика, или Чары. Фрагмент книги. Перевод с французского Ю. Розенберг. Вступление И. Кузнецовой. — «Иностранная литература», 2000, № 1.

Фрагменты автобиографической книги (1987).

Ирина Роднянская. О путях-дорогах. — «Знамя», 2000, № 2.

Убедительная полемика с Александром Агеевым («Город на „третьем пути“» — «Знамя», 1999, № 9) по поводу статьи Татьяны Чередниченко «Радость (?) выбора (?)» («Новый мир», 1999, № 1). «Апелляция к институту благотворительности — это чисто правая, либерально-консервативная интенция. Чередниченко надо бы благодарить за то, что она об этом напомнила, а не искать в ее мыслях злокачественные симптомы „полевения“...»

Дина Рубина. Высокая вода венецианцев. Маленькая повесть. — «Знамя», 2000, № 2.

«Хорошенькую они тут себе взяли моду — сообщать пациенту диагноз...»

Ольга Рыкова. Причастный ко всему — то есть ни к чему. — «Ex libris НГ», 2000, № 4, 3 февраля.

«Книга физика и пушкиниста Владимира Фридкина („Дорога на Черную речку”, М., 1999. — А. В.) представляет собой набор своеобразных беллетризованных историй о заграничных потомках Пушкина или опять-таки заграничных „просто интересных людях”... Сами по себе истории, рассказанные Фридкиным, могли бы стать неплохой беллетристической, когда б не Пушкин». (Это первая и последняя фразы и без того короткой рецензии, которую, как мы видим, можно сделать еще короче.)

Б. Сарнов. Ходит птичка веселó... — «Вопросы литературы», 2000, № 1, январь — февраль.

Увлекательные страницы из мемуарной книги «Скуки не было». Литературный институт конца 40-х годов.

Константин Сигов. Архипелаг Аверинцева. — «Русская мысль», Париж, 2000, № 4304, 10 — 16 февраля.

Статьи С. С. Аверинцева из «Философской энциклопедии», «Краткой литературной энциклопедии», «Мифов народов мира», «Христианства» и других словарно-энциклопедических изданий впервые собраны вместе в его книге «София-Логос» (Киев, «Дух и литера», 2000). Новой страницей в мировой традиции мысли о «начале Премудрости» считает рецензент также вошедшие в книгу исследования С. С. Аверинцева о Софии в контексте войн и катастроф XX столетия, одного из наиболее «антисофийных» в истории Европы.

Вацлав Скальский. «Дом Герцена». Сергей Есенин и другие. Предисловие Виталия Коротича. — «Независимая газета», 2000, № 58, 31 марта.

«Устинов рассказывал мне, что ни он, ни его жена не обратили особого внимания на состояние Есенина, чтобы его разбудили именно в такой-то час. Они думали, что это с его стороны типичное пьяное упрямство без всякого значения... Устинов даже рассердился, сказал Есенину: „Отстань и не дури мне голову”, — или что-то в таком роде и в конце концов обещал постучать в его комнату ровно через два часа, только чтобы от него отвязаться. Он пошел разбудить Есенина не в условленный час, а несколько позже. Есенин был уже мертв. Устинов был совершенно уверен в том, что Есенин не хотел умереть, а хотел только симулировать самоубийство, рассчитав точно время и надеясь, что Устинов спасет его в последний момент. Я лично думаю, что так оно и было».

Ольга Славникова. Пустой квадрат. — «Неприкосновенный запас», 2000, № 1 (9). Политические выборы как жанр литературы. Взгляд из Екатеринбурга.

Алексей Смирнов. Пушистое хвостовианство. — «Антология мировой поэзии». Специальный ежемесячник поэзии, переводов, критики, воспоминаний, фото-портретов. Издается с 1998 года. Составитель и ответственный редактор А. Н. Кривомазов. 2000, № 4, апрель.

Хвостов — Батюшков — Пушкин. В чем именно проявляет себя отсутствие поэтического дара или его наиболее полное воплощение? Исследование этой актуальной проблемы Алексей Смирнов заканчивает авторским подражанием графу Хвостову, а именно: «Как бы он описал свое выздоровление, позаимствовав тему у Батюшкова, следуя темпераменту Пушкина, взяв по стиху у них обоих, а остальное привнеся от себя самого».

Игорь Сухих. Довлатов и Ерофеев: соседи по алфавиту. — «Литература». Ежемесячное приложение к газете «Первое сентября». 2000, № 6, февраль. Электронная версия: <http://www.1september.ru>

Сергей Довлатов — коммунальный классицизм. Венедикт Ерофеев — барачное барокко.

Сергей Сучков. «Любовь бесспорна и бесспорна смерть...». К 100-летию со дня рождения Юрия Софиева (1899 — 1975). — «Русская мысль», Париж, 2000, № 4305, 17 — 23 февраля.

«Он малоизвестен. Если его вспоминают, то только в связи с его женой Ириной Кнорринг — тоже поэтом. И рассказ о Юрии Борисовиче Бек-Софиеве (так звучит полное имя нашего персонажа) нельзя вести, игнорируя поэзию и жизнь его жены...»

Александр Тарасов. Бритоголовые. Новая профашистская молодежная субкультура в России. — «Дружба народов», 2000, № 2.

См. также статью Александра Тарасова о скинхедах в России в журнале «Неприкосновенный запас» (1999, № 5).

Иван Толстой. Новые приключения стрекозы и муравья. Поэт-аристократ сам выбирает предметы своих песен. — «Ex libris НГ», 2000, № 7, 24 февраля.

«Померанцев влюбляется во все, что с крылышками, (сознательно?) напоминая олейниковского сластолюбца: женщинам в отличие крылышки даны, в это неприличие все мы влюблены...» — о новой поэтической книге Игоря Померанцева «Почему стрекозы?» (СПб., АОО «Журнал „Звезда”», 1999).

Михаил Трофименков. Шоу Стрейта. — «Искусство кино», 1999, № 11.

«До сих пор Америка внушала страх и (Дэвиду. — А. В.) Линчу. Теперь он слился с ней в невыговоренном акте покаяния. И снял свой самый страшный фильм („The Straight Story”, 1999. — А. В.). „Стрейт” пугает, как пугает человек или общество, абсолютно уверенные в своей правоте, в безальтернативности и универсальности своего образа жизни». В новой картине автора «Твин Пикса» нет никакой мистики, «кроме самой опасной на земле мистики крови и почвы».

Угадать будущее. «Круглый стол» русских писателей. — «Завтра», 2000, № 4, 21 января; № 5, 1 февраля. Электронная версия: <http://www.zavtra.ru>

Владимир Бондаренко: «У газеты „Завтра” сейчас трудный период. То, что составляло ядро идеологии газеты, все это перехвачено, освоено той же властью, не говоря уже о некоторых вчера еще ультралиберальных, а ныне впавших в патриотизм СМИ. Сейчас не только Доренко, но и Путин, Шойгу, Чубайс говорят языком нашей газеты...»

Владимир Личутин: «Национальный эгоизм, своеобразие и энергия победят унификацию и однообразие Нового порядка... И кстати, спасибо этой самой революции

1991 года, пусть она антинародная и гнусная, зато стали впервые за много лет говорить с гордостью: я — русский человек. Мы стали впервые гордиться рускостью, не унижая этим никого другого».

Людмила Улицкая. «Принимаю всё, что дается». Беседу вела Анастасия Гостева. — «Вопросы литературы», 2000, № 1, январь — февраль.

Обстоятельная и остроумная беседа двух (очень разных) современных писательниц.

Андрей Урицкий. Попытка полемики. Может ли критик узурпировать право на окончательный диагноз? — «Независимая газета», 2000, № 36, 26 февраля.

Попытка полемики со статьей Андрея Немзера «Замечательное десятилетие. О русской прозе 90-х» («Новый мир», 2000, № 1). Основные упреки: Немзер претендует на руководящую и направляющую роль, Немзер *не всех* замечает. Это вызывает у Андрея Урицкого необычную физиологическую реакцию: *и сущается морок, и подкрадывается немота, ощущения нестерпимые...* Да уж. В заключение Андрей Урицкий, поддавшись общему поветрию, представляет свой список тридцати писателей, без которых, по его мнению, образ 90-х будет искажен: Николай Байтов, Георгий Балл, Аркадий Бартов, Михаил Берг, Наум Вайман, Борис Ванталов, Андрей Волос, Анатолий Гаврилов, Дмитрий Галковский, Сергей Гандлевский, Леонид Гиршович, Олег Дарк, Дмитрий Добродеев, Александр Ильенен, Петр Капкин, Игорь Клех, Василий Кондратьев, Борис Кудряков, Андрей Левкин, Игорь Левшин, Владислав Отрошенко, Константин Плешаков, Егор Радов, Андрей Сергеев, Виктор Соснора, Владимир Тучков, Евгений Федоров, Алексей Цветков (старший), Олег Юрьев, Игорь Яркевич.

Давид Хардин. Жены и мужья. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 217 (1999).

Собранные по крохам судьбы более ста семей, ставших жертвами советских репрессий.

Эрнест Хемингуэй. Кредо человека. Перевод с английского В. Стоянова. — «Иностранная литература», 2000, № 2.

Эссе «*A Man's Credo*» из журнала «*Playboy*» (1963, № 1).

Марек Хласко. Письма из Америки. Перевод с польского И. Подчищаевой. — «Иностранная литература», 2000, № 2.

Из цикла рассказов-фельетонов «Письма из Америки», написанных во второй половине 60-х годов в Калифорнии для парижского эмигрантского журнала «Культура». См. также повесть Марека Хласко (1934 — 1969) «И все отвернулись» («Звезда», 1995, № 10).

Григорий Чистоклетов. Я не был убит подо Ржевом. Быль. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения. Красноярск, 1999, № 4, август — сентябрь. Солдатские мемуары.

Сергей Шаповал. Культура — это насилие. Лауреат Антибукера Павел Басинский считает главной бедой современной литературы то, что от нее отрезан читатель. — «Независимая газета», 2000, № 20, 4 февраля.

Беседа с Павлом Басинским, который, в частности, объясняет, что одна из опасностей литературно-критической деятельности заключается в том, что приходится читать и *художественную гадость*, а это очень вредно. Свидетельствую: доподлинно так.

Сергей Шаповал. Расплата за суету. Виталий Коротич признается в том, что многое в жизни делал по-фарисейски. — «Фигуры и лица», 2000, № 4, 24 февраля.

Беседа с Виталием Коротичем. «Трагизм Евтушенко в том, что ему постоянно и неблагоприятно напоминают, что ни здесь (в России. — *А. В.*), ни там (в США. — *А. В.*) ему делать уже нечего». «Здесь он (Василий Аксенов. — *А. В.*) рассказывает, как Америка его уважает, там — как его любит Россия». «Стихи ушли от меня».

Владимир Шляпентох. Россия и Моника Левински. — «Время и мы». Демократический журнал литературы и общественных проблем. Москва — Нью-Йорк, № 146 (2000).

Российские граждане, оживленно обсуждавшие скандал с Моникой, в большинстве своем просто не поняли, из-за чего сыр-бор разгорелся, ибо допущенная президентом Клинтонем «ложь под присягой» («*Perjury*») есть понятие, фактически отсутствующее в российском лексиконе.

Иван Шмелев: «Я сам был свидетелем». Архив писателя возвращается на родину. Публикация Елены Осьминичевой. — «Литературная газета», 2000, № 6, 9 — 15 февраля.

Переписка 1936 года с адмиралом М. А. Кедровым (1878 — 1945) — полемика об обстоятельствах эвакуации врангелевской армии и гражданских лиц из Крыма.

Виктория Шохина. Битва в пути. Беглый очерк о «Новом мире» от Луначарского до Василевского. — «Кулиса НГ», 2000, № 3, 18 февраля.

«...И вот передо мною еще один юбилейный номер — за январь 2000-го. Как многолетнему читателю журнала, мне не хватает в нем обзорного очерка по 75-летней истории журнала. Очерка, исполненного не бегло, не пунктиром, а в полную силу — обстоятельно. Чтобы играл в нем и политический контекст, и кипели частные страсти, и были показаны человеческие отношения... Здесь кстати будет и рассказ о редакторстве Луначарского. И история о том, как поэт Борис Пастернак познакомился в „новомирских стенах“ с редактором отдела поэзии Ольгой Ивинской. И психологическая подоплека отношения Солженицына к старому „Новому миру“. И скандал вокруг романа Владимира Шарова „До и во время“... Да мало ли что еще!»

Глеб Шульпяков. Сказка про серого бычка. Виктор Ерофеев — последний писатель земли русской. — «Ex libris НГ», 2000, № 7, 24 февраля.

«Это не „Энциклопедия русской души“, а помойка русского б/у...» — говорит критик о новой книге Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души» (М., «Подкова», «Деконт +», 1999).

Александр Юдин. Новая украинская мифология. — «Неприкосновенный запас», 2000, № 1 (9).

Волхвы, поклонившиеся Младенцу Иисусу, были украинцами. В эпоху неолита украинцы одомашнили свиней, поэтому они так любят сало. В Киеве вышла объемная книга «Історія древньої України VII — I тисячоліття до н. е.». Пока все это смешно, да и то — из Москвы.

Олег Юрьев. Полуостров Жидятин. Роман. — «Урал», Екатеринбург, 2000, № 1, 2.

Две части романа помечены как *окончание/начало* и *начало/окончание*. Один из романов Милорада Павича, состоящий из двух частей, тоже мог начинаться с любой из них. Олег Юрьев — петербургский поэт, прозаик, драматург, живущий в Германии. О романе «Полуостров Жидятин» см. очень резкий отклик Аркадия Райнера «Поток мыслей больного человека» («Независимая газета», 2000, № 46, 15 марта).



АДРЕСА: петербургский журнал «Новая русская книга»: <http://guelman.ru/slava/nrk/nrk.html> или <http://kniga.com>



ДАТА: 45 лет назад начал выходить журнал «Юность».

Составитель Андрей Василевский.

«НОВЫЙ МИР» РЕКОМЕНДУЕТ:

«Неприкосновенный запас». Очерки нравов культурного сообщества. Критико-эссеистическое приложение к журналу «Новое литературное обозрение». Выходит шесть раз в год. Электронная версия журнала: <http://www.infoart.ru/magazine/nz>

См. также на сайте «Нового литературного обозрения»: <http://www.nlo.magazine.ru>

СЕТЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА



О феномене «новой эмигрантской литературы», о прозе Виталия Печерникова и Михаила Федотова; об интернетовских литературных журналах

Если бы у нас по-прежнему существовала критика, описывающая литературу с помощью тематических признаков (военная проза, деревенская, молодежная, городская), то критика эта обязательно выделила бы на сегодняшней карте нашей литературы огромную область под названием «новая эмигрантская проза». Чуть ли не каждый третий (ну пятый — это уж точно) текст так или иначе, но — про эмиграцию. Эмиграцию туда или — обратно. Можно сказать, что появилась целая литература с собственными разделами и подразделами, со своими классиками, скажем, Довлатовым или Диной Рубиной, и эпигонами, со своими достижениями (к каковому я бы, например, отнес появившиеся недавно «Прозу поэта» Юрия Малецкого, «Щель обетованья» Наума Ваймана, «Славянский акцент» Марины Палей) и своими провалами (скажем, проза Н. Медведевой или В. Калашниковой). Короче, тема эта сегодня почти безбрежная. Не посягая на ее развертывание, хочу начать этот выпуск «Сетевой литературы» заметками о двух новых «эмигрантских» повествованиях: «Я вернулся» Михаила Федотова (интернетовский журнал «Русский переплет») и первая часть книги Виталия Печерского «Немецкий омнибус» (интернетовский журнал «Крещатик»).

Об этих текстах при всех их возможных недостатках следует говорить как о литературе. Оба сочинения настолько характерны для общей волны новой эмигрантской прозы, что провоцируют на некие формулировки относительно самого ее феномена.

«Немецкий омнибус» Печерского (http://www.kreschatik.demon.nl/Archive/No_7/prose.htm#pecherski) написан в стилистике лирико-философской дневниковой прозы с элементами экспрессионизма. Здесь нужно отдать должное автору, не смущающемуся частичной заимствованностью интонаций у Генри Миллера — «Тропику Рака» он объясняется в любви через страницу. И это хорошо, потому что Печерский смог преодолеть Миллера, разумеется, на своем уровне, художественном и содержательном: автору удалось во многом сделать миллеровскую интонацию собственной, а этого более чем достаточно.

Перед нами записки эмигранта из России, живущего в общежитии для переселенцев в небольшом немецком городке. В романе есть такой эпизод: одним из переселенцев-соседей повествователя оказывается армянский писатель. Оба они занимаются одним: каждый пишет свою книгу. И повествователь, наблюдая творческие муки коллеги, сочиняющего сюжет, героев, подбирающего фактуру для своей книги, искренне недоумевает: зачем? Зачем сочинять, когда сама повседневность вокруг настолько выразительна, что ее нужно только записывать. Ничего более. Для Печерского это принципиальная установка. Пересказывать «Немецкий омнибус» бессмысленно, внешне это хаотическое собрание портретных зарисовок, пейзажей, историй, скажем, о бывших советских прапорщиках, наезжающих из новой России за подержанными немецкими машинами, о поездке в Нордхаузен, об уроках немецкого языка, о русских в немецких магазинах, о ландшафте в предгорьях Гарца, о ритуале немецкого застолья, о смысле занятий литературой, о немецких кабачках, о заболевшей собаке соседа и т. д. «То, что я пишу, похоже на дневник. Отрывочные заметки, комментарии. Для настоящей книги необходим герой. В казарме, которую ее обитатели прозвали „хаймом“, — нет, это не еврейское имя, а сокращение от немецкого „вонхайм“ (общежитие), — героев нет. Все одинаково бесцветны. Люди без свойств, но выбора нет, и я стараюсь придать им героизма хотя бы на бумаге».

Печерский делает попытку изобразить поток жизни «таким, какой он есть». И при этом у читателя не возникает ощущения бессвязного бессюжетного говорения. У романа Печерского есть сюжет, есть предмет описания, который превращает

«пестрый сор» эмигрантского быта в цельное художественное повествование. Сюжет романа внутри самой ситуации, которую он изображает. Сюжет напряженнейший, драматичнейший — это сама эмиграция, то есть ситуация, в которой человек меняет мир, что вырастил и сформировал его для жизни именно в этом мире, на мир действительно другой; ситуация человека, меняющего свою жизнь, но не имеющего возможности при этом поменять свою кожу. В какой-то степени это добровольная смерть для воскрешения в новом качестве с непредсказуемыми последствиями — вполне возможно, что тот заново родившийся человек будет иметь совершенно другую иерархию ценностей, и при этом ценности, которые вынудили его на такую страшную операцию над собой, не будут иметь прежнего значения.

В этом отношении нынешняя эмиграция принципиально отличается от эмиграции семидесятых годов (за исключением, должно быть, еврейской эмиграции). Тогда многие уезжали из России еще и для того, чтобы продолжать в себе то лучшее, что воспитала в них Россия, чтобы спасти себя — русского. Художники и писатели вывозили выращенный в них России дар, как увозят больного ребенка из губельного климата. (Уехавшие в семидесятые русские писатели и художники оставались частью русской жизни — и Солженицын, и Бродский, и Шемякин, и Ростропович, — русскими оставались не только новые журналы, скажем, «Континент» или «Грани», но и журналы первой эмиграции, «Вестник РХД», например.)

Сегодня же, переселяясь за границу, люди уезжают из России насовсем. Вот этот новый смысл эмиграции и определяет содержание сегодняшней эмигрантской литературы. Социальная, политическая проблематика сменяется экзистенциальной. Сегодняшние писатели-эмигранты размышляют не о противостоянии политических систем и идеологий, а о противостоянии национальных менталитетов и созданных этими менталитетами миров.

Это противостояние эмигрант ощущает буквально во всем. Чуть ли не каждая черта нового для него быта обдает холодом разрыва с собой прежним. Разумеется, живя в России, мы многое знали о себе или по крайней мере догадывались. Но так отчетливо, так полно и почти сокрушительно познается это только в условиях эмиграции. Это по-своему экстремальная ситуация. И понятно, что «Немецкий омнибус» — рассказ не только и столько о Германии, сколько о себе, русском, в Германии, постоянный взгляд назад, в прежнюю жизнь, в прежнего себя.

Совсем недавно мы читали написанный на том же самом материале — русские эмигранты, живущие в таких же немецких общестиях, — роман Юрия Малецкого «Проза поэта» («Континент», № 99) (<http://www.infoart.ru/magazine/contin/maleck.htm>), и характерно, что изображаемый материал определил обращение Малецкого примерно к тем же повествовательным приемам, что и Печерского. В частности, к очерково-дневниковым зарисовкам быта.

В конечном счете сюжетом «Немецкого омнибуса» является поиск персонифицировавшихся в людях вокруг, в быте эмигрантской жизни понятий пути и цели. «Те, кто здесь живут, — евреи, полуевреи (впрочем, евреем наполовину быть невозможно) или неевреи. Парии Большой Степи. Подставь наши хилые плечи под тяжесть исхода, и они не выдержат. Мы — групповой портрет вырождения, остатки исчезающего этноса. Народ Книги, забывший собственную азбуку. Мы стон заблудших на кладбищах Европы. Я брожу среди могильных плит и стертых эпитафий в поисках той самой пресловутой библейскости — и ничего не нахожу. Нет пустыни, по которой следует шататься сорок лет, чтобы умер последний, рожденный в рабстве, нет скрижалей с заповедями, нет пророков. Истории как не бывало».

Приведенная выше цитата своей торжественностью, даже как бы высокопарностью может ввести в заблуждение относительно общей тональности повествования Печерского. Автор преодолевает этот внутренний пафос стилистикой иронического, иногда подчеркнута заземленного описания новой своей повседневности. Он «опускает» на землю понятия, приближает их к читателю, благо сам материал эмигрантского быта дает для этого поводы. (Близким и понятным это становится для нас еще и потому, что и всех нас в какой-то степени коснулось непосредственно ощущение незнакомого мира совсем рядом с нами — все мы в какой-то степени почувствовали себя эмигрантами, пытаясь жить по-новому, по жестким стандартам свободного общества.)

Почти все сказанное выше я мог бы в известной степени приложить и к повествованию Михаила Федотова «Я вернулся» (<http://www.pereplet.ru/text/piter.html>). Повествователь, в свое время эмигрировавший в Израиль и проживший там девятнадцать лет, возвращается домой в Ленинград. Именно домой — для повествователя здесь все свое, он чувствует за собой право называть Театральное училище имени Щукина «Щукой», критика Самуила Лурье — Саней, автор легко ориентируется в журнальной дискуссии о Бродском и т. д. Но, вернувшись домой, он испытывает странное чувство: это уже не вполне его Ленинград, что-то появилось от Санкт-Петербурга в его нынешнем постперестроечном существовании. Да и сам повествователь — сколок другой жизни. В известной степени для героя Федотова это не возвращение, а вторая эмиграция. Он видит знакомый и незнакомый ему город промытыми двойной эмиграцией глазами. Оттого так значительны для него мелочи быта. Построение его книги, разделенной не на главы, а на репортажи, написанные в стилистике литературного дневника, почти полностью повторяет построение «Немецкого омнибуса» с тем же внутренним сюжетом. (И если бы не вышли книгой существовавшие до сих пор только в интернетовской версии «дневниковые» записки Светланы Сикуляр «На зеленом венике», она была бы третьей в этом обзоре — тот же эмигрантский сюжет и та же форма литературного дневника; только у Сикуляр не Германия и не Россия после Израиля, а — США.)

Состояние эмигранта снимает автоматизм восприятия повседневности — быт нынешнего Петербурга становится у Федотова непривычно значительным и красноречивым. Вот, например, описывая августовскую «продуктовую панику» 1998 года, автор просто начинает перечислять, что именно он покупал на рынках про запас. Список продуктов, цитирование этикеток и маркировок с консервных банок с краткими авторскими комментариями растягивается на несколько страниц и, вместо того чтобы утомить однообразием, захватывает. Здесь уже не только компактное и выразительное социопсихологическое или страноведческое исследование, здесь прежде всего искусство, художественный образ страны и времени; эти страницы отсылают читателя к знаменитому списку купленных Чичиковым крестьян в «Мертвых душах».

Способ говорить обо всем *чисто конкретно*, скажем, на языке быта оказывает у Федотова в первых семи главах-репортажах на редкость продуктивным. Но в какой-то момент остранение, обнажение «замысленных» для нашего сознания явлений с помощью переброса явления из привычного ему пространства в непривычное становится приемом самодостаточным. Повествователь на рынке: «...за день я постоял в трех очередях. У Кушелевки висит громадный портрет Данаи. Кажется, она рекламирует радиотелефоны. Классная девка. Но очень толстая! — говорит мне парень, который продает копченую колбасу. Баксы он называет баками. Копченая колбаса по четыре бака. Колбаса лежит на картонном ящичке. Накрапывает мелкий дождь. Даная держится за половые органы и не понимает, что через много сотен лет ее рассматривает какая-то сволочь». (Не очень понятно, о какой Данае идет речь, — скажем, у Тициана и Рембрандта описанных здесь жестов она не производит; похоже, автор имел в виду «Венеру» Джорджоне.) «Держится за половые органы» — это, наверно, эффектно. Из привычной для нас среды картина перебрасывается в контекст нынешнего рекламного плаката. В сознании автора пусть на миг, но эти два уровня смыкаются, а у меня, читателя, почему-то нет. Даже на стене не «держится» она, а стыдливо прикрывается. Совсем другой жест. Пассаж воспринимается как издержка иронической интонации повествователя, «обнажающего подлинное».

А может, тут у автора не издержки интонации, а пафос противостояния «навязанной традицией» способам ориентации в культуре, такая вот «топоровская брутальность» (по имени литературного критика), по мнению автора, немного хамская, но в целом правильная, справедливая. На это наводят размышления над другим эпизодом книги — повествователь дает советы племяннице, как стать культурным человеком: нужно прочитать четыре пьесы Шекспира и всю книгу Гилилова. Гилилов возникает здесь как знак культуры, через запятую с Шекспиром. И тут мне чудится знакомый отзвук отроческого воодушевления, с которым феномен

Шекспира и, шире, таинство самой культуры опускаются на обывательский уровень костюмной «мыльной оперы» с элементами детектива.

Но мне все-таки кажется, что это — не более чем издержки метода. Федотову удается в своих «репортажах» уйти от собственно репортажности — горячий злободневный материал дан художником, а не репортером. В его повествовании постоянно ощущается некая дистанция между автором и изображаемой им повседневностью, дистанция, заполненная жестким, отрезвляющим, вразумляющим опытом эмигрантской жизни.

Ну а теперь о журналах в Интернете — о тех, на страницах которых появились упомянутые выше произведения, и о некоторых других.

Продолжим знакомство с литературными сайтами в русском Интернете.

Литературный журнал «Крещатик» (<http://www.kreschatik.demon.nl/main.htm>) — проза, поэзия, публицистика, переводы). Журнал делают четверо: Борис Марковский (главный редактор), Марк Нестантинер, Георгий Власов и Алла Жмайло. Авторы: В. Печерский, В. Холмский, Е. Ярошевский, О. Седакова, Е. И. Ветрова, Б. Херсонский, С. Жадан, В. Верлока, В. Билецкий и другие. Из авторской декларации:

«„Крещатик“ — путь крещения Руси, главная улица Киева, название журнала и точный адрес его рождения.

„Крещатик“ начал создаваться задолго до того, как были отпечатаны его первые страницы. Уже в 60-е годы строки из этого журнала звучали на осенних мостовых, в прокуренных кафе и подземных переходах улицы, которая 1000 лет хранит это имя.

Так и говорили: „Встретимся на Кресте“...

Улица-колыбель, крестный путь, перекресток страстей, судеб и стихов. Место встречи поэтов и писателей, многих из которых разделяют теперь тысячи и тысячи километров.

Сегодня, когда география русской литературы стала одним из уникальнейших явлений мировой культуры, журнал видит свою задачу в том, чтобы донести до читателя этот единый и многообразный мир слова. Он открыт живой речи вне всяких программ и ограничений, речи как феномену дыхания, слуха и тоски по совершенству.

„Крещатик“ издается под эгидой Фонда Сергея Параджанова. Гениального режиссера и художника, одного из тех, чье творчество на протяжении четверти века определяло самые дерзкие и вдохновенные начинания в культурной и художественной жизни XX века.

Он адресован всем, в ком жив интерес к русской литературе в ее традициях, многообразии и поиске новых форм».

Интернетовский журнал «Русский переплет» (<http://www.pereplet.ru/red.shtml>) посвящен современной литературе. Главный редактор — В. М. Липунов. Рабочая редколлегия: А. Ю. Комаров, В. Б. Румянцев, Ю. Д. Нечипоренко, А. В. Саломатов, А. Ю. Ашкеров. Постоянные разделы: «Злоба дня», «Проза», «Поэзия», «Драматургия», «Искания и размышления», «Критика и рецензии», «Новые передвижники» и др.

Из обращения редакции к читателю: «Русский литературный Интернет уже сейчас представлен яркими электронными изданиями: журналами, альманахами, литературными страницами. Но нам кажется, что ни в одном из этих изданий нет спокойного, глубокого взгляда на русскую литературу, органически связанного с классической традицией... „Русский переплет“ — это не только верность русской литературной традиции, но и признание того очевидного факта, что вся Россия в последние десятилетия, столетия находится в самом эпицентре одного из глубочайших исторических, географических и политических переплетов человечества». Среди авторов: П. Басинский, С. Василенко, В. Кожин, В. Отрошенко, О. Павлов, И. Медведева, Т. Шишова, А. Вяльцев, В. Суси, А. Щуплов.

И еще о двух журналах, имеющих бумажную версию, но доступных сегодня читателю благодаря Интернету.

Журнал «Камера хранения» (<http://members.aol.com/kamchran/plt.htm>) начал свое существование в 1984 году в качестве машинописного альманаха. Затем по-

следовало обычное полиграфическое издание, сегодня мы говорим о сайте с таким названием.

Из уведомления редакции:

«КХ никогда не была (по крайней мере с точки зрения ее основных первоначальных участников) „направлением“, „движением“, „организацией“ и т. п. Была и остается дружеским кругом, в котором разделяются некоторые базовые представления о качестве литературы. По нашим наблюдениям, однако, в современном восприятии (если судить по отдельным упоминаниям в текущей литературной журналистике) укрепились несколько мифологическое представление о КХ как о литературной группе, в составе которой называются самые разные петербургские (и не только петербургские) поэты и прозаики, печатавшиеся когда-либо в альманахах КХ. Характерные в этом смысле упоминания последнего времени — К. Анкудинов „Внутри после“ („Октябрь“, № 4, 1998) и С. Завьялов „Натюрморт с атрибутами петербургской поэзии“ („НЛО“, № 32, 1998)». «Дружеский круг»: Леонид Аронзон, Вячеслав Белков, Георгий Владимов, Нина Волкова, Сергей Вольф, Наталья Горбаневская, Леонид Гиршович, Олег Григорьев, Дмитрий Заква, Светлана Кекова, Олег Рогов, А. Ривин, Борис Хазанов, Елена Шварц, Сергей Юрьенен, Асар Эппель и другие. Разделы журнала: «Авторы», «Книги», «Альманахи», «Ленинградская хрестоматия», «Галерея КХ». В разделе «Книги» представлены книги Марьиной, Вольфа, Губина, Григорьева, Аронсона, Юрьева, Закса.

Литературный журнал «Контрапункт» (<http://www.k-punkt.com/about.shtml>) представляет современную прозу, поэзию, литературную критику, публицистику, эссеистику, переводы, обзоры культурных событий, рейтинги книг. Основан в 1998 году. Издается в Бостоне. Бумажный вариант выходит тиражом 3000 экземпляров. Главный редактор — Михаил Володин. Редакционная коллегия: Александр Генис, Наум Коржавин, Александр Кушнер, Игорь Померанцев, Дина Рубина, Татьяна Толстая. Среди авторов журнала: Татьяна Толстая, Михаил Володин, Вадим Пугач, Лилия Поленова, Виктор Пелевин, Кирилл Кобрин, Олег Григорьев, Милорад Павич, Александр Генис, Михаил Яснов, Андрей Чернов, Борис Стругацкий, Виктор Славкин.

Составитель Сергей Костырко.

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Июнь

5 лет назад — в № 6 за 1995 год напечатана повесть Сергея Залыгина «Однофамильцы».

20 лет назад — в № 6 за 1980 год напечатана повесть Валентина Катаева «Уже написан Вертер».

35 лет назад — в № 6 за 1965 год напечатана повесть Виталия Семина «Семеро в одном доме».

60 лет назад — в № 6, 8, 10 за 1940 год напечатаны «Невыдуманные рассказы о прошлом» В. Вересаева.

70 лет назад — в № 6 за 1930 год напечатана статья Вяч. Полонского «Маяковский. (Памяти поэта)».

SUMMARY



In this Issue poetry is represented by new works of Inga Kuznetsova, Elena Ushakova and Yevgeny Karasev. The first part of the Anatoly Azolsky's novel «Monks» is published here. You can also read a story «The Book of Fortunes» by Yaroslav Melnik, the writer, living now in Litva.

Two sketches are dedicated to the 90-th birthday anniversary of A. T. Tvardovsky, the famous editor-in-chief of «Novy Mir»: the material by Aleksander Solzhenitsyn «Bogatyr» (The Epic Hero) and «An Essay about Tvardovsky» by Yuri Kublanovsky.

Under the heading «Times and Manners» the end of Marietta Chudakova's sketches «Human Talks and Horses' Thud» are published.

The text «The Introduction to the Future. Marginal XX Century Notes» by Andrey Seryogin is published under the heading «Essays».

The Irina Surat's article «The Invocation of History» is summing up the Pushkin's jubilee celebrations.

The literary critique is represented by Tatyana Kasatkina's article «The Literature after the End of Times».



Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, А. А. Носов, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

отдел публицистики, историко-архивный отдел — 209-12-50,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@aha.ru или seva@mail.cnt.ru или butov@aha.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: <http://www.infoart.ru/magazine>

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г

Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“»

Сдано в набор 20.02.2000 г. Подписано к печати 29.04.2000 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 16,0 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28,0 уч.-изд. л.

Тираж 14 900 экз. Зак. 2266. Цена договорная.

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»

Управления делами Президента Российской Федерации

103798, Москва, Пушкинская пл., 5

**8 (21) ИЮНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АЛЕКСАНДРА ТРИФОНОВИЧА ТВАРДОВСКОГО
(1910 — 1971)**

* *
*

**Ветер какой — ты слышишь? —
Как раскачал дубы:
Желуди по железной крыше —
Грохот ночной пальбы.**

**Горький загул погоды
В поздней безлюдной мгле,
Словно всей жизни годы,
Гонит листву по земле.**

**Друг мой, такой далекий,
Где там забыться сном:
В этой ночи глубокой
Мне без тебя одиноко,
Как одному под огнем...
1954.**